

Хью Раффлз  
Инсектопедия

Ад Маргинем Пресс

СЕРИЯ «НОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

под редакцией профессора Алексея Юрчака,  
Калифорнийский университет — Беркли

Hugh Raffles  
Insectopedia  
Vintage Books

## В самом-самом начале...

В самом-самом начале, давным-давно, когда на свете еще вообще не было людей, во времена, когда первичное облако газа и изначальные морские отложения были недавним прошлым, во времена, недалеко отстоявшие от тех времен (учтите: здесь мы ведем речь о геологических эпохах), когда простейшие, эти герои-первопроходцы, создали первую энциклопедию планеты, переродившись в митохондрии и хлоропласты в составе других клеток, а те клетки, в свою очередь, объединились в союзы, из которых выросли совсем другие существа, а те, в свою очередь, сплотились с другими существами, чтобы образовать невидимые города, миры внутри миров... И вот когда после этого прошло какое-то время, но до нашего времени оставалось еще долго, появились насекомые.

Столько, сколько мы существуем на свете, они сосуществуют с нами. Насекомые есть повсюду, куда мы только ни забираемся в своих путешествиях. И всё же мы их не очень хорошо знаем, даже тех, которые совсем рядом, даже тех, кто ест с нашего стола и разделяет с нами постель. Кто они, эти существа, столь непохожие и на нас, и друг на дружку? Чем они заняты? Какие миры они создают? Что мы о них думаем? Как мы с ними уживаемся? Как мы могли бы уживаться с ними по-другому?

Вообразите-ка себе любое насекомое. Чей образ возникает в вашем сознании? Муха? Стрекоза? Шмель? Паразитическая оса (она же наездник)? Мошка? Комар? Жук-бомбардир? Жук-носорог? Бабочка морфо? Бабочка мертвая голова? Богомол? Палочник? Гусеница? Какое пестрое разнообразие, как не похожи эти существа друг на друга и на нас с вами! Абсолютно прозаичные и крайне экзотические, совсем крохотные и просто гигантские, записные коллективисты и гордые одиночки, верх экспрессии и венец непостижимости, сама плодовитость и сама загадочность, совершенно пленительные, но нервирующие до мозга костей. Опылители, вредители, переносчики болезней, редуценты, подопытные животные, излюбленные учеными объекты внимания, экспериментов и вмешательств. Герои сладостных

и страшных снов. Подспорье экономики и культуры. Они не просто пронизывают мир своим присутствием, но и активно участвуют в его сотворении.

Насекомых слишком много: бесчисленное количество, с каждой секундой всё больше и больше. И как они поглощены своими делами, как равнодушны к нам и как могущественны! Они почти никогда не делают того, что мы им велим. Они редко бывают тем, во что мы бы хотели их превратить. Они всё время ускользают — от определений и из рук. Как же с ними сложно, какие же они — во всех отношениях — сложные!

## А Воздух Air

### 1

Десятого августа 1926 года шестиместный моноплан «Стинсон Детройтер СМ-1» взлетел с примитивного аэродрома в Таллуле, штат Луизиана. «Детройтер» представлял собой первый в истории самолет с электрическим стартером двигателя, колесными тормозами и обогреваемой кабиной, но он не очень ловко набирал высоту, так что пилот вскоре выровнял машину, покружил над аэродромом и окрестностями, раскрыл ловушку с липким дном, специально прикрепленную под крылом, а спустя десять минут, как было договорено, закрыл ее и через непродолжительное время совершил посадку. Навстречу самолету выбежали П. Э. Глик и его коллеги по отделу насекомых-вредителей хлопчатника из учреждения, которое называлось Бюро США по делам энтомологии и карантина растений.



Это был исторический полет — первая попытка сбора насекомых в научных целях с самолета. Глик и его сослуживцы, а также ученые из министерства сельского хозяйства и региональных организаций типа Музея штата Нью-Йорк

бились над тайнами миграции непарного шелкопряда, хлопковой моли и других насекомых, которые с аппетитом уничтожали природные ресурсы страны. Они хотели прогнозировать нашествия вредителей, знать, что назревает. Как сдержать этих крылатых врагов, если не знаешь, по каким маршрутам они перемещаются, когда и каким образом?

## 2

До полета в Таллуле высотная энтомология лишь робко барахталась в воздухе. Исследователи запускали аэростаты и воздушные змеи, к которым были подвешены сачки, забирались на столбы, упрашивали о помощи альпинистов и смотрителей маяков. Теперь же, вооружившись новым методом, Глик отправился в Мексику, в Тлауалило (штат Дуранго). Там на высоте трех тысяч футов над долиной его пилоты изловили хлопковую моль — страшного вредителя, пожирающего урожай хлопка в США. Обнаружив, что перед ним развернулся неожиданно масштабный фронт работ, Глик сухо написал: «Воздушные потоки в верхних слоях атмосферы уносят розовых хлопковых совок на значительное расстояние» [1].

В ту первую ловушку в Таллуле попала лишь горстка мух и ос. Но за последующие пять лет ученые осуществили с этого луизианского аэродрома более тысячи трехсот вылетов и наловили десятки тысяч насекомых на высоте от двадцати футов и до пятнадцати тысяч. Они составили множество диаграмм и таблиц, классифицировав особей семисот видов в соответствии с тем, когда и на какой высоте они были пойманы (а также при каких скорости и направлении ветра, температуре, атмосферном давлении, уровне влажности, температуре конденсации и т. п. и т. д.: учитывалась масса физических переменных). К тому времени исследователи уже кое-что знали о рассредоточении насекомых на больших расстояниях. Они слышали о бабочках, мошках, водомерках, слепняках, книжных вшах и углокрылых кузнечиках, которых наблюдали в открытом море за сотни миль от берега; о тлях, которых капитан Уильям Парри нашел на плавучих льдинах во время своей полярной экспедиции 1828 года; и о других тлях, которые в 1925 году всего за двадцать четыре часа преодолели восемьсот миль над ледяным штормовым морем между Кольским полуостровом и Шпицбергенем. И всё же они обомлели от колоссальной численности живых существ, которых обнаруживали в воздухе над Луизианой, и открыто поразились тому, на какой высоте их нашли [2]. Казалось, небеса внезапно разверзлись.

Раззадорившись, ученые обратили свой взор к океану, заговорили об «аэропланктоне», дрейфующем в бескрайнем просторе открытых небес. Рассказывали друг другу о том, как резкий порыв ветра подхватывает крошечных насекомых (некоторые из них даже не имеют крыльев, но у всех этих видов удивительное соотношение между весом и поверхностью тела), и затем восходящие потоки воздуха уносят их ввысь с конвекционными течениями, а насекомые не могут и не хотят сопротивляться, и тогда злой рок перемещает их на огромные расстояния, через океаны и континенты, а затем, с такой же роковой произвольностью, нисходящий воздушный поток высаживает их на вершину отдаленной горы или на дно долины. Ученые подсчитали, что в

любой день года поток воздуха, восходящий над одной квадратной милей сельской местности в Луизиане с высоты пятидесяти футов до высоты четырнадцати тысяч футов, одновременно содержит в среднем двадцать пять миллионов насекомых и максимум около тридцати шести миллионов [3]. Днем они обнаруживали божьих коровок на высоте шести тысяч футов, а ночью — полосатых жуков-блошек на высоте трех тысяч футов. На высоте пяти тысяч футов они отловили трех скорпионниц, между двумястами и тремя тысячами метров — тридцать одну дрозифилу, на высоте семи тысяч футов — одного грибного комарика, а на высоте десяти тысяч — второго. Им попались два слепня, которые переносят сибирскую язву: один на высоте двухсот футов, другой — в тысяче футов над землей. Бескрылых рабочих муравьев они ловили на высоте четырех тысяч футов, а особой шестнадцати видов наездников — на разных высотах вплоть до пяти тысяч футов. На высоте пятнадцати тысяч футов — «вероятно, самой большой высоте над поверхностью земли, на которой был добыт экземпляр» — в их ловушке оказался паук, летящий на паутине; этот подвиг напомнил Глику о гипотезах, что некоторые пауки, оседлав пассаты, обогнули земной шар и вернулись обратно; вдохновленный Глик написал: «Молодняк большинства пауков в той или иной мере помешан на таком способе перемещения»; этот образ восторженных юных паучков, собирающихся в путь-дорогу, слегка пошатнул господствующее мнение о том, что все эти полеты совершаются пассивно, а позднее натолкнул Глика на наблюдение, что пауки-аэронавты не просто взбираются туда, где дует ветер (например, на ветку или на цветок), не просто встают «на цыпочки», приподнимают брюшко, проверяют состояние атмосферы, выбрасывают из своего тела шелковые нити и бросаются в лазурные небеса, широко расставив все свободные лапки, — нет, они еще и двигают своим торсом и конечностями, а также шелковыми паутинками, чтобы управлять своим снижением и выбрать место для посадки [4]. Тридцать шесть миллионов крохотных живых существ над одной квадратной милей сельской местности? Небеса разверзлись. Этот условный воздушный столп — «сокровищница, где содержится воздух, наполненный насекомыми», и сверху сыплется «бесперывный град» [5].



С середины двадцатых до конца тридцатых годов XX века исследователи верхних слоев атмосферы во Франции, Англии и США делали одни и те же открытия и приходили к одинаковым выводам. Обобщая, они решили, что есть два типа перемещения насекомых [6]. Крохотные представители «аэропланктона» находятся в воздухе на высоте больше трех тысяч футов, где движутся против своей воли, неспособные воспротивиться быстрым течениям воздуха в верхних слоях. Насекомые, которые специально ориентированы на полет, — это насекомые большей величины, они держатся сравнительно невысоко над землей, используя тихие ветра низких слоев и мигрируя по собственным маршрутам и расписаниям. Эти миграции на бреющем бывают потрясающе живописными.

С некоторыми миграциями, например бабочек вида монарх или саранчи, упомянутой еще в Ветхом Завете, человечество уже было знакомо. Другие порой заставляли энтомологов врасплох. Но во всех этих переселениях ощущался налет загадочности. В 1900 году Дж. У. Татт наблюдал, как миллионы совок вида металлоидка-гамма летели вместе с другими насекомыми по прямой линии с востока на запад, не отклоняясь от курса, бок о бок с перелетными птицами. Несколькими годами позже Уильям Биб из Нью-Йоркского зоологического общества (тот самый Уильям Биб, пионер глубоководных исследований, совершавший погружения в своей стальной батисфере) на перевале Портачуэло на севере Венесуэлы оказался в густой мгле, которую образовала плотная туча лиловато-бурых бабочек. Биб впал в замешательство, но всё же сумел подсчитать, что за первые девяносто минут мимо него пронеслось как минимум 186 тысяч насекомых. Еще через час, когда поток двигался в полную силу, Биб настолько овладел собой, что достал свой мощный бинокль.

«Я начал рассматривать их примерно в двадцати пяти футах над своей головой, а затем, фокусируя бинокль то дальше, то ближе, медленно переводил взгляд всё выше, пока эти мелкие насекомые не начинали сливаться у меня в глазах. Если исходить из горизонтальных проб с объектами сходной величины, это было на расстоянии примерно полумили в направлении зенита, и каждый раз, когда я немножко поворачивал колесико, всё больше и больше бабочек, порхая, становились четко различимы, а выглядели они всё более мелкими.

На всем протяжении вертикального поля зрения плотность тучи летящих насекомых нигде не уменьшалась... Эта особая фаза миграции длилась много дней, миллионы и миллионы прибывали из какой-то неведомой отправной точки, следуя точно на юг к столь же таинственному пункту назначения».

Биб описал и другое явление: неослабевающий поток насекомых самых разных видов (хрущей, листоедов, веспоидных ос, пчел, ночных и дневных бабочек) — «тмы и тмы миниатюрных крылатых существ из царства насекомых», — двигавшихся по миграционному воздушному коридору все вместе: пестрый сонм массовой эмиграции, которая, по-видимому, происходила ежегодно [7]. Все эти миниатюрные представители царства насекомых были слишком малы, чтобы их пересчитать. Но тли, образуя сплошную дымку, роятся, и плотность их стай в двести пятьдесят раз выше, чем у бабочек.

Собственно, эти малютки: тли, трипсы, микрочешуекрылые, самые мелкие жуки, самые мелкие наездники, едва различимые человеческим глазом, — это подавляющее большинство видов класса *Insecta*, что подтверждает тот факт, что эволюция за тысячи лет заставляла насекомых уменьшаться в размере, одновременно колоссально умножая их численность и разнообразие.

Нет больше гигантских стрекоз позднего палеозоя с тридцатидюймовым размахом крыльев. По мере миниатюризации насекомые развивали почти бесконечное многообразие аэродинамических форм тела и специальные мускулы, обеспечивающие очень частые взмахи крыльев. На данный момент описано около миллиона видов насекомых. Исходя из этого, мы можем подсчитать, что длина тела у среднестатистического взрослого насекомого всего лишь четыре-пять миллиметров, а медианная длина намного меньше. И всё же именно крупные, более заметные насекомые — длиной один сантиметр и более (то есть примерно в двадцать раз крупнее среднестатистического) — привлекают внимание исследователей. Если не брать в расчет огромный массив исследований генома дрозофилы (*Drosophila melanogaster*), окажется, что научной литературы о крохотных насекомых очень мало [8]. Очевидно, относительное изобилие миниатюрных насекомых, которое Глик наблюдал в воздушной колонне, объясняется скорее тем, что по численности они намного превосходят своих крупных родичей, чем фактом, что ветер легко возносит их вверх.

Глик сам сообщал, что на высоте семи тысяч футов над Таллулой энергично пролетали стрекозы: то есть крупные насекомые летели значительно выше предела в три тысячи футов, причем так уверенно, что сворачивали в сторону, ускользая от его самолета. Другие, в том числе Биб, описали мелких насекомых, малоприспособленных для полета (предполагаемых «путешественников поневоле»), которые летали невысоко, намного ниже гипотетического порога. Теперь исследователи полета насекомых говорят о пограничном слое атмосферы в относительных выражениях: по их словам, это изменчивая область вблизи поверхности земли, где скорость ветра ниже, чем скорость, которую способно развить в полете то или иное насекомое, то есть эта зона меняется в зависимости от силы ветра и возможностей насекомого. В пограничном слое насекомое может выбирать курс. Выше пограничного слоя на направление полета насекомого сильно влияют преобладающие ветры, и насекомое приспосабливается к состоянию атмосферы вместо того, чтобы брать над ней верх [9]. Если учесть, что лишь примерно 40% известных нам насекомых летают при скорости ветра, превышающей один метр в секунду, и что столь смирные ветры (легкие дуновения, почти неощутимые для человека) обычно бывают лишь невысоко над землей, большинство насекомых имеют полный контроль над направлением своего полета лишь на высоте одного-двух метров [10].

И всё же лишь малую толику этих насекомых — бескрылых (например, пауков и клещей), тех, кто замерзает, и тех, кто выбивается из сил, — ветер заносит, не встречая сопротивления с их стороны, выше пограничного слоя, на высоту тысяч футов — в тропосферу. Перелетные насекомые, от самых мельчайших до самых крупных, летят активно, бьют крыльями, остаются верны одной высоте или направлению либо меняют их, не считаясь с силой

обдувающих их ветров. Иногда насекомые парят, иногда плавно скользят, или свободно падают, или планируют. Стараются, как умеют, уворачиваться от птиц в светлое время суток и от летучих мышей — в темное. Они лишь изредка дрейфуют по ветру, словно пыльца или планктон в океане.

Нет, «воздушный планктон» — название неподходящее. Они не живут в воздухе, а находятся в нем временно. И в этот промежуток времени действуют крайне расчетливо и целенаправленно. К исходу их побуждает стремление найти новые ареалы, а в случае с паразитами — новых хозяев. Иногда их перелет — это рассеяние на недалекое расстояние, а иногда — миграция в дальние дали, из которой путник, возможно, не вернется. В любом случае пассивности тут мало. Взлет производится с ориентацией по ветру и источнику света. Если у насекомого хватает сил, оно часто летит против ветра или поперек ветра. Бабочки и саранча, летящие тучами в «боевом построении», иногда прерывают бреющий полет, грандиозно набирая высоту всем скопом, чтобы оседлать воздушный поток на высоте нескольких тысяч футов. Даже крошечные насекомые, похоже, выискивают теплые воздушные потоки. В верхних слоях воздушного столпа малютки ложатся на курс под сильным влиянием ветра, но в потоке воздуха держатся стойко, помахивая крыльями, корректируя свой курс и высоту. А затем спускаются, часто по мановению запаха или отраженного света, шевелят своими телами, чтобы сесть на землю.

Сорок лет назад Сесил Джонсон, автор классической работы о миграции и рассеянии насекомых, отметил, что в этих путешествиях гибнет множество особей — возможно, большинство, но «такова цена, которую платят эти виды за поиск ареалов». Джонсон нарисовал образ планеты, за которой зорко следят: «...поверхность Земли очень эффективно обзревается миллионами особей, летящих с потоками воздуха, непрерывно обнаруживающих подходящие или неподходящие условия». Когда условия неподходящие, насекомые вскоре вновь взлетают в поисках места, где им будет сподручнее кормиться или размножиться (либо заниматься каким-то еще неизвестным нам делом), следуя в «направлении, которое предопределяет либо ветер, либо они сами» [11]. Таков непреложный факт жизни на планете: огромная «распределительная система» день ото дня, год за годом, столетие за столетием перемещает колоссальные популяции живых существ [12]. Что делать с понятием «инвазивный вид», когда сталкиваешься с этим непрерывным и необузданным передвижением — перелетами на короткие и длинные расстояния, рассеянием и миграцией? Что остается от представления, будто всему есть положенное место, будто каждая вещь и существо должны находиться где-то и больше нигде, что границы нерушимы, что это гиперизобилие своенравной и шальной жизни можно взять под контроль, если проявить бдительность и применить химикаты? Возможно, именно это увидел Глик на высоте трех тысяч футов над Дуранго лицом к лицу с хлопковой молью, чьи трепещущие крылья сверкали на солнце.

#### 4

Отложите книгу. Если вы в помещении, подойдите к окну. Распахните его, повернитесь лицом к небу. Вся эта пустота, глубокий простор воздуха, широко распростертый над вами небосвод. Небо кишит насекомыми, и все они куда-



нибудь да направляются. Каждый день над нами и вокруг нас происходит коллективное путешествие миллиардов существ.

Такова буква А, первое, о чем нельзя забывать. Вокруг нас есть другие миры. Мы слишком часто проходим через них, ни о чем не подозревая, видим, но остаемся слепы, слышим, но остаемся глухи, щупаем, но ничего не чувствуем, скованные несовершенством наших органов чувств, банальностью нашего воображения, нашей уверенностью в том, что всё вращается вокруг нас.

## В Красота Beauty

— Что тут такое творится? Что это? — окликнул я сеу Бенедито, когда мы в солнечный день шли на тарахтящей моторке по реке Гуариба. — Что тут происходит?

В ста ярдах от нас, на дальнем берегу, под могучими деревьями, в сени которых еще вчера стоял покосившийся деревянный домишко, самый убогий на всей реке, мерцал драгоценный камень, сияющее облако трепещущей желтизны, которое переливалось разными оттенками: канареечным, кукурузным, золотистым. Хлопья сусального золота отделялись от него и воспаряли по спирали, словно искры костра, ввысь, к кронам сумрачного леса. Блистающие солнечные лучи исходили от него и, тоже выписывая спирали, тянулись над речной водой.

— Что же это такое?

— А-а, — рассмеялся сеу Бенедито, — *Borboletas de Verão*, летние бабочки. Они вернулись. Вы что, их никогда не видели?

В тот день они были повсюду. Их демографический взрыв, казалось, взорвал землю, раскрасил ее в диковинные неведомые цвета, свел ее с ума этой нежданной-негаданной красотой. Все дома, которые мы видели, продвигаясь по реке на своей пыхтящей моторке, подверглись преобразению. Тысячи желтых бабочек облепляли стены и крыши, заняли деревянные крылечки, наконец-то превратив Амазонию в Эльдorado, одели тихие деревеньки в многослойные золотые панцири.

Когда мы доехали до места, обнаружилось, что вокруг нашего дома тоже выплясывают золотисто-желтые летние бабочки. Высоко, под самыми карнизами, со всех сторон от крыльца, низко-низко на грязном дворе, где под настилом рылись в земле свиньи. Бабочки парили и планировали, и я сделал этот снимок, чтобы удержать в памяти тот день и еще несколько дней перед тем, как бабочки улетели.



Это кухня позади дома сеу Бенедито близ устья Амазонки в бразильском штате Амапа [у автора ошибочно: штат Макапа. — *Пер.*]. Я прожил здесь год и три месяца в 1995–1996 годах. Вот так выглядела кухня, озаренная солнцем, под вечер, когда прилетели бабочки. Теперь мне иногда кажется, что это был только сон или история, известная мне с чужих слов, и тогда я достаю фотографию и припоминаю тот день. Видите сонную охотничью собаку? Видите асаи — пальмы с тяжелыми гроздьями черных плодов? Видите две исполинские автопокрышки, которые маленький Хелтон и Розiane каждое утро наполняли водой из ручья (ручей в кадр не попал, но он справа, неподалеку)? Видите огород за забором? И толстый кабель, на котором семья сушит белье? Видите *borboletas de verão*, застывшие в пространстве и времени, похожие на крохотные НЛО? Они заглянули к нам ненадолго, залетели погостить: вошли в нашу жизнь, преобразили всё вокруг на мгновение, подразнили нас проблеском иных миров — и были таковы.

## С Чернобыль Chernobyl

### 1

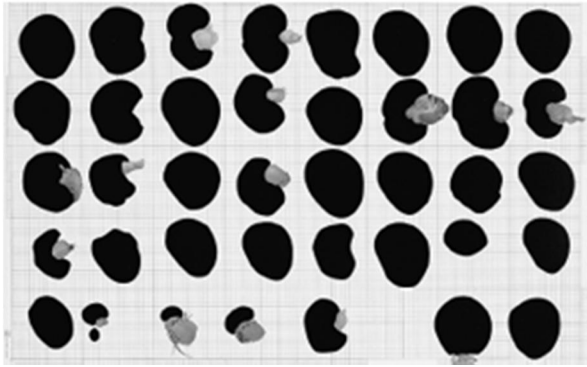
Я смотрю на фото Корнелии Хессе-Хонеггер в ее цюрихской квартире и пытаюсь вообразить, что она видит в микроскоп. Под микроскопом — малюсенькое золотисто-зеленое насекомое из подотряда клопов (*Heteroptera*), один из тех слепняков, которых Хессе-Хонеггер рисует более тридцати лет [13]. Это бинокулярный микроскоп с восьмидесятикратным увеличением. Сантиметровая шкала в левом окуляре помогает художнице изобразить тело насекомого в точности, во всех деталях.



Этого слепняка Корнелия поймала в окрестностях АЭС Гундремминген на юге Германии. Его тело деформировано, как и у большинства насекомых, которых она зарисовывает. У этого конкретного слепняка асимметричное, немножко сморщенное с правой стороны брюшко. На мой взгляд, даже под микроскопом эта деформация почти незаметна. Но Корнелия говорит: вообразите, каково жить с такой аномалией, если твой рост — всего пять миллиметров!

Что видит Корнелия, столь пристально рассматривая это существо? Она говорит, что в своих экспедициях, собирая образцы в полях, на обочинах дорог и опушках лесов, она «забывает о себе, вглядываясь в насекомых». В такие моменты она чувствует, что «тесно, невероятно тесно связана» с насекомым, словно сама когда-то была таким существом — слепняком, и в ней «просыпается память тела».

Но ее метод рисования, как она сама объясняет, — почти полная противоположность. Когда она присаживается к микроскопу, то уже не воспринимает насекомое как существо, которое эволюционировало и развивалось совместно с другими биологическими видами, — теперь для нее это формы и цвета, контуры и текстуры, количество и объем, плоскости и стороны. Ее работа — максимально механический труд. («Я хочу быть как лазер, который прочесывает один квадратный сантиметр за другим. Увижу что-то — зарисовываю, увижу другое — зарисовываю», — говорит она мне.) Иногда (взгляните на картину ниже) она действует по принципу формальной произвольности: выбирает образцы из своей коллекции наугад и изображает в абстрактизированном виде одну-единственную структуру, которую многократно размещает на миллиметровой бумаге в определенных точках, создавая изображение, у которого нет заранее придуманной композиции, — изображение, в эстетическом смысле всецело восходящее к традиции конкретного искусства, на которой Корнелия выросла.



На картине изображена череда глаз дрозофил (*Drosophila melanogaster*). Генетики Зоологического института при Цюрихском университете подвергли этих мух радиационному облучению. Корнелия решила не изображать головы дрозофил целиком, а глаза разместила на бумаге-миллиметровке так, что они расположены в точном соответствии своим отсутствующим телам. Но от облучения мухи мутировали, глаза на их головах размещены криво, и потому, хотя сама композиция упорядоченная, горизонтальные и вертикальные линии на картинах неровные. Систематическая произвольность в творчестве Корнелии порождает нечто регулярное, но не единообразное: так визуальными средствами выражена идея, которая служит стержнем ее понимания природы, эстетики и науки; ее картины говорят нам, что миром правят одновременно стабильность и произвольность, принципы порядка и случая. Глаза мух выглядят престранно. По величине и форме они совершенно разные. Из нескольких глаз проклюнулись элементы крыльев — аномалии, на основе которых ученые исследуют механизмы развития клеток («Это как систематически спускать поезд под откос, чтобы его исследовать», — говорит Корнелия [14]). А вот муха (контуры которой угадываются в незаполненном пространстве), у которой вообще нет одного глаза.

Поскольку Корнелия терпеть не может натурализм в живописи (она говорит, что натурализм поощряет зрителя сосредотачиваться на «реальности» изображения, на мастерстве художника, на умении художника «видеть мир») и поскольку она хочет, чтобы мы сосредотачивались на формах, она изобразила глаза мух черными, а не красными, каковы они в жизни.

Эту картину Корнелия написала в 1987 году. Но дрозофил-мутантов она впервые зарисовала двадцатью годами раньше, когда работала научным иллюстратором в Цюрихском зоологическом институте [15]. В соответствии со стандартным протоколом экспериментов, провоцирующих мутации, этим мухам давали корм с добавлением этилметансульфоната. Корнелию так заинтересовали мутации мух, что она начала рисовать деформированных насекомых на досуге, экспериментируя с ракурсами и цветом, и даже отлила несколько увеличенных голов мух в пластике. Так Корнелия пыталась разобраться в пугающем мире, куда ее втягивала работа. В институте ей поручили зарисовывать всё многообразие облика мутантов, которых принято называть квазимодо. Эти существа были чудовищными калеками с хаотичными деформациями тела. Чтобы подготовить голову мухи для иллюстратора, всё, что внутри головы, растворяли в химическом веществе, и оставалось только жутковатое «лицо», напоминающее маску. «Мутанты упорно не оставляли меня», — писала Корнелия. И действительно, с того момента над всем, что она

делает, витают реальные и потенциальные жертвы индуцированной мутации [16].

Картина выше — одна из тех, что Корнелия написала непосредственно перед тем, как в июле 1987 года отправиться в экспедицию в шведский Эстерфарнебо — точку Западной Европы, наиболее загрязненную, как полагала Корнелия, радиационными осадками после Чернобыльской катастрофы. Это путешествие стало для нее началом нового жизненного этапа — времени споров и не всегда желательного внимания. Глаза без тела, нервирующие своим сочетанием бесстрастной абстракции с безысходным гневом, — предчувствие, пророчество. Когда в Чернобыле полыхнул реактор, Корнелия уже была к этому готова. «Чернобыль просто стал ответом на вопрос „Что здесь творится?“» — недавно сказала она мне. К тому времени Корнелия уже была очевидцем. Она уже заметила, что в ее саду численность слепняков снижается. Уже насмотрелась на монструозных дрозодил. Что лаборатория, что планета — всё едино. Что теперь отгораживает лабораторию от внешнего мира? Корнелия уже распознала новорожденную эстетику. Ничто в природе и ничья природа не защищены от влияния этих явлений. «Мы упорно цепляемся за образы, которые не соответствуют переменной действительности», — написала она [17].

Чернобыль стал всего лишь лучом, высветившим кошмар, наглядным свидетельством того, что было незримо.

## 2

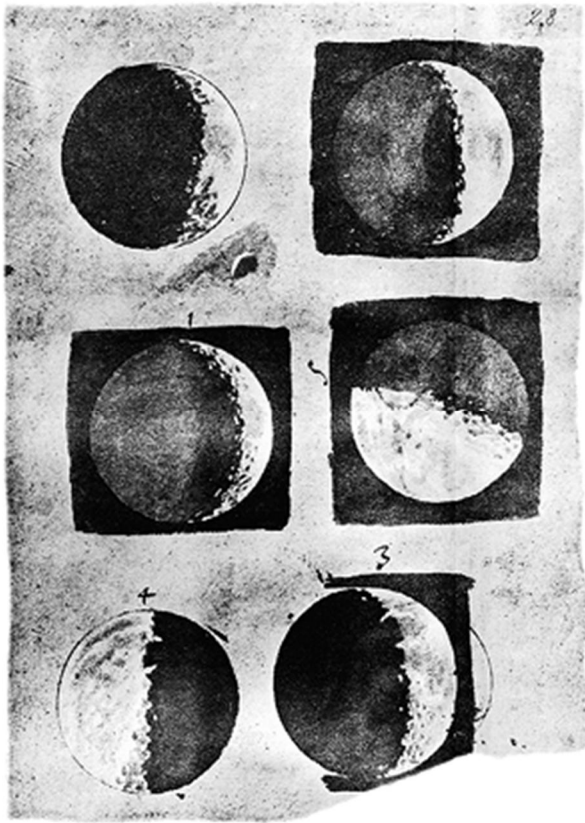
В 1976 году Корнелия Хессе-Хонеггер вела тихую деревенскую жизнь в окрестностях Цюриха. Двое маленький детей, заикленный на себе, невнимательный муж — и страстный интерес к слепнякам. Ее влекла не только красота этих насекомых. В их характере есть нечто эдакое. («Я нахожу совершенно поразительной их способность осознавать определенные обстоятельства», — говорит она.) Их своеобразие поощряло в ней пыл коллекционера насекомых («Это вроде патологической зависимости», «Найти слепняка — невероятная радость... райское наслаждение!»). Она быстро изучила слепняков, обитавших неподалеку от ее дома, и начала примечать индивидуальные различия («Индивидуальные различия вообще-то поразительные»), а также общепризнанные различия конкретных семейств и видов. На лето семья уезжала в дом родственников мужа в кантон Тичино на юге Швейцарии. Корнелия вставала рано, когда пейзаж еще был окутан утренней дымкой, и бродила по болотистой местности, ловила насекомых, всё лучше узнавая местную флору и фауну.

Коллекционирование по-своему сближает с насекомыми. Выясняя привычки слепняков и обнаруживая их тайные убежища («Я доподлинно знаю, где их найти...»), Корнелия стала тонко чувствовать, как выглядит мир в их восприятии. («Они лентяи!» — сказала она мне со смехом.) Корнелия прониклась убеждением, что слепняки знают, когда она приближается, «осязают» ее взгляд, понимают, что она старается никогда не встречаться с ними глазами. Занимаясь сбором слепняков, Корнелия стала разбираться в экологии насекомых и изучила их характер. Как тут не изучить? А сближение иного рода произошло благодаря тому, что Корнелия писала слепняков,

сосредоточенно рассматривая их: так она стала специалистом по их морфологии и многообразию их разновидностей.

Работа художника, уверяет она (отсылая к прошлому — к швейцарскому натуралисту XVI века Конраду Геснеру, к художнице и исследовательнице Марии Сибилле Мериан, которая стала для Корнелии источником вдохновения, к Мэри Эннинг, которая освоила палеонтологию самоучкой и собирала окаменелости [18]), — это способ приобрести многогранные знания об изучаемом предмете, увидеть его во всей его биологической, феноменологической и политической полноте. Живопись и графика — не просто способ выразить то, что мы видим, а дисциплина, обучающая нас видеть: видеть в широком смысле — проникать в суть. Занимаясь живописью, Корнелия может фиксировать аномалии, подмечать закономерности и взаимоотношения на основе своего архива насекомых, собранных в разных местах, осознавать, что именно эти дефекты ей уже где-то встречались: в Эстерфарнебо, Чернобыле, Селлафилде, Гундреммингене, Гааге. «Это открытие нового мира, — говорит она. — Чем дольше я вглядываюсь, чем глубже я погружаюсь в этот мир, тем теснее с ним сближаюсь». Ах, если бы жизненные обстоятельства позволяли ей целых полгода писать одного-единственного слепняка. Если бы... «Мне бы хотелось идти всё глубже, глубже и глубже...»

Поздний вечер. Мы поужинали и любуемся знаменитыми чернильными зарисовками луны, которые сделал Галилей. Корнелия обожает эту серию зарисовок («Это и есть искусство!»). Сделаны они в 1610 году, когда Галилей зарисовывал увиденное в телескоп, который недавно смастерил; это новаторское изобретение позволило четко разглядеть совершенно новый мир. От этих рисунков исходит аура первооткрывательства, нагоняющая клаустрофобию. Чувствуется, как Галилей торопился запечатлеть зрелище, сам не веря своим глазам («Что порождает еще большее чудо...» — удивляется он), спешил уловить неподвластные воображению текстуры прежде, чем луна повернется и они скроются во мраке и, возможно, никогда больше не станут зримыми [19]. Корнелия рассказывает мне, как коллеги Галилея рассматривали эти зарисовки увиденного им в ночном небе, но не смогли опознать объекты, которые он им показывал. Это была вовсе не та луна, которую они знали. Как могли они положиться на зрелище, которое открывалось через непостижимый для них инструмент? Они «смотрели незрячими глазами», говорит Корнелия. Они так держались за свое мировоззрение, так уютно чувствовали себя в своем мирке, что смотрели, но не видели, смотрели, но не понимали, что видят.



Позднее, уже после того, как Корнелия рассталась с мужем и своим сельским садом и вернулась с детьми в Цюрих, уже после Чернобыля, она опубликовала первую из двух статей в воскресном приложении ведущей швейцарской газеты *Tages-Anzeiger*. Под заголовком «Когда мухи и клопы выглядят не так, как полагается» Корнелия выложила живописные изображения слепняков, дрозофил и листьев плюща, собранных ею в окрестностях Эстерфарнебо и в кантоне Тичино [20].

Ее рассказ о поездке в Швецию затягивает. Отчасти детектив, отчасти история о переосмыслении своего мировоззрения, отчасти конспирологическая теория, он начинается с ее отчаянных попыток отыскать информацию о радиоактивном облаке, которое в первые дни после взрыва распространилось из Чернобыля по Европе в западном направлении. Она находит карты («до ужаса неточные») и выбирает самые зараженные места, куда может получить доступ («По вечерам, уложив детей спать, я корпела над картами и размышляла над данными, сидя за кухонным столом»). Путем вычислений она определила, что самые интенсивные в Западной Европе радиоактивные осадки выпали на востоке Швеции («И решила, что именно туда хочу поехать»).

И вот она приезжает на место, и местные начинают ей рассказывать (как и спустя несколько лет, когда она оказалась на острове Три-Майл в США — месте крупной аварии на АЭС) о странных ощущениях, необъяснимом предчувствии, охватившем их в ночь, когда тучи пролились дождем и радиоактивные частицы посыпались на их городок. Местный хирург-ветеринар показал ей клевер с красными листьями вместо зеленых и желтыми цветками вместо розовых. Она повсюду обнаруживает необычные на вид растения. Собирает насекомых, а на следующий день, 30 июля 1987 года, рассматривает их в микроскоп. К тому времени Корнелия уже знала, что слепняки — исключительно точные

биологические датчики. В своем саду она подметила, что анатомическое строение у них очень четкое и что все отклонения от нормы сразу заметны, что генетическая изменчивость обычно ограничивается окраской, что одна особь слепняка может провести всю жизнь на одном и том же растении, а ее потомки, возможно, тоже не тронутся с места. Корнелия осознала: поскольку слепняки пьют соки прямо из листьев и побегов, они уязвимы перед токсическими веществами, поглощенными растением. Но в Швеции она увидела то, подобного чему никогда не видала за семнадцать лет, которые посвятила рисованию слепняков. «Мне стало нехорошо. У одного слепняка была совсем короткая левая лапка, у других усики походили на бесформенные сосиски, у третьего на глазу был какой-то черный нарост».



Она видит всё словно впервые.

«Хотя чисто умозрительно я была уверена, что радиоактивность влияет на природу, я всё же не могла вообразить, как это будет выглядеть в реальности. А теперь на предметном стекле моего микроскопа оказались эти несчастные насекомые. Я испытала шок. Точно кто-то отдернул завесу. Каждый день я обнаруживала всё больше пострадавших растений и насекомых. Иногда мне было трудно припомнить, какой формы должны быть нормальные растения. Я была так озадачена, что боялась потерять рассудок.

Я осознала, что должна освободиться от всех моих прежних предположений и воспринять с полной открытостью то, что было у меня перед глазами, не считаясь с риском, что меня сочтут сумасшедшей. Ужас, на который я натолкнулась, донимал меня во сне, навевая кошмары. Я принялась лихорадочно собирать и зарисовывать образцы» [21].

Первоначально Корнелия планировала, что это будет временный экскурс в другую тематику. «Чернобыльская катастрофа случилась, и я думала, что быстро с этим разделаюсь, — поведала мне Корнелия, — за один-два года, максимум за три, а потом вернусь к глазам мух-мутантов или чему-нибудь



похожему. Вот над чем мне вообще-то нравилось работать. Мне не хотелось бросать эту работу. А бросила я ее только потому, что сочла, что надо переключиться на эту тему. Все эти [опубликованные в журналах] картины написаны на дешевой бумаге, самой дешевой, из моего альбома для зарисовок. Это не были серьезные произведения искусства. Я была уверена: как только я напишу первые работы, ученые скажут: „Да, это очень интересно. Давайте поскорее отправимся в эти места собирать образцы“».

Корнелия поехала в Тичино, в окрестности дома, принадлежавшего родственникам ее бывшего мужа. Вернулась к насекомым, которых так хорошо знала. Здесь чернобыльские осадки были менее концентрированными, чем в Швеции, зато климат более мягкий. Когда начались радиоактивные дожди, насекомые в Тичино уже питались зеленью, которая на севере в тот момент еще не проклюнулась. Корнелия собрала слепняков и листья, а также поймала три пары дрозофил, которых привезла в Цюрих и стала выращивать на кухне своей квартиры. «Я каждый вечер сидела у микроскопа, пытаюсь угнаться за их стремительным размножением», — писала она. Этакая неоплачиваемая работа на полный день, но Корнелия, «охваченная потребностью видеть и открывать новое», даже, по-моему, не задумывалась о трудностях. Она готовила специальный корм, чистила банки, приучалась терпеть смрад и ухаживала за популяцией дрозофил, которая росла взрывообразно. Ее усилия вскоре вознаградились, и результат этот вселял жуть. «Я ужасалась увиденному», — написала она. И этот ужас — вновь и вновь, в противовес тому, что ученые не признают ее выводы, — принуждал ее заниматься этой темой.

### 3

В общих чертах всё очень просто. Международные организации, регулирующие атомную промышленность (в основном Международная комиссия по радиологической защите (International Commission on Radiological Protection, ICRP) и Научный комитет ООН по действию атомной радиации), вычисляют опасность радиоактивного излучения для здоровья человека, оперируя некими пороговыми значениями.

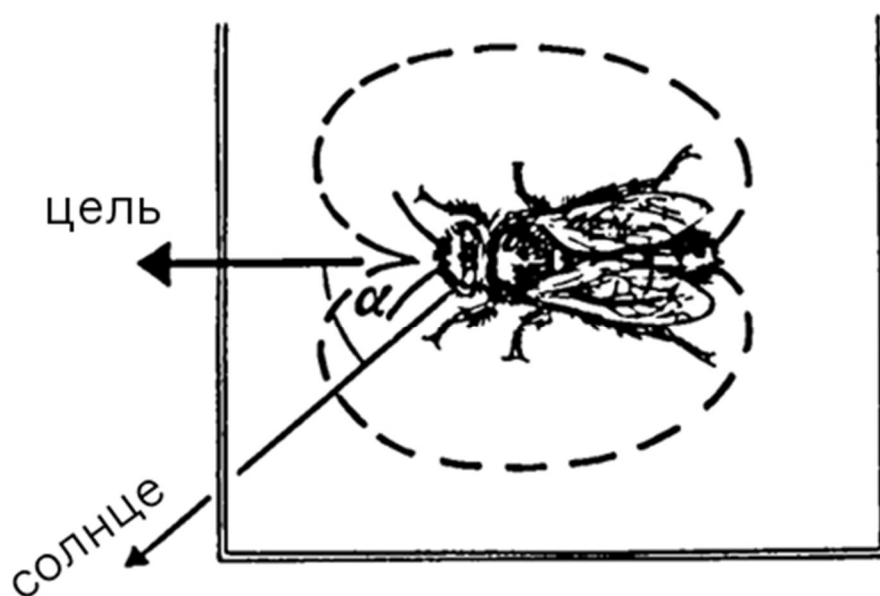
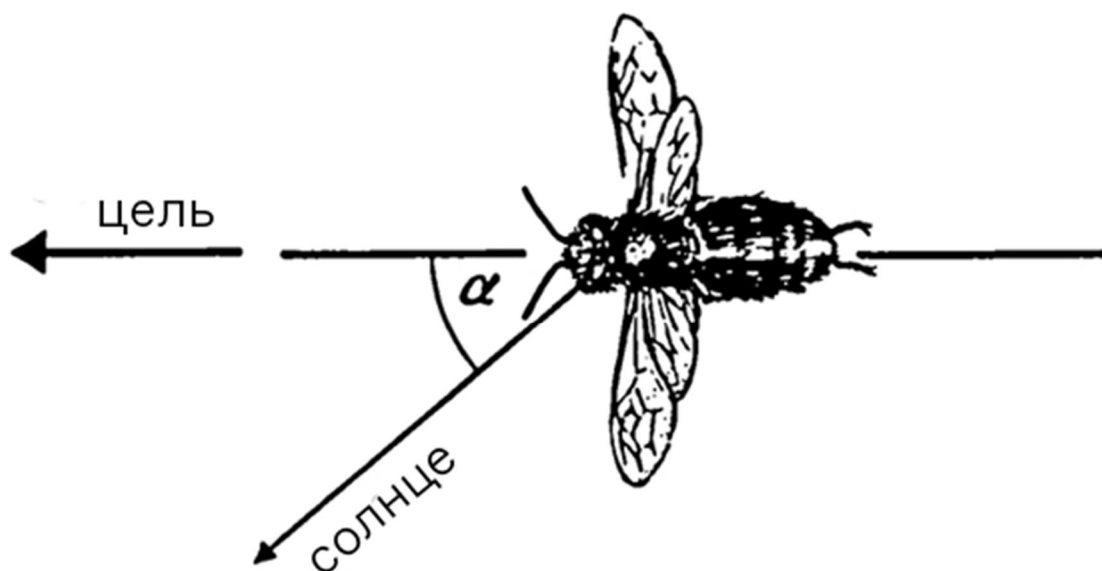
Хотя многие ученые признают, что мы еще слабо понимаем механизмы радиационного поражения живых клеток, что выбросы разных атомных установок существенно различаются по своему составу, что разные организмы (не говоря уже о разных внутренних органах и разных клетках на разных стадиях их развития) реагируют на заражение совершенно по-разному, пороговое значение устанавливает некий всеобщий уровень переносимости. Выбросы, не достигающие порогового уровня, считаются безопасными. В тревожные дни после Чернобыльской катастрофы именно понятие неизменного порогового значения позволяло правительственным экспертам заверять испуганное население, что опасность мизерная.

ICRP вычисляет пороговое значение по линейной кривой, которая экстраполируется исходя из частоты генетических (репродуктивных) отклонений от нормы, уровня заболеваемости раком, в том числе лейкемией, среди тех, кто пережил крупномасштабные атомные катастрофы.

Когда начались эти подсчеты, основной массив информации добывался путем наблюдений за теми, кто пережил бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Первичная доза радиации в этих местах была крайне велика, а получили ее люди за краткосрочный период. Получилась кривая, показывающая эффект воздействия искусственного радиоактивного излучения высокой интенсивности. Низкоинтенсивная радиация — например, долговременные выбросы атомных электростанций, функционирующих в нормальном режиме, — кажется относительно (если не абсолютно) слабой: ее воздействие не выходит за пределы «естественного» радиационного фона, испускаемого некоторыми химическими элементами, которые содержатся в земной коре. Предполагается, что большие дозы воздействуют сильно, а малые дозы — слабо.

Некоторые ученые, не связанные с атомной индустрией и часто выступающие сообща с общественными организациями из районов вблизи АЭС, предлагают альтернативный график. Идя по стопам канадского физика Абрама Петкау, осуществившего несколько исследований в семидесятые годы XX века, они утверждают, что воздействие радиации лучше всего отражает не «официальная» линейная кривая, где двукратное количество радиации оказывает вдвое сильнейший эффект, а «надлинейная» кривая, фиксирующая намного более сильный эффект от малых доз. Согласно надлинейной кривой, безопасной минимальной дозы выше нуля не существует.

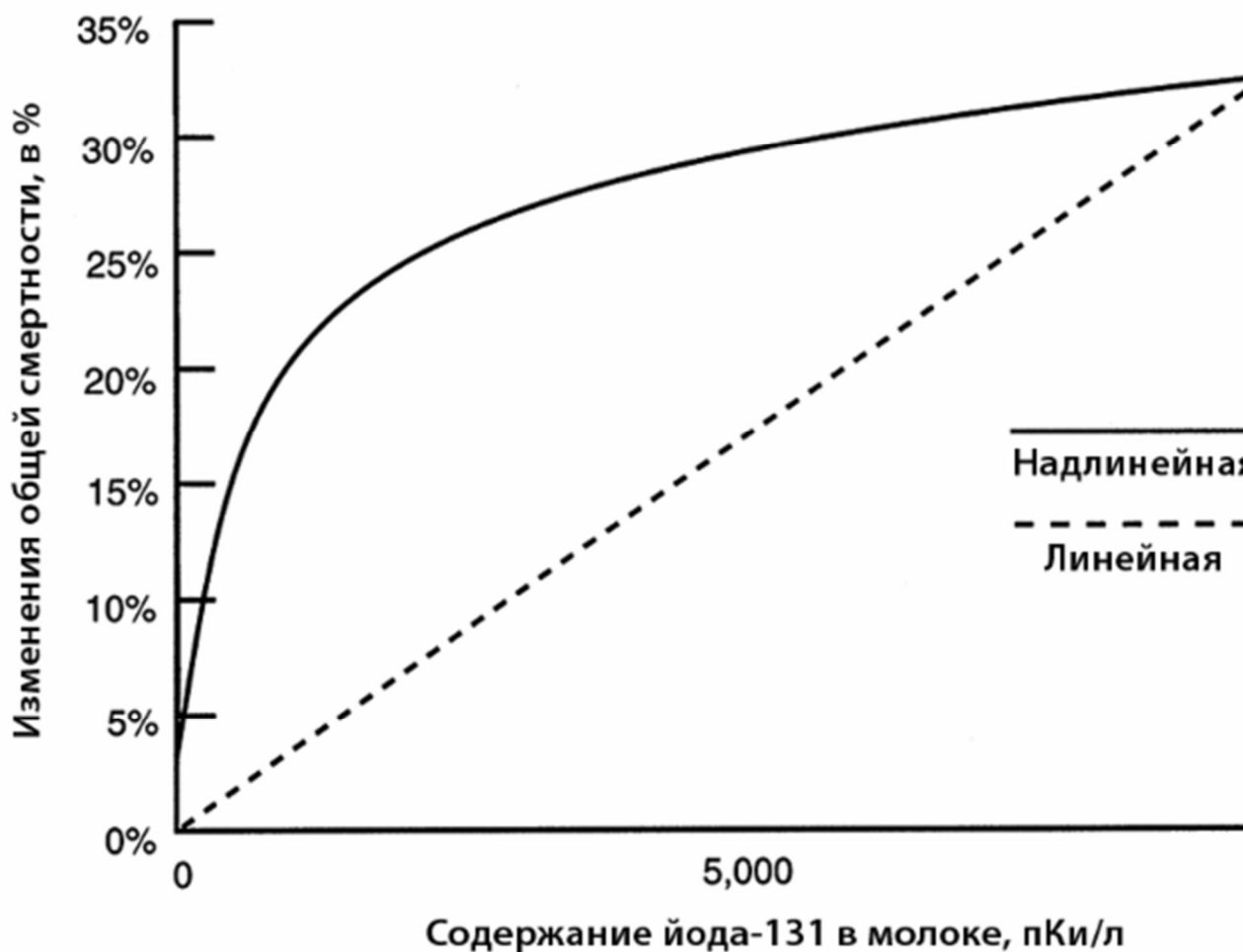
Эти исследователи часто начинают с эпидемиологии: изучают популяции с подветренной стороны атомных установок или ниже по течению рек относительно этих установок, ищут статистически существенные корреляции между локальными очагами заболеваемости и источниками низкоинтенсивного радиоактивного излучения. Исходя из предположения, что существует причинно-следственная связь между излучением и болезнями (эту предпосылку подкрепляет не только эпидемический масштаб некоторых очагов заболеваемости, но и скрытность атомной индустрии), ученые сосредотачиваются на выявлении механизмов сбоя биологических функций, вызываемых низкоинтенсивными дозами [22].



Например, британский специалист по физической химии Крис Басби, борец против ядерной энергетики, делает упор на двух важнейших, но малозамечаемых переменных: развитии клетки и нерегулярном поведении искусственной радиации [23]. Как утверждает Басби, в нормальных условиях клетка (любая) подвергается воздействию радиации примерно раз в год. Если клетка находится в своем нормальном состоянии покоя, она весьма вынослива. Однако в моменты активного репродуцирования (в режиме «починки», который включается при стрессе разных видов) та же самая клетка крайне восприимчива к воздействию радиации. В эти моменты она проявляет значительную нестабильность генома, и два попадания радиации оказывают на нее куда более сильное воздействие, чем одно попадание. Вдобавок, говорит Басби, употребление радиоактивных частиц с пищей и водой оказывает воздействие, которое весьма отличается от воздействия извне — через кожу. Некоторые разновидности внутреннего радиационного воздействия (например, при питье зараженного молока) могут означать многократные удары радиации по одной и

той же клетке в течение нескольких часов. Если клетка, находящаяся в режиме активного репродуцирования, подвергнется второму удару искусственной радиации, то, уверяет Басби, вероятность мутации в этой клетке повышается в сто раз.

**Кривая реакции на дозу излучения: рост общей смертности в зависимости от содержания йода-131 в молоке, в %**



Согласно «теории второго события» Басби, степень уязвимости клетки перед радиацией зависит от стадии развития клетки в данный момент. Причем эта уязвимость еще более усиливается ввиду того, что волнам искусственной радиации свойственна произвольность, прерывистость. Корнелия объяснила мне произвольность искусственной радиации, проводя аналогию с пулями: неважно, сколько пуль выпущено, кто стреляет и даже где и когда идет стрельба; чтобы ощутить воздействие стрельбы на собственной шкуре, достаточно оказаться в неудачное время в неудачном месте. Линейная кривая ICRP предполагает, что частицы распространяются постоянно, а их воздействие предсказуемое. Если, как утверждают многие, эти предпосылки неверны, то степень восприимчивости окружающей среды к воздействию радиационного заражения, вероятно, намного выше (собственно, эта степень достаточно высока, чтобы объяснить данные эпидемиологии о повышенной смертности в популяциях людей,

животных и растений в местах, на которые обрушиваются более или менее постоянные радиоактивные выбросы).

Борцы с низкоинтенсивной радиацией, несомненно, предсказали бы реакцию экспертов на статьи Корнелии в *Tages-Anzeiger Magazin*. Ученые, подтвердив официальную позицию (согласно которой радиоактивные осадки из Чернобыля воздействовали слишком слабо, чтобы вызывать мутации), попросту заявили, что явление, должно быть, объясняется чем-то другим. По их мнению, методология Корнелии не учитывала должным образом такие альтернативные причины, как воздействие пестицидов и паразитов. Корнелия не предложила базовый материал для сравнения, не дала для сопоставления какой-либо свободный от заражения ареал, где можно было бы измерить нормальный для того или иного биологического вида уровень отклонений. Собственно, указывали ученые (игнорируя тот факт, что Корнелия выступила с утверждениями скромного масштаба), она вообще не привела никаких цифр: ни об уровне доз, ни о частоте дефектов [24]. Ученые отвергли ее наглядные доказательства, отказали ей в экспертной оценке, а если иногда вначале выражали неосмотрительный интерес к ее материалам, то затем отвергали их без объяснений. Так повторялось неоднократно.

«Я показала своих клопов и мух всем профессорам, с которыми раньше работала. Я даже принесла директору Зоологического института, профессору генетики, маленькую пробирку с деформированными живыми мухами. Он поленился даже взглянуть на них и сказал, что на исследование пришлось бы потратить слишком много времени и денег. Он заявил: затраты никак не оправданы, поскольку уже подтверждено, что малые дозы радиации не вызывают морфологических дефектов» [25].

Разумеется, при взгляде со стороны всё кажется совершенно предсказуемым: Корнелия — дилетант и вдобавок женщина; тема важная и щекотливая; атомная индустрия отличается скрытностью. Ученые задают одни и те же вопросы: «Достаточно ли у нее квалификации, чтобы объяснять обнаруженные ею дефекты именно этой причиной? Достаточно ли у нее квалификации, чтобы отличать мутации, вызванные радиацией, от естественного разнообразия, ожидаемого в любой популяции? Достаточно ли у нее квалификации, чтобы разрабатывать собственные методы? Достаточно ли у нее квалификации, чтобы подогревать истеричность граждан, которых Чернобыль довел до паранойи? Обладает ли она достаточной квалификацией для того, чтобы противоречить квалифицированным специалистам? Как она может жить, зная, что ее статьи спровоцировали волну абортотворения среди жительниц Тичино?»

Но за пределами научного сообщества (а также, стоит отметить, среди немногих ученых, которые уже симпатизируют антиатомному движению) реакция не была такой уж повсеместно враждебной. Корнелия выступала на радио и получала много обнадеживающих писем. После первой статьи Социал-демократическая партия Германии, которая в то время в ФРГ находилась в оппозиции, призвала исследовать локальное воздействие Чернобыльской катастрофы. После второй статьи правительство Швейцарии, вынужденно

реагируя на нажим общественности, согласилось выдать грант на диссертацию о состоянии здоровья слепняков на территории всей страны.

И всё же Корнелии стало не по себе от враждебности ученых. Пожалуй, вдобавок надо вспомнить, какие споры об атомной энергетике разразились в Европе после Чернобыля. В Швейцарии антиатомное движение было громогласным и эффективным в политическом отношении, а статьи Корнелии прогремели в прессе в тот самый момент, когда активисты собирали сто пятьдесят миллионов подписей, необходимых для проведения третьего референдума об ограничении атомной промышленности. На первых двух референдумах (в 1979-м и в 1984-м) с небольшим перевесом победили сторонники АЭС, но третий референдум, состоявшийся в сентябре 1990 года, повлек за собой десятилетний мораторий на строительство новых реакторов. Было невозможно вмешаться в дебаты по этому вопросу, сохраняя наивность. Но Корнелия, похоже, считала, что всё еще остается частью научного сообщества; если тогда ее и не признавали открыто непрофессиональным экспертом, то как минимум она была помощницей ученых, вносила свой вклад в науку благодаря своим художественным способностям. Возможно, она слишком самостоятельно мыслила, чтобы играть ту вспомогательную роль, которой ждут от научного иллюстратора; но разве она не была участницей общих усилий, направленных на исследование и постижение мира?

Обнаружив цикаду, у которой на коленном суставе росла гротесковая культя, Корнелия принесла это насекомое некоему профессору на пенсии. «Много лет назад, — написала она, — я собирала вместе с ним насекомых для курса зоологии в университете. У него я научилась составлять профессиональную коллекцию насекомых. Именно его уроки сделали меня скрупулезным научным иллюстратором». Профессор признал, что никогда раньше не видел подобных дефектов, но отверг важность этой находки и отчитал Корнелию как ребенка за ее статью для *Tages-Anzeiger*. «Вы не должны мнить себя ученым только потому, что рисовали картинки для меня и моих коллег», — сказал он [26].

Корнелия была шокирована этим сплоченным отпором. Реакция ученых смахивала на остракизм. Это был решающий момент, и вновь сложилось впечатление, что Корнелия, говоря ее собственными словами, «одержима», что в ней живет интуитивная убежденность в правоте ее воззрений, что она видит нечто, незримое другим, — угрожающие заболевания незримых насекомых.

Вспоминая те бурные месяцы, Корнелия написала: «Я поняла, что дело моей жизни нашло меня само» [27].

Я не хотел бы, чтобы эти строки воспринимались как гимн Корнелии. Но давайте я просто расскажу, чем она занимается. В Швеции она с удивлением обнаружила, что никто не изучает воздействие Чернобыля на животных и растения. Вернувшись в Швейцарию, она ознакомилась с критикой своей первой статьи. Если, как уверяют ученые, эти отклонения вызваны не низкими дозами радиации, то в окрестностях швейцарских АЭС, знаменитых своей экологической чистотой, вообще не должно быть никаких отклонений. Не зная, чего ожидать, Корнелия едет в кантоны Аргау и Золотурн и совершает пешие прогулки поблизости от пяти местных атомных установок. Слепняки с

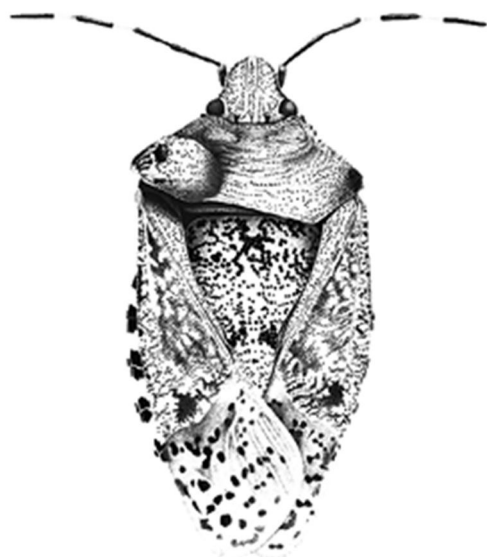
дефектами, которых она обнаруживает на каждом шагу, становятся героями ее второй статьи в *Tages-Anzeiger Magazin*, вызвавшей еще больше споров, чем первая.

«Я полагаю, — пишет она в заключительной части, — что мы должны исследовать [причины этих отклонений], применяя самые лучшие и изощренные методы, которыми мы располагаем, и финансируя работы на уровне, который я не могу себе позволить. С помощью своих иллюстраций я могу только указывать на изменения. Я делаю изменения заметными. Этими усилиями я осмеливаюсь указать на кризис, существующий при исследованиях воздействия, которое оказывает искусственная низкоинтенсивная радиация, и более того: призываю ученых внести ясность на более широком уровне. Средств, которыми я располагаю, недостаточно для того, чтобы я двигалась дальше. Но более детальные исследования возможны и необходимы» [28].

#### 4

Этот садовый клоп — из Кюссаберга (Германия). Недалеко от Кюссаберга, в швейцарском кантоне Аргау, находится Лайбштадтская АЭС. У клопа полностью деформирован шейный щиток; слева — разбухший волдырь с каким-то необычным черным наростом. Корнелия изобразила его изящно, но педантично. Картина поразительно красива, когда видишь ее в цвете (различные оттенки золотого цвета) и в натуральную величину (размер этой картины сорок два на тридцать сантиметров; некоторые работы Корнелии намного больше).

Композиция типична для Корнелии: неумолимо сурова. Безликий белый фон оттеняет сходство насекомых с архитектурными сооружениями: структуру их тел, монументальность их облика, декоративность внешних покровов. Насекомые предстают в чопорных, откровенно вымученных позах. Корнелия смещает лапки и крылья, чтобы обнажить уродство; часто в тех же целях она изображает своих «моделей» без конечностей или каких-то сегментов тела либо рисует только контуры.



В отличие от научных иллюстраторов, которые, как поясняет Корнелия, применяют технику светотени, унаследованную от XIX века, она предпочитает цветовую перспективу — подход, основоположниками которого были Сезанн и кубисты: эффект объемного пространства создается благодаря взаимоотношениям цветов (обыгрываются контрасты оттенков по насыщенности, температуре цвета, яркости); кроме того, Корнелия учитывает — подобно Гёте, Рудольфу Штайнеру и Йозефу Альберсу — субъективный и релятивистский характер восприятия цвета. Светотень, говорит она, — это работа историка, запечатлевающая некий конкретный момент, останавливающая свет и вместе с ним время; цветовая перспектива — это, наоборот, вечность, нечто вне времени. Затем Корнелия показывает мне, как, работая над картиной, она меняет положение насекомого под микроскопом, чтобы окончательное изображение представляло собой комбинацию из нескольких ракурсов; тут снова вспоминаются кубисты и их многогранные изображения одновременности.



Акварели Корнелии реалистичны, но не натуралистичны. Живые существа у нее, за редкими исключениями, совершенно безжизненны. Их физический облик акцентируется; чувствуется, что это образцы, собранные зоологом. Каждая картина — портрет, а каждое насекомое — субъект со своей особой индивидуальностью. Корнелия сказала в беседе со мной: «Мне нравится, что насекомое может быть самим собой. Поэтому я предпочитаю писать каждую особь такой, какова она в жизни. К примеру, я могла бы написать насекомое с пятью разными изъятиями, которые я обнаружила в определенном районе. Но я предпочитаю этого не делать. Я хочу показать особь с ее индивидуальными особенностями». Выставленное напоказ насекомое висит на стене — массивное, поразительно детально проработанное, в сопровождении этикетки, где указаны дата и место обнаружения образца, а также перечислены его нестандартные черты; эта этикетка — якорь, который закрепляет вневременное изображение во времени, пространстве и политической сфере. Картины Корнелии, для которых



во многом характерна визуальная грамматика биологических наук, кажутся безмолвно-бесстрастными, непоколебимо документальными. Но они — целиком от мира сего: в них пульсируют эмоции.

Корнелия как-то сказала мне, что, впервые увидев деформированного слепняка — такого крохотного, такого искаленного, такого незначительного, — она потеряла душевное равновесие, способность отличать важное от маловажного, чувство масштабов и пропорций. На мгновение ей показалось, что она точно не знает, на кого смотрит: на себя или на насекомое. Рассказав мне об этом, Корнелия помолчала. «Кого волнуют слепняки? Они ничего не значат», — сказала она. И пустилась в воспоминания о том, как подростком она, дочь двух знаменитых художников, держалась в тени, никем не замечаемая, когда ее родители принимали у себя Марка Ротко, Сэма Фрэнсиса, Карлхайнца Штокгаузена и других выдающихся деятелей в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе («Никто никогда меня не узнавал и даже не видел... А я никогда не встревала в разговоры»). Она также вспоминала, что за двадцать лет ее муж ни разу не зашел в ее мастерскую, и о том, как, когда она родила сына, врач пришел в палату и нарисовал что-то на бумажке, чтобы известить ее: у ребенка косолапость, а потом, когда она увидела в Швеции первого деформированного слепняка, у него тоже была искалена нога. И она рассказала мне, что, когда увидела то первое изуродованное насекомое, шок от всех переживаний внезапно слился воедино со столь неожиданной мощью, и ее начало мутить, и пришлось сделать над собой физическое усилие, чтобы ее не стошнило.

А потом, спустя несколько минут, сидя в своей цюрихской квартире в тусклом вечернем освещении, она сказала: «В конечном счете картина — это всё. Никто не видит насекомых как таковых». И теперь я помедлил, потому что не совсем понял, что она имеет в виду. В ее словах звучала жалоба, удрученность тем, что ее картины слишком быстро «одомашниваются» человечеством, превращаясь в чисто символические образы, и слишком легко переходят от незримости к чудовищной заметности, слишком эффективно обозначают человеческие страхи, слишком охотно выпячивают озабоченность человечества собственными проблемами, и тогда конкретная особь — насекомое, которое она нашла («Это райское наслаждение!»), изловила («Они могут перемещаться очень быстро»), прикончила хлороформом («Я всегда говорю себе, что следующим летом перестану это делать»), наколола на булавку, снабдила этикеткой, добавила к тысячам других в своей коллекции и в итоге узнала так близко благодаря микроскопу, кистям и краскам, — вновь и вновь, кажется, остается без внимания, теряется.

Но потом я вспомнил, как Корнелия говорила: если бы она избавилась от неодолимой тяги писать уродства, если бы она была вольна писать всё, что захочется, ее творчество направилось бы по пути, предначертанному картинами с глазами мутантов, которые она закончила до того, как поездка в Эстерфарнебо выбила ее жизнь из привычной колеи. И я осознал, что она сожалеет не только об утрате насекомого-индивида. На своей картине она трактует насекомое не как существо или тему картины, но как его антитезу: насекомое как логика эстетики, как союз формы, цвета и ракурса. Эти работы открыто опираются на ее прошлое, связанное с конкретным искусством — художественным течением,

центром которого в послевоенные годы стал Цюрих. Корнелия получила первоначальное эстетическое образование именно в духе конкретного искусства, видным представителем которого был ее отец Готфрид Хонеггер. (Мать Корнелии Варя Лаватер приобрела широкую известность как график-новатор и автор «книг художника».)

Живопись в духе конкретного искусства — это обычно геометрические рисунки, высококонтрастные цветовые блоки, стекловидные плоскости, отказ от фигуративных и даже метафорических отсылок. Декларацией об основании этой художественной школы, пожалуй, можно назвать программную работу Казимира Малевича «Белое на белом» (1918) — белый квадрат, написанный на белом фоне. Позиционируя себя как поборников радикальной эстетики, порвав с консерватизмом предметно-изобразительного искусства, Макс Билл, Рихард Пауль Лозе и другие основоположники конкретного искусства ориентировались на советский конструктивизм, геометрию Мондриана и общества «Де Стейл», а также на формализм Баухауса. В 1938 году Билл писал в своем манифесте *Konkrete Gestaltung* («Конкретное оформление»): «Мы называем эти произведения искусства „конкретными“, они возникли благодаря своим, присущим им средствам и законам, — не заимствуя ничего у явлений природы, не трансформируя эти явления, то есть, иначе говоря, не путем абстракции» [29].

Абстрактное искусство — поиски визуального языка, который основывался бы на символах и метафорах, — это тоже предметная живопись: оно всё равно привязано к предмету, которому подражает, оно всё равно вопрошает: «Что это за вещь? Как ее осмыслить? Как о ней поведать?» Поборник конкретного искусства полагает, что произведение не должно говорить ни о чем, кроме себя самого. Оно не должно отсылать к чему-либо вне себя. Оно должно давать зрителю полную свободу интерпретации. Его знаки и их референты должны быть едины и одинаковы: форма, цвет, количество, плоскость, ракурс, линия, текстура.

С сороковых годов XX века центром этой школы был Цюрих, который в военное время стал убежищем для критически настроенных интеллектуалов. Но влияние конкретного искусства ощущалось по всей Европе (примечательный пример — оп-арт Бриджит Райли и Виктора Вазарели), в США (вспоминаются такие направления живописи, как «цветные поля» и минимализм), а также в Латинской Америке (особенно среди бразильских конкретных и неоконкретных художников, к которым можно отнести таких авторов, как Лижиа Кларк, Элио Ойтисика и Сильдо Мейрелиш). Течение было разнородным, но довольно рано сплотилось в поисках искусства, которое было бы зримым и осязаемым выражением чистой логики («математическим образом мышления в искусстве нашего времени», как сформулировал Билл) [30]. «Конкретизируя» интеллект и дистанцируясь от интерпретации, конкретное искусство было открытой отповедью сюрреализму с его апелляцией к бессознательному. Но, как оказалось, субъективность упрямо не желала уходить. Картины и скульптуры в стиле конкретного искусства тоже были плодами произвольного выбора художников. Выход из этой ловушки сулили вероятность, счастливый случай и

произвольность, и поиски эффективного способа интеграции всего этого в творческий процесс сильно заботили художников.

Я далеко не сразу понял, как важна для Корнелии эта эстетика. С одной стороны, казалось очевидным, что ее тонкое чувственное восприятие насекомого противоречит основному тезису конкретного искусства — верности беспредметности Малевича, который целенаправленно разрушал связи между искусством и материальными объектами. И всё же я понял по нашим разговорам, что в момент, когда Корнелия пишет картину, она видит форму и цвет, а не автономный объект. В формализованности ее портретов или в повторениях поз тоже нет ничего случайного. Тут царит геометрия: насекомые располагаются на координатной сетке, которую Корнелия систематически вычерчивает с начала до конца. Метод Корнелии сочетает огромный педантизм с ярко выраженной произвольностью, поскольку результат зависит от того, что видно в микроскоп. Довольно часто, закончив картину, Корнелия обнаруживает у насекомого изъяны, которых она не заметила раньше. Ее метод живописи, как она уверяет, принуждает ее неумолимо порывать с самой собой, изымает из изображения ее политические взгляды (она сочувствует «зеленым») и ее сопереживание живым существам, так что картины как таковые освобождены от присутствия автора. «Моя задача, — сказала мне Корнелия, вторя Максу Биллу, — просто показать [насекомое] и написать его, а не судить его». Зрители, говорит она, должны искать смысл картины, не нагруженной какими-то идеями автора.

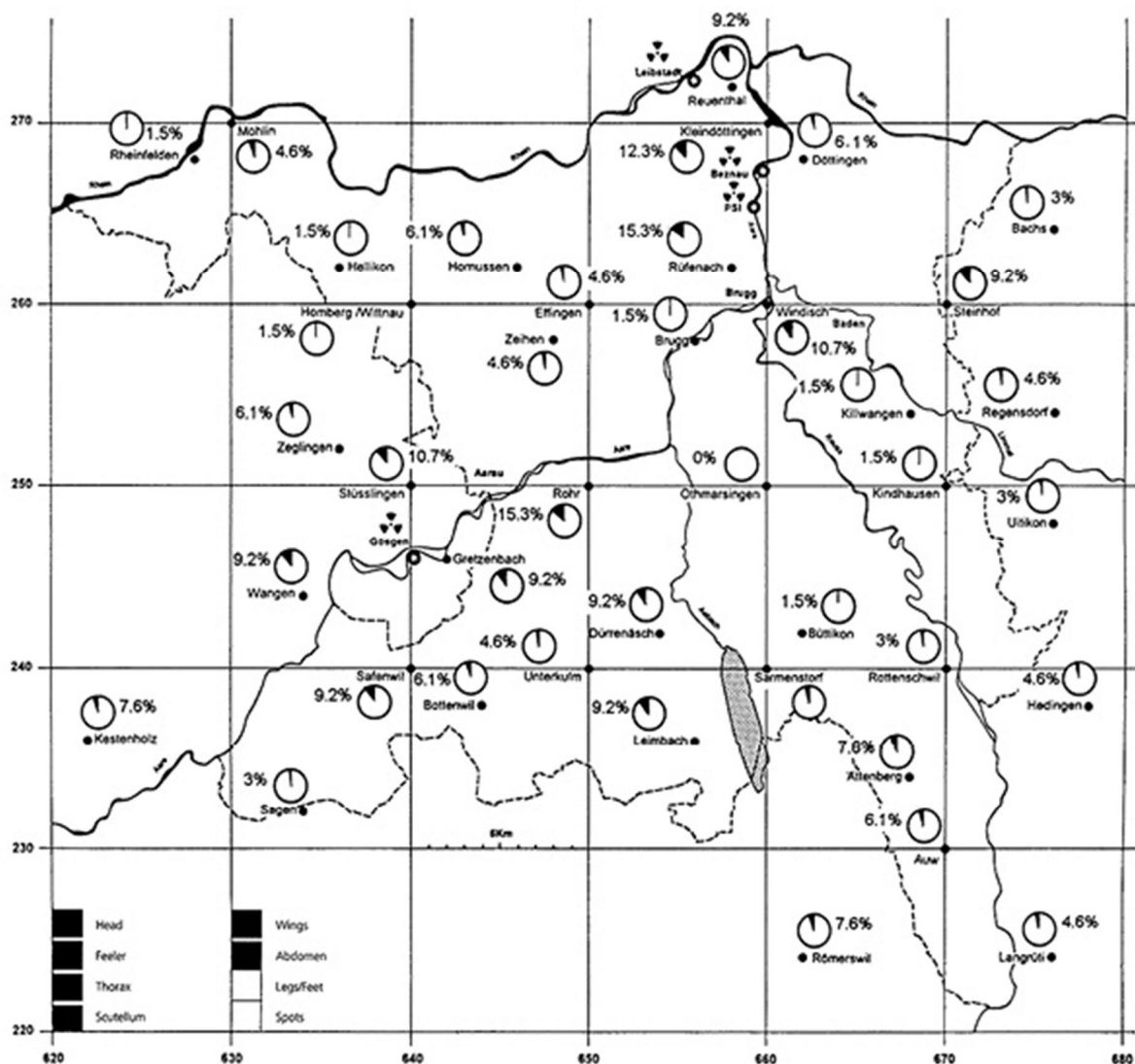
Но я задумался: как вообще могут Корнелия или зритель удержаться от суждений, если Корнелия — непреклонная сторонница отказа от атомной промышленности, если она чувствует свои обязательства перед насекомыми, если ее картины сопровождаются описательными этикетками, если вокруг творчества Корнелии столько споров? «Я всё же думаю, что удержаться можно, — ответила Корнелия. — Когда я сижу и рисую, у меня только одно желание — передать всё как можно точнее. Дело не только в политике: я углубленно интересуюсь структурами в природе». Но что это за беспредметное искусство, если оно так четко опирается на предметы? Возможно ли, чтобы картины Корнелии одновременно были «глубоко погружены в мир», как она формулирует, и не говорили ни о чем, помимо самих себя? Нет ли противоречия между этой парой побуждений, стоящих за ее творчеством: желанием распознать в насекомом индивида и одновременно стереть эти индивидуальные черты, подчиняясь какой-то эстетической логике формы? «Да, — отвечает Корнелия, не колеблясь, — в действительности мое творчество — это не конкретное искусство и не натурализм». И, по мнению многих, это также не наука и не искусство. «Может, и так, — смеется Корнелия, — вот почему мне так редко удается продавать свои работы!»

В тот же вечер, спустя долгое время, когда мы оба уже клюем носом и беседа буксует, Корнелия снова возвращается к этому вопросу. Мы говорим о ее участии в общественных кампаниях, о том, как передвижная выставка ее картин, организованная Всемирным фондом дикой природы, показывалась в районах, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, и вдруг Корнелия резко меняет тему. «Это художественный вопрос, — говорит она

внезапно. — Как показать структуру... Вопрос в том, как я могу показать структуру того, что нахожу». Это не просто политика. Но как утверждать это, когда политика затмевает всё, а картина намного сложнее, чем кажется на первый взгляд? А потом, разочарованно, очень утомленно, переходя на шепот, Корнелия произносит: «Всё непременно фокусируется на этих акварелях...»

## 5

После публикации статей в *Tages-Anzeiger* Корнелия посвятила себя исследованиям состояния здоровья слепняков вблизи атомных электростанций в Европе и Северной Америке. Она собирала насекомых в Селлафилде на северо-западе Англии (там, где в 1957 году произошла так называемая Уиндскейлская авария: Селлафилдская АЭС прежде называлась Уиндскейлской), в окрестностях комбината по переработке отходов на мысу Ля Аг в Нормандии, в Хэнфорде, штат Вашингтон (у завода, где производился плутоний для проекта «Манхэттен»), у забора испытательного полигона в Неваде, на острове Три-Майл в Пенсильвании, в кантоне Аргау, где Корнелия проводила лето в 1993–1996 годах (карта, приведенная на следующей странице, составлена на основе данных о двух тысячах шестистах насекомых), а также в поездке в зону отчуждения вокруг Чернобыля в 1990 году (туда Корнелию пригласили). Она читает лекции, выступает на конференциях, организует выставки своих картин в сотрудничестве с экологическими организациями, а также работает над масштабным проектом вместе с организацией *Strom ohne Atom* («Электричество без атомной энергии») — документирует распределение одиннадцати типов морфологических пороков (например, неполные или уродливые сегменты усиков, крылья разной длины, неровный хитиновый покров, деформированные щитки, уродливые лапки и т. д. и т. п.) в группах по пятьдесят слепняков, которых она собирает в каждой из двадцати восьми географических точек на территории Германии.



Корнелии удалось наладить прочные связи с некоторыми учеными. Например, в Ля Аг с ней сотрудничал Жан-Франсуа Вьель — помогал со статистическим анализом ее коллекции. Вьель, преподаватель биостатистики и эпидемиологии в Безансонском университете, выявил среди местных жителей очаг заболеваемости лейкемией. Но в целом Корнелия теперь более скептически смотрит на попытки привлечь к своей работе специалистов, а на критику отвечает реорганизацией своих исследований: она более систематично собирает данные, более тщательно ведет документацию, ее картины — уже не быстрые зарисовки, в отличие от лихорадочно сделанных рисунков первых полевых экспедиций. В интервью и публикациях Корнелия начала подробно освещать вопросы методологии: она уверяет, что на планете, которая повсеместно загрязнена радиацией от наземных испытаний ядерного оружия и работы АЭС, не может быть «контрольного ареала»; она скрупулезно указывает, что документирует индуцированные пороки развития соматических клеток, а не наследуемые мутации («Я не могу утверждать, что это мутации, потому что не могу это доказать, а если я чего-то не могу доказать, то, полагаю, мне нельзя это утверждать», — говорит она мне). Таким образом Корнелия акцентирует свой собственный опыт эксперта, всё активнее участвует в деятельности тех «внеаучных» форумов, где ценят ее таланты, и распространяет свои находки через экологические организации, прессу и учреждения культуры.

Эта тактика дает Корнелии свободу действовать в качестве эколога-активиста, жить в мире, где политика научных доказательств выворачивается наизнанку, превращаясь в принцип предосторожности, который гласит, что обоснованный страх перед потенциальной опасностью — достаточное основание для возражений против некой политики, метода или технологии. Эта тактика освобождает Корнелию от необходимости действовать в длинной тени науки, от необходимости самоутверждаться в соответствии с комплексом методологических и аналитических стандартов, которых никогда нельзя достигнуть, поскольку они всегда изначально институциональны, то есть признаны лишь теми, кто обладает соответствующими атрибутами (докторской степенью, званием члена научного общества, связями среди профессионалов, списком полученных грантов или опубликованных статей). Разумеется, ирония в том, что Корнелия лучше всех понимает свои недостатки в плане науки. И Корнелия как никто была готова смириться (что видно по тону ее первых статей и ее просьбам к профессорам) со стандартной подчиненной ролью дилетанта — служанки профессионального ученого. Мне становится ясно: чем глубже Корнелия осознает значимость своего труда, тем усерднее работает. А она осознала всю важность своей работы, когда стало ясно, что она в полной изоляции борется за признание воздействия слабой радиации на насекомых и растения. Где бы теперь была Корнелия, если бы не столкнулась с такой враждебностью и отторжением? «Я этого не понимаю, — сказала она в Цюрихе, — ведь если бы я нашла всего одного слепняка с искривленной мордочкой, этого уже было бы достаточно, чтобы спросить: „Что происходит“?» И всё же признаки перемен налицо, несмотря на все трудности. Возможно, идеям Корнелии придал новую актуальность текущий интерес к атомной энергии как «экологическому» источнику энергии, а может быть, неутомимый труд Корнелии приносит плоды, но недавно она добилась неожиданного успеха: опубликовала в научном журнале *Chemistry and Biodiversity* заметную (и прекрасно иллюстрированную) статью, где, как и следовало ожидать, называет все вещи своими именами.

Нельзя сказать, будто художественные круги приняли Корнелию более гостеприимно, чем научные. В статье, пронизанной сочувствием к ней, художник и критик Питер Сучин пишет: «Для одного слоя аудитории практика Хонеггер обесценивается ввиду ее „художественной“ манеры, а для другого слоя эта практика просто недостаточно художественная». В этой сфере ее творчество слишком напористо-реалистично и слишком связано с иллюстрацией, которая, продолжает Сучин, «как будут утверждать многие, не „искусство“, а всего лишь техника, стереотипная манера регистрации фактов, по большей части лишённая тех новаторских, критических и трансформирующих функций, которые часто ассоциируются с художественным творчеством» [31].

Нежелание Корнелии считаться с эпистемологическими границами, похоже, нервирует художественных критиков не меньше, чем ученых. Ее картины уверяют, что проблема в самой границе, а не в ее нарушении, а на самом деле наука и изобразительное искусство должны жить вместе, а их разделение — это, как явствует из энергичных зарисовок луны, сделанных Галилеем, искусственное порождение исторического процесса, когда знание расчленилось

на всё более специализированные и всё менее амбициозные научные дисциплины. Корнелия считает своими научными предшественниками Геснера, Мериан и Галилея: все они понимали, что «активное» зрительное восприятие через графику и живопись — фундамент научного познания и что эмпирический метод начинается, когда художник развивает в себе особую внимательность, основанную на зорком наблюдении за природой.

Но умение видеть, восприятие и внимание — это еще не всё, что есть в этой истории. После того как *Tages-Anzeiger* опубликовала ее вторую статью, Корнелия поехала на север Англии в Селлафилд. Поскольку было уже известно, что тамошние места сильно загрязнены радиацией от реактора, Корнелия полагала, что обнаружит там больше насекомых с пороками и более серьезные изъяны, чем в кантоне Аргау. Но разница между Селлафилдом и Аргау оказалась незначительной. Спустя непродолжительное время Корнелия побывала в Чернобыле, испытала шок от тяжелых условий, в которых там живут люди, а также изумление (и затаенное разочарование) оттого, что жизнь насекомых там выбита из колеи столь же сильно, как и в Швейцарии, но не больше.

Некоторое время Корнелия посвятила размышлениям и, по-видимому, еще дальше отошла от тех научных принципов, которые ей прививали в Зоологическом институте:

«Я намеревалась разработать шкалу, которая демонстрировала бы, что в местах с низким уровнем радиации насекомым наносится не такой большой вред, как в местах с высоким или крайне высоким радиационным уровнем. Я читала литературу об радиоактивности, а также об эффекте Петкау, но не знала, как расценивать все эти разные мнения. Не могла я и опереться на научные исследования, потому что их вообще не было. И теперь я ступила на неизведанную почву. Мрачно сидя в своей комнате в Англии, я была вынуждена признать, что моя работа по-прежнему основывается на убеждениях цюрихских ученых и на идее линейного или пропорционального усиления радиационного воздействия. Но оказалось, это я смотрю на всё с предубеждением. Я искала доказательства, которые подтвердили бы мои собственные теоретические спекуляции» [32].

Выход заключался в том, чтобы вернуться к принципам конкретного искусства, к его родству с наукой как таким же оплотом рациональности и в особенности к пониманию произвольности в конкретном искусстве. Корнелия еще раньше внедрила произвольное мышление в свой художественный метод и эстетику. Это был один из ключевых компонентов ее попыток сделать так, чтобы насекомое оставалось самим собой, а не всего лишь средством ее художественного самовыражения. Мрачно глядя в свой микроскоп в гостинице на севере Англии, Корнелия вновь и вновь видела, что плоды наблюдений противоречат тем заранее принятым тезисам, которые она навязывала ландшафту, загрязненному радиацией. На каждом шагу Корнелия видит непредсказуемые сочетания обстоятельств:

«Реальность разнообразна. Каждая атомная электростанция излучает свой собственный „атомный коктейль“. Каждый ландшафт с его индивидуальными метеоусловиями и топографическими особенностями реагирует по-своему. В

Швейцарии, где метеоусловия, для которых характерны инверсии, препятствуют рассеиванию отходов и радиации в атмосфере (или, по крайней мере, снижают его масштабы), ситуация совсем другая, чем в районах, где сельскую местность постоянно обдувает сильный ветер» [33].

Какая симметрия! И какое мрачное удовлетворение испытываешь, когда всё складывается в единую картину: непредсказуемое сочетание обстоятельств, которое предопределяет ландшафт или живой организм, конкретная эстетика случая, произвольное поведение искусственных радиоизотопов. Что-то вроде хаотичности — комбинация непредсказуемости со случаем — теперь становится не только эстетическим, но и аналитическим подходом:

«Если вы хотите систематически исследовать отношения между двумя явлениями, не следует ожидать, что вы откроете некую красивую формулу причинно-следственной связи. Придется отбросить представление, будто истина зримо даст о себе знать. Явлениям требуется простор для самовыражения. Каждая индивидуальная особенность в популяции (или сочетание особенностей) может оказаться потенциально важной чертой.

Это, разумеется, вовсе не революционное открытие. Каждое статистическое исследование основывается на случайном распределении характерных черт. Но, по моему мнению, это важно не только для науки в целом и не только для статистики, но и для искусства. Полагаю, что в искусстве еще важнее экспериментировать со случаем, так как сила художественного изображения — в том, чтобы воспринимать каждое явление как уникальное» [34].

Когда Корнелия всё дальше отходит от традиционной науки и всё больше сближается с активистами, выступающими против атомной энергетики, у нее появляется не только готовность критиковать ядерную физику за предполагаемую коррумпированность, но и возникает острое ощущение, что наука ограничена в эпистемологическом смысле. Отчасти это восходит к тому, что Корнелия ощущает всю уязвимость особого, «внечеловеческого» мира слепняков, дрозофил и растений. Отчасти это порождено ее личной разочарованностью. А отчасти, по-видимому, навеяно лекциями австрийского физика и философа Пауля Фейерабенда, на которые она ходила лет двадцать назад. Фейерабенд прославился тем, что отвергал метод, основанный на традиции, и провозглашал равноправие множества разных способов познания [35]. Мне кажется, я слышу в ее словах отзвуки иконоборческого «эпистемологического анархизма» Фейерабенда, когда она говорит мне, что ученые чересчур много мыслят линейно; и вот еще отзвуки: Корнелия говорит мне, что ученые наглядно воображают себе некие обособленные, не взаимосвязанные объекты, помещают в «карантин» предметы своего исследования и отрешаются от проблемы политики, словно ни системных, ни произвольных связей не существует, словно проблема атома не связана теснейшим образом с проблемами чистоты воды и воздуха, погибающих лесов и отравленного продовольствия, словно это проблема только способа познания, а не — в той же мере — образа жизни.



Я нашел место у окна на втором ярусе железнодорожного вагона. Цюрих сиял под лучами утреннего солнца: яркие цвета, контрастные тени, бодрящий морозный воздух. Озеро сверкало. Облака расступились. Я впервые увидел горы. Поезд, погромыхивая, двинулся к аэропорту.

Напоследок Корнелия сказала: «Мне кажется, я не могу показать себя миру как единое целое». Она достала картину, которой я еще не видел, и поставила на пол перед нами — огромную работу в технике бумажного коллажа: яркие силуэты гипертрофированных частей тела насекомых, размещенные сериями на белом фоне. Насекомые, раздетые догола. Сущность особого типа. Цвет, форма, количество.

Корнелия назвала жестокими другие свои картины — портреты. Но когда за окном потянулись припадающие к земле предместья, когда отдельные вещи слились в нечеткую мешанину, меня посетила мысль, что по-настоящему безжалостны картины, которые ближе к конкретному искусству. Как-никак, именно в этих картинах, где Корнелия показывает насекомое в меньшей мере, а себя — в большей, она отказывается от симпатии к слепнякам-индивидам и находит способ избавиться от всех привязанностей.

Но портреты — «жестokie портреты» — ее не удовлетворяют. Они вызывают неверную реакцию, потому что слишком эффективно олицетворяют человеческие страхи и побуждают зрителя сконцентрироваться на чувстве самосохранения. Люди видят только символическую фигуру насекомого, говорит Корнелия, а индивидуальные черты этой особи никогда не замечают. Они видят биологический «прибор-индикатор», душераздирающе красивый предостерегающий знак, пророчество о том дне, заря которого уже наступает. При этом зрители не замечают ни насекомое как индивида, ни картину Корнелии — беспредметную картину, не отсылающую ни к чему, кроме самой себя.

Но каким-то образом портреты также создают эффект дублирования, разрушения черты, которая отделяет человека от животных. Эти напряженно прямодушные картины, столь тесно слитые со страхом перед незримой отравой и злокозненным могуществом большого бизнеса, принуждают тебя к самоидентификации, которая преодолевает самую огромную пропасть, потому что настаивает на самых фундаментальных, самых общих чертах: физической уязвимости, смертности, а также апеллирует к чувству смирения перед лицом непростой красоты. Ее портреты и полемика, которую они генерируют, вынуждают людей подниматься над межвидовыми различиями, признавая, что с насекомыми нас связывает общая судьба, общее положение очевидца и общий статус жертвы.

Это сильно нервирует: взгляд художника и зрителя повисает в некоем промежутке между бесстрашием и сопереживанием, утрачивается стабильное различие между субъектами и объектами, между людьми и насекомыми, между близостью и отстраненностью.

Корнелия составляет по итогам своих экспедиций обстоятельные книги, которые существуют в нескольких экземплярах, размноженные и снабженные пружинным переплетом. С годами эти дневники стали более замысловатыми: теперь в них включаются фотографии мест, которые она посещает, цветные

ксерокопии ее картин, географические карты, прилагается статистика и списки собранных насекомых с указанием всех изъевов. Всё это размещается вокруг ее дневниковых записей — отчетов за каждый день экспедиции, в том числе рассказов о ее встречах с людьми, растениями и насекомыми. Книги выглядят красиво, а дневник написан непринужденно, глубоко лично, полон забавных историй, размышлений и лирических отступлений. Она вспоминает, как в городе Москва, штат Айдахо, две девочки-подростка, приехавшие в город на футбольный матч, зашли к ней в номер, осмотрели ее микроскоп и приспособления для сбора насекомых, и одна девочка спросила Корнелию: «Вы колдунья?», взяла ее за руки и почувствовала интенсивную вибрацию, — Корнелия, кстати, тоже это почувствовала. «Она спросила, что она должна делать, чтобы стать такой, как я. А я ответила, что она должна всегда прислушиваться к своему сердцу и никогда не преклоняться ни перед одним человеком. Если ей захочется найти утешение, пусть ищет помощи у какого-нибудь животного или дерева».

По соседству, в городе Коннелл, который находится в окрестностях Хэнфордской АЭС в штате Вашингтон, Корнелия подружилась с уборщицей, которая наводила чистоту в ее гостиничном номере. Эта женщина и члены ее семьи, а также домашние питомцы страдали болезнями, которые она объясняла непризнанными радиоактивными выбросами, произошедшими на АЭС в прошлом. Но «ее муж, соседи и даже ее двадцатидвухлетний сын говорят, что она чокнутая. Она была рада, когда в моем лице наконец-то встретила человека, который выслушал ее и согласился с ее мнением. Я никогда не забуду Донну. В моем сознании она олицетворяет всех людей, пострадавших не только от радиации, но и от бессердечия специалистов, которые утверждают, что их недомогания — просто плод воображения или последствия неправильного питания. То, что интуитивно чувствуют эти люди, отрицается, так как же им довериться своим органам чувств, когда специалисты говорят, что они сумасшедшие?» [36].

В Ормонвиль-ля-Пти в Нормандии Корнелия попыталась отговорить мужчину, которого взяли работать на предприятие атомной промышленности фирмы SOGEMA на мысу Ля Аг. «Пусть подумает о своей жене и детях, пусть учтет, что он может заболеть, и тогда SOGEMA ему ничего не заплатит. Я рассказала ему, что в Швейцарии на опасные работы нанимают иностранцев, им хорошо платят в течение трех месяцев, а потом увольняют. Никто не знал, что было с ними потом, и никого это не волновало. Точно так же поступили с теми, кто убирал обломки в Чернобыле, — с так называемыми ликвидаторами... Мне кажется, тот молодой африканец внял моим словам, я надеюсь, что у него хватило мужества позаботиться о своей безопасности. Но когда безработный отец семейства находит столь высокооплачиваемую работу, как ему лучше поступить?» [37]

В дневниках задокументировано, как она собирает насекомых. На границе Национального парка Маунт-Сион в Юте она нашла семнадцать клопов-фиматид. «Когда я их усыпляла, они испустили сладкий аромат, от которого у меня началась резь в глазах и я едва не упала в обморок. Они отчаянно пытались защищаться, но, увы, я оказалась сильнее» [38]. Спустя несколько недель,

приехав в Коннелл, она записывает: «Я устала искать и убивать насекомых». А вот она у ворот АЭС в Хэнфорде. Это фото она поместила в конце своего дневника. Сознывая, с какой неприязнью она сталкивается, она называет это фото «документом, который нужен, чтобы люди поверили, что я там действительно побывала».



На снимке у нее счастливый вид: «научная художница» смеется вместе с охранником, который помог ей выбрать лучший ракурс для съемки. Она занята важным делом, глубоко погружена в мир, свыкается с разочарованиями, осмысливает противоречия, чувствуя себя частью вселенной, ощущая неразрывную связь со всем, показывая себя миру как единое целое, живет полнокровной жизнью.

## D Смерть Death

### Diligence Удовлетворение

Однажды летом, много лет назад, я устроился работать на кухню в ресторан в окрестностях Лондона. Как-то раз на первой неделе работы, когда я приехал в ресторан рано утром, управляющий повел меня к белой двери в закоулке маленького дворика. Он снял с двери висячий замок, и мы замерли, пока наши глаза постепенно привыкали к сумраку за дверью. Мало-помалу стала видна небольшая кладовая с штабелями продуктов: растительным маслом, консервированными овощами в коробках и мешками муки.

Пол был белый в крапинку, и я далеко не сразу осознал почему, а осознав, слегка ужаснулся, почему мы замерли на пороге молча, словно бы на морском берегу под каким-то низким небом. «Никто, кроме тебя, этого не сделает, — сказал мне управляющий. — Тебе понадобятся метла и хлорка — вот тебе несколько банок».

\*

Как и со многими другими делами, которые вызывают отвращение, вышло так: стоит только оправиться от первоначального шока и взяться за работу, как гадливость дает тебе дополнительный заряд энергии. Отчасти дело в том, что хочется поскорее разделаться с заданием. Но есть и другая причина: работа отвлекает от размышлений и как бы опьяняет, вводит в состояние хмельной беспечности, которая гонит прочь сомнения.

Я вошел в кладовую, как входят в воду. Тысячи, десятки тысяч белых личинок, «скользких личинок длиной в палец» [39], извивались на полу, блестящие и влажные. Через час всё было кончено. Кладовая блистала чистотой, пол вымыт, я удержался на своем рабочем месте.

## Doubt Сомнение

Неуклюжими руками ребенок давит муравья, много муравьев. С мухами гораздо сложнее, но если их изловишь, шансов у них почти не остается. А бабочки — если только проворные птицы их не склюют — умирают своей смертью: лишь немногие люди (коллекционеры не в счет) по своей воле лишают жизни столь трепетную красоту.

\*

Это смахивает на бесконечную войну. Жуки, большие мастера прятаться, держатся поближе к земле. Вислава Шимборская находит на тропинке мертвого жука: «Три пары ножек на брюшке сложил он чинно» [пер. Асара Эппеля. — *Ред.*] [40]. Она останавливается, всматривается. «Ужас этого зрелища весьма умерен, — пишет она. — Печаль не овладевает». Но всё же сомнение остается:

Для нашего спокойствия смертью поскромнее  
не умирают — околевают животные,  
теряя — хочется верить — меньше бытия и чувств,  
покидая — такое впечатление — менее трагичную сцену.

Это нестандартный взгляд. Шимборская — почти как ребенок, который впервые столкнулся с феноменом смерти, — нащупывает аналогии, робко наводит мосты. Робко. Поэт робеет. Ее знание о мелких (а иногда крупных) подлостях, которые мы все совершаем на протяжении жизни, — вот что дает силу стихотворению.

## Difference Различие

Три года назад мы с Шэрон вошли в двери Монреальского инсектариума, спустились по спиральной лестнице в неразгороженное пространство, где находится экспозиция, и спустя несколько минут увлеклись зрелищем. Такое множество насекомых в одном месте заставило нас задуматься о мегакатегории, которой храбро занялся музей, о необозримом многообразии, которое охвачено словом «насекомые», а также о том, как печально, что негативные коннотации

этого слова настолько нас увлекают. Таковы опасности таксономии в публичном пространстве. И какой огромный труд приходится проделывать таким музеям!

\*



Но очень скоро, заметив, что все остальные посетители всех возрастов увлечены экспозицией не меньше нас, мы задумались о том, как хорошо кураторы, дизайнеры, популяризаторы и другие сотрудники справились со своей миссией — «поощрением у посетителей более положительного отношения к насекомым». Нас поразило, что в экспозиции затронуты как вполне предсказуемые темы (биология насекомых), так и более непривычные (связь между человеком и насекомыми в культуре). Экспонаты были продуманные и нескучные, тексты — неглупые, без сюсюканья, образцы — разнообразные и занимательные.

А затем, точно мысль обратилась вспять, точно как в той библейской сцене с Савлом, когда звучит диковинное сравнение: «как бы чешуя отпала от глаз его», точно пробуждаешься от сна, точно в момент, когда наркоз проходит (или, наоборот, когда начинает действовать), мы оба осознали — казалось, одновременно, — что находимся в мавзолее, где стены выстланы смертью, что эти великолепные образцы на булавах, расположенные строго по эстетическим критериям (по цвету, по размеру, по форме, по геометрическим рисункам), — не просто ослепительно красивые вещи, но и крохотные трупы.

\*

Как странно, что мы смотрим на насекомых как на красивые предметы, что после смерти они становятся красивыми предметами, когда в жизни, пробегая по деревянным половицам, затаившись в углах и под скамейками, путаясь у нас в волосах и забираясь за воротник, заползая в рукава... только вообразите, какой воцарился бы хаос, если бы они вернулись к жизни. Даже в этом музее нас обуял бы бессознательный порыв броситься и раздавить их.

Но если понаблюдать, как люди переходят от витрины к витрине в музейном зале, сразу заметишь, что многие из этих «предметов» (необязательно самые крупные, необязательно те, у которых самые длинные лапки или самые здоровенные усики) обладают мощной «психической силой».

Это явствует из того, как все — и я тоже — лавируют между экспонатами, из того, как мы продвигаемся вдоль рядов: слегка робко, а затем внезапно останавливаемся, а иногда резко пятимся. Как-то странно, что мы так себя ведем, потому что насекомое не только заперто в плексигласовом ящике, но и не представляет теперь ни малейшей физической опасности, если вообще представляло ее раньше. Такое ощущение, словно эти насекомые — вместе со своей красотой — проникают в какие-то тайные закоулки нашей души, и в ответ нечто как бы табуированное влечет нас к насекомым. Хотя они мертвы, они проникают в наши тела и вызывают у нас дрожь мрачного предчувствия. Какое другое животное имеет над нами подобную власть?

\*

Очень многое, касающееся насекомых, остается для нас неясным, но мы обладаем колоссальной способностью диктовать условия их существования.

Посмотрите на эти стены внимательно. Даже у красивейшей бабочки, как подметил Примо Леви, «морда дьявольская, похожая на маску» [41]. У нашего беспокойства есть упрямая причина, неведомая нам самим, выбивающая из колеи. Мы просто не можем увидеть себя в этих существах. Чем больше мы их рассматриваем, тем меньше нам известно. Они не такие, как мы. Они не реагируют на проявления любви, милосердия или раскаяния. Это что-то похуже равнодушия. Это глубокое мертвое пространство, где нет ни взаимности, ни чувства сродства, ни подкупающего обаяния.

## Defeat Поражение



Мухи, написал святой Августин, изобретены Богом в наказание человеку за высокомерие. Не к этой ли мысли должны были прийти в 1943 году жители Гамбурга, ковляя по пылающим руинам своего города в промежутках между бомбежками союзной коалиции? Мухи — «огромные, зеленые с радужным отливом, дотоле никогда не виданные» — столь плотным облаком окутывали трупы в бомбоубежищах, что люди, которым было поручено вытаскивать погибших наружу, могли добраться до тел только с помощью огнеметов, ступая по сплошному ковру из червей на полу [42].

А затем, здесь и в других местах, когда человек поневоле оказывается уязвимым, возникают образы голода и эпидемий: мухи припадают к уголкам тусклых глаз, обсасывают коросту на губах и ноздрях. Ребенок или взрослый слишком ослаб, слишком смирился со всем происходящим, чтобы отгонять мух. То же самое происходит с животными: собаками и коровами, козами и лошадьми. Мухи берут власть, слетаются, готовятся продолжить свой род: яйца, личинки, пир горой. Мухи — предвестники перехода в мир иной, вот только появляются они чуть раньше, чем следует.

## Е Эволюция Evolution

### 1

«В нашем мире личинка — это сила», — написал Жан-Анри Фабр, поэт насекомых, в миг характерного для него благоговения. Он философствовал о мухах: трупных мухах и зеленых падальницах, мухах-пчеловидках, серых падальных мухах — и их способности «очищать лицо земли от нечистот, оставленных смертью, и делать так, чтобы вещество больных животных снова включалось в число сокровищ жизни» [43]. Он размышлял о ритме времен года и циклах смертности, а заодно исследовал земельный участок при своем новом доме в Сериньян-дю-Комта — провансальской деревушке неподалеку от города Оранж, где раскапывал свои собственные сокровища: разлагающиеся трупы птиц, зловонные канализационные трубы, разрушенные осиные гнезда — тайные убежища, где природа занимается своей алхимией.



Фабр дал этому дому с обширным садом название «Л'Арма» (L'Harmas — так в Провансе называют невозделываемый каменистый участок, который оставляют в покое, чтобы на нем рос тимьян); теперь это государственный музей, открывшийся недавно после реставрации, которая длилась шесть лет [44].

Дом красивый, большой и внушительный, сияющий розовой краской на летнем солнце, стены у него толстые, чтобы мистраль не проникал внутрь,

ставни — светло-зеленые. Грандиозный дом, прозванный в округе le château [45].

Фабр переехал сюда, когда ему было пятьдесят шесть. Он почти сразу пристроил к главному дому новый двухэтажный флигель. На первом этаже располагалась оранжерея, где он и его садовник ухаживали за растениями, предназначенными для высадки на участке и для его ботанических штудий. На втором этаже — лаборатория натуралиста, где Фабр проводил почти всё время.

Дом находится на окраине Сериньяна, и Фабр первым делом еще больше его изолировал: обнес свой участок, занимающий два с половиной акра, шестифутовой каменной стеной. Как рассказала мне Анн-Мари Слезек, директор музея, за все тридцать шесть лет жизни здесь Фабр ни разу не появлялся в деревне, хотя до нее всего несколько сот ярдов.

Мадам Слезек была переведена в «Л'Арма» с должности научного сотрудника — миколога в Национальном историческом музее и теперь, прожив шесть лет в провинции и завершив свой проект, нетерпеливо предвкушала возвращение в Париж. Миколога на эту должность выбрали неслучайно: среди ценнейших экспонатов музея — шестьсот лучезарных акварелей, на которых изображены местные грибы. Эти изящные портреты Фабр писал, силясь зафиксировать цвета и вещественность того, что после сбора быстро утрачивает сходство со своей прижизненной формой. Эти акварели заслуженно знамениты; кажется, что в них сконцентрировано дело всей жизни Фабра. Эффектно-наглядные, понятные с первого взгляда, они запечатлевают цельность экологической системы и тем самым передают красоту и таинственное совершенство природы. Они — плод экстраординарной наблюдательности. В них проявились таланты человека, который в основном всё осваивал самоучкой. Они демонстрируют глубокое знание темы.

Но задачи, стоявшие перед мадам Слезек, были ближе к труду антиквара, чем к изысканиям миколога. А вскоре она превратилась в детектива. Чтобы восстановить кабинет Фабра, она разыскивала старые фотографии. Ключевую улику предоставил библиотекарь из Авиньона, отыскавший снимок, сделанный при жизни Фабра, и мадам директор вознамерилась воссоздать по нему всё до последней детали.



Каким-то образом она раздобыла те же самые картины в рамках, те же самые книги, те же самые часы (которые отдала починить), тот же самый глобус, те же самые стулья, те же самые ящики с улитками, окаменелостями и раковинами, те же самые весы. Она установила на прежнее место знаменитый письменный стол длиной всего два с половиной фута: это была, в сущности, школьная парта, достаточно легкая, чтобы Фабр при необходимости переставлял ее с места на



место. Мадам Слезек вернула фотографию к жизни. А точнее, перенесла ее в настоящее время, а заодно воссоздала кабинет в качестве мемориала. Тут не хватает только самого Фабра (да и на фотографии его нет), но солнечный свет, который по-прежнему льется через окно, выходящее в сад, заполняет комнату аурой жизни Фабра — жизни, прожитой всецело в этом самом пространстве.



Участок подбросил музейщикам другую проблему. Поселившись здесь в 1879 году, Фабр обнаружил, что на его двух с половиной акрах когда-то был виноградник. При возделывании лоз была уничтожена почти вся «первоначальная растительность». «Нет больше чабреца, нет больше лаванды, нет больше зарослей кермесоносного дуба», — сетовал Фабр [46]. Его новый сад был заполнен чертополохом, пыреем и другими нахальными сорняками. Он вырвал их с корнем и заново посадил растения по своему вкусу. Но на момент, когда здесь появилась мадам Слезек, Национальный музей естествознания, к которому дом перешел в 1967 году, после кончины последнего из сыновей Фабра, уже превратил значительную часть территории в ботанический сад. Просматривая записные книжки Фабра, его рукописи, его переписку, изучая фотографии, сделанные в саду, мадам Слезек искала приметы, которые позволили бы ей воссоздать то, что Фабр намеревался оставить потомкам после своей смерти. Она вырубил кусты, которые заслоняли любимый вид Фабра — панораму горы Венту, изолированного отрога Французских Альп (на эту гору, следуя прославленным маршрутом Петрарки, Фабр часто поднимался). Она снова посадила в саду бамбук, форзицию, розы и ливанский дуб, а также берегла и лелеяла уцелевшие атласские кедры, алеппские и калабрийские сосны, а также прелестную аллею сиреней, которая ведет от ворот к дому.

Мадам Слезек установила, что сад был разделен на три части. Перед домом Фабр разбил симметричный сад с клумбами, окружавшими большой декоративный пруд. Здесь он принимал своих довольно многочисленных посетителей — представителей местной интеллектуальной элиты, а под конец жизни — высокопоставленных лиц и поклонников, приезжавших издалека. Позади клумб он устроил *harmas*, в честь которого был наречен дом: участок с аборигенными кустарниками и деревьями, которые после посадки и первоначального ухода были препоручены воле природы и развивались с минимальным вмешательством человека. И наконец, большой участок позади *harmas* Фабр засадил деревьями: то был *parc arboré*, которому тоже позволялось развиваться почти без вмешательства человека. *Harmas* и

дендрарий были его «лабораторией живой энтомологии» — местами для исследования насекомых [47]. При взгляде из сада они казались дикими и девственными, но, как полагается в романтической традиции ландшафтного садоводства, в эту естественность было вложено много ухищрений и трудов.

Фабр прожил в «Л'Арма» с 1879 года до самой своей смерти (скончался он в 1915-м, на девяносто третьем году жизни), и именно здесь он написал девять из десяти томов своей книги «Энтомологические воспоминания» — колоссальной работы, которая привлекла внимание массового читателя и стала фундаментом славы и репутации Фабра. Этот труд он задумал в качестве неопровержимого доказательства «разума, проникающего в тайну сущего» и как бастион против трансформизма — теории эволюции растений и животных путем адаптивной трансформации видов, происходящих от общих предков (под эту широкую формулировку эволюции подпадают и Дарвин, и его французский соперник Жан-Батист Ламарк) [48]. Именно здесь, в *harmas* и *parc arboré*, Фабр находил живых существ, которые заполняют эти тома и расплачиваются за его призвание и которых он описывал столь ярко и детально: ос, пчел, жуков, кузнечиков, сверчков, гусениц, скорпионов и пауков. Именно здесь, в этом «Эдеме блаженства», как он выражался (неизменно с прицелом на свое наследие), он «отныне будет жить наедине с насекомым» [49].

## 2

Сад «Л'Арма» и окрестная сельская местность и впрямь были раем для натуралиста, а Фабр был ненасытно любопытен и обладал энциклопедическими познаниями. Он изучал птиц, растения и грибы. Собирал окаменелости, раковины и улиток. Но больше всего он увлекался насекомыми.

Впрочем, увлеченность не всегда идет рука об руку с симпатией. На двух платанах у дверей его дома жили сотни цикад, и летом он каждый день слышал их стрекот. «Ох! Одержимые бесами существа, — в отчаянии вскричал он вскоре после приезда, — чума моего дома, в котором я надеялся жить спокойно». Ради того, чтобы избавиться от цикад, он подумывал срубить деревья. Он уже ликвидировал в своем пруду лягушек («Возможно, чересчур суровым способом», — признавал он) [50]. Будь это в его силах, сказала мадам Слезек, он бы и певчим птицам заткнул глотку.

Цикады доставляли ему «подлинные мучения» [51]. Но, как и всё в природе, их существование давало ему шанс. В детстве на Фабра произвели глубокое впечатление басни Лафонтена, хотя его привлекала не столько их нравственная сложность и сатирический посыл, сколько то, как природный мир использовался в них для нравоучений. Природа повсюду, на каждом шагу дает возможность для познания и воспитания. А насекомые тем более за каждым углом, на каждом шагу под ногами. И их секреты — тоже. Насекомые борются, побеждают, терпят поражение. Их жизни полны драм — эпических и бытовых; у них есть свои характеры, желания, вкусы, привычки и страхи. Собственно, жизнь насекомых сильно напоминала жизнь самого Фабра. Докопаться до биографии насекомого — это и исследование непознанного, и нечто большее: путешествие, в которое приглашаются все, а Фабр в этом путешествии — одновременно гид и тема экскурсии. «Рассказы Фабра из жизни насекомых, —

проницательно пишет историк Норма Филд, — передают и драматичность, которую он находил в их жизни, и драматичность событий, с которыми он сталкивался при ее исследовании... Повествование о жизни насекомых превращается в повествование о жизни Фабра» [52]. Филд видит в этом слиянии мощную нарративную структуру, которая придает текстам Фабра исключительную убедительную силу. И, возможно, Фабр убеждает не только своих читателей. Это размывание границ в повествовании — признак отнологического размывания границ между человеком и его насекомыми, результат углубленного интереса. Что нужно, гадаем мы, для того, чтобы сделаться подлинным пиитом насекомых?

В повествовании Фабра мог принять участие каждый. Научное познание требует специальных навыков, терпения и искусности. Но добытые знания Фабр распространял в общедоступной форме, демократично. Каждое насекомое было для него загадочным соседом, правда о котором выяснялась лишь благодаря безмерному терпению и смекалке его биографа. Фабр ставит точку только после того, как насекомое выдает свои секреты, раскрывает свою биографию. И, уверяет Фабр, этот подход биографа — более надежный путь к знанию, чем любая наука, которая изучает мертвое животное, приколотое к картонке и рассматриваемое под микроскопом. Схожесть морфологических черт, возможно, важна для элиты теоретиков, занимающихся штудиями в столицах, но здесь, в мире природы, главное — это поведение: кто что делает, с кем, как и почему.

Грандиозные институции естествознания, ботаники и зоологи всё больше интересовались вопросами классификации. Фабр назвал подобную деятельность и (как он полагал) новомодную манеру ученых взаимодействовать с природой на расстоянии (как с объектом, образцом, символом) без обиняков: «Они нас хоронят» [53]. Насекомые повсюду, но мы их почти не знаем. Если бы мы, подобно Лафонтену, наблюдали за их поведением терпеливо и целеустремленно, они стали бы для нас непревзойденной сокровищницей познаний о нравственности и науке. Даже цикады. Даже личинки. И даже — в особенности — эти беспощадные перепончатокрылые охотники — одиночные осы.

### 3

Строительство высокой стены вокруг «Л'Арма» началось вскоре после того, как в 1879 году Фабр с семьей поселились здесь, но работа шла ужасающе медленно. Впрочем, для натуралиста это промедление обернулось счастливым стечением обстоятельств.

Строители оставили в саду большие кучи камней и песка, и вскоре там поселились пчелы и осы. Осы двух видов — *Bembex* и *Languedocian SpheX* — были для Фабра давними друзьями, прекрасно знакомыми по прежним встречам. Они устроили себе гнезда в песке, и Фабр проводил много времени, наблюдая и описывая их поведение.

Фабр искренне любил ос. В его «Воспоминаниях» осам и жукам уделено больше места, чем другим насекомым. (О муравьях и бабочках Фабр писал мало.) Фабру импонировало, что осы дотоле оставались почти неизученными.

Ему нравилась их решимость, столь близкая его собственному характеру, стремление преодолевать самые громадные препятствия. Ему нравилась их аккуратность. А больше всего нравилось, что они позволяли ему проникнуть в поразительные сложности их поведения, а затем он, как фокусник, открывал читателю, что это поведение, как бы оно ни походило на решение задач и изобретательность, всё же — вопреки Дарвину — вовсе не является признаком интеллекта. Он любил ос, так как считал их образцами «мудрости» и «невежества» инстинкта, союзниками в его кампании против трансформизма.

Он разыскивает ос. Зная их привычки, он находит подходящее место: песчаную дюну, обрывистую насыпь у шоссе, маленькую полянку в подлеске, забор сада, обращенный на юг, очаг на кухне... Находит и ждет.

Он наблюдает, как каждый вид строит себе гнездо в своем стиле. Вот *Bembex rostrata* роет землю, как щенок («песок, отбрасываемый назад под брюшком, пролетает через арку, образуемую задними лапками, льется, как жидкость, непрерывной струей, описывает параболу и падает на землю на расстоянии семь-восемь дюймов») [54]. Вот небольшая группка *Cerceris tuberculata* — «трудолюбивых шахтеров», которые «терпеливо поднимают с дна ямы несколько осколков гравия и выталкивают эту тяжесть наружу» [55]. А вот несколько особей желтокрылого сфекса (*Sphex flavipennis*) — «кучка молодых подмастерьев, подбодряющих себя в работе». («Песок летит во все стороны и легкой пылью оседает на сфексов и их дрожащие крылья. Зернышко за зернышком выбирает оса крупные песчинки, и они катятся в сторону. Если какая-нибудь песчинка слишком тяжела, сфекс придает себе силы резкой нотой: он „хекает“, словно дроворуб» [56] [пер. Н. Плавильщикова. — *Ред.*].) А вот осы *Eumenes*, чьи гнезда отличаются такими изящными изгибами и так тщательно отделаны камушками и раковинами улиток, что представляют собой «крепость и музей одновременно» [57].



Выстроив гнезда, осы разлетаются в разные стороны. Фабр ждет с неиссякаемым терпением. Наконец они возвращаются, нагруженные пищей для личинок, которые выведутся из яиц в гнездах. Оса *Cerceris* приземляется, притащив жука *Vuprestis* в панцире с металлическим отливом. Аммофила щетинистая приносит огромную гусеницу чешуекрылой бабочки. Вот *Pelopæus* зажимает лапками паука. А вот летит желтокрылый сфекс, волоча за собой сверчка, намного превышающего его по размерам. Лежа на животе, держа в руке лупу, подбираясь так близко, насколько это возможно, не спугнув добычу, Фабр час за часом подмечает каждую деталь — увлеченный великан,

шпионящий за миром лилипутов. Иногда, снедаемый жаждой открытий, он заходит еще дальше: сдвигает гнездо, ворошит его ножом. Возможно, там лежит одна жертва — парализованная, уложенная на спину, а на ее брюшко, в точке, куда не дотянутся ее вяло бьющиеся лапки, отложено одно яйцо; возможно, в камере несколько жертв, уложенных штабелем одна на другую или выложенные в ряд, и самая свежая — дальше всего от яйца.

«Наблюдение формулирует задачу, — пишет он, — а эксперимент подсказывает ее решение» [58]. Иногда он устраивает насекомым проверки *in situ*. Допустим, подлавливает момент, когда оса, спускаясь проверить гнездо, на миг оставляет пленника без охраны. Фабр проворно похищает обездвиженную жертву и, затаив дыхание, наблюдает, как беспокоится оса, вернувшаяся из гнезда. Либо он позволяет осе поместить добычу в гнездо, а затем потихонечку проникает в него, забирает жертву и ждет: всё равно ли оса отложит яйцо и закроет вход в гнездо, как обычно (или, по версии Фабра, как predetermined)?

Иногда он бережно несет гнездо в дом. Часто он ловит насекомое, приносит его в свою лабораторию и создает контролируемые, удобные условия для наблюдения за его поведением и разработки более замысловатых и более длительных экспериментов. Возможно, ища ответы не только в психологии, но и в анатомическом строении, он усыпляет и препарирует насекомое.

Первое вскрытие стало для него откровением. Оно укрепило в нем решение забросить карьеру учителя математики и зарабатывать на жизнь своей подлинной страстью — естествознанием. В то время Франция была охвачена волнениями. Вторая Республика стояла на грани реакционного государственного переворота, который привел к власти режим императора Наполеона III.

В то время двадцатипятилетний Фабр жил на Корсике: преподавал физику в лицее в Аяччо и зачарованно разглядывал великолепные пейзажи («Бескрайнее, сверкающее море у моих ног, устрашающая масса гранита над головой») — совсем как Гумбольдт, впервые ступивший на землю Нового Света [59].

За эту вакансию Фабр ухватился рьяно, поскольку хотел вырваться из Карпентра («этой проклятой дыры») [60]. Всего несколькими месяцами ранее он перешел в Карпентра из школы, где учительствовал, и дал волю возмущению, которое пронес через всю жизнь, — обиде на то, что его отказывались впустить в свой круг, невзирая на все его достижения. Это были воспоминания о том, как его исключили из школы, когда родители — провансальские крестьяне, безуспешно пытавшиеся заработать на жизнь, держа кафе в разных городках, — не смогли вносить за него помесечную плату. И удрученность в молодости, когда ему, работавшему на строительстве железной дороги, вновь и вновь отказывали в трудоустройстве на место преподавателя и не давали возможности продемонстрировать свои способности. («Совершенно неслыханная несправедливость, — писал он в сентябре 1848 года своему брату Фредерику, — выдать мне два диплома лицензиата и заставить меня спрягать глаголы для ватаги сорванцов!» [61]) И разочарование, когда не нашла коммерческого применения технология, над которой он работал десять лет (процесс извлечения краппа — красного красителя, который требовался для производства военной формы, — из растений). Фабр замыслил, что эта технология обеспечит ему

доход, который требовался для научных занятий (в то время научные должности не предполагали жалованья: считалось, что их будут занимать люди обеспеченные). И отчаянье, когда противодействие клерикальных кругов реформе образования, затеянной Наполеоном III, повлекло за собой его увольнение из школы (он давал бесплатные уроки естествознания, куда допускались девочки), так что семья Фабра оказалась в бедственном положении и существовала на попечение его близкого друга, английского либерального мыслителя Джона Стюарта Милля (тот переехал в Прованс, чтобы жить и умереть подле могилы своей жены Гарриет Тейлор, одной из первых феминисток) [62]. Это было огорчение из-за того, что все эти несчастья умножались, так как власть имущие не ценили его успехов, достигнутых в крайне трудных условиях, просто невообразимых для парижской научной элиты (степени бакалавра по словесности и математике, степени лиценциата математических и физических наук, степень доктора естественных наук; две с лишним сотни публикаций, в том числе учебники и научно-популярные книги, хотя жанр научно-популярной литературы в то время едва зародился; его крупные научные открытия: он первым доказал таксис у животных и гиперметаморфоз у жуков). И вновь огорчение: когда под конец долгой жизни он все-таки обрел признание, университеты и ученые, даже энтомологи, редко отдавали ему дань уважения, а восхваляли его литературные светила: Виктор Гюго (провозгласивший Фабра «Гомером насекомых»), автор «Сирано де Бержерака» Эдмон Ростан (он, чтобы не уступить Гюго, объявил Фабра «Вергилием насекомых»), Ромен Роллан (тот причислил Фабра к «французам, которыми я больше всего восхищаюсь») и провансальский поэт Фредерик Мистраль, ратовавший за выдвижение Фабра на Нобелевскую премию 1911 года, — учтите, не в научных дисциплинах, а на Нобелевскую премию по литературе [63]. Это был его бессильный гнев на судьбу, когда он внезапно потерял старшего сына, умершего в шестнадцать лет, а позднее скончались две его маленькие дочери и две жены; эти трагедии отбросили мрачную тень на его жизнь, но необходимо признать, что Фабр создал из этих трагедий страдальческий ореол, который превратился в историю победы над всеми бедами доморощенного гения, нищего отшельника, поэта науки, который трудится в своем саду, наедине со своими насекомыми, в историю о простоте, самопожертвовании, *naïveté\** в узком смысле — историю, которая на закате жизни Фабра очарует парижскую культурную элиту и поманит ее в незнакомые окрестности Сериньяна.



Это был лютый гнев, из которого вырос ярый популизм. Обращаясь к воображаемой аудитории из представителей научной элиты — к тем, кто, ссылаясь на то, что Фабр был противником эволюционной теории, изъял его учебники из школ и вновь обрек его на безысходную нищету, — он изливает столь всепоглощающую страсть, что временно милует цикад: «Вы разрываете животное на части, а я изучаю живое животное; вы превращаете его в предмет ужаса и сострадания, а я делаю так, чтобы его полюбили; вы трудитесь в пыточном застенке и анатомическом кабинете, я же делаю свои наблюдения под синим небом под песни *Cicadae*; вы подвергаете клетку и протоплазму химическим испытаниям, а я изучаю инстинкт в его высших проявлениях; вы выводываете секреты смерти, а я — секреты жизни» [64].

Он, разумеется, подразумевал, что изучает живое животное, животное в его истинной форме, изучает таким, каким Господь Бог повелел его знать, — изучает существо, у которого есть свой характер, своя загадка и свое четкое предназначение, существо, которое можно познать через эмпирический опыт, а не через теорию, посредством тесного знакомства, а не умозрительно.

Но, как нам уже известно, он не чурался подглядывать за смертью; собственно, если верить врачу и политику Жоржу Виктору Легро, который дружил с Фабром и написал его биографию, всё началось с того первого вскрытия в Аяччо. На Корсике Фабр подружился с Альфредом Мокэн-Тандоном, профессором ботаники из Тулузы, который был старше его на двадцать лет. Мокэн-Тандон одновременно был литератором: писал стихи на провансальском языке и говорил о важности изящного стиля даже в трактатах по биологии. За обедом Мокэн-Тандон достал из швейной корзинки «инструменты» и принялся вскрывать улитку. «С тех пор, — написал Легро, —

Фабр начал не только собирать мертвые, бездеятельные или высохшие образцы, которые были всего лишь материалом для исследований и удовлетворяли его любознательность, — он начал рьяно препарировать, чем никогда не занимался прежде. Своих крохотных гостей он размещал в буфете; он занимался, как и впоследствии, в будущем, только самыми маленькими живыми существами». Вскоре Фабр написал с Корсики Фредерику: «Мои скальпели — это миниатюрные кинжалы, которые я делаю сам из тонких иголок; мой мраморный стол — дно блюдца; мои пленники проживают дюжинами в старых спичечных коробках; *maxime miranda in minimis*» [65] [«*Natura maxime miranda in minimis*» (лат.) — «Природа в особенности достойна восторга в своих малых порождениях»].

*Maxime miranda in minimis*. Самыми дивными из многочисленных крохотных чудес, которые он обнаружил в последующие десятилетия, были хищные осы. Часть того, что они ему открыли, была уже известна человечеству, но остальное было в новинку. Уже знаменитый Реомюр, основоположник энтомологических наблюдений, пространно описавший осу *Odynerus* в своих шеститомных *Mémoires pour servir à l'histoire des insectes* («Воспоминаниях, которые послужат историей насекомых», 1734–1742), знал, что вместо откладывания яйца прямо на «шевелиющуюся грудку» из двух десятков пленных личинок долгоносика осы *Odynerus* (и *Eumenes*) подвешивают яйцо на тонкой нитке, прикрепленной к купольному своду гнезда [66]. Фабр несколько лет пытается устроить себе возможность понаблюдать за этим и наконец становится свидетелем описанной картины.

То был, признался он, «один из тех моментов внутренней радости, которые становятся возмещением за сильные мучения и изнеможение».

Личинка осы, вылупившись из яйца, спускается пообедать («Двигаясь вниз головой, она взгрызается в обмякшее брюшко одной из гусениц»), а потом — когда ее пища начинает беспокойно дергаться — благополучно подтягивается по нити, чтобы добыча ее не задела [67].

#### 4

Каждое из насекомых Фабра подтверждало: инстинкт — это сила. Фабр утверждал: может показаться, будто эти животные знают, что делают. Может показаться, будто их поразительное поведение — внешнее проявление внутренней жизни. Но это будет полнейшее заблуждение. Они действуют инстинктивно, они не наделены самосознанием. Они подчиняются инстинктам, которыми обладают с момента сотворения мира, инстинктам слепым, косным и врожденным, инстинктам, которые не являются результатом обучения, но присутствуют, полностью сформированные, с рождения, инстинктам безукоризненным и непогрешимым, узкоспециализированным в плане функций и специфическим для каждого вида. Эти инстинкты обладают «мудростью»: они порождают безошибочные действия, которые решают самые сложные проблемы физического существования. Но если ради эксперимента создать препятствия, то инстинкт оказывается абсолютно «невежественным»: не реагирует на самые элементарные изменения привычных условий жизни [68].



Фабр вновь и вновь рассказывал эту историю, полагая, — как и доньше считают многие креационисты, — что инстинкт указывает на ахиллесову пяту эволюции, свидетельствует, что биологические виды неизменны и непреложны, причем остаются неизменными с начала времен. Аргумент Фабра очень прост: разве могли бы существовать промежуточные стадии такого крайне замысловатого и четко выверенного поведения? Подумайте о хищных осах, говорит он, это игра, где либо пан, либо пропал: «Искусство приготовления провизии для личинки не доступно никому, кроме мастеров, и не терпит подмастерьев» [69]. Если добыча недостаточно обездвижена, указывает Фабр, она уничтожит яйцо или личинку; если добыча умрет от тяжелого ранения, личинка вылупится, но умрет от голода, потому что ее пища сгнила. Какой гений животного мира проводит скрупулезные расчеты, благодаря которым добыча вновь и вновь усыпляется, но ее жизненные функции не страдают? Наблюдая, как щетинистая аммофила парализует свою жертву, Фабр открывает для себя величайшую истину жизни, тайну тайн, перед лицом которой даже зрелые ученые мужи не могут удержаться от слез:

«Животные подчиняются своему непреодолимому инстинкту, не осознавая своих действий. Но откуда приходит это идеальное вдохновение? Могут ли разумно истолковать его теории атавизма, естественного отбора, борьбы за жизнь? Для меня и моего друга это было и осталось одним из самых красноречивых откровений невыразимой логики, которая правит миром и руководит невеждами с помощью законов своего вдохновения. Растроганные этим проблеском истины до глубины души, мы оба почувствовали, как на глаза нам навернулись слезы, порожденные каким-то неопишуемым чувством» [70].

Любое из его насекомых могло бы натолкнуть его на этот вывод. Но Фабр полагал, что именно осы дают самый сильный аргумент против мнения Дарвина, что инстинкт — это наследуемое адаптивное поведение; что, как сформулировал Дарвин в «Происхождении человека» (1871), сложные инстинкты приобретаются «через естественный отбор вариаций более простых инстинктивных действий», а «те насекомые, которые обладают самыми поразительными инстинктами, — определенно самые умные». С точки зрения Дарвина, инстинкты, разумеется, наследуются, они далеко не неизменны и далеко не безупречны. Это плоды адаптивности, а не предвидения. Дарвин сформулировал это так: «Умные действия, после того как они выполняются при жизни нескольких поколений, превращаются в инстинкты и наследуются» [71].

Именно на эту ересь Фабр бросил в атаку своих ос. И именно осы дали ему основания категорично заявить: «Я отвергаю современную теорию инстинкта». «Современная теория (так он презрительно называет эволюцию), искусная игра, которой способен упиваться кабинетный натуралист, формирующий мир сообразно своему капризу, но в которой наблюдатель — человек, соприкасающийся с реальностью, — не может найти объяснения чему бы то ни было из того, что видит» [72].

Аммофила щетинистая выбирает себе особенную добычу, которая может в пятнадцать раз превосходить ее по весу, — гусеницу чешуекрылой бабочки *Agrotis segetum*. Описание борьбы между крохотной осой и гигантской серой гусеницей — одна из самых знаменитых цитат из трудов Фабра.

«Никогда, — писал он, — интуитивная наука инстинкта не демонстрировала мне ничего более волнующего».

Он прогуливается с другом неподалеку от дома, когда они замечают возбужденную осу *Ammophila*. Оба человека «немедленно легли на землю вблизи от места, где она трудилась» — собственно, настолько близко, что (типичная деталь а-ля доктор Дулитл) оса ненадолго заползает на рукав Фабра [73]. Они наблюдают, как оса носится над узкой полоской земли, явно напав на след своей добычи. И гусеница неосмотрительно появляется.

«Охотница немедленно подлетела, ухватила гусеницу за „загривок“ и крепко вцепилась в нее, хотя добыча корчилась. Сидя на спине чудовища, оса изогнула свое брюшко и вдумчиво, неторопливо, словно хирург, прекрасно знающий анатомическое строение своего пациента, вонзила свой ланцет в брюшную часть каждого сегмента, из которых состоит тело гусеницы, от первого до последнего. Ни одно „кольцо“ не осталось без укола; все сегменты — и с лапками, и без лапок — были обработаны по порядку, от переднего к заднему» [74].



Обратите внимание на ключевое наблюдение: оса жалит гусеницу девять раз, делая каждую «инъекцию» в строго определенную точку на определенном сегменте тела. И обратите внимание, что уколы делаются последовательно. Анатомическое исследование, которое затем провел Фабр, по-видимому, подтверждает предусмотрительность осы. Жало вонзается с хирургической скрупулезностью, каждый раз выводится из строя очередной двигательный нерв гусеницы. Но самое интересное впереди:

«Голова жертвы всё еще нетронута, ее челюсти работают: они могли бы с легкостью, пока гусеницу тянут, вцепиться в какую-нибудь соломинку, торчащую из земли, и успешно воспротивиться этому принудительному утаскиванию; мозг, этот главный нервный узел, мог бы вызвать упорный поединок, вести который со столь тяжелой ношей было бы крайне неудобно. Хорошо бы избежать этих помех. Следовательно, гусеницу необходимо ввести в состояние оцепенения, которое лишит ее малейших поползновений к самообороне. Аммофила достигает этого, покусывая голову гусеницы. Она

старается воздерживаться от применения своего стилета: она не неуклюжая растяпа, она прекрасно знает, что поранить мозговой нервной узел значило бы умертвить гусеницу на месте, а этого как раз следует избежать. Она просто сдавливает мозг своими челюстями, просчитывая каждый нажим; и всякий раз она делает паузу, чтобы оценить оказанное воздействие, поскольку нужно достигнуть правильного соотношения, определенной степени оцепенения, которую нельзя превысить, чтобы не вмешалась смерть. Таким образом достигается надлежащий уровень летаргии — сонное состояние, при котором полностью теряется воля. И теперь гусеницу, неспособную сопротивляться, неспособную желать сопротивления, хватают за загривок и тащат в гнездо. Комментарии ослабили бы красноречивость таких фактов, как эти» [75].

В статье, опубликованной в 1972 году, а ныне считающейся классикой, психолог Ричард Херрнстайн (в наше время его вспоминают с определенной антипатией как автора работы «Колоколообразная кривая») называет Фабра одним из главных представителей «интуитивистского подхода к инстинкту» и лаконично описывает его позицию как «набор отрицаний, объединенных чувством благоговения» [76].

На рубеже XIX–XX веков — в период бурных постдарвинианских диспутов о природе и происхождении поведения человека и животных — инстинкт был одним из центральных, горячо оспариваемых философских и эмпирических понятий. Интуитивистический подход (согласно которому инстинкт — особая, не имеющая четкого определения способность к адаптации, автономная от интеллекта) был лишь одной из нескольких противоборствующих позиций. Херрнстайн выделяет три позиции, противопоставляя мнение Фабра взглядам рефлексистов, объединяющих такие разные фигуры, как Герберт Спенсер, физиологи Жак Лёб и (в ранних работах) Дж. Б. Уотсон, а также психолог и философ Уильям Джеймс; последний очень четко формулировал различия между своей позицией и позицией Фабра:

«Старые труды об инстинкте — пустая трата слов... они задушили всё расплывчатыми выражениями изумления перед ясновидческими и пророческими способностями животных — столь превосходящими любые способности человека, — а также перед милосердием Божиим, наделившим их таким даром. Но милосердие Божие наделяет их прежде всего нервной системой; и, если обратить на это наше внимание, инстинкт сразу же кажется чем-то не более и не менее чудесным, чем все остальные факты жизни» [77].

Джеймс пишет, что в этом понимании инстинкты были не более чем сложными, дифференцированными рефлексам (по знаменитому выражению Спенсера, «сложносоставной рефлекторной деятельностью»).

Третья позиция, выделяемая Херрнстайном, совпадала со взглядами рефлексистов в том, что инстинкты подвержены селективному отбору, как и морфологические черты. Ее основной поборник Уильям Макдугалл нарек эту позицию «гормической психологией» (то есть «гормональной»). На взгляд Макдугалла, инстинкты — нечто весьма податливое, подверженное влиянию среды, но у инстинкта есть некий стабильный стержень, которым является стремление к конкретному результату (постройке гнезда, иммобилизации добычи и т. п.); инстинкт — импульс, стоящий почти за всеми актами поведения

у человека и животных. «Инстинкты, — писал Макдугалл, — это ментальные силы, которые всецело формируют и поддерживают жизнь индивидов и социумов» [78].

Когда в двадцатые годы XX века набрал силу бихевиоризм, объяснение поведения животных через инстинкты вышло из моды и вернулось лишь в пятидесятые годы в научно-популярных книгах этологов (особенно Конрада Лоренца и Николаса Тинбергена), которые, хоть и были дарвинистами, четко разграничивали инстинкт и обучение. Существует традиция, которая тянется через десятилетия от Фабра к этим современным исследователям поведения животных и держится на простых экспериментах с поведением в естественной среде обитания, внимательных наблюдениях и уже известной нам комбинации научного подхода с благоговением. Эта традиция каким-то образом оставляет в стороне неприязнь Фабра к теории эволюции, зато делает упор на его внимании к народному просвещению — этой установке на общедоступность, которая побудила Лоренца, Тинбергена и их коллегу Карла фон Фриша обзавестись внимательной читательской аудиторией. Кстати, благодаря этой установке они получили Нобелевскую премию, которой не удостоился их предшественник.

Эта традиция — так сказать, воздушная линия. Осы летят прямо к нам, отклоняясь в неожиданных направлениях, совершая посадки в решающие моменты. Они бегут от науки, чтобы подогреть фабрианское благоговение, например, среди современных креационистов, а иногда объявляются в более удивительных местах — к примеру, в умозрительных выкладках влиятельного философа Анри Бергсона, который был большим поклонником Фабра (в 1910 году Бергсон присутствовал на торжествах в «Л'Арма», организованных Лего и сделавшихся увертюрой к запоздалой известности провансальского отшельника). Бергсон выслушивает рассказ об осе-хирурге, делающей девять инъекций, и разрабатывает свою особую метафизику эволюции, которая опирается на идеи Кювье из XVIII века — гипотезу, что животные, подобно сомнамбулам, наделены «сомнамбулическим» сознанием («типом сознания, которое в интеллектуальном плане не сознает свое предназначение») [79].

Бергсон формулирует интуитивистский подход к инстинкту, называя его «гадательной симпатией», и, подобно Фабру, противопоставляет инстинкт и интеллект. Но у этого противопоставления иная основа. Фабр считает интеллект признаком превосходства человека, а для Бергсона это ограниченная разновидность осмысления, холодная и внешняя. Для Фабра инстинкт — нечто механическое, бездумно-автоматическое, а для Бергсона — глубокое осмысление, вид знания, который ведет нас к «истинной природе жизни», проникая в прошлое, к истокам общей эволюционной природы осы и гусеницы, в точку «древа жизни», когда их пути еще не разошлись, назад к глубокому интуитивному пониманию друг друга: оса *Ammophila*, ничему не обучаясь, просто знает, как парализовать гусеницу, так что их драмы, «возможно, ничем не обязаны внешнему восприятию, но порождаются просто-напросто совместным присутствием *Ammophila* и гусеницы, которые считаются уже не двумя живыми организмами, а двумя видами деятельности» [80].

И всё же, как уже в 1921 году заметил Бертран Расселл, «любовь к чудесному может ввести в заблуждение даже столь внимательного

наблюдателя, как Фабр, и столь видного философа, как Бергсон» [81]. Фабр сделал много неверных выводов касательно аммофилы щетинистой, и его критика естественного отбора наиболее решительно опровергнута именно на основании чисто эмпирических наблюдений. По-видимому, взаимоотношения осы и гусеницы — вовсе не игра по принципу «пан или пропал». Верно, что в большинстве случаев оса парализует гусеницу бабочки, жаля ее много раз, однократно в каждый сегмент. Но эта операция не отличается чудесной скрупулезностью и систематичностью, не всегда производится в одном и том же порядке. И гусеница не всегда переживает эти укусы. Иногда личинка осы питается гниющим телом гусеницы. Иногда личинка погибает, придавленная гусеницей, которая корчится. Более того, как предполагали приверженцы рефлексивной и «гормической» теорий, оса адаптирует свое поведение, реагируя на изменчивые внешние раздражители (климат, доступность пищи, состояние и поведение добычи). Оса охотно меняет последовательность и (назовем это так за неимением более подходящего термина) «логику» своих действий по причинам, которые могут быть как очевидно необходимыми, так и, в других случаях, совершенно неясными. Наблюдалось, как оса, ужалив сорок гусениц подряд, затем предпочитала волочь в свое гнездо сорок первую гусеницу, пока не парализованную. Фиксировалось, как осы парализуют свою добычу, но затем не проделывают ничего для строительства гнезда. Люди видели, как некоторые осы жалят добычу наугад, как придется, — казалось, просто старались попытаться счастья. Также обнаружилось, что, когда оса жалит добычу, она не только наносит удар, но делает вливание, вводя вещество, которое вызывает мгновенный паралич и оказывает долговременный эффект по ингибированию метаморфоза и поддержанию организма гусеницы в покорном состоянии; итак, воздействие не столько ударное, сколько химическое [82].

В этом есть нечто необъяснимое. И дело не только в осах. Херрнстайн правильно указывает на мистицизм, который скрыт в глубинах теории Фабра. Он понимает, что «расплывчатое изумление», перенимаемое читателями у Фабра, — самое могучее наследие интуитивистского подхода. Но тут есть и свои парадоксы. Фабр заставляет нас признать, что эти животные действуют вслепую, автоматически, не задевая ни волю, ни намерения. И, чтобы подвести нас к этому выводу, он упоенно описывает поведение животных, полагая: чем оно сложнее, чем более рациональным оно кажется, тем сногшибательнее будет следующий его шаг, когда он обнажит, что за этим поведением скрывается всего лишь слепой инстинкт, тем вернее он разгромит трансформистов. Эти осы — «хирурги», которые «просчитывают» и «удостоверяются». Их жертвы «сопротивляются». Но эффект оказывается непредвиденным. Фабр очарован. А осы требуют предоставить им слово. Они вселяются в Фабра. Они говорят его устами, живут опосредованно через него. Из его текстов мы выносим впечатление не о неразвитости насекомых, а об их паразитических способностях. В смысле о способностях ос, а также о способностях Фабра. Вопреки его уверениям, чудесен не инстинкт — чудесны сами животные.

Слава, которую Фабр обрел в последние годы жизни, ненадолго пережила его самого. Правда, вероятность того, что его идеи признает научное сообщество, так и так была невелика. Но и его статус писателя-натуралиста вскоре понизился из-за капризов литературной моды. Сегодня Фабра мало кто помнит и во Франции, и в англоязычном мире. Даже креационисты не поднимают его на щит.

И только в Японии имя Фабра известно широко. Там он неизменно присутствует в программе начальной школы и часто первым знакомит ребенка с миром природы, и слова Фабра оживают, когда дети летом выполняют задания по сбору насекомых. Взрослые японцы тоже часто возвращаются к трудам Фабра, когда знакомят своих детей с увлекательными сторонами естествознания и вспоминают о своем увлечении насекомыми в беззаботном детстве. («Я пишу прежде всего для молодого поколения, — когда-то заявил своим ученым критикам Фабр, проработавший в школе целых двадцать шесть лет. — Я хочу привить юношеству любовь к естествознанию, а вы прививаете ему ненависть к этому предмету» [83].)



Как и следовало бы ожидать, Фабр непременно присутствует в экспозиции многочисленных инсектариумов в Японии. Но он объявляется и в неожиданных местах: в образе смекалистого мальчика, героя современной манги «Фабр, детектив по делам насекомых» в популярном журнале *Superior*; в качестве персонажа аниме: в сериале «Читай или умри» появляется клон Фабра — злой гений, способный направить орды насекомых против цивилизации; в виде бесплатной рекламной пластиковой фигурки (*Souvenir Entomologique*) наряду с моделями цикады, скарабея, осы *Ammophila* и других любимцев публики в тысячах магазинов 7-Eleven по всей стране; а в рекламе предметов роскоши он выступает как образ космополитизма среди мужчин, любознательного ума и некоего духовного томления [84].



Но присутствие Фабра ощущается в Японии не только в школах, биологических центрах и поп-культуре, энергично стимулирующей производство товаров. Если на английском тексты Фабра доступны только в корявом и устаревшем переводе, то в Японии, по относительно недавним подсчетам, только с 1923 по 1994 год местные ученые выпустили сорок семь полных и сокращенных изданий его «Воспоминаний» [85]. Дайдзабуро Окумото — профессор-литературовед, коллекционер насекомых, а также основатель и директор нового музея Фабра в Токио — указывает, что особенно интересен начальный период этих переводов [86]. Оказывается, не кто иной, как Саказэ Осуги, знаменитый анархист, автор памятного подрывного афоризма «Красоту следует искать в беспорядке», выполнил первый систематический перевод книги Фабра на японский язык и планировал перевести «Воспоминания» целиком (работа оборвалась, поскольку Осуги был зверски убит в ходе полицейских репрессий, происходивших после крупного землетрясения 1923 года на Токийской равнине). В 1918 году, примерно тогда же, когда он впервые прочел Фабра, Осуги написал: «Я люблю, когда есть характер. Но я чувствую отвращение, когда из характера делают теорию. В ходе теоретизирования характер часто обращается в гармоничное сосуществование с реалиями общества, в раблепный компромисс, в фальшь» [87].

Хотя Осуги был убежденным дарвинистом (к тому времени он уже перевел на японский «Происхождение видов»), ему показалось, что в Фабре он обрел родственную душу. Осуги был очарован энергичным стилем Фабра, он заинтересовался возможностями, которые популяризация науки открывает перед педагогами, но также ему очень импонировало враждебное отношение Фабра к теоретизированию. Этот харизматичный писатель и активист полагал: беда теорий не столько в их слабой способности объяснить мир, сколько в желании упорядочить его, не столько в стремлении найти в мире смысл, сколько в предпочтении анализа живому опыту. Тяга к упорядочиванию — тяга, которая ограничивает исследователя, а стоит за ней желание властвовать, повелевать и интеллектуально, и практически. Возвеличивание разума, утверждал Осуги,

обедняет возможности понимания. «Желание свести вселенную к одному алгоритму и повелевать всей реальностью, опираясь на принципы разума, — писал Фабр, — это предприятие грандиозное, но не великое» [88].

Похоже, Осуги не смущал тот факт, что это подозрительное отношение к универсальным объяснениям возникло, когда Фабр вновь и вновь заново открывал вмешательство «Божьей руки» в природу, то есть совершенно на другой почве, чем опасливость Осуги [89].

Не знаю, прав ли Окумото, когда он утверждает, что Осуги полюбил Фабра, потому что они оба — нонконформисты. Но мне нравится, к чему подталкивает нас эта идея. В версии Окумото Осуги — революционер и профсоюзный деятель — вдохновлялся тем, что Фабр — учитель и натуралист — отвергал авторитарную педагогику и делал установку на обучение не только мальчиков, но и девочек; больше всего Осуги пленяло отношение Фабра к классификации («Системы не стоят выеденного яйца!» — восклицает Фабр в «Воспоминаниях», рассуждая об отказе систематиков отнести пауков к насекомым) [90]. Осуги был очарован тем, что Фабр восхвалял чувственные стороны исследования, отвергал авторитеты и писал общедоступные тексты. Эти чувства разделяет и Окумото, ставящий Фабра наравне с прославленным японским натуралистом и фольклористом Кумагусу Минакатой (1867–1941), который в современной Японии тоже широко известен и тоже почитается за свой нонконформизм и независимость:

«Эти два оригинала-самоучки никогда не упрощали свои мысли, перерабатывая их в законы и формулы. Некоторые критиковали их за отсутствие убедительных, последовательных теорий, но они продолжали исследовать многообразие мира и смотреть на всё свежими глазами. Безусловно, они из тех, кого Рембо называет *voyants\*\**» [91].

«Любители насекомых и анархисты, — пишет Окумото в другом месте, — терпеть не могут повиноваться чужим приказам, они пытаются сами установить что-то вроде „порядка“ — либо им вообще плевать на порядок!» [92] Любители насекомых, уверяет Окумото, видят мир глазами насекомого, погрузившись в жизнь животного, выглядывая из его маленького мирка. Они подглядывают за жизнью, а не за смертью.

Есть еще один любитель насекомых, который тут может нам помочь. Киндзи Иманиси — эколог, альпинист, антрополог, основоположник японской приматологии, теоретик изучения природы [сидзэнгаку], чьи книги стали бестселлерами, — начал свою карьеру в тридцатые годы XX века, изучая личинок поденки в водах реки Камо в районе Киото. Иманиси — приверженец теории эволюции, так что в плане теорий он ничуть не фабрианец. Но к числу дарвинистов он тоже не принадлежит. Подобно кумиру Осуги выдающемуся анархисту Петру Кропоткину, Иманиси уверен, что движущая сила эволюции — это сотрудничество. Он не согласен с тезисом, что основа естественного отбора — это межвидовое и внутривидовое соперничество. Иманиси делает упор на взаимосвязь и гармоничное взаимодействие всего живого, но уверяет, что серьезные экологические единицы — это социумы, вне которых индивид не выживет. Индивиды сходятся не в целях размножения, а потому, что у них есть общие потребности, которые они удовлетворяют путем сотрудничества. Как



уверяет Иманиси, его сидзенгаку — теория, в центре которой стоят группы соратников, а не конкурирующие монады, — представляет собой японский взгляд на эволюцию, несхожий с дарвинистской системой, которая уходит корнями в западный индивидуализм [93]. Идеи Иманиси, как и взгляды Фабра, были снисходительно восприняты профессиональными биологами в Европе и Северной Америке, почуявшими примесь антинаучности и антидарвинизма. Но в Японии эти идеи пользуются широкой популярностью [94]. Хотя структура мыслей Иманиси и «естественнонаучная историческая теология» Фабра мало пересекаются, между ними есть несомненное родство. «Есть на свете люди, — писал в 1941 году Иманиси, — которые всю жизнь ходят в белых халатах и никогда не выходят из лаборатории. Вероятно, есть даже знаменитые ученые, которые никогда в жизни не видели животных и растений такими, каковы они в природе. Я не позволю объединять в одну категорию людей, которые смотрят на природу таким образом, и тех, кто похож на меня, тех, чьи взгляды на природу сформировались благодаря тому, что они проводят всю жизнь на природе; это чувство природы — возможно, подспудное — стоит за моей работой. Даже если не будет наук о природе, природа останется. Как бы ни кичились собой науки о природе, они способны познать природу лишь частично. Если ты подразделяешь природу и становишься специалистом в какой-то области, ты будешь всего лишь специалистом по одному из элементов природы [бубун сидзен]. В школах нас не учат тому, что, помимо элементов природы, есть также природа как целостность [дзентай сидзен]. Это горы и изыскания рассказали мне, что существует целостная природа» [95].

«Антинаучное» неприятие механистических теорий, интуитивная связь наблюдателя и предмета наблюдения, иммерсивное сродство личности и мира — вот каков этот всеобъемлющий взгляд на жизнь и совершаемую ею работу. Вспомните Фабра: его простоту, его терпение, его жизнь в тяжелых трудах вдали от столичного блеска, усилия охватить мыслью живую целостность, презрение к авторитаризму, этическую независимость, нравственную жизнь, жизнь ученого, жизнь педагога. Эти уроки одинаково сильно пленяют и стар и млад, радикалов и консерваторов.

Более того, для Иманиси — как и для Окумото — то, что Фабр искал в насекомых нечто божественное, узнаваемо и в другом ракурсе. Установки Фабра легко вписываются в комплекс мыслей, к которому часто апеллируют японские любители природы (а также иностранцы, описывающие отношение японцев к природе), пытаясь объяснить то, что националисты, романтики, приверженцы нью-эйдж и другие часто считают уникальным японским чувством сродства с природой и в особенности с насекомыми: это анимистский, синтоистский (а впоследствии вошедший в японский буддизм) тезис, что божество [ками] «поселяется в отличительных чертах природы, которые вселяют в людей ощущение благоговения или одухотворенности», что «природа божественна», что природа сама по себе божественна [96]. (Тут я должен подчеркнуть, что это не совпадает с представлением Фабра, что природа — выражение Божественного.)

Есть кое-что еще. Осуги и Окумото обнажают недостатки чтения, при котором мы подмечаем только буквальный смысл. Они напоминают: чтобы

понять Фабра и его обаяние, мы должны расслышать в его трудах другие отголоски, не только то, что философ и лингвист Дж. Л. Остин назвал бы его констативными смыслами (неубедительную теорию инстинкта, малообоснованное опровержение трансформизма), но и его поэтику, поэтику его повествования, его писательского стиля, который неожиданно протаскивает тебя сквозь лупу и забрасывает в гнездо осы; поэтику его трудной жизни и его заядлой аутомифологизации; поэтику глубокого сродства с миром природы; поэтику его насекомых и этой невозможной, неопределенной близости между вами, мной и теми Другими, которые являются совершенно повсеместными и совершенно чуждыми существами сразу [97].

## 6

В одном из своих знаменитых ежемесячных эссе в журнале *Natural History* эволюционный биолог и историк науки Стивен Джей Гулд отметил, что паразитические осы — как эндопаразиты, пожирающие свою добычу заживо, изнутри, так и описанные Фабром эктопаразиты, начинающие пожирание снаружи, — поставили перед западными теологами XVIII–XIX веков самую пугающую проблему — проблему зла. Если Господь Бог всеблаг и творение — выражение его доброты и мудрости, «почему», мучились они сомнениями, «нас окружают боль, страдания, а также, по-видимому, бессмысленная жестокость в мире животных?» [98] Легко постичь, что хищный образ жизни присущ выживанию в природе, но зачем милосердному Богу допускать те мучения, которым оса подвергает своих жертв, — «медленную смерть от высасывания паразитами», смерть, которая еще более кошмарна, так как ей умирают живые, явно небесчувственные существа, и смерть эта, как замечает Гулд, напоминает «старую английскую кару за государственную измену — колесование и четвертование, явно направленную на то, чтобы причинить жертве максимально сильные мучения, сохраняя в ней жизнь и не позволяя ей потерять сознание».

«Точно так же, как королевский палач вырывал своему клиенту внутренности и обжигал их, — написал Гулд, — так и личинки [осы] вначале съедают жир и пищеварительные органы, а сердце и центральную нервную систему не трогают, дабы [в жертве] теплилась жизнь» [99].

Я не буду оригиналом, если отмечу, что природа давно уже служит непровержимо правдивым зеркалом человеческого удела, что законы природы воспринимаются как отражение законов Бога, каждый жест природы содержит нравственный урок, а природные «социумы» рассматриваются как атавистические варианты нашего собственного социума. Когда наблюдатели столкнулись с пугающей загадкой паразитирующей осы, они оказались на развилке двух дорог. Один путь — мучительное признание того, что в природе существует зло; за ним следует обязательный второй шаг: человек решается преодолеть животные черты и выполнить обещания человечности, совершая добрые поступки. Второй путь, сегодня более распространенный, чем в прошлые столетия, приближенный к непредсказуемости современной эволюционной теории, опирается на нравственное разочарование в природе, на тезис, что в действительности невозможно извлечь какие-то уроки из поведения животных или явлений природы, что природа, как выразился Гулд, «вне

морали», что, как он выражается, «гусеницы страдают не ради того, чтобы нас чему-то научить; осы их просто перехитрили» (и кстати, хотя сегодня это немислимо, гусеницы и другие жертвы однажды, возможно, даже найдут управу на ос).

Но паразитирующие осы как-то не вяжутся с разочарованиями. В их присутствии наблюдение становится глубоко драматичным процессом. «Мы не можем, — отмечает Гулд, — описать этот элемент естествознания иначе как историю, в которой сочетаются темы мрачного ужаса и зачарованного внимания, историю, в финале которой обычно чувствуют скорее восхищение осой, чем сострадание к гусенице» [100].

Бедняга Фабр, жертва паразитов! Он и впрямь был перспективным хозяином паразитов. Если бы он четко осознал это, то, возможно, не стал бы нам столько рассказывать об осах *Sphex*, *Bembex* и прочих. Он хорошенько подумал бы, прежде чем вдаваться в подробности их охотничьей стратегии и в особенности рассуждать о скрупулезности их хирургических укусов. Но, разумеется, он не мог удержаться — вот в чем вся соль. С того момента, когда он прослезился перед осой *Ammophila*, он перешел Рубикон. И эта капитуляция стала для него и разгромом, и победой. Он предоставил животным самим рассказывать их истории. По крайней мере, в этом его инстинкт сработал безошибочно.

## F/D Fever/Dream Лихорадка/Сон

### 1

То утро, слишком жаркое, слишком солнечное: нигде не находишь тени, в которой можно было бы укрыться; выжимаешь всё, что можешь, из подвесного мотора; первая река, вторая река, эти нескончаемые реки Амазонии; изумляться, что бывают такие далекие расстояния, нервничать из-за горячего, нервничать из-за подтопленных деревьев в воде, нервничать, что не успеем... везти на фельдшерский пост несчастную, печальную Лин, коротко стриженную, — она обкорнала волосы из бунтарства, и это стало лишним подтверждением ее умопомешательства... Марко, ее муж, с каменным лицом присматривает за ней, она же распростерлась под скамейками в нижнем отсеке моторки, подпрыгивающей на волнах, она неподвижна, лежит, как неживая, но всё еще жива, с виду неживая, но внутридым коромыслом: малярия циркулирует по ее жилам, раздувает ее печень, накаляет лихорадочный бред в ее несчастных затуманенных мозгах.

### 2

Заболели все без исключения. И неважно, что вокруг каждого дома лес был расчищен — именно так, как призывали листовки министерства

здравоохранения. Неважно, что на дверном косяке в каждом доме был аккуратно написан от руки номер — подтверждение, что дом опрыскан ДДТ. Заболели все, некоторые сильнее, чем другие, самые слабые — дети и старики — как обычно, сильнее всех. Когда настал мой черед, я просто лег в гамак, пылая от ледяной дрожи, с резью во всем теле — с макушки до кончиков пальцев на ногах, взгляд у меня был тусклый, голова отупела, я всецело зависел от милости тех, кто знал: сделать ничего нельзя, остается лишь пережить. Каждый день, когда смеркалось, лихорадка возвращалась. А наутро возникало чувство слабости, в котором был некий приятный аскетизм: словно я очистился и искупил свои грехи, выдержал испытание и остался жив. Но в голове свербело знание, что мой организм роковым образом прикован к суточным ритмам в новом, непредвиденном смысле.

А моя болезнь была ерундовой по сравнению с болезнями других. Молодая и сильная Дора, моя лучшая подруга в этих местах, побывала на пороге смерти. У нее, как и у Лины, был *falciparum* — самый страшный вариант, как она мне сказала. Когда она заболела, я был в отъезде, так что у нее была возможность рассказать мне об этом во всех мелодраматичных подробностях, которых заслуживал криз ее заболевания. У нее было *três cruzes* — «три креста», сказала она, хотя, как и я, она так и не разобралась толком, почему это так называется. *Um cruz, dois cruzes, três cruzes*. Некоторые говорили, что это отражает силу инфекции.

Но на типографских бланках, которые нам обоим дали в городской поликлинике, было три латинских названия (хотя, между прочим, на самом деле людей заражают четыре вида *Plasmodium protozoa*) и пустые клеточки, в которых можно было поставить аккуратный маленький крестик рядом с каждым названием.

На моем бланке был всего один крест, а клеточка рядом с *P. falciparum* пустовала. У Лины и Доры было по три креста, значит, один крестик непременно стоял рядом с *P. falciparum* — паразитом, который заплывает наверх, прямо в твой мозг.

### 3

Если ты очистишь землю вокруг своего дома от растительности, следуя советам в листовках, это мало что изменит. Или даже станет хуже. Боже правый, это же пойма Амазонки, дома стоят на речном берегу, и, когда паводок кончается, всюду остаются лужи и прудики со стоячей водой. Каждый год в течение нескольких недель воздух на рассвете и в час заката так кишит москитами, что все жгут в своих комнатах дрова, надеясь распугать этих бесов дымом. С нескончаемо слезящимися глазами, снова и снова шлепая себя по бедрам, рукам, бокам, даже по щекам, колотя друг друга, если замечаем усевшегося москита, подскакивая, словно кистоунские полицейские в старой комедии, мы пытаемся ужинать, но в большинстве случаев просто пасуем. Невозможно ни сидеть, ни вообще оставаться неподвижными, и, не будь эти укусы, похожие на булавоочные уколы, столь болезненными, мы, наверно, находили бы всё это комичным. Не проходит и несколько минут, как мы укрываемся за москитными

сетками или закутываемся в хлопковые одеяла, удрученные, искусанные, голодные.

В городах есть разные приспособления для отпугивания mosкитов. Но здесь, поскольку нет электричества, есть только одно средство — дым. Когда эффективной защиты нет, насекомые полностью лишают нас сил. Я никогда ни с кем не делился этим чувством, но среди этих насекомых я чувствую себя назойливым чужаком. Не так, как чувствовал себя, когда только приехал (а чувствовал я, что неуклюже встрял в жизнь людей, которые приютили меня в своем доме, и, значит, я на них паразитирую). Теперь, когда мы убегаем от туч mosкитов и клубов дыма, сплоченные болью и раздражением, стало ясно, что все мы тут — непрошеные гости, которые вмешиваются в жизнь ландшафта и его исконной флоры и фауны.

#### 4

Хотя *P. malariae* может жить в организме целого ряда приматов, *falciparum* и другие паразитируют только на человеке. Между самкой mosкита *Anopheles* и ее паразитами — простейшими животными — стоят жизненные циклы, внушающие благоговейный ужас: столько в них изящества, разрушительности и стойкости. В сентябре 1658 года Оливер Кромвель умер от малярии, которой заразился в Ирландии. Теперь европейцы знают малярию исключительно как тропическое заболевание, болезнь бедняков из дальних и отсталых краев, неприбыльную болезнь. По данным ВОЗ, от малярии каждый год умирает полтора миллиона человек. К счастью, Лина не попала в их число. По крайней мере, тогда не попала. На фельдшерском пункте ей сделали укол и выдали какие-то таблетки, и мы повезли ее домой, теперь уже медленно; тревога отступила.

Столько проблем, и такие колоссальные; с чего начать? Фельдшерского пункта поблизости нет, канализации нет; летом проблемы с едой; невыносимое неравенство в доступности здравоохранения, средней продолжительности жизни и благосостоянии. А потом — стыд, такой сильный стыд, такое чувство своей бесполезности, такая всепоглощающая скука, которые выводят эту женщину из себя, а ее семью вынуждают стать маргиналами из маргиналов. Когда я пришел попрощаться, Лина не вышла из своего деревянного домика, где было всего две комнаты, — осталась внутри вместе со своими дочерьми, четырьмя девочками младшего школьного возраста, которые обихаживали ее. Я посидел на поваленном дереве на улице рядом с Марко, глядя на его кукурузное поле и ручей. Марко попыхивал сигаретой и терпеливо слушал, а я врал в последний раз, рассказывая ему о своем путешествии и обещая, что скоро я вернусь повидаться со всеми ними.

## G

### Generosity (The Happy Times) Щедрость (Счастливые времена)

По дороге на бой сверчков господин У сунул нам какую-то бумажку. Сначала нам показалось, что это список покупок.

— Опять числа, — сказал Майкл и прочел вслух:

«ТРИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ  
ВОСЕМЬ СТРАХОВ  
ПЯТЬ РОКОВЫХ НЕДОСТАТКОВ  
СЕМЬ ТАБУ  
ПЯТЬ НЕПРАВД»

Таков был ответ господина У на вопрос, который я задал ему несколькими часами раньше в продыmlенном приватном банкетном зале с золотыми обоями на верхнем этаже «Роскошного сада» в Миньхане — огромном промышленном предместье к юго-западу от Шанхая. Но такого ответа мы не ожидали. Спроси его, о чем только вздумается, сказал Майкл, и я подумал, что мы все в отличном настроении. Начальник Сунь и господин Тун — обаятельный игрок из Нанкина — рассказывали смешные истории, скрытный Начальник Ян покраснел и раздухарился, мы провозглашали тосты за здоровье и за необычную дружбу. Но когда я сказал господину У, что Три Противоположности мне пока непонятны, он, не улыбнувшись, посмотрел сквозь меня.

Майкл отпросился в своем шанхайском колледже, чтобы поработать у меня переводчиком. Но вскоре он сделался моим полноправным соисследователем. Мы сообща старались выяснить всё, что удастся, о боях сверчков и об их возрождении (про возрождение боев говорили все). Целыми днями мы носились по городу, оказывались в местах, которые нам обоим были в новинку, знакомились с торговцами, тренерами, игроками, спонсорами состязаний, энтомологами, всевозможными специалистами. Когда мы сели обедать в «Роскошном саду», нам уже были известны две Противоположности, а насчет третьей у нас были основательные предположения, и, задавая свой вопрос, я думал, что просто вызываю собеседника на разговор безобидной фразой. Но господин У уперся. Как и многие другие люди, с которыми мы повстречались в Шанхае, он хотел, чтобы мы поняли, как глубок мир китайских боев сверчков и как поверхностны наши вопросы.

## 2

Всякий знает, что Шанхай поразительно быстро разрастается и преображается. Менее чем за тридцать лет поля, где обитали сверчки, практически исчезли. Теперь во все стороны тянутся плотные розовые и серые шеренги гигантских многоквартирных домов — продолговатых коробок с барочной и неоклассической отделкой; они расползаются там, куда еще не дошли новопостроенные линии метро и куда еще не ходят даже пригородные автобусы.



Символ того, что Шанхай стремится завладеть будущим, — эффектная набережная в Пудуне с неоновыми огнями — существует не больше пятнадцати лет, но уже реконструируется. Я изумляюсь нагловатой дерзости телебашни «Восточная жемчужина», этого разноцветного кинетического звездолета, который и впрямь стал жемчужиной на ослепительном горизонте Шанхая, а про себя думаю: «В Нью-Йорке совершенно невозможно возвести нечто не только столь же смелое, но и причудливое». Майкл и его друзья, ребята студенческого возраста, смеются.

— Вообще-то нам это немножко надоело, — говорит Майкл.

Но и они знают, что такое ностальгия. Всего лишь несколько лет назад они — словно бы на другой планете — помогали своим отцам и дядьям ловить и выращивать сверчков в своих родных кварталах, в тесном дружеском кругу, забегали друг к другу домой, гуляли в переулках, объединенные тем бытом, который уже исчез в квартирах в многоэтажках. В деловом центре можно увидеть осколки прежней жизни — лоскутки, которые пока не перестроены или не превращены в тематические парки.

Но иногда жители упрямо переживают, окруженные развалинами соседских домов: сопротивляются принудительному выселению в далекие предместья, когда правительство сносит еще больше жилых домов (в данный момент это делается, чтобы пустить миру пыль в глаза на «Экспо-2010»).

В восемнадцати километрах от центра Шанхая, в пятнадцати минутах езды в переполненном автобусе от «Синьчжуана» — гигантской конечной станции метро, есть совершенно иной квартал — городок Цибао. Это официальный исторический памятник, туристическая достопримечательность, возможность погрузиться в мир прошлого, который китайцы старались крушить в годы культурной революции, проклиная феодализм, а теперь восхваляют его как кладезь национальной культуры и фольклора. Цибао блистает своим новообретенным изяществом: тут есть каналы и мостики, узкие пешеходные улицы, вдоль которых выстроились воссозданные здания династий Мин и Цин, магазинчики, где шанхайцы и гости из других мест покупают всевозможную еду для перекуса, чай и изделия народных мастеров, а также группа типичных зданий, умело реконструированных и превращенных в живые музеи: храм, объединивший в себе архитектурные особенности династий Хань, Тан и Мин, ткацкая мастерская, старинный чайный домик, знаменитая винодельня, а также

(в доме, который специально выстроил для этого вида спорта Цяньлун, великий император династии Цин) единственный в Шанхае музей бойцовых сверчков.



Все эти сверчки пойманы здесь, в Цибао, говорит Мастер Фан, директор музея, стоя позади стола, где расставлены сотни серых глиняных горшков, а в каждом горшке — один бойцовый самец (иногда в сопровождении самки, с которой он спаривается). Сверчки из Цибао славились на всю Восточную Азию, говорит он, это потому, что здесь очень плодородная почва. Но после того, как в 2000 году здешние поля были распроданы, отыскать сверчков сложнее. Две помощницы Мастера Фана, одетые в белую униформу, наполняют водой из пипеток миниатюрные миски в клетках сверчков, а мы, люди, пьем вяжущий, но приятный на вкус чай, приготовленный по рецепту Фана из семи целебных трав.

Мастер Фан производит большое впечатление. Поля его белой парусиновой шляпы лихо заломлены, на шее у него нефритовый кулон, на пальцах — кольца, взгляд пронзительный, рассказывает он упоенно, смеется гортанно. Мы с Майклом, моментально подпав под его обаяние, внимаем каждому его слову. «Мастер Фан — повелитель сверчков, — говорит нам по секрету его помощница госпожа Чжао. — У него сорокалетний опыт. Никто не научит вас всему о сверчках так, как он».

В музее все поглощено подготовкой к фестивалю сверчков «Золотая осень в Цибао». Это мероприятие длится три недели: серия показательных матчей, чемпионат; все матчи транслируются по телевидению. Цель затеи — популяризация боев сверчков как излюбленного вида досуга, а не как азартной игры, с которой они столь прочно ассоциируются в наше время, напоминание людям об огромной роли этого спорта в истории и культуре, а также пропагандирование его за пределами той демографической группы, которой сейчас ограничивается его притягательность, — мужчин старше сорока лет.

Все говорят мне, что еще двадцать лет назад, до того, как строительство «нового Шанхая» пожрало первоначальные ландшафты, во времена, когда городские районы были лоскутными одеялами из полей и домов, люди и животные жили бок о бок. Многим скрашивали жизнь цикады («певчие братья») или другие насекомые-музыканты, которых люди держали в бамбуковых клетках и узких карманных коробочках, а на боях сверчков играла молодежь, а не только люди среднего возраста: учились распознавать Три Расы и Семьдесят Две Личности, как определить перспективного чемпиона, как тренировать бойцов, чтобы они полностью реализовали свой потенциал, как, орудуя тоненькими кисточками из травы элевзины или мышинных усов, стимулировать



челюсти насекомых и провоцировать их на бой. Они изучали азы Трех Начал, вокруг которых строится любое руководство по сверчкам: оценивание, работа тренера и бой.

Ирония в том, что, хотя простых любителей, гарантирующих дальнейшее существование спорта, становится всё меньше, сами бои сверчков сейчас переживают в Китае возрождение. Правда, среди молодежи гораздо популярнее компьютерные игры и японские манга, но среди старшего поколения бои сверчков в фаворе. И всё же это хрупкое возрождение, и мало кто из любителей ему рад. Пусть даже рынки сверчков процветают, пусть даже культурные мероприятия набирают обороты, а игровых салонов становится всё больше, многие говорят о сверчках с преждевременной ностальгией, с ощущением, что и это, как и многие другие черты повседневности, которые всего несколько лет назад казались совершенно обыденными, уже практически ушло в прошлое, унесено ветром — не впервые на памяти нынешних поколений — на свалку истории.

Мастер Фан достает с полки за своей спиной необычный горшок для сверчка и проводит пальцем по надписи, вытисненной на его поверхности. Начинает звучно декламировать, с расстановкой, с драматизмом классической оратории. Вот Пять Добродетелей, объявляет он, пять качеств человека, имеющиеся у лучших бойцовых сверчков, пять добродетелей, которые роднят сверчка и человека.

*Первая Добродетель:* когда придет время петь, он будет петь. *Это надежность (синь).*

*Вторая Добродетель:* повстречавшись с врагом, он без колебаний бросится в бой. *Это храбрость (юн).*

*Третья Добродетель:* даже тяжелораненый, он не сдается. *Это преданность (чжун).*

*Четвертая Добродетель:* потерпев поражение, он не будет петь. *Он знает, что такое стыд (чжи чи).*

*Пятая Добродетель:* когда ему станет холодно, он вернется в свой дом. *Он мудр и смиряется с фактами, обусловленными его положением (ши ши у) [101].*

На своих хрупких спинах сверчки несут груз прошлого. *Чжун* — не просто преданность, а преданность императору, готовность отдать за него жизнь, не уклоняясь от своего высшего долга.

*Юн* — не просто храбрость, а тоже готовность пожертвовать своей жизнью, причем охотно.

Это не просто старинные добродетели, а разметка нравственного компаса, кодекс чести. Как скажет вам всякий, эти сверчки — «воины», а те из них, кто побеждает в чемпионатах, — «генералы».

Надпись на горшке Мастера Фана — цитата из текста, который для любителей сверчков, безусловно, бесценен, — «Книги сверчков» (*Cù zhī jīng*) XIII века, написанной Цзя Сыдао (1213–1275) [102]. Цзя не был рядовым любителем: его доселе помнят как «министра сверчков» императорского Китая, главного министра — подлинного сибарита — на закате южной династии Сун, человека, который так увлекся своими сверчками, что государство прозябало в

небрежении, разорилось, погибло, подпало под власть монгольских захватчиков. Вот что поведал его официальный биограф:

«Когда стало ясно, что осада города Сяньян неизбежна, Цзя Сыдао сидел, как обычно, на холме Ко, занимаясь строительством домов и пагод. И, как всегда, он привечал самых красивых куртизанок, уличных девок и буддистских монахинь, чтобы те любили его за деньги, как всегда, он предавался своим обычным увеселениям. <...> Только старые игроки-бандиты, которым хотелось поиграть, подступались к нему; больше никто не осмеливался даже заглядывать в его резиденцию. <...>

Он сидел на земле на корточках, окруженный наложницами, и предавался боям сверчков» [103].

Историк Сюн Пин-Чэнг отмечает: что бы ни говорил этот инцидент о чувстве ответственности и личной добродетели Цзя, эта сценка характеризует его как человека, чьи неисправимые недостатки, по крайней мере, чисто человеческие, в чьей страсти к сверчкам есть некая демократичная упертость. С того момента Цзя «был провозглашен в Китае божеством азартных игр, — пишет Сюн Пин-Чэнг. — Столетиями его имя украшало обложки всех книг о сверчках, как бы вы ни назвали эти книги: собраниями, историями, словарями, энциклопедиями, — литературу об отлове, содержании, разведении, боях и, конечно, ставках на бои сверчков» [104].

Этих сверчков окружает крайне двусмысленный ореол — даже в этой отдельно взятой истории. Столько всего сплелось: печальная повесть, в которой сверчки — лишь еще один символ феодального упадка, противоположность социалистической современности и готовая аналогия текущих несправедливостей; предостережение, без обиняков указывающее, как помешательство на боях сверчков действует на нравственность индивида и общества; чарующая история, где проблема желания — вечно сопряженная с угрозой пагубного пристрастия или другого расстройства — неотделима от волшебной силы сверчков, от чар, которыми они опутывают главного человека в империи, чар, которые одновременно увлекают и порабощают. А если вернуться с небес на землю, эта история — отражение культуры в самом упрощенном смысле, которая проходит сквозь века, доказывая важную социальную роль сверчков в истории: они были подлинными вершителями судеб.

И, если бы этого еще было недостаточно для одного человека (у которого, естественно, была и другая общественная роль — весьма значительного политика), есть «Книга сверчков», подлинный фундамент науки о сверчках, тот неуказываемый источник, на который опираются все: Мастер Фан, господин У, Начальник Сунь, когда говорят мне, что культура работы со сверчками — это *сюэ вэнь хэнь шэн*, очень глубокое знание, которое пришло к нам напрямую из древних книг. Мы можем выразить это на другом языке — попросту сказать, что «Книга сверчков» Цзя Сыдао — это не только самое раннее из существующих руководств для любителей сверчков, но и, возможно, первая в мире книга по энтомологии [105].

В письменных источниках зафиксировано, что бои сверчков устраивались в Китае уже при династии Тан (618–907). Но только когда появилась «Книга

сверчков» Цзя — кладезь детальных познаний о насекомых, мы можем быть уверены, что выращивание сверчков и бои между ними сделались широко распространенным и изоощренным развлечением. Собственно, за триста лет, которые отделяют южную династию Сун — времена Цзя — от среднего периода династии Мин, развивается организованный рынок сверчков и всего, что с ними связано [106]. В пору своего величайшего расцвета — при династии Цинь (1644–1911) — этот рынок объединил город с деревней в области коммерции и культуры, а также поощрил производство поразительно красивых принадлежностей и клеток [107]. Роль бойцов затмила более древнюю роль сверчков как «певцов-компаньонов»; появилась разветвленная сеть игорных домов, где были квалифицированные сотрудники и сложные правила; государство энергично, но в основном малоэффективно пыталось запретить бои, а люди всех возрастов — словно повинувшись экстравагантным желаниям Цзя — вовлеклись в деятельность, которая была доступна всем общественным слоям и в течение нескольких столетий пользовалась подлинной популярностью, что четко видно по картинам и стихам, а также по классическим рассказам типа «Сверчка» Пу Сунлина — знаменитой истории о гнете бюрократии и таинственных превращениях, истории глубокой, тонкой и сатирической, известной всем моим шанхайским знакомым; сам я отыскал ее на лотке букиниста в виде изящно нарисованного комикса начала восьмидесятых годов XX века (форма комиксов когда-то была в Китае не менее популярна, чем сегодня в Японии и Мексике) [108].



Но не будем пока терять из виду нашего знакомого Цзя Сыдао. Его книга сыграла огромную роль и очень интересна. Она объединяет в себе самые разные вещи: философию и литературу, медицину и практическое руководство, а также познания, которые подпадают под нынешнее более узкое понимание естествознания; по своему размаху она напоминает грандиозные компендиумы о насекомых Нового времени: шестую книгу *De animalibus* (1602) Улиссе Альдрованди и *Insectorum sive minimorum animalium theatrum* (1634) Томаса Моффета — первые европейские книги, целиком посвященные насекомым (заметьте, эти книги увидели свет спустя почти четыреста лет после «Книги сверчков»).



Цзя преследовал совсем иные цели, чем европейские натуралисты: он пишет не с тем безудержным желанием собрать воедино вселенную природного мира и в некотором роде стать ее властелином, а с более скромным устремлением послужить сообществу игроков (к ним он обращается «*jūn zī*» — «благородные мужи»), к которому принадлежал и сам. Подобно томам Альдрованди и Моффета, «Книга сверчков» — плод компиляции и систематизации. Но в Европе, когда наступила эпоха Просвещения, европейская натурфилософия разделилась на научные дисциплины, что обрекло энциклопедии Альдрованди и Моффета, изобилующие фантазиями, на долгую безвестность. Напротив, подход Цзя — строго эмпирический, он столь четко адаптирован к нуждам его собратьев — любителей сверчков, что (хотя в современном сообществе сверчкистов критически смотрят на классическую эрудицию и периодически сетуют на ненаучные ляпсусы Цзя) его детальное руководство по выявлению сильных бойцов на основе морфологических черт и ныне служит основой познаний о сверчках. Когда Мастер Фан и другие специалисты пытались объяснить мне, какие признаки помогают им судить о боевых способностях сверчка, просто наблюдая за ним в горшке, они ссылались на таксономию, которая впервые появляется в «Книге сверчков» Цзя, а на протяжении веков видоизменяется и дополняется, но не отменяется.

Система до ужаса сложная. Всё начинается с цвета тела. Цзя выделяет и ранжирует четыре цвета тела. Первый — желтый. За ним следуют красный, черный и белый. На авторитетном сайте любителей сверчков [xishuai.com](http://xishuai.com) к этому списку добавлены лиловый и зеленый (последний цвет сверчкисты непременно называют древним словом «*цин*»), но ранги этим цветам не присвоены. Напротив, почти все специалисты по сверчкам, с которыми я разговаривал в Шанхае, описывают всего три цвета: желтый, *цин* и лиловый. Желтые сверчки слывут самыми агрессивными из всех трех разновидностей, но не обязательно наилучшими бойцами, поскольку насекомые цвета *цин*, хоть и ведут себя относительно смирно, лучшие стратеги, и (если верить *чунпу* — ежегодному иллюстрированному списку сверчков-чемпионов) среди них больше всего «генералов».

Цвет — первый из критериев, по которым подразделяются сверчки, он наделяет насекомое первоначальной идентичностью, которая, как мы можем видеть, якобы соответствует различиям в поведении и характере. Но помимо этих широких разграничений существует деление на индивидуальные «личности». Часто утверждается, что «личностей» семьдесят две [109]. На

взгляд энтомологов типа моей приятельницы — профессора Цзинь Синбао, эти «личности» отражают только индивидуальные и, следовательно, незначительные в таксономическом смысле вариации среди сверчков. Количество «официальных» видов, к которым принадлежат бойцовые сверчки, весьма невелико. По классификации Линнея, которую предпочитает Цзинь Синбао, большинство боевых сверчков в Шанхае принадлежат либо к виду *Velarifictorus micado* (это черные или темно-коричневые сверчки, которые вырастают до тринадцати-восемнадцати миллиметров, в дикой природе яро отстаивают свою территорию и весьма агрессивны), либо к столь же воинственному виду *V. aspersus* [110].

Классификация профессора Цзинь, идентифицирующая популяции для размножения сверчков и эволюционные взаимоотношения, очень важна, например для сохранения вида. Однако, как я подозреваю, Цзинь сама согласится, что эта классификация не принесет особой пользы тренерам сверчков, которым нужны способы выявить потенциальных чемпионов. Их система классификации основана на аккумуляции многочисленных физических переменных и сложных скоплений черт [111].

Длина, форма и цвет лапок, брюшка и крыльев насекомого — всё это систематически анализируется, как и форма головы (в современных руководствах может упоминаться семь или больше вариантов), как и различия в количестве, форме, окраске и ширине «боевых линий», которые продольно пересекают «корону». Специалисты также учитывают силу усиков, форму и цвет «бровей» насекомого (их цвет должен быть «противоположностью» цвета усиков), форму и размер шейного щитка, окраску, относительную прозрачность и силу челюстей, форму передних крыльев и их угол в состоянии покоя, степень заостренности кончиков крыльев, волоски на брюшке, ширину грудной клетки и морды, толщину лапок, общую осанку насекомого.

«Кожа» насекомого должна быть «сухой» — то есть отражать свет своей толщиной, а не поверхностью; она также должна быть нежной, как у младенца. Походка сверчка должна быть резвой и непринужденной, он не должен переваливаться при ходьбе. В целом сила важнее, чем величина. Развитость челюстей — решающий фактор.

Не счесть руководств, посвященных выявлению самых перспективных сверчков. Книги полны цветными фотографиями таких выдающихся личностей, как «Лиловая голова, золотое крыло», «Вареная креветка», «Бронзовая голова и железная спина», «Крыло Инь-Ян» и «Силач, которого никто не может обидеть». Но, как указывает профессор Цзинь, это идеальные типы — сверчки-индивиды, проявляющие ценные комбинации черт, которые вряд ли возникнут у других сверчков именно в этой форме.

Хотя с точки зрения естествознания этот метод, возможно, отличается неточностью и таксономической путаницей, он ближе к зоологической классификации, чем может показаться на первый взгляд. Система сверчкистов — чисто практическая, направленная на выявление признаков бойцовских качеств и распространение этих признаков в сообществе сверчкистов во имя демократической учености. Это также в своеобразном смысле нравственная система, учебник архаичной (пожалуй) мужественности (правда, глупо думать,

что эти черты ценятся в мужчинах только потому, что за них ценят сверчков). Чтобы овладеть подобными знаниями, могут потребоваться десятилетия их усердного применения на практике и изучения книг; эти познания всесторонни и одновременно интуитивны; новичку они по большей части недоступны.

Научная классификация, хотя возникла она намного позже и преследует иные цели, обладает многими из этих черт и тоже основывается на типичных образцах: на первых особях данной категории, которые были добыты и описаны, и на том образце, с которым будут сопоставляться все последующие особи. Более того, в обеих системах индивидуальные вариации, не выходящие за рамки заданных параметров, игнорируются. Таксономия не просто требует способности оценивать, но и сама является набором оценок. И это ключ к задаче раздобыть самых лучших насекомых, которая встает ранней осенью. Как вновь и вновь втолковывали нам с Майклом, умение судить о качестве сверчка основывается на глубинных знаниях. И всё же способность оценивать — лишь одно из Трех Начал познаний о сверчках, и для Мастера Фана оно не столь важно, как тренерская работа, которой посвящены две недели в середине осени между *бай лю* — завершением отлова сверчков — и *цю фэнь* — началом официального сезона боев.

Мастер Фан объясняет мне, что дело тренера — опираясь на уже существующие врожденные добродетели, развивать в сверчке боевой дух (*доу син*). Это необходимое качество проявляется исключительно в момент, когда насекомое выходит на арену. Хотя сверчок, возможно, во всех отношениях похож на чемпиона, хотя все его физические черты, возможно, оценены верно, может оказаться, что ему недостает духа соперничества. И этот недостаток, уверяет Мастер Фан, обусловлен не столько характером конкретного сверчка, сколько неправильным уходом. Дело тренера — укреплять силы сверчка, кормя его пищей, которая соответствует его стадии роста и индивидуальным потребностям, излечивая его от недомоганий, развивая его физические способности, поощряя его добродетели, стараясь преодолеть его врожденное отвращение к свету, приучая его к новой, непривычной среде. По сути, говорит Мастер Фан, тренер должен создать условия, в которых насекомое может жить счастливо. Если сверчка любить и хорошо о нем заботиться, он это чувствует и отвечает на это преданностью, храбростью, послушанием и проявлениями тихого довольства жизнью. На практическом уровне это обмен услуги на услугу, так как счастливый сверчок поддается обучению, а когда при попечении тренера состояние его здоровья улучшается, умения совершенствуются и уверенность в себе растет, укрепляется и его боевой дух.

И, объясняя мне всё это, описывая режим половой жизни, который он обеспечивает сверчку, перечисляя многочисленные симптомы нездоровья, которые надо высматривать, демонстрируя очищенную воду, пищу домашнего приготовления, различные горшки, разъясняя, что всё держится на способности договориться со сверчком и что трава элевзина — мост между ним и насекомым (то есть, другими словами, они понимают друг друга, общаясь на языке, который вне всех языков), Мастер Фан снял крышку с одного из своих горшков и, экспрессивно отвечая на мои всё более банальные вопросы, взял сухой стебель элевзины и принялся отрывисто отдавать приказы сверчку, словно

солдату: «Сюда! Туда! Сюда! Туда!» — а насекомое — к глубокому изумлению нас с Майклом — реагировало без заминки, поворачивало влево, вправо, влево, вправо, выполняя комплекс упражнений, который, как позднее объяснил Мастер Фан, развивает в бойце гибкость; так сверчок продемонстрировал, что человек и насекомое понимают друг друга на языке команд — и не только на нем. При тренировках сверчка задействованы диетология, медицина, гигиена, физиотерапия и психология. Каждая из этих наук затронута Цзя Сыдао в «Книге сверчков», и, как и принципы оценки бойца, все эти знания передаются среди сверчкистов из поколения в поколение и обновляются, дополняются, пересматриваются. Диетология, гигиена и медицина (сверчков) в наше время опираются на принципы как китайской медицины (устранение дисбаланса между пятью элементами с помощью лечебных ванн и подходящей пищи), так и научной физиологии (то есть необходимо подбирать не только «охлаждающие» и «согревающие» продукты питания, но и пищу, которая богата, например, кальцием, полезным для наружных покровов насекомого).

А вот что рассказал мне Мастер Фан в нашу последнюю встречу. Дикий сверчок всегда превосходит того, кто выращен из яйца в неволе. А когда я спросил почему, он ответил мне, что дикое животное впитывает особые качества из своей родной земли. Я сразу же подумал, что он указывает на особенность дикой природы, в которую мне тоже хочется верить, — на некое невыразимое, холистическое свойство, ускользающее от молекулярной логики. Услышав его ответ, я вспомнил селение Игарипе Гуариба (ту деревушку на Амазонке, которую заполонили желтые летние бабочки) и то, что делал сеу Бенедито, когда заболел: он сам готовил себе лекарства и на несколько дней оставлял их, перелив в бутылку от газировки и закрыв крышкой, у реки, чтобы они впитали ночной воздух. Это произвело на меня огромное впечатление, потому что в моем понимании раз бутылка была закупорена, то ничего не могло в нее попасть, но для сеу Бенедито эти дни под изменчивым небом были важнейшим ингредиентом, столь же важным для рецепта, как любой корень и лист в этой смеси. Но когда я спросил у Мастера Фана, что именно сверчок впитывает из своей среды: может быть, он крепнет, борясь с тяжелым климатом или негостеприимной землей? может быть, в атмосфере есть какие-то духи, закаляющие его боевой дух? — в ответе не было никакой мистики: лучшие сверчки растут не на суровой почве, а на самой плодородной, их характерные физические качества формируются при питании в раннем возрасте, так что, прежде чем ловить сверчка, посмотри на почву: ты должен знать качество земли, на которой родилось насекомое, и соответствующим образом прописывать ему ванны и пищевые добавки.

И, как иногда случалось, когда тема становилась узкоспециализированной, мы с Майклом обнаружили, что в этом аспекте мнения специалистов расходятся. Сяо Фу, недавно вернувшийся из Шаньдуна, где он ежегодно ловит сверчков, пояснил, что северные сверчки сильны именно потому, что вынуждены бороться с суровым сухим климатом. Господин Чжан, который великодушно водил нас целый день по городским рынкам сверчков (нас очень впечатлили его блестящее умение торговаться и огромные познания о сверчках и связанной с ними культуре), тоже предпочитал диких сверчков домашним, но

пояснял, что дикие насекомые впитывают свой дух и «душу» из стихий, в которых они вырастают, — из земли, воздуха, ветра и воды.

Спустя несколько месяцев, читая «Книгу сверчков» Цзя Сыдао, я обнаружил, что термины, в которых Цзя описывал экологическую взаимосвязь земли и насекомого, трудно конкретизировать: Цзя оставил простор для всех вышеперечисленных точек зрения, но, как и большинство людей, с которыми мы обсуждали эту тему, он тоже настаивал на важности первоначальной среды обитания для боевых качеств сверчка. Его разбор этого аспекта похвалил редактор нашего времени: хоть он и не замедлил раскритиковать ненаучные ляпы в восьмисотлетнем тексте, он вставил лишь примечание, что на самом деле биотопы сверчков варьируются сильнее, чем это было известно Цзя. Редактор — несомненно, благоразумно — не попытался рассудить спорящих экспертов.

### 3

Сверчки прибывают в Шанхай вприпрыжку в начале августа и остаются там до ноября. Майкл часто называл эти три месяца счастливыми временами, и я не сразу понял, что он не переводит этот термин буквально, передавая речь сверчкистов, но домысливает его, руководствуясь радостью, которой были пронизаны их рассказы. Это был образный перевод, намного лучший, чем мой чисто английский «сезон сверчков». Даже если слова «счастливые времена» не отражают тех тревог, которые для многих были кульминацией, а иногда и смыслом всего года, они передают бесспорные радости, заключенные в культуре любителей сверчков: игра и товарищество, приобщение к сокровенному знанию, тесная связь с другим биологическим видом, добровольная капитуляция перед одержимостью увлечением, надежность эрудиции, опирающейся на многовековую традицию, и, разумеется, круговорот денег и заключенные в нем возможности.

Счастливые времена привязаны к ритмам лунно-солнечного календаря, а те, в свою очередь, — к жизни насекомых. *Ли цю* — номинальное начало осени, выпадающее на начало августа, — это еще и момент, когда сверчки Восточного Китая проходят через седьмую, финальную, линьку. Теперь это взрослые, ведущие активную половую жизнь особи, и отныне самцы способны петь и — после того как в последующие дни их окраска потемнеет, а сами они наберутся сил — готовы драться.

Теперь официально начинаются счастливые времена. Я не видел этого своими глазами, но по рассказам воображаю зримо: целые деревни выходят на поля в лунном свете — стар и млад, мужчины и женщины, все с налобными фонариками, — прислушиваются, не запоем ли где сверчок, разыскивают насекомых среди надгробий, простукивают палками землю и кирпичную кладку, льют воду, светят на насекомых, чтобы те испуганно застыли на конце луча, словно перепуганные зайцы, ловят их маленькими сачками, загоняют в стебли бамбука, стараясь не повредить усики, несут домой, классифицируют по диагностическим свойствам. За несколько ночей или дней — днем сверчков тоже ловят — семья может набрать тысячи насекомых, чтобы продать их заезжим торговцам или отвезти на районные и областные рынки.



В крупных городах на востоке Китая *ли цю* — точно набатный колокол. В Шанхае, а также в Ханчжоу, Нанкине, Тяньцзине и Пекине это сигнал, по которому десятки тысяч сверчки отправляются в путь. Ими полны поезда, которые идут в провинцию Шаньдун (двадцать лет назад, когда в Шанхае сверчки стали встречаться редко, она стала региональным центром отлова; шаньдунские сверчки славятся лучшими бойцами, они известны своей агрессивностью, выносливостью и сообразительностью).

Как знать, сколько народу, откликаясь на зов сверчков, проделывают десятичасовой путь из Шанхая в Шаньдун? Господин Хуан, подстригая клиента в своей парикмахерской, говорит нам, что в этот период иногда почти невозможно достать билет на поезд. Сяо Фу, сидя в дверях своей антикварной лавочки и показывая нам свою коллекцию редкостных горшков для сверчков (мне он подарил пару горшков из Тяньцзиня — толстостенных, вмещающихся в кармане, чтобы ты мог греть сверчка своим телом), говорит, что за сверчками вместе с ним ездит до ста тысяч шанхайцев. Другие полагают, что с востока Китая в тот четырехнедельный период приезжает пятьсот тысяч человек и что шанхайцы, отдельно взятые, приносят местной экономике более трехсот миллионов юаней [112].

Кто едет в Шаньдун? Мы всегда слышим один и тот же ответ: если ты, как господин Хуан и Сяо Фу, обычно ставишь на один бой больше ста юаней, ты едешь; а если, как господин У, ставишь не так много, то дожидаясь, пока на шанхайские рынки хлынут насекомые из провинций, и выбираешь сверчков там.

Сяо Фу говорит нам, что он, как и большинство любителей сверчков, играет по маленькой, максимум по среднему. Но сумма, которую он ежегодно тратит в Шаньдуне, — от трех до пяти тысяч юаней — кажется немаленькой по сравнению с его доходом от торговли антиквариатом — двенадцатью тысячами юаней [около тысячи пятисот американских долларов на тот момент]. Впрочем, есть и сверчкисты-миллионеры, которые готовы выложить за одного «генерала» по десять тысяч юаней. Так что в нынешнем году Сяо Фу поступил так, как поступает всё больше гостей провинции: он собрал компанию друзей, арендовал машину и проехался по деревням, разбросанным вдоль дорог в уезде Ниньян, а на главный рынок в Сидяне не пошел — очень уж там много народу.

Как мне рассказывали, когда покупатели типа Сяо Фу приезжают в отдаленные деревни, они частенько первым делом арендуют за пять юаней столик, табуретку, термос и чашку, а впридачу просят сухой чай. Не успевают покупатели усесться, как его начинают осаждать крестьяне: суют прямо под нос горшки со сверчками, кричат: «Посмотрите на моего! Посмотрите на моего!» У некоторых сверчки дорогие, красивые, но приходят также дети и старики с самыми неказистыми, дешевыми насекомыми [113]. Самые ловкие продавцы завязывают и поддерживают связи с покупателями, специально приглашают их в деревню и даже поселяют у себя дома. За сверчками приезжают как игроки типа Сяо Фу, так и шанхайские торговцы, закупающие насекомых оптом. Либо зажиточные крестьяне и мелкие бизнесмены из соседних городов и сел, которые нашли способ пробиться на рынки в Сидяне, Шанхае или и там и там. Либо шаньдунцы, которые зарабатывают на перепродаже насекомых шанхайцам или шаньдунцам, торгующим на городских рынках. Очевидно, для деревенских

жителей, которые каждый год пытаются заработать на сверчках остро необходимые живые деньги, это реальный шанс (хоть и с примесью отчаяния), но столь же очевидно, что в этом бизнесе процветают те, у кого самый большой стартовый капитал, а торговля сверчками — важнейшее дополнение аграрной экономики в Шаньдуне и в восточных провинциях (Аньхой, Хэбэй, Чжэцзян и других), а также движущая сила социального расслоения, усиливающая и без того большое неравенство.

Вдобавок эта движущая сила ненадежна и деструктивна. В восьмидесятые и девяностые годы XX века, когда расцвели рынки сверчков в Шаньдуне, уезд Ниньцзин был самым популярным направлением среди покупателей. Но после десяти с лишним лет интенсивного отлова качество сверчков заметно снизилось, и первенство перехватил соседний уезд Ниньян, ныне рекламирующий себя как «священную родину китайского бойцового сверчка». Однако в последние годы чрезмерная эксплуатация «сверчковых ресурсов» Ниньяна вынудила местных ловцов (а также гостей типа Сяо Фу) расширить радиус деятельности, и теперь они прочесывают сельскую местность и деревни в более чем ста километрах от своих временных баз. Напряженный нерегулируемый отлов сверчков «смахивает на массовое убийство», пишет один современный комментатор [114]. Раньше крестьяне уделяли ночному лову время с девяти вечера до четырех утра, теперь же они до полудня не возвращаются домой.

Спустя всего месяц после *ли цю*, когда теплые августовские ночи сменяются холодными сентябрьскими утрами и на сельские поля выпадает белая роса, другая календарная дата — *бай лю* — знаменует окончание сезона лова.

Почуяв в воздухе дуновение холода, сверчки трубят отбой, снова зарываются в землю, выкапывая туннели своими мощными челюстями — то есть ослабляя свой ценнейший боевой орган, снижая свою товарную стоимость до нуля.

Последние шанхайцы, бережно упаковав добычу, возвращаются домой. Правда, на сей раз вместе с ними в поездах едут торговцы-шаньдунцы, чтобы застолбить себе места на шанхайских рынках сверчков.



На рынке Ваньшан в Шанхае — крупнейшем рынке цветов, птиц, зверей и насекомых — эти торговцы (точнее, торговки, поскольку среди них преобладают женщины) сидят рядами в центре главного зала, аккуратно разложив перед собой сверчков в маленьких горшочках, закрытых крышками,

которые вырезаны из консервных банок. По краям рынка — постоянные лотки шанхайских торговцев, которые тоже недавно вернулись в город. Их глиняные горшки расставлены на прилавках, а за спиной торговца на грифельной доске написано мелом, откуда привезены насекомые.

Та же картина на рынках сверчков по всему городу. На рынке на шоссе Аньгуо, который действовал в мрачной тени Ти Лян Цяо, крупнейшей шанхайской тюрьмы, а также на рынке, который Майкл именовал «Новое шоссе Аньгуо» (после полицейской облавы он быстро возник на каком-то пустыре), торговцы-шанхайцы сидят за прилавками, а торговцы из провинции — на низеньких скамеечках, расставив горшки прямо на земле на своих участках. Это зримое географическое различие отражает повсеместные трения в Шанхае и во всем сегодняшнем Китае между горожанами и теми, кто официально называется «плавающее население» («людун жэнькоу»), — многочисленными людьми, которые, хотя государство не предоставляет им статус городских жителей (а также соответствующие разрешения и социальные льготы), всё равно занимаются в Шанхае самой низкооплачиваемой и опасной работой на стройках, в сфере услуг и на мелких фабриках [115].

Хотя торговцы из провинции, приезжающие на эти рынки, вовсе не планируют осесть в Шанхае, хотя по деревенским меркам они, наверное, относительно зажиточны (среди них есть фермеры и постоянные торговцы различной продукцией; один мужчина, с которым я разговаривал, продавал сотовые телефоны), в большом городе они — всего лишь мигранты, подвергаемые притеснениям и дискриминации, изгоняемые. И всё же для тех, кто смог добраться до города, это потенциально тоже счастливые времена. Хотя уровень безработицы растет, а игра хиреет (после того как в 2004 году полиция начала на нее наступление) и бизнес, соответственно, идет вяло, большинство торговцев надеются на барыш. Если минимизировать издержки: добираться вместе с родственниками, редко ездить домой, привозить как можно больше товара за один раз, ночевать в дешевых «подвальных отелях» вблизи рынка, — ты можешь заработать за эти три месяца гораздо больше, чем за остальной год. По крайней мере, так вновь и вновь говорили мне торговцы, в том числе невероятно дельная женщина из провинции Аньхой, которая сказала мне, что в прошлом году вернулась домой с сорока тысячами юаней.

Шанхайские торговцы не продают самок сверчков. Самки не дерутся и не поют; их ценят только за то, что они оказывают самцам секс-услуги. На самках специализируются торговцы-провинциалы: продают их оптом, затиснутых в бамбуковые палки по три-десять штук, в зависимости от размера (чем крупнее самка, тем лучше) и окраски (белобрюхие — самые лучшие). Самки продаются дешево, и с первого взгляда, если учесть невысокое положение провинциалов на рынке, кажется, что они торгуют только дешевыми насекомыми — и самцами, и самками.

На ценниках шаньдунских торговцев значится: «Самец — десять юаней», иногда: «Два самца за пятнадцать».

Покупатели идут мимо их горшков, рассеянно оглядывая ряды, иногда приподнимают крышки, чтобы заглянуть в сосуд, берут травяную кисточку, щекочут челюсти насекомого, возможно, светят фонариком, чтобы распознать

окраску и прозрачность тела, пытаюсь оценить не только физические черты, но и менее зримый, зато более важный боевой дух. Несмотря на свое деланное равнодушие, покупатели частенько увлекаются и быстро начинают торговаться за насекомое, оцененное в любую сумму между тридцатью и — если покупатель настоящий «большой человек» — двумя тысячами юаней. Складывается впечатление, что дешевых сверчков покупают только дети, а также новички вроде меня, самые мелкие игроки, для которых сверчки — скорее развлечение, и искатели дешевизны, мнящие, что их взор острее, чем у продавца.

Но как судить о духе насекомого, если не видишь, как оно дерется? Вокруг прилавков шанхайцев толпятся мужчины. Мы с Майклом неподходящего роста: недостаточно высокие, чтобы заглянуть им через плечо, недостаточно маленькие, чтобы смотреть между коленей. Наконец кто-то отодвигается, и становится видно, что на настольной арене сцепились челюстями два сверчка. Торговцы обходятся с насекомыми как тренеры во время настоящего боя. Но они сидят на стульях, окруженные штабелями горшков, и на протяжении всего матча неутомимо комментируют, нагнетая интерес, словно аукционисты, расхваливая победителя и пытаясь вздуть на него цену.

Это рискованная стратегия продаж. Победенного никто не купит, так что проигравшего сверчка тут же выбрасывают в пластиковое ведро. А если, как часто случается, победитель тоже не будет куплен, ему придется драться снова, и, возможно, он будет побежден или ранен. Продавец делает ставку на свое умение достаточно вздуть цену на победителя, чтобы компенсировать убытки. Но женщина из Шанхая, которая радушно подзывает нас к своему прилавку, а сама раскладывает крохотные порции риса по кукольным подносам, говорит нам: шанхайцы требуют, чтобы им показали сверчков в бою, и только потом раскошеляются: им нравится перекладывать риски на продавца. Похоже, разница между горожанами и провинциалами выражается не только в их размещении в пространстве (которое придает рынку сходство с аллегорическим образом общества в целом), но и в разной методике торговли, так что покупатели бродят по двум разным мирам, заглядывая то в один, то в другой, — по двум мирам с четкими границами, и у каждого мира свой кодекс, эстетика и свой характер впечатлений; возможно, в различиях между этими мирами есть что-то расистское.

«Шаньдунцы не осмеливаются отправлять своих сверчков в бой», — продолжает женщина тоном, который вполне соответствует дискриминации, наблюдаемой нами вокруг. Она энергичная, и откровенная, и щедрая: приглашает нас угоститься ее обедом, дарит мне сувенирный горшок для сверчка, огорчается, что от сверчка впридачу я отказываюсь, охотно вводит нас в курс дела и не слушается своего раздражительного мужа, сколько бы раз он ни поднимал голову от своих воинов, чтобы рыкнуть в нашем направлении. Она разглагольствует о своих соседях — шаньдунских торговцах. «Они продают своих сверчков как полных новичков в боях», — говорит она, а потом так небрежно, что я чуть не пропускаю это мимо ушей и усваиваю только благодаря проворству Майкла и яростной реакции ее мужа, она говорит нам, что сверчки циркулируют по рынку, не сдерживаемые никакими социальными и политическими разграничениями. Она поясняет, что сверчки переходят не

только от торговца к покупателю, но и, без предвзятости, от торговца к торговцу, от шанхайца к шаньдунцу, а от шаньдунца к шанхайцу. И, пока сверчки перемещаются по этому пространству в людской толчее, они растут в цене и даже восстанавливают ее после снижения; они рождаются заново: проигравшие становятся необстрелянными бойцами, дешевые сверчки — претендентами на чемпионские титулы; меняется их характер, их история, их идентичность. *Caveat emptor\**.



Но как занятно и даже воодушевляюще, что политика расовых различий, столь конкретно выраженная — как на диаграмме — в этом четко дифференцированном пространстве рынка, столь четко (и чересчур четко: оказалось, что это игра с двойным блефом) соответствующая социальным ожиданиям, не только выражает удручающую логику социума, но и служит методом коммерции, порождающим кипучую сеть кросс-секторальных зависимостей и солидарностей. И эта мысль вновь вернула меня к насекомым, благодаря которым всё это возможно: они заперты в своих горшках, перемещаются, в сущности, наподобие рабов, как движимое имущество, путешествуют с лотка на лоток, от одной зазывной речи торговца к другой, описывая круги, пересекая границы и завязывая новые связи, обретая новые биографии и новую жизнь, поневоле минимизирующие убытки своих порабощителей, поневоле соучаствующие в своем умерщвлении.

В городе у счастливых времен нет своего средоточия: они царят повсюду, где есть сверчки. На перекрестках в рабочих районах мужчины толкаются вокруг арен, наблюдая за сражениями.

В газетах бои сверчков — это высокая культура и дно общества, элитарные спонсоры и полицейские облавы. Счастливые времена вдыхают жизнь в игорные дома, дают начало культурным мероприятиям и районным турнирам. Оживают магазинчики, где продаются всяческие принадлежности для сверчков — замысловатые приспособления, которые нужны всякому бойцовому сверчку и его тренеру: крохотные миски для пищи и воды (возможно, наборы с четко подобранными изображениями буддистских божеств), деревянные коробки для пересадки сверчков, «свадебные ящики», где помещаются один самец и одна самка, разнообразные кисточки из травы или мышинных усов, шарики из утиного пуха (для подталкивания сверчков), крохотные металлические лопаты с длинными ручками или другие приспособления для уборки, большие деревянные ящики-переноски, пипетки, весы (с гирями и электронные),

руководства, специальный корм и лекарства и, разумеется, широчайший ассортимент горшков: попадаются старинные (частенько поддельные) и новые, в основном глиняные, но есть и фарфоровые, маленькие и большие, с надписями, с девизами, с целыми историями, сувенирные — в память об особых событиях в мире сверчков, с изящными картинками и без отделки.

Счастливые времена наступили вновь. Пока они тянутся, деньги текут рекой, люди путешествуют, а насекомые циркулируют. Это время богатых возможностей, «окно», когда реализуются многочисленные проекты и жизнь многих людей меняется. Период кипучий, но недлинный. Короткий, как жизнь половозрелого сверчка.

#### 4

Увидим ли мы до моего отъезда из Шанхая, как игроки делают ставки на боях сверчков? Мы наблюдали за их боями в музее Мастера Фана и видели, как торговцы «испытывают» их на рынке Ваньшан и в других местах. Но мне уже начало казаться, что это какой-то «Гамлет» без принца. Азартные игры и сверчки связаны сколько помнит история, с самого начала, разве не так? Цзя Сыдао писал для своих друзей-игроков, верно? А *цай цзи* — название сверчков на шанхайском диалекте — дословно означает «получать богатство», верно? И ведь именно благодаря азартным играм существуют рынки, именно благодаря азарту бои сверчков не уходят в прошлое, когда столь много других элементов так называемой традиционной культуры исчезает, так? Ведь именно азарт придает драйв этим коммерческим операциям и нашим разговорам?

Мастер Фан, отнюдь не поборник высокой морали, тут со мной не согласился. Он сказал: азартные игры унижают достоинство боев сверчков. И еще: игроки по большей части ничего не понимают в сверчках и мало ими интересуются, с тем же успехом они могли бы делать ставки на партии в маджонг или футбольные матчи.

Не только опыт придавал словам Мастера Фана авторитетный вес. В его тоне убедительно сочетались пуризм (его ригоризм знатока) и энтузиазм (он бесхитростно обожал самих сверчков и провоцируемые ими драмы). И всё же в отсутствии азартных игр ощущалось что-то надуманное. Хотя эта тема якобы игнорировалась из принципа, в разговорах у арены она непременно всплывала. Казалось, что для тренеров и зрителей — если и не для самих сверчков — эти бои без ставок были только репетициями. Но, возможно, так казалось просто потому, что такова была фаза сезона. Через две недели, когда турнир в Цибао дошел до последнего тура, во дворе музея десятки, если не сотни, человек смотрели бои по видеосвязи; а сейчас, когда я пишу эти строки, я вспоминаю господина Чжана, с которым бродил в субботу по рынкам сверчков: он рассказывал, как в начале XX века его дядя устраивал бои сверчков ради чести, а не ради денег, как в те времена тренеры чемпионов гордились завоеванными красными галстуками и как, продолжал господин Чжан, рисуя панораму всего столетия, бои сверчков сделались крупным денежным делом только после реформ Дэн Сяопина, когда у людей завелись лишние деньги. Впрочем, даже в Цибао было трудно принуждать людей к нравственной безупречности: трудно было вообразить, что где-то потихоньку не принимаются ставки. В музее

беседовали исключительно об игре (победителях и проигравших, чемпионах и ставках), и Мастер Фан увлеченно сплетничал наравне со всеми остальными. Даже он признал, что, когда делаются ставки, бои становятся еще более захватывающими: появляется привкус страсти, одержимости.

И всё же мне казалось, что нам с Майклом не суждено на собственном опыте выяснить, так ли это. Мир игорных домов был слишком нелегальным, слишком замкнутым, мы просто не обзавелись подходящими связями, чтобы в него проникнуть. Господин Хуан, парикмахер, не захотел вести нас в игорный дом. В тот момент я только что приехал в Шанхай и был слаб, как котенок, — от смены часовых поясов и дикой влажности. Мы с Майклом еще не выработали свой ритм устных переводов и смотрелись довольно уныло. Беседа в парикмахерской господина Хуана шла туго, и, хотя он дал нам много информации и держался чрезвычайно учтиво, он побоялся вступить с нами в более тесные отношения. «Это было бы неудобно», — категорично отрезал он.

Сяо Фу, второй сверчкист, с которым мы свели знакомство, отреагировал более тепло. Его брат Ляо Фу когда-то учился вместе с отцом Майкла, и мы четверо прекрасно поладили. Сяо Фу был знатоком сверчков и щедро делился своим опытом. Когда мы встретились в его магазинчике, он принес своих лучших сверчков и набор принадлежностей и терпеливо разъяснил нам многие аспекты Трех Начал. Как и господин Хуан, Сяо Фу сталкивался с большими жизненными трудностями, но ему повезло: его брат Ляо Фу был надежной опорой, помогал ему в бизнесе, опираясь на свои познания о китайском антиквариате, выполнял клятву, которую дал матери, — защищать и оберегать младшего брата. Сяо Фу отказался вести нас на бои сверчков не по своей воле. Другие родные и близкие запретили ему это и возложили на него затруднительную задачу вежливо сообщить нам об отказе. В итоге всё организовал господин У, выполняя обязательство перед неким своим другом, который также дружил с одним моим калифорнийским другом. Он ждал нас на темном перекрестке напротив образцового завода подшипников в промзоне Миньхан, затем забрался, согнувшись в три погибели, в наше лилипутское такси «Чери Кью-Кью» и указал нам дорогу в лабиринте из облупленных многоквартирных домов; вслед за ним мы вошли в незапертую дверь и оказались в подсобке, где помещались только телевизор, аквариум и пластмассовая двухместная банкетка золотого цвета.

Господин У тесно дружил с отцом Начальника Суня — спонсора «сверчкового казино». Начальник Сунь не только позволял пользоваться помещением для боев, но и улаживал проблемы с местной полицией, приглашал судью, который регулировал бои, следил за приемом ставок и выплатой выигрышей. Тот же Начальник Сунь предоставлял «общественный дом», где всё было хорошо организовано и надежно охранялось. Что такое «общественный дом», станет ясно ниже. За все эти услуги он и его партнер Начальник Ян брали себе пять процентов с выигрышей. Господин У, заядлый любитель сверчков и, как мы позднее обнаружили, наделенный даром тонко судить о качествах этих насекомых, был, однако, всего лишь мелким игроком и не принадлежал к этому подпольному миру. Если его поведение покажется странным, — позднее объяснил он, извиняясь, — причина в том, что здесь ему как-то не по себе.

Начальник Сунь, однако, держался непринужденно и радушно. Треники, футболка, пластмассовые вьетнамки, на шее — золотая цепь, коротко остриженные седые волосы, ухоженные ногти, на больших пальцах и мизинцах ногти очень длинные, заостренные. «Прошу вас, почувствуйте себя, как дома, — сказал он. — Спрашивайте, о чем хотите».

Но господин У курил одну сигарету за другой и держался настороженно. Я вспомнил указания, которые он дал нам в такси: во время боя не курить, спиртное не пить, ничего не есть, одеколоном не душиться, мы вообще не должны ничем пахнуть, не должны разговаривать, никоим образом не должны шуметь. «Мы будем как воздух», — заверил его Майкл.

Но держаться незаметно было нелегко. Начальник Сунь со свойственной ему любезностью усадил нас во главе длинного узкого стола рядом с судьей — на места, откуда было лучше всего видно сверчков. Прямо напротив единственной двери. Казино было аскетичным: голая комната с побеленными стенами, и простота обстановки служила залогом транспарентности. Мужчины из окружения Начальника Суня, входя в комнату, могли одним взглядом охватить всё: комнату и всех, кто в ней.

Несколькими днями ранее мы с Майклом смотрели телепередачу, где разоблачались секреты игорного дома со сверчками. Там использовались скрытые камеры, интервью давали люди с размытыми лицами. Так что мы ожидали, что попадем в сумрачный подвал, где обстряпываются сомнительные делишки. Но казино Начальника Яна и Начальника Суня было освещено полоской ламп дневного света, которые озаряли своим дезинфицирующим излучением все углы, а стол был застелен белой скатертью, на которой с хирургической дотошностью, по бокам от прозрачной пластиковой арены, были разложены стерильные принадлежности (кисти из элевзины и мышинных усов, пуховые шарики, коробочки для перекалывания сверчков, две пары белых нитяных перчаток — ко всему этому прикасались только сотрудники казино).

Но прозрачность и безопасность (окна были заткнуты пухлыми подушками, чтобы шум не доносился на улицу, а с улицы не глазели любопытные) были, пожалуй, просто необходимыми условиями. Это было дело серьезное, но одновременно развлечение — развлечение для мужчин. Начальник Сунь выполнял роль распорядителя, проявляя свою сдержанную харизматичность, а судья был обаятельный и находчивый. С толпой мужчин в этой комнате он обращался уважительно, ставки назначал изящно, со всеми задачами справлялся без промедления, а напряжение снимал с энергичным юмором, хотя игра шла по-крупному: через стол так и летали пачки денег.

«Кто вызовется первым?» — начал судья, обращаясь к тренерам, стоявшим по бокам от него. Они двигались неспешно, вдумчиво, очень сосредоточенно. Натянули белые перчатки, сняли крышки с горшков, чтобы осмотреть своих насекомых, растолкали их элевзиновыми кистями и бережно переложили на арену. Один из тренеров был чуть более неуклюжим, чем второй: нерешительно выпустил своего бойца из коробочки, слегка вспотел, его рука немного дрожала; тренер знал, что многие ставки делаются еще до того, как игроки увидят насекомых: многие люди ставят больше на тренеров, чем на сверчков. Когда сверчки вышли на освещенную арену, все наклонились над ней, вытянули шеи,



стремясь уловить тот момент, когда открыто проявятся дух, сила и дисциплинированность насекомого.



В течение нескольких минут делались ставки на одного сверчка, потом на другого; это закончилось, лишь когда вторая стопка денег перед судьей стала такой же толстой, как первая. Обстановка в битком набитой людьми душной комнате стала буйной. Мужчины, сжимая в руках пачки сотенных купюр, кричали, чтобы судья принял их ставки, а когда прием ставок в казино закончился, начали предлагать свои варианты, дабы соблазнить кого-то на пари.

Голос судьи гремел, перекрикивая всех остальных, нахваливая сверчков и вздувая ставки. Некоторые мужчины во всеуслышание комментировали насекомых и ставки. Другие просто наблюдали. И, наблюдая за ними, Майкл — кстати, сам он не испытывал к ним неприязни, но старался объяснить мне, какой шлейф у мира игроков, — вспомнил горькую статью Лу Синя о политическом сообществе, написанную в пору потрясений — в тридцатые годы XX века: «Мы, китайцы, охотно говорим, что любим мир, но на самом деле мы любим драки. Мы охотно смотрим, как дерутся другие существа, а также деремся между собой. <...> Пусть они дерутся, мы не встречаем, мы только смотрим» [116].

А затем, в момент, когда судья велел тренерам готовить своих сверчков, воцарилось гулкое безмолвие; вся комната, казалось, затаила дыхание. Оба тренера снова начали ласково поглаживать элевзиной своих насекомых (по задним лапкам, по брюшку, по челюстям). Сверчки не шевелились. Если ты смотрел с близкого расстояния, то мог разглядеть, как бьются их сердца.



В конце концов насекомые начинают петь, сигнализируя о своей готовности. Судья кричит: «Откройте ворота!» — и приподнимает пластину, которая разделяет арену на две части. Вокруг стола люди напрягаются, тишина

становится звенящей. И нам с Майклом моментально становится понятно, что эти насекомые гораздо драчливее, чем все, которых мы видели раньше: больше похожи на воинов, иначе не скажешь. Вид у них был натренированный, готовый к бою. Внезапная атака, бросок в сторону, выпад к челюстям или лапе противника — и вся комната невольно резко ахнет. Вся энергия в этом пространстве, забитом людьми, сконцентрирована на драме миниатюрного масштаба. Сингулярность. И в этот самый момент я остро осознал, что присутствую при этом, и посмотрел на Майкла, который прижался в толчее ко мне, и увидел, что он тоже, как и все, полностью сосредоточился на сверчках.

Да, это типично для игорных домов в промышленных районах, говорит нам позднее господин У, когда мы выходим всем скопом из здания, заполняем безлюдные улицы микрорайона, все закуривают, шушукаются, хлопают дверцы автомобилей. В центре спонсоры арендуют гостиничные номера и тщательно отбирают клиентов, ведущих очень крупную игру, говорит он, в тех заведениях минимальная ставка — десять тысяч юаней, а общая сумма ставок может составить миллион с большим гаком. Но сегодня в Миньхане судья начал прием ставок с вежливых, поощрительных слов: «Ставьте сколько хотите, здесь все мы друзья, сегодня вечером даже сотня — уже хорошо». Правда, наступил момент, когда ставки перевалили за тридцать тысяч юаней, и господин Тун, игрок из Нанкина, впервые проявил себя и, не изменившись в лице, почти, казалось, рассеянно швырнул на середину стола шесть тысяч юаней и бесстрастно смотрел, как судья поручил наблюдателю дважды пересчитать деньги; затем ворота на арене поднялись, и сверчки быстро и агрессивно сцепились челюстями, начали бороться, опрокидывать друг друга на спину, снова и снова, невероятно мускулистые; их тела мельтешили, расплываясь перед глазами; они кружили один вокруг другого, бросались друг на друга. А потом, словно бы резко заскучав, расцепились, разошлись по разным углам и не подчинились, сколько бы тренеры ни пытались уговорить их возобновить бой. Даже когда судья попытался их подзуживать, заставив двух других сверчков петь (таких сверчков специально держат наготове в горшках у арены), ничего не вышло. Ничья — редкостный результат; господин У презрительно зацокал языком и театральным шепотом сообщил нам, что хорошие сверчки дерутся до полного изнеможения, а эти особи, пусть они и мускулистые, и хорошо подобраны в пару, плохо обучены.

Когда бой закончился, возникло ощущение, будто с меня сняли заклинье. Только в этот момент я задумался о том, что это зрелище насилия, задумался о власти, которая принуждает других существ совершать столь нестандартные для них поступки, о жестокости... и, сознаюсь, о том, почему я ничему не удивился. Что ж, вы можете сказать, что временное приостановление этических законов (если это было именно оно) не удивительно, поскольку интуитивное чувство нашего родства со сверчками не так уж сильно — все-таки перед нами насекомые: никакой красной крови, никаких мягких тканей, сминаемых ударом, никаких непристойных выкриков, никаких выразительных лиц; это же не собаки, не певчие птицы и даже не петухи и определенно не боксирующие люди, в чьей борьбе обнажается суровая брутальность расовых и классовых различий.

И всё же... Это чувство полной сосредоточенности, полного присутствия «здесь и сейчас», которое мы с Майклом испытали во время боя, опиралось на сочувствие к этим животным, и, похоже, это было более глубокое сочувствие, чем привычная сочувственная жалость к страдающим животным. Возможно, мы поддались накалу страстей, которые бушевали в комнате, либо тут сработала магия денег и риска. В любом случае, нас подхватила волна самоотождествления, сформированная культурным наследием, которое передавали нам Мастер Фан, господин У и все остальные. Это было бесспорно.

Как мало времени прошло — чуть меньше двух недель в мире сверчков, но мне уже стало трудно отделить этих насекомых от их социального статуса (их Добродетелей, их Личностей, их ареала распространения, их циркулирования в мире людей) и уже — по крайней мере, для меня — эти бои сделались их боями, их драмами. Но я должен разъяснить всё четко: мощь этой связи между замысловатыми культурными конструктами мира сверчкостов и самими сверчками, способность этого альянса оказывать эффект, который те из нас, кто не привык онтологически ассоциировать себя с насекомыми, могут ощутить как временное приостановление естественного хода вещей (когда кажется, что эти животные — не объект чужих манипуляций, не жертвы и даже не проекция людских устремлений) — всё это возможно только благодаря самим насекомым, и сверчки — не только повод для возникновения культуры, но и ее соавторы. (И вот момент, когда язык (по крайней мере, английский язык) в очередной раз не справляется со своей задачей: ведь даже писать о «связи» сверчков с их образами в культуре нелепо. Что представляет собой сверчок в этих обстоятельствах без своего существования в лоне культуры? И что представляет собой эта культура без существования сверчков?)

Если сверчки, похоже, утомляются, если оба отступают, теряя интерес к схватке, либо если один из них печально отворачивается, судья опускает ворота, разделяя бойцов, снова ставит таймер на шестьдесят секунд и приглашает тренеров прийти на выручку их подопечным. Точно так же, как те помощники, что дежурят в углах ринга на боксерском матче, тренеры стараются снова поднять боевой дух сверчков, прибегая к разнообразным поглаживаниям кисточкой, проверяя их на технику боя. Но частенько сверчок, точно боксер после сильной взбучки, просто валится: то ли он пал духом, то ли получил какую-то травму, а его противник, приосанившись, начинает петь, и судья объявляет, что бой окончен. Тогда — моментально — в казино снова начинается шум и гам, по комнате снова летают деньги: крупные купюры переходят тем, кто выиграл, пять процентов мелкими купюрами возвращаются к судье.

А что происходит со сверчками? Победителя бережно возвращают в его горшок: он готов вернуться домой либо в общественный дом для подготовки к следующему бою. Побежденный, каким бы храбрым он ни был, сколько бы из Пяти Добродетелей он ни проявил, даже если он, скорее всего, не пострадал физически, завершает свою карьеру. Судья ловит его сачком и кидает в большое пластиковое ведро позади стола: «чтобы выпустить на природе», говорят мне все, а Майкл добавляет, что всё нормально, не стоит беспокоиться, со сверчком

ничего не случится, это гарантирует проклятие, которое падет на всякого, кто обидит побежденного сверчка.

## 5

Когда счастливые времена приближаются к своей кульминации в ноябре, фаланга из горшков со сверчками продвигается всё дальше по столу и состязания затягиваются всё дольше, до поздней ночи. Но мы впервые посетили казино Начальника Суня еще в конце сентября, и там состоялось лишь несколько боев. После их завершения Начальник Сунь спросил, не желаем ли мы увидеть общественный дом.

Общественный дом организован, чтобы противодействовать некоторым не очень честным тактикам, которые, по слухам, популярны среди тренеров сверчков. Больше всего шумихи вокруг допинга, особенно с применением экстази — «наркотика-головотряса», которым закидываются подростки на шанхайских дискотеках [117]. Как может представить себе всякий, кто принимал экстази, сверчок под кайфом, вероятно, одержит победу. Однако не факт, что залогом победы является прилив энергии и уверенности или завышенное ощущение личного обаяния, привлекательности и счастья. Допинг подобного типа — что-то типа паратактики, и действует этот допинг скорее на противника, чем на само насекомое. Сверчки очень чувствительны к стимуляторам (этим и объясняется запрет на курение и парфюм). Они моментально распознают, что их противник подкрепился чем-то химическим, и немедленно (и определенно благоразумно) реагируют — пускаются наутек, и состязания срываются.

Выйдя из казино, мы сели в машину и поехали по деловому району с приземистыми зданиями и неоновыми вывесками, мимо молодых, каких-то синтетических деревьев, сияющих под фонарями дневного света, мимо дремлющих фабрик и темных офисных зданий, по широким безлюдным бульварам, мимо ярко освещенных ресторанов, ослепительного неона «дворцов караоке», ночных магазинчиков, торгующих овощами, DVD-дисками и горячей едой, мимо стройплощадок, где работа кипит круглые сутки (я очень быстро стал воспринимать это как должное), по улочкам, замощенным лишь частично, мимо чего-то, похожего на канал, и подъехали к еще одному облупленному многоквартирному дому, вошли в еще одну безликую дверь. Пока машина скользила по тихим улицам, я упоенно предвкушал дальнейшее. Мне вспомнился диспут, произошедший в тот же день в золотом банкетном зале «Роскошного сада» между Начальником Яном и господином Туном, игроком из Нанкина. Они спорили о том, что является залогом успеха казино. Господин Тун приехал из Нанкина, чтобы сбежать от своего круга: это был слишком маленький мирок, всё там делается слишком профессионально, говорил он, сверчки слишком сильные, соперничество слишком яростное. Здесь, в Миньхане, сказал он Начальнику Яну — похоже, без тени стеснения, — шанс на выигрыш выше, и, если он отправится в центральные районы Шанхая, шансы тоже будут выше.

У господина Туна были вполне предсказуемые представления об идеальном казино: комфорт и безопасность, притягательная атмосфера. Он нарисовал

картину необузданной щедрости, изобразил игроков, которые держатся расслабленно и процветают: искренние, открытые люди, которые не станут препираться из-за каких-то грошей. Похоже, он воображал себя персонажем, которого сыграл Чоу Юньфат в классическом фильме Ван Цзина «Бог игроков», а может, героем Тони Люна из «Цветов Шанхая» Хоу Сяосяня... Или я приписываю ему свои фантазии? Он сказал:

«Ключевой элемент — это связь, *гуаньси*: вы должны обхаживать удачливых игроков, поощрять их приводить всё больше друзей и знакомых».

В казино Начальника Яна и Начальника Суня приезжали игроки из Гонконга, Цзянсу и других мест, и из Нанкина тоже. Однако эти спонсоры не стремились баловать своих клиентов. У них было основания сохранять приветливую атмосферу: ссора могла закончиться убийством, и тогда полиция сочла бы необходимым продемонстрировать рвение; но, возразил Начальник Ян, самый верный путь к успеху в бизнесе — это безукоризненная репутация. Самое важное достоинство казино — взаимное доверие в отношениях спонсора с клиентами. Владельцы и тренеры сверчков, а также игроки (часто владелец, тренер и игрок — одно лицо) должны чувствовать себя в безопасности и верить, что их насекомые тоже в безопасности.

Общественный дом выглядел впечатляюще. Он сочетал в себе черты особо охраняемого объекта и медицинской клиники. Каждый сверчок, предназначенный для казино Начальника Суня, проходил здесь курс профилактической детоксикации в течение минимум пяти дней. В Шанхае тысячи таких домов, сказал нам Сунь, и он сам держит такой дом много лет, хотя, конечно, не на одном месте, а в разных точках. Дело нешуточное. Риск велик, а сегодня еще больше, потому что он сделал нечто новенькое: привел сюда меня. В прошлом году по Шанхаю прокатилась кампания против азартных игр, некоторых спонсоров арестовали, кое-кого казнили; теперь, пока мы разговариваем, правая нога Начальника Суня ритмически подрагивает.

Общественный дом — это реконструированная, переоборудованная четырехкомнатная квартира. В трех комнатах — стальные решетчатые двери со множеством замков, четвертая — гостиная с диваном, креслами, телевизором и игровой приставкой, побеленные стены украшены цветными макроснимками сверчков — рекламными постерами, так сказать. Никто тут не пьет и не курит.

Две комнаты за решетками — это склады, уставленные стеллажами; я разглядел, что на полках стоят штабелями горшки. Третья комната незаперта и, подобно казино, ярко освещена. Начальник Сунь ведет нас в эту комнату; я вижу длинный стол и длинный ряд мужчин: владельцы и тренеры пришли позаботиться о своих насекомых. Каждый колдует над горшком. По краям стола стоят два помощника, которые знакомы мне по казино. Один из них достает горшки с этикетками из шкафа за своей спиной, другой внимательно наблюдает за посетителями. Но вот что поразительно в этой сцене, вот что вначале озадачивает и даже кажется сюрреалистическим: мужчины, которые выстроились вдоль стола и безмолвно, сосредоточенно занимаются своими сверчками, одеты одинаково — в белые хирургические халаты и белые маски.

Биологическая безопасность превыше всего. В общественном доме тренеры дают насекомым только ту пищу и воду, которые предоставляются здесь же, на

месте, используют только те принадлежности, которые предоставляются спонсором и применяются в казино. Широко известно, что тренеры обмакивают свои травяные кисточки в раствор женьшеня и других веществ, которые, словно нашатырь в углу боксерского ринга, могут воскресить даже самого измотанного бойца. Широко известно, что тренеры пытаются отравить пищу и воду сверчков своих соперников или попрыскать на них токсичным газом. Широко известно, что они готовы спрятать в своих кисточках миниатюрные ножи и намазать кончики своих пальцев отравой, надеясь поближе подобраться к конкурентам.

И всё же даже общественный дом не вполне защищает от уловок. Одно из его слабых мест — процедура приема сверчков. Когда они поступают сюда, их кормят, а потом взвешивают на электронных весах. На стенке горшка делается запись о весе наряду с датой и именем владельца, и именно по весу подбираются пары противников для боев. Сверчков — очень тщательно — подбирают так, чтобы их силы были максимально равными и чтобы бои были максимально справедливыми, насколько это возможно; эти старания отражены и в обычае собирать равные ставки на обоих насекомых перед боем. Вес указывается в чжэнях: это шанхайская мера веса, применяемая специально для сверчков; сейчас она используется по всей стране. Один чжэнь — примерно пятая часть грамма, а разница между бойцами в паре должна составлять не больше 0,2 чжэня. Тренеры, почуввав возможность для мошенничества, научились манипулировать весом своих подопечных. В прошлом они прямо перед взвешиванием выдерживали сверчков в «сауне», чтобы высушить организм. В наше время чаще применяются химические препараты для обезвоживания: выявить их невозможно, а здоровью насекомых они, судя по всему, почти не вредят. После того как сверчок накормлен, взвешен и принят, он проводит не менее пяти дней на попечении сотрудников общественного дома и навещающего его тренера, восстанавливает силы и, если уловка срабатывает, дерется с противником в низшей весовой категории: вообразите себе Майка Тайсона против Шугар Рэя Леонарда!

Скоро мы вновь пришли в казино Начальника Суня, снова заняли почетные места, снова, как загипнотизированные, взирали на сверчков. И вновь на меня произвел впечатление абсолютный профессионализм. Тут всё было организовано без сучка без задоринки: помощники из общественного дома вносили надежно запёртый металлический ящик, судья был проворен, Начальник Сунь приветливо общался с клиентами. Возвращаясь в город, мы успели на последний поезд в метро, и я снова вспомнил спор за обедом между Начальником Яном и господином Туном. Начальник Ян твердо отстаивал свое мнение, что ничто не важно так, как безупречная репутация фирмы, и теперь-то я понял почему. Как-никак, только спонсор и его сотрудники имеют свободный доступ к сверчкам, а надзора за ними нет. Они почти без труда могли бы повлиять на состязания разными скрытыми способами: нанять пристрастного судью, подобрать неравные пары противников, плохо ухаживать за конкретными насекомыми или лелеять любимчиков (в том числе своих собственных сверчков: Начальник Сунь тоже любит выставлять своих сверчков на арену). Я вспомнил, как Начальник Ян горячо защищал своих сотрудников, когда господин У попросил разрешения обойтись без общественного дома, и

тогда я понял: естественно, что ни для кого нельзя делать исключений. Если нет полной уверенности в честности спонсора и его способности оградить свое заведение от насилия, коррупции и полиции, не может быть ни круга игроков, ни состязаний, ни ставок, ни прибыли, ни развлечения, ни культуры.

## 6

Доктор Ли Шицзюнь из Университета Цзяо Тун пригласил нас к себе в гости. Там будут несколько журналистов, кое-кто из специалистов по сверчкам, один или двое его коллег по университету. Обязательно приходите.

Я очень хотел познакомиться с доктором Ли. Я видел его интервью в телепередаче, которая оказалась на диске, купленном мной на шоссе Аньгуо. Журналистка восторгалась кампанией, которую вел профессор, — за популяризацию боев сверчков как явления высокой культуры, не опоганенного азартными играми. «Азартные игры, — сказала журналистка за кадром в финале, — испортили репутацию боев сверчков. Бои сверчков — это как пекинская опера, это квинтэссенция нашей страны. Многие иностранцы считают, что это самый типично восточный элемент нашей культуры. Мы должны вывести их на дорогу, ведущую к свету». За несколько дней до моего приезда в Шанхай доктор Ли снова прогремел в прессе: на сей раз это была газетная статья о турнире без ставок, который он организовал в деловом центре. Газетчик назвал доктора Ли «профессором по сверчкам». Тележурналистка именовала его «почтенным знатоком сверчков».

Квартира доктора Ли находилась в дальнем закоулке малоэтажного жилищного комплекса неподалеку от университетского городка. Этот моложавый шестидесятичетырехлетний мужчина обаял нас, приняв тепло и радушно. Его оживленное лицо обрамляла серебряная грива — иначе не скажешь. Когда мы пришли, в квартире уже находилось несколько гостей, и доктор по-быстрому увлек нас всех в свой кабинет, попутно показывая трофеи увлечения всей своей жизни: картины со сверчками, стихи о сверчках, каллиграфические надписи, начертанные им и его друзьями, — всё это расцветчивало стены и книжные шкафы; имелась также большая коллекция южнокитайских горшков для сверчков — собрание, о котором он написал одну из своих четырех опубликованных книг, посвященных сверчкам [118].

Профессор привел нас в просторную комнату, где заранее разложил различные горшки и принадлежности. Выбрав два горшка, переставил их на низкий журнальный стол, придвинутый к дивану.

Он пересадил сверчков на арену на журнальном столе и пригласил меня сесть рядом. Сунул мне в руку стебель элевзины и, как часто делали многие, предложил пощекотать сверчкам челюсти. Я обращался с кисточкой неуклюже, и мне каждый раз казалось, что я мучаю насекомое: оно в основном просто стояло неподвижно и терпело мои ласки. Но я повиновался и дергал за пасть, как умел... и тут, подняв глаза, я обнаружил, что все присутствующие — за исключением доктора Ли, который, точно мы с ним были наедине, не сводил пристального взгляда со сверчков, — откуда-то вытащили цифровые фотоаппараты и, выстроившись в шеренгу, щелкали с близкого расстояния, точно папарацци на премьере. И Майкл тоже фотографировал! А доктор Ли

заделался креативным директором: указывал мне, как держать стебель, как мне держать голову, на что смотреть, как сидеть...

Возможно, в таких ситуациях я редко недогадлив, либо мне не хватает предприимчивости. Лишь спустя долгое время, когда я ехал в переполненном автобусе до метро вместе с Майклом и Ли Цзин — умной молодой журналисткой, которую доктор Ли тоже пригласил на ланч, пока мы болтали о моих исследованиях и моих впечатлениях от Шанхая, до меня дошло, что это, собственно, было. Мое простодушие удивило даже Майкла (он, кстати, схватился за фотоаппарат, просто чтобы увековечить момент, — по крайней мере, я так считаю).



Спустя несколько дней в газете *Shanghai Evening Post*, выходящей гигантским тиражом, появилась статья Ли Цзин «Американский профессор-антрополог, изучающий отношения между человеком и насекомыми, хочет выпустить книгу о сверчках». Подпись к фото, в которой обыгрывался известный афоризм, гласила: «Объединенные любовью к сверчкам, эти два незнакомца сразу же сдружились».

Ли Цзин тонкими штрихами обрисовала эрудированность доктора Ли. Она отметила, что он охотно ссылался на пожелтевшие книги в своем шкафу, радушно взял меня в ученики, так же как и в друзья («Вопросы слетали с его языка, как пули», — написала она о моей реакции на сверчков). Она назвала доктора Ли эрудитом нашего времени, утонченным знатоком, культивирующим комплекс искусств, свойственных ученым; в этом комплексе долгое время занимали видное место такие свойства, как созерцание, понимание и манипулирование тем, что я назвал бы природой (в том числе оценивание сверчков, их тренировки и проведения их боев) [119]. «Вызвавшись меня наставлять, — написала Ли Цзин, — доктор Ли взялся за *чуаньдао цзе хо*» (так в конфуцианстве называется задача учителя: передача знаний древних мудрецов и урегулирование сложностей с интерпретацией этого знания). Ли Цзин сообщала читателям, что кампания доктора Ли за сверчков и против азартных игр — феномен высокой культуры, попытка вознестись над суетой дня сегодняшнего в высшие сферы, где можно как укрыться в прошлом, так и найти ориентиры для будущего. И Ли Цзин всё правильно написала, потому что если не указывать на эти возможности и желания, то всё остальное будет бессмысленно.

Доктор Ли вырос в Шанхае и, как и другие мужчины его поколения, с которыми я познакомился, увлекся сверчками с детства, причем его старший



брат поощрял и развивал это увлечение. Он рассказывает, как в конце сороковых годов каждый день шел в школу мимо огромного (давно не существующего) рынка сверчков Чэн Хуан Мяо; он припоминает, как покупал сверчков на карманные деньги; вспоминает с нежностью круг «друзей насекомых» (*чун ю*), который сложился вокруг него, — мальчиков-сверстников и некоторых взрослых, которые иногда останавливались поиграть с ними.

В возрасте двадцати лет он окончил Шанхайскую киноакадемию и был распределен на работу на Шанхайскую студию научного и образовательного фильма, где развивал в себе таланты кинооператора и аниматора. В середине восьмидесятых он получил место профессора фотографии и анимации в Университете Цзяо Тун.

Об истории Шанхая в тот период мы не говорили, и в своих книгах он ее не затрагивает, но она хорошо известна: Шанхай, космополитический город, колыбель Коммунистической партии Китая, оказался в опале; возник план (правда, так и не осуществленный) по упразднению мегаполиса и расселению жителей, которые оказались под подозрением ввиду упадочнического колониального прошлого Шанхая; принудительное закрытие сотен заводов, школ и больниц, переселение двух миллионов шанхайцев во время «Великого скачка вперед» и культурной революции; стремительный упадок и стагнация города, продлившаяся вплоть до его запоздалого включения в стратегию реформ Дэна — пудунской политики 1992 года; его блистательное возрождение: Шанхай затмил Гонконг и теперь смотрит через Восточно-Китайское море, ориентируясь не только на страны Запада, но и на Японию, Южную Корею и всю Юго-Восточную Азию [120].

И всё это время Ли Шицзюнь предавался своей страсти к сверчкам. Он женился, растил детей, выполнял свои обязанности, делал карьеру, расширял свой кружок любителей сверчков и отказывался устраивать бои сверчков на деньги. Он рассказывает, как бродил по своему кварталу в Шанхае, разыскивая партнера-сверчкиста, который согласился бы выставить своего сверчка против его сверчка, но без денежных ставок. Вновь и вновь он слышит отказ. Он предлагает устроить бой просто для тренировки, просто ради практики, но никто не готов рисковать своим насекомым без потенциального вознаграждения. Он возвращается домой, приунывший, огорченный «жалким состоянием мира, который его окружает» (*ши фэн бу ляан*). И тогда его жена, видя, как он расстроен, становится его заветным *чун ю*, и наедине в своей квартире они устраивают бои сверчков [121].

Это происходит в начале восьмидесятых, когда бурные потрясения, последовавшие за культурной революцией, уступают место новой турбулентности — временам реформ. Бои сверчков уже начинают возрождаться, команды энтузиастов из университетов Цзяо Тун и Фу Дань скоро придут на межуниверситетские соревнования в квартиру доктора Ли, а его жена и дочь будут готовить для них (как и для меня) изысканное угощение и держать что-то вроде салона сверчкистов под покровительством и руководством профессора — салона, объединившего настоящих друзей (пишет доктор Ли), не таких друзей, которыми обзаводишься в игорных домах, не таких, которые ссорятся из-за денег и навсегда разрывают отношения.

В отличие от игроков, которые вместе путешествуют, вместе ловят сверчков, вместе участвуют в боях, но утаивают свои знания друг от друга, эти любители сверчков делятся всем. Это круг друзей навеки, сплоченных вокруг любви к сверчкам; круг, в котором доктора Ли все признают своим старшим братом.

Я не могу забыть картину из рассказа доктора Ли: он и его жена в своей шанхайской квартире, внутренние эмигранты, укрывшиеся от запустения, которое они видят повсюду, но накануне расцвета их любимого занятия — расцвета, которым мир будет обязан не возвращению к элитарным традициям культуры сверчков, столь высоко ценимой доктором Ли, а смягчению морального кодекса и волне лишних денег (у одних) и отчаянной нищеты (у других), что станет плодородной почвой для возрождения азартных игр, которые столь тревожат доктора Ли. Профессор видит во всем этом глубокую иронию судьбы, но также это нервирует его и, пожалуй, сбивает с толку. Поскольку для Ли Шицзюня уход за сверчками и их бои — это вопрос *и цин юэ син*, что переводится примерно как «воспитание нравственного характера, духовный рост личности и общества в целом».

Профессор выражается без обиняков — как при личном общении, так и в своих текстах. В конце своей книги «Пятьдесят запретов для ловца сверчков» (не покупайте сверчка с челюстями в форме иероглифа 人, не покупайте сверчка с округлыми крыльями, не покупайте сверчка, у которого всего один усик, не покупайте сверчка, который наполовину самец, а наполовину самка, и т. п.) он замечает: вполне понятно, почему общество пренебрежительно смотрит на бои сверчков. Если в университете он читает лекции, одетый в костюм и галстук, то на рынке насекомых, окруженный «людьми невысокого пошиба», он вынужден (чтобы не показаться смешным) одеваться попроще — в шлепанцы, футболку и шорты, как все остальные. Эта некультурность (она видна сразу: вокруг него все курят, ругаются и сплевывают на землю) — не просто вопрос личного вкуса. «Если вы хотите, чтобы другие обращались с вами почтительно, для начала сами ведите себя прилично», — требует он [122].

Это не просто вопрос этикета. Круг, который формирует профессор Ли, — одновременно убежище от мира и образец для него. Профессор Ли говорит, что в китайском обществе вежливость находится в кризисе, а бои сверчков — это развитое искусство с долгой историей, это дисциплинированность, это путь к духовности, это идеальная основа для развития и роста личности. Бои сверчков — все их традиции, свод познаний, требования к учености — редкостное искусство, близкое скорее к тай-цзи, чем к маджонгу. Но это искусство деградирует из-за азартных игр. Какой кошмар: столь возвышенное занятие сделалось основой такого нравственного вырождения!

Кампании против азартных игр — обычное дело в КНР со времен Освобождения. Но хотя политика КПК в этой области периодически, особенно после постмаоистских реформ, становится агрессивной, обуздать распространение азартных игр не удастся. Наступление на сверчков (в отличие от неудачной попытки запретить маджонг в восьмидесятые годы) идет не напрямую, и тут можно усмотреть параллели с политикой при династиях Мин и Цин, когда имперские запреты касались возникшей сети «профессиональных»

игорных домов со сверчками в городах, но законы были направлены не против боев сверчков, а только против азартных игр [123].

Даже во время культурной революции официальный запрет на бои сверчков не вводился. Однако, как вспоминают Мастер Фан и другие, культуру сверчков так или иначе загоняли в маргинальное положение. Всем, кроме маленьких детей, было попросту недосуг заниматься сверчками; даже те взрослые, чья жизнь шла в относительно нормальном русле, постоянно посещали собрания. Но к азартным играм государство относилось однозначно. Азартные игры категорично осуждались как язва феодализма, как порок, пустивший цепкие корни в китайском обществе. А заодно пострадали и бои сверчков — из-за их связи с азартными играми и коррумпированностью кругов элиты, из-за родства с комплексом излишеств, которые маркировались как мужские (секс, наркотики, пьянство, легкие деньги, роскошь, гедонизм и любые возможные порывы в этих направлениях). Иначе говоря, сверчки пострадали за то, что ассоциировались с пороками общества, которые (как и бои сверчков, на которых эти пороки паразитировали, одновременно создавая возможность для их проведения), в свою очередь, ассоциировались с давними культурными и историческими традициями, понимались как нечто исконно китайское.

Хотя официальный курс КПК совершенно бескомпромиссный, партийцы, с которыми я разговаривал, отнеслись к кампаниям против азартных игр прагматично. Эти журналисты и ученые, состоящие в КПК, реагировали на проблему как политизированные интеллектуалы; они спорили, являются ли азартные игры порождением бедности: может быть, они зачахнут, когда доходы населения повысятся? (За этим аргументом маячит обеспокоенность обострением неравенства.) Может быть, недавнее возрождение азартных игр объясняется взрывоопасной комбинацией роста располагаемого дохода и хронической неполной занятости, спровоцированной закрытием госпредприятий? В этих дебатах бои сверчков имели специфический статус. Бои сверчков целиком испоганены азартными играми, но в то же самое время они являются новым, очень ценным «товаром» — явлением традиционной культуры. С притоком денег, с появлением головокружительного ощущения, что старый материальный мир исчезает прямо на глазах, растущий городской средний класс, похоже, поддался какой-то новоявленной ностальгии. Вдруг стали цениться архитектура в национальных традициях, классическая живопись, старинная керамика, чайные домики и другие осязаемые памятники культуры. Одна из примет этой тенденции — бойкая торговля поддельным антиквариатом имперских времен на внутреннем рынке. Наступил самый подходящий момент для пропаганды облагораживающих аспектов культуры сверчков — дела, которому доктор Ли посвятил чуть ли не всю жизнь.

В квартире доктора Ли царил изобилие. Вкуснейший обед из шестнадцати блюд, приготовленный женой и дочерью профессора, в основном остался несъеденным. Доктор Ли рассказал нам о своих планах способствовать развитию провинции Хэнань: помочь местным фермерам выйти на шанхайский рынок сверчков и составить конкуренцию торговцам из Шаньдуна, Аньхоя и других мест. На этот проект он тратил значительную сумму из собственного кармана и вкладывал в него значительную часть своей неутомимой энергии,

даже ездил туда, безвозмездно раздавал оборудование и учил крестьян различать разные виды сверчков. Деревня, с которой он сотрудничал, находится на одной широте с Ниньяном, и у доктора Ли были все основания полагать, что сверчки там сильные. Пилотный проект дал обнадеживающие результаты. Дело только за тем, чтобы убедить массового покупателя.

Я задумался: как сможет уцелеть рынок сверчков без денег, которые приносят азартные игры? Мне вспомнились все эти мужчины в казино Начальника Суня: пристальные взгляды, внезапная тишина, мельтешение сверчков на ярко освещенной арене, взрывы смеха. Я подумал, что, несмотря на всю ее явную опасность, именно азартная игра с ее незаконными удовольствиями, самоуверенной маскулинностью и оправданием одержимости, дающая прагматические основания для приобретения знаний, глубоко укорененная в культуре, стимулирующая товарно-денежные отношения, являющаяся фундаментом для целой неформальной экономики, именно она спасла бои сверчков от исчезновения; и именно Начальник Сунь и его партнеры волей-неволей являются хранителями этого мира и его динамичных традиций.

Азартные игры не сводятся к экономике, сказал я. Существует культура азартных игр, они имеют общественный характер, у них есть живая, продолжающаяся история; это обычай делать ставки на всё что угодно, а не только на сверчков, — хотя сверчки годятся для этого самым наилучшим образом! Азартные игры — в не меньшей степени являются традиционной культурой, чем выращивание сверчков. Даже Цзя Сыдао был игроком! На это доктор Ли спокойно ответил, что власти борются не с азартными играми как таковыми, а с социальными проблемами, возникающими на их почве. В любом случае он лично вообще не может предаваться азартным играм, пусть даже это увлекательно. Как он может забирать деньги у своих друзей? Такие поступки не подобают ученому. И, указал он, проблема не в игре по маленькой, когда люди ставят мелкие монеты, чтобы внести капельку азарта. Проблема возникает, когда люди ставят на кон свои дома, свое имущество, проигрывают всю свою жизнь. Разумеется, мы никогда не сможем искоренить то, что столь глубоко засело в социуме. Но со временем, если подавать добрый пример, может развиваться альтернатива. И он обрисовал Шанхай будущего, где бои сверчков станут чем-то средним между спортивным турниром и выставкой собак, — кстати, это очень похоже на мир японских любителей жуков-олений и жуков-носорогов, — мир, где воздержанные, но горящие энтузиазмом люди, и стар и млад, учатся и коллекционируют, восторгаются сверчками и служат им, объединяются в клубы и делятся знаниями. Доктор Ли сказал, что уже пропагандирует мероприятия в подобном духе, и его студенты заинтересовались.

А намного позже, когда обед давно закончился и все разошлись, когда я очень много узнал и наслаждался столь любезным радушием, после того, как мы несколько часов проговорили о его проекте в Хэнани (благодаря сверчкам эти люди смогут выкарабкаться из нищеты, сказал он), о его идее реформы в классификации сверчков (она слишком сложна даже для специалистов, сказал он, похохатывая) и о его мнении, что культура сверчков вовсе не отмирает (правда, все остальные мои друзья-сверчкисты считали, что она отмирает), а

среди молодежи она даже переживает бум, после долгого пути домой через этот огромный, непрерывно растущий город, после того, как в автобусе Ли Цзин досконально расспросила меня, — только впоследствии, вернувшись в мой гостиничный номер в деловом центре, с видом на сверкающую панораму мегаполиса, мы с Майклом восстановили по памяти разговоры за весь день, и (не забывая: мы оба уже глубоко вошли в мир шанхайских боев сверчков и каким-то образом внутренне «вложились» в его существование) Майкл сказал (а я был вынужден с ним согласиться), что, хотя он очень уважает доктора Ли, эта идея реформирования культуры сверчков через добрые примеры породит два типа боев сверчков: первый — элитарный, легальный, структурированный вокруг щедро финансируемых официальных чемпионатов, второй — подпольный, тесно связанный с азартными играми, нелегальный, по-прежнему воспринимаемый со страхом и презрением, причем именно на подпольных боях будут самые лучшие сверчки, самые захватывающие матчи и вообще всё будет намного интереснее. И, добавил Майкл, доктор Ли и его друзья, должно быть, сознают это: они далеко не наивны. И, продолжал Майкл с присущей ему мудростью и великодушием, ничего дурного в этом нет. Они просто хотят иметь свой мир, сказал он, и это необязательно дурно.

## 7

За много столетий до того, как кому-то пришло в голову посадить сверчков в горшки и спровоцировать их на бой, щекоча кисточками из элевзины, задушевные песни сверчков и их присутствие в доме ежегодно скрашивало людям одиночество и обеспечило этим насекомым особое место в жизни китайцев. Вот стихотворение из «Шицзин» — «Книги песен», антологии, составленной примерно три тысячи лет назад. В этом стихотворении именно сверчок ищет людского общества и проникает в сокровенное сердце дома:

В седьмой месяц он в полях,  
В восьмой месяц он под карнизом,  
В девятый месяц — в доме,  
А в десятый месяц — у меня под кроватью [124].

Существует давняя-давняя традиция «сверчковых друзей» — людей, которые благодаря сверчкам становятся друзьями, и сверчков, которые сами дружат с людьми. Сяо Фу — и не он один — рассказывал мне, что сверчки — его друзья, и он старается, чтобы они жили счастливо, он чувствует, когда им живется счастливо, а они чувствуют, что он о них заботится, а он, следуя совету Цзя Сыдао, разжевывает семена кунжута, прежде чем покормить ими насекомых, — так иногда делают матери, прежде чем покормить маленьких детей. Но сверчки — это не дети, а друзья. И любители сверчков (в отличие от некоторых любителей домашних животных) вряд ли об этом забывают. Ведь у сверчка есть не только Пять Добродетелей, но и Три Противоположности.

Вы не забыли, что Пять Добродетелей указывают на сходство сверчков с людьми? Это пять классических качеств: преданность, смелость, надежность и т. п. — образцовые достоинства, которые свойственны древним героям, те

достоинства, к которым могут стремиться заурядные люди (например, мы с вами). Пять Добродетелей обнажают глубокую онтологическую связь между людьми и сверчками, общее «бытие-в-мире», которое служит основой для привязанностей и самоотождествления — того, что, наряду с азартными играми, столько веков спасает бои сверчков от исчезновения. Три Противоположности — это признание взаимодополняющего факта, то есть коренных различий между сверчками и людьми.

*Первая Противоположность:* побежденный сверчок не станет протестовать против исхода схватки; он просто уйдет с арены, не грозя реваншем и не жалуясь.

*Вторая Противоположность:* перед боем сверчок нуждается в сексе и после секса дерется лучше, поскольку половой акт его стимулирует; если люди-спортсмены (во всяком случае, мужчины, согласно этой Противоположности) сразу после секса показывают более слабые результаты на спортивной арене, то у сверчков секс перед боем укрепляет физические способности, повышает сосредоточенность и боевой дух.



*Третья Противоположность:* во время совокупления самка сверчка сидит на спине самца; для людей эта поза практически невозможна (без замысловатого оборудования). Более того, как указывает энтомолог Л. У. Симмонс (и эти слова можно считать категоричным комментарием к Третьей Противоположности), «поскольку самка должна сама забраться на своего кавалера-самца, у самцов мало возможностей принуждать самок к совокуплению (если такие возможности вообще есть)» [125].

Противоположности, как и Добродетели, сочетают в себе эмпирическое и символическое; это плод внимательных наблюдений, но в них заключен глубокий смысл. Они касаются психологии, физиологии и анатомии; это систематические, всеобъемлющие, лаконично изложенные знания. Если собрать их воедино, Добродетели и Противоположности подсказывают способ завязать отношения с иными живыми существами, признавая, что эти существа и похожи, и непохожи на нас не в каком-то расплывчатом абстрактном смысле, но во вполне конкретных отношениях, которые становятся фундаментом для связи и сопереживания, а также признавая аспекты, в которых мы абсолютно не совпадаем. Полагаю, не важно, какова природа вашего увлечения сверчками: не важно, сроднились ли вы с ними благодаря азартным играм либо твердо намерены во имя высокой культуры покончить с азартом. Полагаю, Добродетели, Противоположности, Изъяны, Табу и все другие понятия,

вводящие нас в мир боев сверчков, ведут в пространство, где царит принцип противопоставления «мы/не мы», но вопрос «сходство/различие» просто остается фактом жизни и не требует урегулирования. Мне кажется, именно так и должно быть, даже если в сегодняшнем Шанхае трудно надеяться, что всё остальное сохранится.

Когда я в последний раз виделся с Начальником Сунем, он пригласил меня в следующем году съездить вместе с ним в Шаньдун. Проведем там две недели, будем ловить сверчков, сказал он. Он со всеми знаком, у него прекрасные отношения с местными властями. Его предложение показалось мне весьма соблазнительным. Приятно было бы вновь пережить счастливые времена. Приятно было бы снова побыть в кругу друзей сверчков и друзей-сверчков. Приятно было бы пожить немножко в том доброжелательном пространстве, где что-то может быть сразу и тем, и другим.

Майкл тоже увлекся этой идеей. А может, сказал он, нам провести со сверчками весь сезон? И мы сошлись на том, что ради этого, безусловно, стоит возвращаться в Китай.

## Н

### Heads and How to Use Them

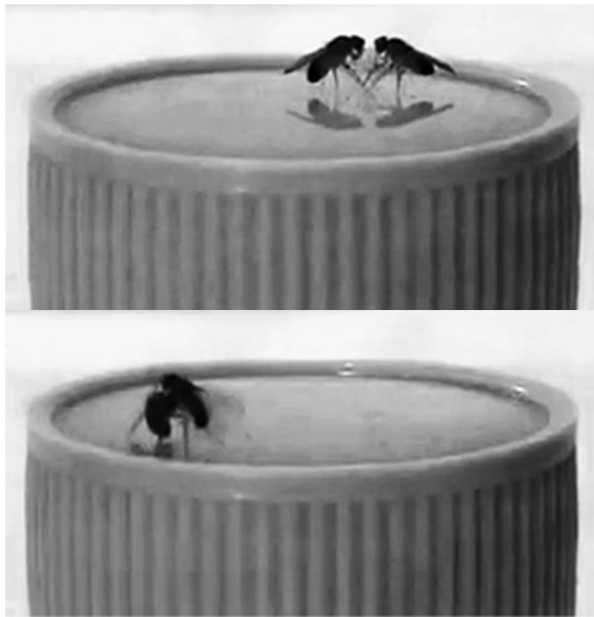
#### Головы и инструкции по их применению

##### 1

Я соскучился по сверчкам. Соскучился по их друзьям. Раскрыл свежий номер *The New York Times* — и это чувство усилилось.

Мухи: мухи-дрозофилы, *Drosophila melanogaster*, подопытное животное *par excellence*, сыгравшее в истории современной науки, пожалуй, еще более важную роль, чем крысы и мыши. Эти завораживающие кадры сняты в 2006 году в нейробиологической лаборатории в Южной Калифорнии. Мухи дерутся, а правительство США — выделяя деньги через Национальный фонд науки — делает ставки на победителей [126]. Арена окрашена в один из самых телегеничных цветов — в голубой.





Герман Э. Дирик и Ральф Дж. Гринспен, ведущие научные сотрудники Нейробиологического института в Сан-Диего, выводят агрессивных дрозофил. Ученые поясняют журналисту *The New York Times* Николасу Уэйду, что в дикой природе мухи воинственно отстаивают свою территорию, но в неволе становятся более смирными. Дирик и Гринспен наполняют миски кормом для мух и поощряют отдельных самцов оборонять эти миски. «Испытание ареной» — вот как это называют исследователи. Они ранжируют мух по «профилю агрессивности», основанному на четырех критериях: частота драк; то, насколько быстро муха вступает в конфликт; количество времени, потраченного данной парой самцов на бои между собой; ожесточенность боя («количество таких свирепых действий, как захваты или отбрасывание противника»).

Дирик, Гринспен и их коллеги отбирают самых воинственных бойцов и используют их как самцов-производителей для разведения мух.

Ученые сообщили: спустя двадцать одно поколение различия по «профилю агрессивности» стали более чем тридцатикратными по сравнению с контрольной группой стандартных лабораторных дрозофил. «Поскольку головной мозг, вероятно, сильно влияет на уровень агрессивности», исследователи обезглавливают мух двадцать первого поколения. И измельчают их головы в порошок. Ученые хотят выяснить, есть ли корреляция между генами, которые получили экспрессию в головном мозге бойцов, и возросшей агрессивностью их поведения. «Доктор Гринспен отметил: понимание того, как гены формируют схемы, управляющие поведением, важно в широком смысле: оно поможет понять первопричины поведения и мух, и людей», — пишет Уэйд.

## 2

Дрозофилы отлично подходят для экспериментов. Пожалуй, они даже слишком хорошо годятся на роль подопытных животных. Размножаются они быстро (за десять дней самка может завершить свой репродуктивный цикл и дать жизнь четырем сотням или даже тысяче отпрысков). Структура генов у них относительно простая (всего лишь от четырех до семи хромосом). И, как и все живые существа, они мутируют.





В 1910 году генетик из Колумбийского университета Томас Хант Морган случайно обнаружил, что *Drosophila* могут мутировать весьма заметно, причем количество мутаций необычайно велико. Почти сразу же эти мухи перестали быть просто слегка докучливыми созданиями, которые летом влетают вместе с ветром через открытые окна на Морнингсайд-Хайтс, рыскают по дому, а потом надолго остаются или улетают. Они сделались «сослуживцами» для ученых, как выразился их биограф Роберт Кохлер [127]. Лаборатория Моргана вскоре стала их лабораторией (знаменитой на весь мир «Мушиной комнатой»), а Морган и его коллеги превратились в их ученых (и нарекли себя «муховиками» и «дрозофилистами»).

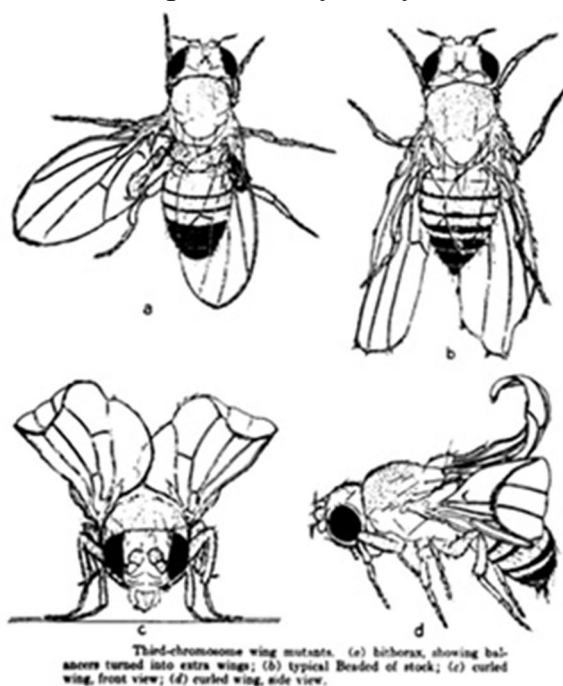
В кратчайшие сроки дрозофилы стали неотъемлемым элементом лабораторий генетиков по всему миру. Собственно, пишет Кохлер, если бы не способность дрозофил служить «биологическим аналогом атомного реактора-размножителя» и производить колоссальное количество мутантов, мы, возможно, всё еще дожидались бы появления современной генетики [128].

В тот ранний период, когда Морган и его «муховики» включили дрозофил в свои эксперименты, ученые обнаружили, что не могут угнаться за необычайной способностью дрозофилы к мутированию. Они просто тонули в полчищах мух-мутантов. Волна новой информации потребовала нового метода, который годился бы для эффективной обработки больших объемов данных, и массовое картирование генов вскоре сделалось новой отличительной приметой генетических исследований. В свою очередь, ограничения, которые налагал новый метод, потребовали появления новых мух — «мух-констант», которых можно было бы уверенно сопоставлять с другими мухами. Понадобилось существо, которое не подвержено сильной естественной изменчивости нелабораторных популяций, существо, все наблюдаемые отклонения которого были бы бесспорным продуктом экспериментальных мутаций. «Эта маленькая мушка, — пишет Кохлер, — была переключена и заново сконструирована как новый тип лабораторного прибора, живой аналог микроскопов, гальванометров или химических реактивов для анализа» [129].

Так родилась новая муха. Совершенно новое животное — при условии, что удастся не допустить ее спаривания с «нестандартизированными» родственниками. Исследователи отбирали «родительский материал» среди самых желательных мутантов — крепких здоровьем, охотно совокуплявшихся, плодовитых и легко отличимых от иных дрозофил, которые деловито жужжали за пределами «Мушиной комнаты». Морган подметил, что эти мутанты также

«не имели дурных привычек тонуть или увязать в своей пище, не отказывались покидать культуральный сосуд и т. п., то есть не имели обычаев, которые вызывают неприязнь у экспериментатора» [130].

Новая муха была отзывчива, позволяла над собой экспериментировать, была «откалибрована» под продуцирование четкой числовой информации. В отличие от своих всё более далеких родичей за пределами лаборатории, которые поднимались в воздух только на рассвете и на закате, она была активна весь день и круглосуточно производила потомство. Таких дрозофил размножали «массовыми тиражами», чтобы проводить множество экспериментов. По авторитетной оценке, в 1919–1923 годах Морган и его коллеги, создавая генетическую карту стандартной дрозофилы, «усыпили эфиром, осмотрели, классифицировали и обработали» от тринадцати до двадцати миллионов особей. На фоне такого внимания к числам колоссальная расплывчатость этой статистики говорит о статусе мух не меньше, чем сами цифры [131].



Вы можете возразить, что, придя в лабораторию, дрозофила гарантировала себе жизнь в праздности и достатке. Ей больше не нужно добывать еду или уворачиваться от хищников, ее личинки перестали быть уязвимыми. До того момента мухи, наряду с собаками, крысами, тараканами и еще несколькими обитателями наших домов, были ловкими приспособленцами, животными-спутниками, которых объединяла с человеком общая история: они поселялись рядом с нами и среди нас, не были ни вполне дикими, ни по-настоящему домашними (тут подходит термин «комменсал» — дословно «сотрапезник», в биологии — «симбионт»), ели с нашего стола, процветали там, где процветаем мы, и, несомненно, выживали там, где нам не удавалось выжить.

Но поселиться в лаборатории — значит сменить шило на мыло. Со времен Моргана бессчетные миллиарды дрозофил подверглись индуцированным мутациям. Как наблюдала Корнелия Хессе-Хонеггер, у них отрастают лишние части тела — или не вырастают нужные, причем эти части тела неподходящей формы и находятся в неподходящих местах (лапки растут из глаз или из других

лапок — сами знаете). Под легким воздействием мухи заболевают болезнями Хантингтона, Паркинсона и Альцгеймера. Страдают расстройствами сна и памяти. Впадают в зависимость от этилового спирта, никотина и кокаина. В общем, как осознала Корнелия, они не только отдуваются за наши мечты о крепком здоровье и долгой жизни, но и берут на себя задачу по осуществлению наших кошмаров.

### 3

Когда «промышленный вариант» дрозофилы стандартизировался, когда она изменилась и отделилась от своих вольных кузин, когда — одновременно — она сделалась в значительной мере продуктом «Мушиной комнаты» в Колумбийском университете, Морган и «дрозофилисты» прониклись к ней большим уважением и восхищением, увидели в ней, как выразился генетик Дж. Б. С. Халдейн, «благородное животное». Если учесть, сколько энергии они вложили в ее создание, сколько времени они проводили в ее обществе и как тесно она сотрудничала с ними во время их штудий, неудивительно, что они объявили муху личностью. Но всё же эта неразрывная связка восхищения с массовым уничтожением — нечто симптоматичное, и она кажется слегка странной, пока не вспоминаешь, что благородство часто идет рука об руку с жертвенностью и что все они — мухи и «муховики» — отправились в великий поход, научный поход за открытиями, который часто немислим без лишений и самопожертвования [132].

Возможно, границы этой маленькой странности помогут нам понять и более масштабную странность: как возможно, чтобы муха настолько походила на нас, что мы естественным образом считаем ее своим биологическим дублером, и одновременно настолько отличалась от нас, что мы, чувствуя себя столь же естественно, подвергаем ее (без угрызений совести, вообще бестрепетно) неудержимому истреблению? [133]

Кадры с мухами-бойцами вызывают беспокойство. Это так далеко от Шанхая и так неожиданно, это не сверчки, а мухи, они служат тупым орудием, они заброшены в культуру, где нет никакой «культуры мух», они засняты на видео, они обезглавливаются. В Шанхае всё четко разграничено: есть амбивалентность, есть привязанность, но нет никакой путаницы. В Сан-Диего тоже всё четко разграничено и тоже нет никакой путаницы. Но нет амбивалентности. В Сан-Диего похожесть поддается количественному определению. Даже если цифры пока не подсчитаны, факты всё равно имеют вес: у человека и дрозофилы много общих генов; у нас общие пути метаболизма и передачи сигналов на уровне клетки; а также, как готовы уверять многие нейробиологи, у нас много точек пересечения в поведении и его молекулярных механизмах (во всяком случае, ученые утверждают, что таковы механизмы поведения) [134].

С деликатностью тут туго. Эксперименты на животных — тупое орудие познания. «Мы должны подвергнуть природу пытке и вырвать у нее ее секреты», — написал Фрэнсис Бэкон, отец эксперимента, в начале XVII века. Его фраза сегодня кажется более простой и жестокой, чем, вероятно, в ту эпоху.

И всё же логика работы с «организмом-образцом» состоит в том, чтобы разграничить тело и дух, биологию и сознание, физику и метафизику. Это легко, когда сходство и различие измеряются не одной и той же шкалой, когда первое оценивается по своим критериям, а второе — по своим, когда критерии сходства — генетические, а критерии различия даже не нужно формулировать: они древние, аристотелевские, ныне сами собой разумеющиеся, очевидные, их лень даже перечислять. Скажем лишь, что это насекомые, и их отличия от нас (и то, что эти отличия позволяют) не ставятся под сомнение. Это понимал Элиас Канетти. Насекомые существуют «вне закона», писал он.

Уничтожение этих крохотных существ — единственный акт насилия, который остается безнаказанным даже в нашем внутреннем мире. Их кровь не пачкает нам руки, так как не напоминает нам о нашей крови. Мы никогда не заглядываем в их тускнеющие глаза... Они никогда — по крайней мере, в нашей западной культуре — не были облагодетельствованы нашим растущим — пусть даже и не слишком эффективным — беспокойством за жизнь на планете [135].

Голландский философ и антрополог Аннмари Мол изучает «социальную жизнь» атеросклероза — болезни, вызывающей сужение артерий и затрудняющей кровообращение вначале в ногах, а в конце концов в сердце. Мол очень наблюдательна. Она присутствует на вскрытиях больных атеросклерозом, многие из которых умирают в больнице. Она отмечает: когда патологоанатомы режут толстый слой плоти, чтобы добраться до кровеносной системы, они часто тратят несколько секунд на то, чтобы накрыть лицо трупа куском материи [136]. Анализируя этот жест, Мол заключает, что в действительности есть два трупа: тело одно, но существ — два. Первое существо — тело, которое режут скальпелем, — это биологическое тело, научное тело, свободное от метафизики человечества, тело, которое разрешено препарировать, словно кусок мяса, анонимное тело. Второе существо — тело, которое режут скальпелем, — это социальное тело, тело, у которого есть своя биография, родные и друзья, тело, которое любило и страдало, оно требует благопристойности, уважения и внимания. Мол стремится не выбрать, которое из этих тел лежит на анатомическом столе, а продемонстрировать, что там присутствуют оба тела и что незамысловатый жест — накрывание лица материей — это еще и простой жест узнавания себя в мертвом теле.

Возможно, этот жест с материей может также обозначить различие между бойцовыми сверчками из Шанхая и бойцовыми мухами из Сан-Диего. Возможно, различие отнологическое. В Шанхае каждый сверчок объединяет в себе много сверчков; много существ с множественными биографиями и множеством друзей втиснуты в его гибкое тело. Вокруг сверчка витает много грез, развиваются и срываются многочисленные проекты. Если сверчки — воины, то и мы тоже воины. В Сан-Диего есть только научная муха — «прибор, живой аналог микроскопов, гальванометров и химических реактивов для анализа», она имеет четкое предназначение, ее роль четко очерчена, ее смерть — не проблема, ее жизнь не поставлена на кон.

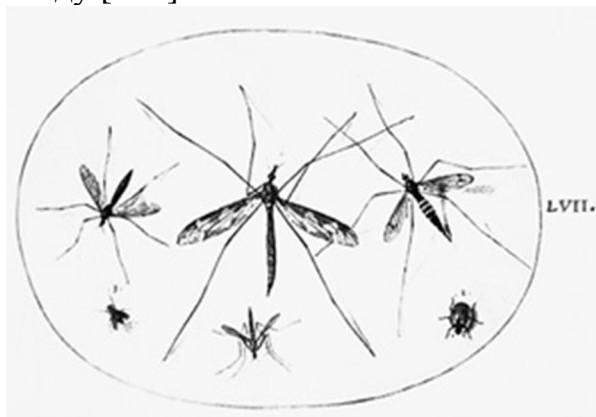
# I

## Невыразимое

### The Ineffable

#### 1

Самые красивые изображения насекомых я видел в книге *Ignis* — первом томе шедевра естествознания «Четыре стихии» великого фламандского миниатюриста Йориса Хуфнагеля, каталоге животного мира, законченном в 1582 году [137].



Написанные гуашью тонкими, но энергичными мазками на семидесяти восьми страницах из пергамента, размером всего пять целых пять восьмых дюйма в высоту и семь целых и одна четвертая дюйма в ширину, многие насекомые Хуфнагеля сидят, позируя, словно вот-вот зашевелятся, словно затаив дыхание, а их тени, чудится, вот-вот замельтешат на сплошном белом фоне. Другие летят, заключенные в золотой бордюр, который ограничивает их движение, словно магический круг. Третьи — пауки — свешиваются с бордюра. Иногда кажется, что они замечают друг друга, иногда словно бы не замечают. Иногда они соприкасаются, но чаще — нет. Иногда кажется, что они совсем близко, что они присутствуют в пространстве-времени зрителя, и когда в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, где Грег Джекмен, куратор отдела гравюр и рисунков старых мастеров, показывал мне этот ценнейший том, книга раскрылась, я невольно благоговейно ахнул.

И я сам подивился своему изумлению. На секунду я вообразил, что такое же громкое «ах» излетело из уст зрителя XVI века — человека, для которого насекомые, вероятно, были низшими омерзительными тварями и копошились в самом низу аристотелианской иерархии природы, заточенные в непроглядной тьме среди экскрементов и гнили, недостойные созерцания, пока (и, бесспорно, Хуфнагель того и добивался) книга не раскрылась, обнажая их изумительное совершенство.

#### 2

*In minimis tota es.* Так формулирует эту мысль лондонский врач Томас Моффет в своем *Insectorum sive minimorum animalium theatrum* — энциклопедическом исследовании жизни насекомых и своде практических познаний о них,

написанном в тот же период, что и «Четыре стихии», но опубликованном лишь в 1634 году [138]. Насекомые Моффета во многих важных отношениях — образцовые существа. Они трудолюбивы, бережливы, демонстрируют хорошее умение управлять обществом, уважают стариков, преданно заботятся о своем потомстве. Их метаморфоз — не просто превращение, а воскресение. Их чудесные свойства укрепляют благочестие. Их миниатюрное совершенство побуждает нас восклицать: «Чудесны дела Твои, Господи!» [139]

*Theatrum* был вторым большим «каталогом» насекомых. Первой такой книгой стал труд видного болонского натуралиста и коллекционера Улиссе Альдрованди *De animalibus insectis libri septum* (1602) — том столь авторитетный и амбициозный, что именно он распахнул двери, через которые насекомые в конце концов пробрались в научное естествознание [140]. Оба этих труда шли по стопам *Ignis*, так что книга Хуфнагеля — не только «один из основополагающих памятников энтомологии», но и первая книга в любом роде, посвященная насекомым «как отдельному царству, а не как группе, которая служила бы довеском к другим основным классам животных» [141]. Эти три книги — часть развития естествознания в начальный период Нового времени, этакий проект, который охватил несколько континентов, начинание, которое подкреплялось и подпитывалось исследованиями Нового Света и расширением морской и сухопутной торговли. Сети общения по переписке и маршруты опасных путешествий тянулись далеко, связывая ученых, купцов и спонсоров (часто это были люди, соединявшие в своем лице несколько или даже все эти занятия) с Прагой, Франкфуртом, Римом и другими центрами учености позднего Ренессанса.

Моффет уверял, что величайшее содержится даже в самом мизерном, не только для того, чтобы оправдать свои поступки. Он также апеллировал к популярной платонической космологии, где взаимоотношения малого и большого мыслились как взаимоотношения микрокосма и макрокосма и считалось, что каждое существо носит в себе семя всего космоса [142]. Как хорошо это воззрение вписывалось в изучение насекомых!

Их миниатюрный мир изумлял не только размахом своей бесконечно замысловатой общественной, биологической и символической жизни, но прежде всего контрастом между интенсивной активностью и значением, сконцентрированными в физической крохотности насекомых, и колоссальными масштабами космоса, которому мир насекомых столь безошибочно, но столь таинственно соответствовал. Не правда ли, структуру космоса лучше всего искать в его самой компактной форме? Если учесть, что парадоксальность часто бывает характерной чертой чудесного, то Моффет вполне мог утверждать, что миниатюрное пронизано колоссальностью Божественного в еще большей степени, чем значительные явления природы. Подобные рассуждения о микрокосме и макрокосме настолько укоренились в кругах гуманистов, к которым принадлежали эти натуралисты, что последний покровитель Хуфнагеля — император Священной Римской империи Рудольф II — именно по этому принципу организовал свой пражский кабинет диких животных — лучшую кунсткамеру Европы, где в итоге оказались на хранении «Четыре стихии» [143].

Но с этими порывами не всё было так просто. Моффет, Хуфнагель и Альдрованди распространяли на насекомых благочестие, но параллельно развивали методы наблюдения, которые, как пишет историк искусства Томас Дакоста Кауфманн, влекли за собой «исследование материи и процессов природного мира, рассматриваемых как самоцель» [144]. А Хуфнагель заодно оттачивал манеру живописи, которая сделала его одной из ключевых фигур в развитии светского натюрморта. Как и другие представители его кружка нидерландских гуманистов, Хуфнагель, по-видимому, исповедовал неостоицизм, политическую умеренность и безразличное отношение к конфессиям, сознательно противостоял нетерпимости во времена насилия на религиозной почве, когда его родной Антверпен разграбили испанские войска, его купеческое семейство рассеялось по разным местам, а сам Хуфнагель вынужден был скитаться, оказываясь то в Мюнхене, то во Франкфурте, то в Праге, а в итоге — в Венеции.

И всё же было бы неверно воображать Хуфнагеля на современный манер — в качестве секулярного научного иллюстратора. Его творчество подчиняется этике, которая сильно опирается на религию — правда, в духе экуменического стремления к мирному устранению раскола христианской Церкви, который породила Реформация [145]. Собственно, Хуфнагель дополняет большую часть изображений в «Четырех стихиях» библейскими афоризмами, восхваляющими Божественное Провидение и замыслы Господа. Но и это благочестие нелегко приручить, приспособив под современность.

Четкое разграничение на священное, секулярное и то, что нынче могло бы считаться сферой оккультного, в то время еще не сложилось [146]. Те десятилетия были ключевым периодом для формирования современных способов исследований, но также эпохой, когда среди европейских интеллектуалов буйно расцвели эзотерические традиции, а открытие глубоко систематичной упорядоченности мира стало руководящим принципом натурфилософии и порожденных ею искусств. Ученые раннего Нового времени применяли оккультные эксперименты, нумерологию, символику эмблем и широкий спектр других видов магии, чтобы навести мосты между «наблюдением наружного и интуитивным постижением скрытой за ним реальности» и тем самым сделать зримыми тайны природы [147].

Инаковость насекомых — столь маленьких, столь чуждых нам по внешности, столь чудовищно плодовитых — была огромной и тревожной, она означала, что это существа одновременно естественные (то есть обыкновенные и богоданные) и всё же находящиеся на грани необъяснимого. Возможно, их парадоксальный характер объясняет, почему в тот период насекомые сделались столь популярным объектом исследований, а также почему их изучение в ту эпоху обнажает многие точки напряжения натурфилософской практики.

Рассмотрим, например, глубоко аристотелианское описание «вивифакции» — размножения — у Фрэнсиса Бэкона в его последней работе *Sylva sylvarum* (1627) — собрании наблюдений естествоиспытателя. Бэкон, широко слывающий (хотя, возможно, это упрощение) основоположником эмпирической философии, в седьмом разделе своей книги уделяет много места насекомым, «существам, рождающимся от гниения», поскольку, как он пишет, вторя

Моффету, «природа вещей обычно лучше постигается не в большом, а в малом».

«Созерцание [насекомых] приносит много *Великолепных Плодов*, — пишет Бэкон. — Во-первых, *обнаружение истины о вивифакции*. Во-вторых, *обнаружение истины об иносказательности*. В-третьих, обнаружение многого в природе *совершенных* существ, что в них более скрыто. А в-четвертых, в *переносе* путемдействия некоторых *наблюдений* над *Insecta на совершенных существ*, дабы оказать на них *воздействие*» [148].

Он мало интересуется насекомыми как таковыми. Их ценность — в том, что они раскрывают нам о существах высшего порядка.

Даже в этом коротком отрывке отрешенность Бэкона от объекта его исследований радикально контрастирует с близостью Хуфнагеля к его моделям. Однако трения между инаковостью и тождеством, которые проявляются в статусе насекомых как микрокосма, отражающего явно выраженную природу, позволяют Бэкону обобщать характер фундаментальных физиологических процессов, общих для всех существ. Эта готовность воспринимать насекомых серьезно, как объект исследования, в то же самое время упрочивая их уничижительную ассоциацию с испражнениями и несовершенством (в аристотелианском смысле спонтанного самозарождения), указывает на препятствия, с которыми сталкивались Моффет, Хуфнагель и их коллеги — любители насекомых. Борьба будет продолжаться на протяжении всего XVIII века, доучая первым поколениям профессиональных энтомологов — таким ученым эпохи Возрождения, как Ян Сваммердам и Рене-Антуан Фершоль де Реомюр, которые, хоть и были учеными высокого класса, высмеивались за несоответствие: мол, столько внимания к изучению столь скромного предмета! [149]

В этих обстоятельствах Моффет апеллировал к чувству изумления через описание фактов, сыпал деталями и эпизодами, наблюдениями и примерами, впечатлял весом наглядных доказательств, сознавал, что эмпирическое — источник чудесного, а не его противоположность, как предпочел бы думать Бэкон. Вновь и вновь, изъясняясь удивительно обыденным языком, Моффет выражает свое изумление чудесами мира насекомых. Вот характерный момент (предшествующий совету воспользоваться лупой): Моффет делает невероятное (по крайней мере, для тех, кто не знаком с трудами Плиния) заявление, причем прибегает к бытовым аналогиям, которые подчеркивают, что повсеместность его объектов исследования — тоже часть их необычайности. «Ты обнаружишь в теле пчел, — пишет он с явным упоением, — бутылочку, которая служит сосудом для меда, высосанного из цветов, а их лапки нагружены битумом, который быстро прилипает, чтобы делать воск...» [150]

У Хуфнагеля, как и у Моффета, насекомые — это одновременно знакомые и ни на кого не похожие существа. Чем дольше я сижу над *Ignis*, тем отчетливее чувствую, что Хуфнагель бросил все свои огромные таланты на то, чтобы сделать из этих существ нечто в буквальном смысле чудесное. Под его кистью жуки, ночные бабочки, сверчки, муравьи, дневные бабочки, стрекозы, комар, три стрекозы, прозванные «комариными ястребами», весьма мохнатая черная гусеница, божья коровка, множество пчел, многочисленные пауки (разной



величины и пестрой внешности) и даже несколько мокриц превращаются в субъекты и агенты позднеренессансного умения удивляться — весьма специфического вида эмоционального интеллекта, «когнитивной страсти», в которой сочетаются и культивируются ощущение и познание [151].

В XVI веке это умение удивляться было способностью особого типа, и ее наличие уже само по себе было приметой культурного человека.

Историки Лоррейн Дагтон и Кэтрин Парк называют чудеса (то есть объекты, вызывающие удивление) «аристократией природных явлений». Идентификация и коллекционирование чудесных вещей в кабинетах редкостей играло центральную роль в самодефиниции европейской культурной элиты [152]. Спустя несколько десятилетий вещи, которые когда-то казались чудесными, стали восприниматься как вульгарные и нежелательные, слишком безвкусно-яркие, слишком ненадежно эмоциональные, дабы удовлетворять возросшим требованиям рациональной дифференциации [153]. Но во времена Хуфнагеля люди выискивали чудесные стороны во всевозможных объектах, объединявших в себе сверхъестественное и земное, и с одинаковой легкостью находили чудеса как в природе, так и в уникальных рукотворных имитациях (таковы насекомые Хуфнагеля), обнажавших узы между человеком и миром природы, с которым он так тесно взаимосвязан. Стимулируя умение удивляться, чудесные объекты наводили на философские размышления, а те вели к подлинному знанию: эту мысль можно подчеркнуть дословной цитатой из Аристотеля [154].

Вначале рисунки Хуфнагеля бередили мне сердце тем, что я счел нежностью, тонкой и прочувствованной проработкой деталей, декоративностью. Но когда я пришел в себя после первого изумления над раскрытой страницей, я спросил себя — довольно отрешенно, как подобает современному секулярному человеку, — не обусловлена ли эта реакция тем, что я воспитан на современной эстетике биологического разнообразия и связанной с ней этике сохранения и защиты природы. Меня осенило, что Хуфнагель делал нечто другое. Он требовал, чтобы я не только видел насекомых, не только смотрел на них, не только наблюдал за ними — но и видел бы их совершенно новыми глазами, обнаружил бы инаковость и погрузился бы в нее, нашел бы основания для сопереживания при столкновении с биологической и социальной маргинальностью этих существ. Я начал понимать, что Хуфнагель хотел, чтобы я оказался с глазу на глаз с этими насекомыми, максимально близко, — пусть это будет непосредственное, преображающее соприкосновение.

### 3

Как явствует из названия, «Четыре стихии» описывают животный мир, разделенный на четыре группы. Каждой группе посвящен отдельный том, каждая группа животных привязана к одной из стихий, а каждая стихия нагружена символическим смыслом. Хуфнагель ставит четвероногих и рептилий на землю, рыб и моллюсков погружает в воду, птиц и амфибий отпускает в воздух и с самого начала — в первом томе — выказывает намерение изумлять, ассоциируя огонь (*ignis*) не с саламандрой (которая, как считалось, невредимой проходит сквозь пламя), а с *animalia rationalia et insecta* — новой,

придуманной им самим категорией, которая объединяет насекомых с одаренными людьми: две разновидности маргинального и чудесного.

Хуфнагель, хоть и не столь преданно, как Бэкон, тоже черпал свои зоологические познания у Аристотеля. Но, возможно, я невольно ввожу вас в заблуждение: в раннем Новом времени европейская натурфилософия была плотно сращена с учением Аристотеля [155]. Центральные элементы биологии Аристотеля сохранялись в Европе, почти никем не оспариваемые, до середины XVIII века и даже позже, надолго пережив демонтаж структурной космологии, с которой прежде всего ассоциируется аристотелианство. А конкретно в том, что касалось первых шагов энтомологии, невозможно переоценить значение наблюдений и таксономии Аристотеля в его трудах «О происхождении животных», «О частях животных» и «О движении животных», которые продолжил его ученик Теофраст в своей работе о взаимодействиях растений с животными, а Плиний собрал воедино и расширил в книге XI «Естественной истории». Когда Аристотель ввел таксономический класс, который нарек «энтома» (животные с выемками или сегментами), он первым попытался систематически сгруппировать и описать насекомых [156]. Дотоле внимание естествоиспытателей привлекали только те насекомые, которые считались опасными или полезными (преимущественно в области медицины).

Для своей классификации Аристотель выделил характерные особенности, исходя из наблюдений за морфологическими чертами, а также добавил по несколько слоев отличительных признаков, чтобы выстроить верхние таксоны [157]. Однако в противовес Линнею, который интересовался отличительными чертами исключительно в плане морфологии, Аристотель искал определяющие черты в «душе» животного — то есть в его основных жизненных функциях, а не в его теле. И хотя Аристотель иногда делил животных на две группы (различал, например, крылатых и бескрылых насекомых), он стремился к различению по принципу уникальных совокупностей черт, а не на основе бинарных оппозиций. Более того, таксономия Аристотеля и вся онтология, к которой она восходит, опирались на космологическое убеждение в том, что движущая сила природы — это телеология, воплощенная в восходящей иерархии совершенства, на земной вершине которой, что вполне предсказуемо, стоит самец человека. Как лаконично объясняет Дж. Э. Р. Ллойд, это здание предполагает тесную взаимосвязь между гуморальными качествами животного, его способом размножения и его уровнем совершенства. «Аристотель, — пишет Ллойд, — различает группы животных по их способностям чувствовать, способам передвижения, способам размножения. Эти способности, на его взгляд, тесно соотносятся с определенными первичными свойствами: теплом, холодом, сухостью и влажностью животного. Таким образом, живородящие животные, яйцекладущие животные (два основных класса яйцекладущих: те, кто откладывает совершенные яйца, и те, кто откладывает несовершенные яйца) и животные, рождающие личинок, выстроены по степени „совершенства“, от высшей к низшей, и чем „теплее“ и „влажнее“ животное, тем оно ближе к совершенству» [158].

Холодные и сухие «энтома» — один из четырех родов бескровных животных. Некоторые из них крылатые, у всех больше четырех ног, все

наделены зрением, обонянием и чувством вкуса, некоторые наделены слухом. Всего важнее то, что, как указывает Ллойд, «энтома» размножаются путем спонтанного самозарождения (это самый несовершенный из четырех методов, выявленных Аристотелем). Например, комнатные мухи возникают из навоза, как и блохи; вши возникают из плоти; червяки растут из залежавшегося снега; моль — из сухой и пыльной шерсти; другие же появляются из росы, грязи, дерева, растений и шерсти животных. Эти примеры свидетельствуют, что Аристотель внимательно наблюдал за природой (но не имея такого подспорья, как увеличительное стекло) и применял несколько догматичный теоретический аппарат. Эти крохотные животные, как он видит, занимаются сексом, но потомство всегда представляет собой низшие, еще более несовершенные организмы: например, отпрыски мух и бабочек — крохотные червячки [159]. А без развития не может быть никакого усовершенствования, никакого движения вверх — от экскрементов к эфиру. Итак, для Аристотеля насекомые во всех отношениях (за исключением почтенных пчел) максимально далеки от совершенства, доступного животным [160].

*Ignis* был мятежом против аристотелианского порядка. В то время как более ранние художники сосредотачивались на самых символических насекомых (жуке-олене, пчеле, кузнечике) либо изображали на иллюстрациях к текстам местные виды, чтобы увековечить память о паломничествах, Хуфнагель в *Ignis* пересмотрел статус насекомых как класса [161].

Изобразив их столь заметно и столь систематично, неявно сохранив равенство в их рядах (он уделяет одинаково большое внимание и комару, этому носителю заразы, и прозаичной мокрице, и трудолюбивой пчеле), Хуфнагель настаивает на ценности всех существ, известных ему под именем *insecta*.

Чтобы аргументировать свою позицию, он обратился к принципам физики, которые во многом были обязаны своим происхождением Аристотелю. Космос, как его понимали в Европе в эпоху Ренессанса, был разделен на два царства: высшее, наполненное совершенным и вечным эфиром, который двигался идеально и неизменно, — а внизу, граничащее с лунной сферой, лежало царство земное, постоянное лишь в смысле постоянной изменчивости, состоящее из огня, земли, воздуха и воды — четырех типов земной материи. Из этих четырех стихий именно огонь — верхний слой земной области — занимал в природе самое высокое положение. Если им не препятствовать, огненные тела всегда естественным образом поднимаются к небесному царству, и в этом смысле они ближе всего к совершенству [162]. Ассоциируя своих насекомых с огнем, Хуфнагель соединил их с самой необыкновенной стихией, со стихией, которая ассоциируется с зарождением и дематериализацией, самой изменчивой, самой динамичной, самой непостижимой и — в Европе раннего Нового времени — самой чудесной. Тут принципиально важно, что, вопреки логике других томов «Четырех стихий», огонь — не среда обитания насекомых. Он символизирует свойства, которые они воплощают [163].

Однако на первом развороте *Ignis* изображены не насекомые, а пара людей. Станный мужчина с пронизательным взглядом (жена, словно защищая, кладет

руку ему на плечо) — это Педро Гонсалес, первый из *animalia rationalia*\* Хуфнагеля.



Он был найден на Тенерифе и привезен во Францию, где при королевском дворе получил образование в гуманистическом духе. Как рассказывается в пояснительном тексте Хуфнагеля (и в других исторических документах), Гонсалес был литератором, хорошо известным в европейском обществе. Его одежда и манеры указывают, что перед нами весьма воспитанный человек, но его врожденный гирсутизм, унаследованный от него такими же мрачными детьми, изображенными на следующем развороте, относит его к традиции дикости (а пейзаж пустыни тоже создает впечатление дикости). Пейзаж подчеркивает одиночество супружеской пары, а золотая окружность, в которой они заточены, кажется ироничным намеком на их карьеру в цивилизованном мире. Пленники случайного сочетания физических черт и сомнительной известности, они совершенно одиноки, и последние сомнения в этом развеивает стих из Книги Иова, помещенный под портретом: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печальями» [164].

Но что это за человек? Гонсалес и его дети (а также «спроецированные», но не нарисованные великан и карлик в третьем томе) — это *animalia rationalia*, единственные люди (наряду с женой Гонсалеса) во всех «Четырех стихиях». Балансируя на грани человечности, они еще чудеснее в силу того, что остаются в ее лоне, объединяя разумность (отличительную черту человека) и животное начало (противоположность человечности), расшатывая саму идею естественного порядка вещей. В физическом отношении в них сразу можно узнать представителей тех рас «диких людей» и чудовищ, которыми населены дальние берега в воображении общества Ренессанса, — скорее зверей, чем людей, ту противоположность человека, благодаря которой мы понимаем, что такое на самом деле человек. Однако в культурном отношении Гонсалес, вне всякого сомнения, человек. Собственно, как четко сказано в тексте Хуфнагеля, он гуманист. И в этом решающем отношении внешность Гонсалеса — мощный вызов самой идее человечности, определяемой через способность рассуждать рационально, вызов, вторящий вопросу, который в те же годы ставит Монтень в эссе «О каннибалах», где встреча с коренными бразильцами при французском дворе оспаривает превосходство европейской учтивости [165].

Экзотическая проблема семейства Гонсалес в то время вызвала широкий интерес. Заказывались портреты. Приглашались для консультаций видные медики. Альдрованди лично осмотрел семью и включил портреты ее членов в свою *Monstrorum histori* [166]. Но комментарий Хуфнагеля заходит дальше всех. Если это жертвы, их прискорбное положение — обвинительный приговор нетерпимости, и когда нас приглашают взглянуть на них под таким углом, нам также напоминают, как считает историк искусства Ли Хендрикс, о нетерпимости, которая прокатилась по Европе, превратив самого Хуфнагеля в жертву и беженца [167]. Итак, если это жертвы, то они, как и жертвы притеснений за веру, совершенно непоняты обществом. А эти жертвы — и, возможно, все жертвы — несомненно, чудесны. Пронизанные огнем, они возносятся над своим земным положением, чтобы естественным образом воспарить к небесной сфере. Это сильная картина, она доныне, с того самого дня в Национальной галерее искусств, стоит у меня перед глазами. Странный мужчина, решительно вперивший в зрителя свой пронизательный взгляд. Грустная, но не теряющая самообладания женщина не смотрит ни на мужа, ни на художника, а вместо этого уставилась с молчаливым смирением куда-то вдаль; пожалуй, ее фигура запоминается лучше всего: она по собственному выбору нарушает нормы и, следовательно, выбирает страдание, ее роль — посредничество между полноценными людьми и *animalia rationalia*; о ней не написано ничего, ее имя и биографию, похоже, никто не вносил в анналы истории.



Почему в этой новаторской иерархии природы Хуфнагель объединяет семью Гонсалес с *insecta*? А точнее, почему он изображает этих феноменальных людей как обрамление и пролог к своей книге о насекомых? Должно быть, разгадка в том, что объединяет этих существ: чудесность, бессердечно и ложно воспринятая как несовершенство, общее существование в маргинальных областях природы. Если Гонсалес стоит на отшибе человечества, то насекомые — на отшибе природы и на грани зримого. Будучи на пороге скрытых истин, они указывают куда-то вдаль от себя — на врата в незнаемое, они ведут нас (в эпоху, когда еще не было микроскопов) в «оптическое путешествие в глубь местностей, не нанесенных на карту» [168].

## 5

Лишь спустя какое-то время я осознал, что *Ignis* — разновидность того, что сэр Джеймс Фрэнгер, энциклопедист ранней антропологии, называл

«гомеопатической магией» — видом симпатической магии, основанным на «законе сходства», согласно которому подобное порождается подобным [169]. Я уже знал, что в раннее Новое время задача натурфилософа состояла в том, чтобы применять *ars magica*\*\* для наведения мостов между зримым и интуитивно понимаемой вселенной [170]. Почему же я с таким опозданием понял, что *Ignis* и его насекомые — сами по себе магические объекты?

Возможно, дело в том, что им, казалось, не соответствовал ни один из бесчисленных примеров Фрэзера (отраженных в имперской призме обществознания начала XX века: например, «Не случайно, что великие завоевательские расы мира больше всего сделали для прогресса и распространения цивилизации») [171]. Хуфнагель как-то не особо похож на «индейца племени оджибве», который накладывает проклятье, взяв «маленькую деревянную фигурку своего врага и втыкает иглу в его голову или сердце». Не напомнил он мне и «перуанских индейцев, которые лепили фигуры из жира, смешанного с зерном, чтобы изобразить людей, которых недолюбливали или боялись, а затем сжигали эти фигуры на дороге, по которой должна была пройти намеченная жертва» [172]. Кроме того, тонко прорисованные насекомые Хуфнагеля ничуть не напоминали те фетиши из дерева и жира, чье морфологическое подобие их жертвам было, судя по рассказу Фрэзера, небрежным и обобщенным, а возможно, даже ничего не значило.

Хотя Фрэзер испытывает определенные сомнения, он признает: когда намеренность явно очевидна, допустим термин «миметическая магия». Это должно было привлечь мое внимание, а точнее, привлекло бы, если бы я не думал, что подражание всегда подвластно трагедии, что мимикрию неизменно омрачает повторяющаяся неспособность обернуться объектом подражания. Я всё еще думал, что Хуфнагель — этаким (сильно опередившим свое время) сюрреалистом, а его мимикрический метод — подрывная тактика, рассчитанная на то, чтобы выбить зрителя из колеи и подготовить его психику к откровению. Но, возможно, было что-то еще? Фраза Фрэзера напомнила мне, как Вальтер Беньямин в своем странном эссе «О миметической способности» утверждает, что эти устремления не напрасны. Мимесис в понимании Беньямина предполагает, что копия дает безграничные возможности для идентификации с объектом. Говоря словами антрополога Майкла Тауссига, при правильном стечении обстоятельств объект «переходит от пребывания снаружи к превращению в нечто внутреннее. <...> Подражание превращается в постоянное свойство» [173].



Книга *Ignis*, как и насекомые, мир которых она открывала перед читателем, была чудом, ее иллюстрации — плод поразительной способности Хуфнагеля вдыхать жизнь в своих героев. Хотя, как и большинство мастеров той эпохи, в своем творчестве он во многом опирался на работы других художников, Хуфнагель прославился своим талантом подниматься выше простого копирования. В его руках даже знаменитый жук-олень Дюрера наполнился новым духом, ожил по-новому, подводя зрителя намного ближе, соблазнительно ближе к намекам на то, что таится за наружностью [174].

Постарайтесь не воспринимать это копирование как подражание. Считайте, что это философское искусство на службе чего-то более грандиозного и более таинственного. Разумеется, оно выражает благочестие: всё это — создания Господа Бога, — но также и ассоциируемое с ним желание погрузиться глубже, пересечь пропасть между образом и реальностью, между краской на пергаменте и насекомым, между субъектом и объектом, между человеческим и Божественным, между человеком и животным. Вместо того чтобы создать подобие существа, которое подействовало бы на это существо (как в примерах Фрэзера), подобию у Хофнагеля стремятся привести нас в точку самоотождествления с изображенным. Это подражание, стремящееся к превращению в постоянное свойство и делающее это посредством эмпатии — эмпатии, которая рождается из удивления, а удивление продуцируется целым набором тактик, выбивающих из колеи (именно из-за этих тактик я вообразил Хуфнагеля сюрреалистом раннего Нового времени).

Центральную роль во всем этом играет активное рассматривание, которого требует от читателя Хуфнагель. Невозможно небрежно скользнуть взглядом по его насекомым. Точно так же, как Педро Гонсалес заглядывает нам в глаза, не дает отвернуться, удерживает наше внимание, требует признать его субъектом (как человека, гражданина, тему и жертву), так и детальная четкость насекомых Хуфнагеля втягивает нас внутрь их индивидуальности и побуждает сфокусироваться на «существе-в-себе» совершенно так, как фокусируется взгляд через лупу, вовлекая нас в таинственную жизнь одушевленной природы.

Эффект усиливается благодаря драматичному антуражу: фон, обычно не закрашенный, — это и глубина пространства, и поверхность (обратите внимание на тонко написанные тени), однако такой фон изымает земной контекст, который только отвлекал бы внимание, оставляя насекомых в неком автономном безликом пространстве — пространстве, которое кажется мне онтологическим, а не (как мы ожидали бы сегодня) экологическим или историческим. Внезапно (и в этом одна из причин, побуждающих нас удивленно ахать) Хуфнагель втягивает нас в мир масштаба этих крохотных существ. Мы становимся крохотными, словно пролетев сквозь его зеркало. Вариации величины насекомых — от самых малюсеньких мушек до самых чудовищных пауков — поражают, пугают, но и увлекают. Художник подчеркивает их движения, их целеустремленность, намекая, что ими движет разум. Такие чудеса требуют смирения. Они указывают нам на ограниченность нашего понимания и на скудость нормы, в которой мы живем. Встреча, случившаяся благодаря миметической магии, всё глубже и глубже уводит нас в тайное царство. Глубже и глубже, ближе и ближе, пока мы не утыкаемся в границы

коммуникации, пока мы не утыкаемся в пределы, за которыми начинается неопишваемое.

## 6

В Музее и научном институте Дж. Пола Гетти, высоко на холме над Лос-Анджелесом, хранится еще один шедевр Хуфнагеля — *Mira calligraphiae monumenta*, иллюстрированная книга образцов каллиграфии, отличающаяся редкостной красотой и лукавым остроумием. Первоначальная рукопись была написана рукой виртуозного каллиграфа Георга Бочкаи в 1561–1562 годах. Спустя примерно тридцать лет по просьбе Рудольфа II Хуфнагель начал иллюстрировать текст, украшая труд Бочкаи цветами и фруктами, а также безупречными маленькими насекомыми самой разной наружности, которые карабкаются на замысловатые буквы и лазают по ним, балансируют на засечках, соскальзывают по подстрочным элементам литер, снуют между завитушками и обгладывают перекладыны, непочтительно подшучивая над пышной виртуозностью Бочкаи, а заодно демонстрируя убежденность Хуфнагеля в том, что визуальный ряд говорит с нами в плоскости, недоступной письменному тексту [175].

Несмотря на беспечность *Mira calligraphiae*, Хуфнагель абсолютно серьезно верит в способность изображения проникнуть в воистину сокровенное. Этим он снова напоминает мне Вальтера Беньямина, который, сходным образом стремясь к преобразованию отношений между людьми и миром, в котором они вращаются, с трудом подбирая слова, которыми живописал свои «диалектические образы» — образы, которые уловили бы жизнь во всех ее противоречиях и пробили бы брешь в мире видимостей [176]. В тот момент, когда в предвоенной Европе над Беньямином нависла опасность — как над евреем и марксистом (правда, своеобразным), его вера в слова опиралась на эту способность взрывать реальность плотно сгущенными визуальными образами. Нам могло бы показаться, что это довольно хрупкая вера. Но мы бы ошиблись. Даже если сила слов — в их способности присваивать образ, даже если способность самых дерзких слов действовать на мир слаба и робка, в этой идее нет никакого барьера, который не могла бы разрушить магия слов.

Хотя Беньямин и Хуфнагель по-разному смотрят на взаимоотношения слова и изображения, мне нравится думать, что они поняли бы подходы друг друга к задаче философа. Для них обоих, воспитанных в традициях благочестия, труд критики — это труд откровения. Для обоих откровение включает в себя кардинальный, преобразующий подрыв повседневности. Для обоих метод откровения — то, что мы могли бы назвать миметическим шоком: разупорядочение психики, которое наилучшим образом осуществляется в моменты высшей художественной виртуозности.

Прошедшие столетия притупили воздействие насекомых Хуфнагеля. Сегодня зрителя поражает ошеломительная красота этих изображений, а не внезапное зрелище нежданной инаковости. Я довольно скоро осознал: «ах!», которое слетело с моего языка в то утро, когда Грег Джекман, сидя рядом со мной в галерее, перевернул страницу, было выражением благоговения перед талантами Хуфнагеля, а не реакцией на всю полноту присутствия насекомых;

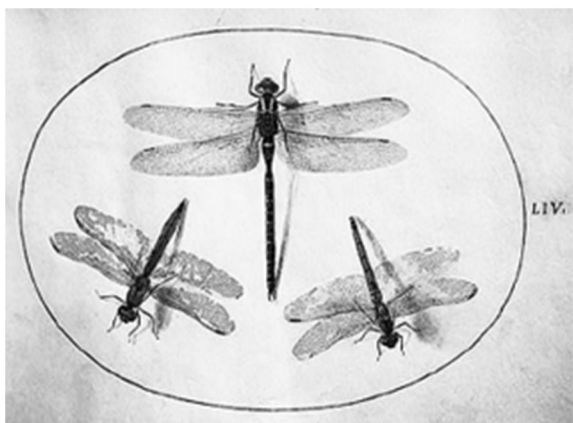


полагаю, Хуфнагель подталкивал зрителя к совсем другому разрыву с рутинной. Я был под глубоким впечатлением от его безупречного подражания жизни, но сама жизнь поражала меня не так уж глубоко. И вначале я не распознал, что у Хуфнагеля мимикрия — это магия, призванная воздействовать на мир.

Возможно, как предрекал Бенъямин, близкое знакомство с репродукцией сделало нас невосприимчивыми к магии оригинала [177].

Но какую задачу задал себе сам Хуфнагель! Он стремился не только создать идеальное изображение, но и уловить какие-то потаенные черты, нечто ускользающее и незримое, — но он-то знает, что оно здесь, и полагает, что может сделать его зримым с помощью искусства копирования. Какая же это мука — работа миниатюриста, стремление не просто к реализму, но к версии реального, которая настолько реальна — еще реальнее, чем копия, от которой он отталкивается при работе, — что она уводит тебя за пределы зримого, в неведомый мир внутри, через межвидовой барьер туда, где различия растворяются, в постоянство, которое становится конечным пунктом имитации.

Достиг ли он успеха? Была ли его миметическая магия достаточно сильна, чтобы перескочить через пропасть между образом и реальностью, между краской на пергаменте и чудесными существами, между человеческим и Божественным, между человеком и насекомым? Возможно, достаточно признать, что такое в принципе возможно, признать, что красота когда-то имела такое влияние. Возможно. Но, подозреваю, для Хуфнагеля этого было недостаточно.



Грег перевернул еще одну страницу, и мы оба уставились на разворот LIV. Поняв, что я ничего не заметил, он указал на необычайно изодранные крылья двух нижних стрекоз. Это были настоящие, сказал он, настоящие крылья, которые Хуфнагель оторвал у своих реальных моделей — насекомых — и осторожно, с тщанием, которое нам остается лишь воображать, наклеил на свой рисунок. И тогда я увидел, что они отличаются по виду от других. Они протерлись, они распадались на части, обветшали, выглядели теперь намного менее реалистично, чем те тонкие и прочные имитации крыльев, которые Хуфнагель пририсовал центральной стрекозе. Я знал, что существовала традиция прикреплять к средневековым рукописям найденные вещи — значки, ракушки, засушенные цветы — как знак засвидетельствования. Эти вещи — своеобразные реликвии — были доказательством, что человек действительно совершил паломничество в определенное место, а также осязаемыми мнемоническими приемами для припоминания впечатлений [178]. Но здесь

было что-то другое. Хуфнагель созерцал фиаско своего стремления, созерцал пределы репрезентации, созерцал неопишное. Мне послышалось восклицание Моффета: «Как чудесны творения Твои, Господи!» — но в нем звучало скорее причитание, чем ликование. «Как чудесны творения Твои, Господи, — услышал я, как вторит ему Хуфнагель, — и как скудны мои творения!»

## Ж Евреи Jews

Антисемитизм — ровно то же самое, что уничтожение вшей. Избавление от вшей — не вопрос идеологии. Это вопрос чистоты. Точно так же антисемитизм для нас не был вопросом идеологии, но вопросом чистоты, который мы вскоре решим. Скоро мы избавимся от вшей. У нас осталось всего двадцать тысяч вшей, а затем с этим делом будет покончено во всей Германии.

Генрих Гиммлер. Апрель 1943 года

### 1

В суровом романе Аарона Аппельфельда «Железные пути» Зигельбаум, герой-повествователь, скитаясь в одиночку по истерзанной и негостеприимной послевоенной Центральной Европе, встречает в пустом вагоне поезда некоего мужчину, который без колебаний опознает в нем еврея [179].

«Но как вы догадались?» — озадаченно спрашивает Зигельбаум. «Внешность тут ни при чем, — флегматично отвечает мужчина. — Это всё ваша нервозность. В вас видна еврейская нервозность». Нервозность виновного и преследуемого. Нервозность дегенерата. Он мог бы добавить: вы страдаете тараканьим неврозом, склоняющим к поспешному бегству, паразитической боязливостью вши. Сколько бы мы их ни давили, всегда несколько оставались. А теперь, когда мы видим одну, то понимаем, что их намного больше.

### 2

«Антисемитизм — ровно то же самое, что уничтожение вшей», — говорит Генрих Гиммлер [180]. И хотя иногда он мог, напрягшись, подобрать уместный эвфемизм, рейхсфюрер СС был знаменит тем, что тщательно подбирал слова. Антисемитизм не «похож» на уничтожение вшей и не просто «один из видов» уничтожения вшей. Это «ровно то же самое», что уничтожение вшей. Он хочет сказать, что евреи на самом деле вши? Или что для искоренения обоих зол следует принять одни и те же меры?

Гиммлер постоянно присутствует в Мемориальном музее холокоста в Вашингтоне. Уверенный и собранный, среди своих знаменитых коллег — Геринга, Геббельса, самого фюрера. Островок спокойствия в центре бури. Когда я побывал в этом музее летом 2002 года, на нижнем этаже была выставка художника и пропагандиста Артура Шика — исследователя средневековой книжной миниатюры, беспощадного карикатуриста и активиста

«ревизионистов» — яро-милитаристского крыла сионистского движения [181]. Шик хорошо уловил сухое бесстрашие командующего СС.

В конце 1943 года, спустя всего несколько месяцев после того, как Госдепартамент США впервые официально подтвердил, что, по скромным оценкам, нацисты убили два миллиона евреев, Шик (он жил в эмиграции в Нью-Йорке и активно ратовал за вмешательство в целях спасения евреев) нарисовал как всегда доходчивую карикатуру [182]. Гиммлер, Геринг, Геббельс и Гитлер жалуются: «Евреи у нас в дефиците!» На столе лежит отчет гестапо: «2 000 000 евреев казнено». В верхнем правом углу надпись: «Памяти моей милой мамочки, убитой немцами где-то в гетто в Польше... Артур Шик». Он только строил предположения, но оказался прав: его мать уже загнали в эшелон, который шел из Лодзи в Хелмно.



Год спустя, в конце 1944 года, уже после освобождения Майданека, Шик снова нарисовал банду нацистов — на сей раз для обложки журнала *The Answer*, который издавало в США так называемое движение ревизионистов. Убитые присутствуют в виде черепов, костей и надгробий с названиями лагерей. Над картиной опустошения возвышаются нацистские вожди, причем вид у них потрепанный, они явно обречены на разгром. На первом плане Геббельс скидывает руки, не веря своим глазам и как бы капитулируя: ведь мимо шествует Агасфер, Вечный жид, мрачно прижав к себе Тору — символ коллективного выживания. Там, где мы видим одного, их много притаилось в тени. Вечный народ, как сказано в притче.



Журнал *The Answer* был органом бергсонитов — американских ревизионистов, которые всеми силами старались привлечь внимание к уничтожению европейских евреев. Рисунок Шика, часто используемый в материалах этого движения, демонстрирует умение Шика перелагать политические программы на язык сложных, но интуитивно понятных образов. Вечный жид — этот живучий и амбивалентный символ антисемитизма, персонаж, который на Крестном пути посмеялся над Христом и был приговорен к скитаниям по земле вплоть до второго пришествия Христа, — был заново присвоен еврейскими художниками, и Шик опирался как минимум на две известные версии. Первая — написанная на рубеже XIX–XX веков картина Шмуэля Хиршенберга, на которой раздетый, перепуганный Агасфер, лишившийся рассудка от мучений, бежит от неприглядных ужасов погромов 1881 года. Эта картина распространялась по еврейской Европе в форме открыток и плакатов. Второй образ — скульптура Альфреда Носсига.

Статуя Носсига, дающая решительный отпор страданиям, преображает мучительное видение Хиршенберга. Это образ еврейства, который — по горькой иронии судьбы, которая скоро станет очевидной, — хорошо сочетался с любовью Шика ко всему героическому [183].



Der ewige Jude.  
Skulptur von Alfred Nossig.

3

Вши — это паразиты (как и евреи). Они сосут нашу кровь (как и евреи). Они переносят болезни (как и евреи). Они пробираются в наши самые сокровенные места (как и евреи). Они незаметно для нас причиняют нам вред (как и евреи). Они символизируют грязь (как и евреи). Они повсюду (как и евреи). Они омерзительны. Нет никаких причин оставлять их в живых.

4

Хотя нацисты устанавливали границы с беспрецедентной свирепостью, не они инициировали изгнание евреев из царства человечества. Например, во Франции в раннее Новое время, «поскольку соитие с еврейкой — ровно то же самое, как если бы мужчина совокуплялся с собакой», христиан, которые занимались гетеросексуальным сексом с еврейками, могли судить за тяжкое преступление — содомию — и сжигать заживо вместе с партнершами: «подобные особы в глазах закона и нашей святой веры не отличаются никоим образом от зверей» (кстати, звери тоже подлежали суду и казни) [184]. А вот пример помельче: давнишняя манера немцев отождествлять евреев с собаками (беспородными), а порой со свиньями, сохранялась до конца нацистской эры [185].



Более деструктивной — и более вкрадчивой — была ассоциация еврея с теневой фигурой паразита, фигурой, которая заражает отдельный организм, популяцию и, разумеется, государство как «политическое тело», причем заражает как очевидным, так и неожиданным образом, что требует новаторского вмешательства и контроля.

В идее еврея как паразита соединились три течения: антисемитизм Нового времени, популистский антикапитализм и новые общественные науки (один из примеров — евгеника), объяснявшие мир через понятия и метафоры биологии. Историк Алекс Бейн проследил фигуру паразита до того, как в Новое время она была увязана с расой [186]. Он обнаруживает ее в древнегреческих комедиях в виде неимущего человека — популярного персонажа, который остроумно пикируется с хозяином и гостями, требовавшими, чтобы он потешал их в обмен на угощение. Бейн проследил, как этот термин вошел в европейское просторечие, когда гуманисты раннего Нового времени возвращались к классическим текстам. В этом позднейшем воплощении, когда его комические черты были сглажены прошедшими столетиями, слово «паразит» снова всплыло как выражение презрения к людям, которые лебезят перед богачами, а также к тем, кто наживается, ничего не делая, за счет тех, кто усердно трудится. Именно в этой морализаторской форме слово «паразит» подхватили в XVIII веке науки: вначале ботаника, затем зоология, и наконец, с роковым исходом, науки, изучающие человека.

Бейн утверждает, что именно физиократы — школа либеральной политической экономии середины XVIII века — привнесли термин «паразит» в европейскую политическую философию. Они четко разделили общество на три класса: *classe productive* — тех, кто занят в сельском хозяйстве, класс землевладельцев — собственников недвижимости и бесполезный *classe stérile*, состоящий преимущественно из торговцев и промышленников. Бейн уверял: именно внедрение в политический дискурс этого «паразитирующего» *classe stérile* дало антисемитизму его популистскую основу в сфере антикапитализма.

Паразиты обескровливают «политическое тело». Но для того чтобы это общее место стало оправданием насилия, должна произойти решающая метаморфоза: люди должны стать паразитами и вредителями как метафорически, так и фактически [187]. «Каждое живое существо, за исключением Человека, может быть забито, а не убито», — пишет Донна Харауэй [188].

И действительно, чтобы метаморфоза произошла, людей следует сделать объектом забоя на манер животных. Проводя параллели между геноцидом в нацистской Германии и в Руанде, антрополог Махмуд Мамдами говорит о

«расовом клеймении» («посредством которого возможно не только изолировать некую группу в качестве врага, но и истребить ее со спокойной совестью») [189]. «Обычная» дегуманизация подобного типа — «пусть тутси, эти тараканы, знают: что случится — они исчезнут с лица земли» [190] — требует двух ассоциаций: идентификации таргетированной группы с особым типом живых существ, не являющихся людьми, и ассоциации данных живых существ с уместными негативными чертами.

Несомненно, именно это произошло во время холокоста. Но произошло и кое-что еще. Объяснить это — значит проникнуть в суть судьбы евреев, которых будут убивать, точно насекомых, — собственно, точно вшей. Буквально как вшей. Как вшей из текста Гиммлера. С таким же рутинным равнодушием и в огромных количествах, с применением тех же технологий.

## 5

Альфреду Носсигу, автору скульптуры, изображающей напористого Вечного жида, было семьдесят девять лет, когда он был арестован в Варшавском гетто Еврейской боевой организацией — той самой, которая руководила легендарным восстанием в гетто. Это было в феврале 1943 года, в мертвые дни террора между январским вторжением гестаповцев в гетто и апрельским восстанием, и подробности дошли до нас в путаном виде. Был тайный судебный процесс, приговор за измену и немедленная смертная казнь. После смерти Носсига в его кармане был найден изобличающий документ — доклад, составленный им для немцев, доклад о последствиях их разрушительных действий. А может, не в кармане, а в ящике стола в его квартире. А может, никаких таких документов не находили. Никто не мог утверждать это в точности, да к тому времени это уже перестало быть важным.

Носсиг был не только скульптором. Он был известным автором трактатов о философии и политике, поэтом, драматургом, литературным критиком, автором либретто к некой опере, журналистом, дипломатом, эрудитом, получившим юридическое и экономическое образование (во Львове), изучавшим философию (в Цюрихе) и медицину (в Вене), а также, как формулирует историк сионизма Шмуэль Алмог, «автором грандиозных планов» [191]. Он был загадочной и неутомимой личностью: вечно что-то организовывал, вечно спорил и каким-то образом всегда оказывался на стороне проигравших. Десятки лет он упивался жизнью в бурном средоточии раннего сионизма, когда еврейские интеллектуалы и активисты яростно бились, пытаясь разобраться в своем положении среди новых идеологий, новых возможностей и беспрецедентных опасностей. Еврейская боевая организация казнила и других евреев (правда, немногих), но Носсиг был среди них самой видной фигурой [192]. Эта некрасивая смерть престарелого человека в момент искупления до сих пор остается нравственной, политической и исторической проблемой.

Ассоциация Торы с сопротивлением — мысль, вложенная Носсигом в его статую энергичного Вечного жида, — была не ко времени, и скульптуру «быстро забыли» [193]. Напротив, образ страдающего Агасфера с картины Хиршенберга отражал настроения в еврейском мире, истерзанном жестокими погромами, которые начались после убийства царя Александра II в 1881 году;

вскоре по еврейству ударили погром 1903 года и позднейшие катаклизмы; с 1881 по 1914 год 2,75 миллиона евреев покинули черту оседлости и ринулись в западном направлении, через всю Европу.

И всё же, как нам теперь известно, спустя сорок пять лет сходство со скульптурой Носсига проглянет в рисунке Шика на ту же тему — в образе, который черпал в страданиях силы для открытого неповиновения. Но неповиновение может приобретать странные формы. В период погромов Носсиг утверждал, что эмансипация евреев и их ассимиляция непосредственно спровоцировали антисемитизм, порождая неуверенность в христианах. Носсиг, подобно Хиршенбергу, полагал, что евреи и христиане по сути своей несовместимы, а среди евреев многовековое «изгнание» привело к вырождению. «Средний типичный еврей, — писал он в 1878 году, — проявляет силу в борьбе за выживание, но морально стоит на более низком уровне, чем нееврей; в нем больше проницательности и стойкости, но в то же самое время у него больше амбиций, тщеславия и бессовестности» [194].

Статьи Носсига произвели сенсацию. Но не потому, что они кого-то оскорбили. Нет, его открытый призыв заново выделить евреям их историческую родину в Палестине, поскольку он полагал, что это единственный выход из проблем европейского еврейства, выдвинул Носсига в авангард публицистов-сионистов, и он сделался видным соперником Теодора Герцля (последний выпустил свой знаменитый манифест «Еврейское государство» годом ранее).

Однако именно фразы типа той, которую я процитировал выше, в свое время прошедшие незамеченными, теперь обнажают латентные симптомы.

## 6

Всё это так кинематографично. Арест Носсига, поспешный суд, тайная казнь, и — затемнение, наплыв — по ту сторону советской границы *Einsatzgruppen* систематически истребляют замерзших украинцев. Обесцвеченная белизна полей, охваченные пламенем деревенские дома, столб черного дыма в пустом небе, красная кровь проступает из-под хрустящего снега. В феврале Носсига казнят в Варшаве. Девятнадцатого апреля начинается восстание в Варшавском гетто, и спустя пять дней, когда в Харькове Гиммлер читает своим эсэсовцам лекцию о вшах, восставшие еще держатся.

Это трудные страницы истории; на них отбрасывает тень та катастрофа, которая разразилась вскоре после этого. В тексте есть другие термины, но здесь важнее всего кое-какие слова, сказанные в конце XIX века: «вырождение», «наука», «нация» и «раса». Вот евреи, поляки и немцы. Скоро Европу и ее колонии охватят пожары нескольких войн. *Judenfrage* — еврейский вопрос — это еще и еврейская проблема, и начинают появляться новые решения.

Носсиг будет путешествовать. Прежде чем вернуться и умереть в грязи гетто, он избородит весь континент: будет учиться, заниматься скульптурой, писать книги и пьесы, издавать журналы, создавать музеи и научные институты, организовывать выставки; он станет основателем еврейского издательства и попробует учредить еврейский университет, будет выступать на митингах и конференциях в Париже, Вене, Лондоне, Берлине и многих других городах,



прослышет социал-либералом и убежденным пацифистом; будет делать всё, что в его силах, пропагандируя идею еврейской эмиграции.



Свою колоссальную энергию он отдавал новой культурной и политической активности, так называемой *Gegenwartsarbeit* — практическим усилиям по изменению текущей ситуации. Когда ему было немного под сорок, он сделался одним из известнейших евреев своего поколения. Но в истории он останется в лучшем случае в примечаниях: его имя навечно связано с самым нехорошим словом — «коллорабационист». Можно ли вообразить более ужасную судьбу?

Вначале Носсиг навлек на себя неприязнь Герцля и политического движения сионистов, а затем Сионистской организации в целом. Но его ничто не останавливает. Он ведет переговоры с Османской империей, Великобританией, Германией, Польшей. Он окружает себя той таинственностью, которая ни у кого не вызывает ни симпатии, ни доверия: есть в ней что-то злодейское, хотя никто не может четко определить, что именно. Люди знают, что он человек одержимый. Но больше не знают, чем именно. Казалось, он предчувствовал надвигающуюся катастрофу. (Но разве хоть кто-то ее предчувствовал?)

Люди просто не знают, что о нем думать. Да, в нем есть загадка, которая никому не нравится, ни у кого не вызывает доверия. (Адам Черняков, председатель *Judenrat*, еврейского административного совета Варшавского гетто, называет его *Tausendkünstler* — чародеем, человеком с тысячей талантов [195].) Появившись в гетто, он держится надменно, становится несловоохотливым («От него очень редко слышали хоть слово» [196]).

Как бы то ни было, Носсиг — современный специалист по общественному знанию. Он опирается на прочность фактов, как будто реальность фактов может оградить от некоей назревающей катастрофы. Он учреждает *Verein für jüdische Statistik* (Ассоциацию еврейской статистики) и привлекает к работе многих энергичных еврейских интеллектуалов из Центральной Европы. Они хотят, чтобы евреи знали, чем занимаются евреи и как они живут; они хотят обнажить развращающее воздействие ассимиляции и нового антисемитизма; их цели — организация и регенерация.

Они публикуют исследования о жизни еврейской диаспоры и собирают статистику. Это *Gegenwartsarbeit*. И Носсиг (как и некоторые неевреи) сразу же осознает, что выживание будет вопросом социальной гигиены. Что самые главные слова — «вырождение», «наука», «нация» и «раса».

Базируясь в Берлине — средоточии интеллектуальной жизни немецкого еврейства, Носсиг применяет свои колоссальные таланты организатора, чтобы в 1902 году основать Ассоциацию еврейской статистики, чтобы издать ее первый доклад *Jüdische Statistik* (1903), а в следующем году учредить *Büro für Statistik der Juden*. В донацистский период бюро находилось в центре еврейской политической и интеллектуальной жизни: «...оно было средоточием еврейской деятельности в сфере общественно-политической жизни в Европе... вплоть до середины двадцатых годов XX века» [197].

Еврейское общественно-политическое движение было прямым ответом на еврейский вопрос. Это лаконично описано историком Джоном Эфроном:

«Стержнем вопроса было объяснение физических, культурных и социальных различий между евреями и немцами. Главная проблема состояла в том, почему после их эмансипации 1812 года в Пруссии, их последующей интеграции в немецкое общество и восприятия ими немецкой культуры евреи оставались особой, заметной и легкоопознаваемой группой. Почему они не отделались от своей еврейскости — этой редко описываемой, но часто наблюдаемой сущности?» [198]

То, что этот вопрос тревожил и немцев-неевреев, видно по масштабу и напряженности исследований, к которым он побуждал. Пожалуй, самое знаменитое исследование — сравнительная краниометрия Рудольфа Вирхова, который в семидесятые годы XIX века, измерив черепа почти семи миллионов школьников — немцев и евреев, продемонстрировал непрактичность фенотипических различий между арийцами и евреями и, соответственно, претензий на отождествление расы и нации [199].

Носсиг возражал, что потеря культурной самобытности ввиду ассимиляции разрушает тело еврея-индивида и тело еврейского народа. В изгнании люди подвержены телесным и душевным болезням, так что они нуждаются в физической и духовной регенерации [200]. Поскольку и еврейские специалисты по общественно-политическому движению, и интеллектуалы-антисемиты были верны новой логике физической антропологии, теории эволюции и медицины, все они могли прийти к согласию относительно этого кризиса. Но были, очевидно, и ключевые различия. Еврейские ученые вслед за французским натуралистом Жан-Батистом Ламарком подчеркивали роль среды обитания в эволюции и уверяли, что «национальные патологии» вызываются скорее социально-историческими, чем расово-биологическими факторами [201]. Для «ассимиляционистов» Ламарк служил бастионом, защищающим их от попыток антисемитов перечеркнуть достижения эмансипации; сионисты видели в трудах Ламарка обещание, что новая земля породит нового еврея.

Наряду с антисемитизмом Нового времени евгеника и *Rassenhygiene* (так начинали именовать ее немцы: не «социальная гигиена», а «расовая гигиена») пленяли мыслителей из всех политических лагерей [202]. В наше время трудно осознать, что эта форма социальной инженерии была окрашена идеализмом. И трудно вычислить, в какой мере самый катастрофический результат этих идей был случайным. Дарвинизм не обязательно должен был вырождаться в грубую социологическую теорию соперничества; евгеника не требовала брать на себя

обязательства перед какой-то нацией или провозглашать иерархию рас — речь шла только об улучшении конкретной популяции средствами науки [203]. Но вот чем поразителен этот момент: как слияние вышеперечисленных идеологий (и связанная с ним трансформация политики в некий вид биологической науки) оказалось столь неотразимым и завело столько людей в столь ужасающие места.

## 8

«Дегенерация», «наука», «нация» и «раса». Носсиг оставался в рядах Сионистской организации около десяти лет после ее первого конгресса 1897 года. Он увлеченно вел общественную работу, но всё больше расходился с руководителями организации, считая их поборниками элитарности и врагами демократии. Он постоянно добивался аудиенций у любых дипломатов, которые потенциально владели «ключом от врат Палестины». Вел переговоры с британскими, польскими и американскими официальными лицами. Но самые длительные контакты он поддерживал с Оттоманской империей, которая в тот момент владела территорией Палестины. Его бесчисленные поездки на тайные встречи нервировали даже его союзников, создавая вокруг его персоны ореол ненадежности и опасности, который сопровождал его вплоть до Варшавы. Пожалуй, еще хуже, что он не скрывал своей неприязни к своим соперникам-сионистам и наживал себе врагов — могущественных врагов — такими выходками, как публичная ссора в Базеле в 1903 году, когда он ругал Герцля за его *jüdische Chuzpeh* («еврейскую наглость» (идиш)).

«Все нации получили свои страны благодаря завоеваниям или труду, — написал он в тот год на языке, который мог только усилить его изолированность, — и только евреи, которые всё продают и всё покупают, купили себе и родину тоже» [204].

В то время Носсига больше всего занимала организация сбора статистики. Первая задача (так и не доведенная до конца) состояла в идентификации еврейского народа, а вторая — в диагностировании его состояния. Народ был болен: жизнь на примитивном Востоке (или, с точки зрения позднейших авторов, на вырождающемся Западе) очевидно об этом свидетельствовала [205].

Здесь евреи и антисемиты тоже нашли точки пересечения. Хотя с точки зрения евреев болезнь требовала преобразования и регенерации, а не истребления [206].

В 1908 году Носсиг наконец ушел из Сионистской организации; его всё больше коробил ее крайний и нееврейский национализм, ее контрпродуктивный и неэтичный «культ власти» в отношении палестинских арабов [207]. Он также полагал, что эта организация пренебрегает задачами по заселению Палестины, и создал новую организацию с широкой базой — *Allgemeine Jüdische Kolonizations-Organisation* (АЖКО), надеясь, что она станет институциональным конкурентом официальной Сионистской организации. В то время многие сионисты мыслили создание «дома для евреев» в рамках Оттоманской империи: их обнадеживал курс султаната на предоставление ограниченной территориальной автономии на основе вероисповедания и по этническому признаку [208].

В годы перед Первой мировой войной Носсиг активно добивался, чтобы Оттоманская империя признала АЖКО; он не предвидел, что империя распадется, а Палестину захватят британцы. Хотя во время Первой мировой немецкие евреи, будучи патриотами, в большинстве своем были на стороне центральных держав, Носсиг агитировал настолько громко, что прослыл немецким агентом (этот слух распространяли британские и американские дипломаты на Ближнем Востоке, а также сама Сионистская организация, и когда двадцать лет спустя слух всплыл вновь, он получил еще более зловещий резонанс).

В тридцатые годы, когда обстановка накалилась, Носсиг увлекся идеями пацифизма и даже основал пацифистское движение еврейской молодежи. Но в итоге он был вынужден перебраться из Берлина в Прагу, где вновь посвятил себя скульптуре. Европа становилась всё более опасным местом для евреев, но Носсиг как-то умудрился публично выставить в нацистском Берлине модель памятника, который он намеревался установить на горе Сион в Иерусалиме. Памятник назывался «Святая гора» и состоял из более чем двух десятков огромных статуй библейских персонажей; этот символический ландшафт иудаизма, ныне утраченный, был, вероятно, населен такими же кряжистыми и решительными фигурами, как его Вечный жид.

Тогда Носсигу перевалило за семьдесят, и, как рассказывает нам Алмог, в Палестине ему предложили убежище как «ветерану сионизма» [209]. Но он не поехал. Старик, потративший почти всю жизнь на стимулирование еврейской эмиграции, отказывается уезжать без своих скульптур. В следующий раз мы слышим о нем, когда он приезжает в Варшаву в качестве беженца.

## 9

Для Марека Эдельмана, командира Еврейской боевой организации в Варшавском гетто, казнь «печально известного агента гестапо доктора Альфреда Носсига» была необходимым шагом «программы, призванной избавить еврейское население от враждебных элементов» [210]. Мне хотелось бы думать, что контраст между военной лексикой Эдельмана и указанием ученой степени Носсига — признак определенной неловкости. Но с тем же успехом это мог быть бюрократический официоз.

Примечательно, что Эдельман уцелел во время восстания. Спустя несколько дней после того, как он и горстка его израненных товарищей выбрались из разрушенного гетто через канализацию, Эдельман ехал на трамвае по шумным улицам «арийской Варшавы» и наткнулся на собственный портрет. Это был плакат, вывешенный после начала восстания, и, увидев его, Эдельман мгновенно «испытал желание вообще не иметь лица» [211].

«ЕВРЕИ — ВШИ — ТИФ». На плакате, в который уперся взглядом Эдельман, изображалась чудовищная вошь, ползущая по ужасно изуродованному «еврейскому» лицу. Это был элемент слаженной кампании, сопровождавшей ликвидацию гетто [212]. Паническая реакция Эдельмана — знак силы этого изображения. Он выбрался из гетто через «кишки», дабы обнаружить: его придуманное расистами «я» — вошь-паразит — тоже вынужденно выползло на свет. Это подлинный шок узнавания. Мы уже

частично знаем мрачную историю, стоящую за этой жутью. Мы тоже узнаем вошь и ее биологические особенности. Мы вспоминаем, что в недавнем прошлом был момент, когда евреи типа Эдельмана и Носсига могли вообразить себя детьми эмансипации, наследниками европейской науки и словесности. Нам известно, что они увидели, как старая евреефобия превратилась в новый антисемитизм. Мы знаем, что многие, реагируя на этот новоявленный антисемитизм, отбросили мечты об ассимиляции и ухватились за идею сионистской нации и ее государства.



Мы пока не знаем, — хотя ничего удивительно в этом нет, верно? — что в 1895 году (на следующий год после публикации «Социальной гигиены» Носсига) немецкий врач Альфред Плоц, откликаясь на общие страхи перед социальным и расовым вырождением после индустриализации, издал «Способности нашей расы и защита хилых» (*Die Tüchtigkeit unsrer Rasse und der Schutz der Schwachen*) — первый манифест немецкой *Rassenhygiene*, в котором предостерегал: «Традиционная медицинская помощь помогает отдельному человеку, но создает опасность для расы» [213]. Мы также пока не знаем, что в 1904–1905 годах (пока Носсиг и его коллеги создавали Ассоциацию еврейской статистики и издавали ее труды) Плоц, тоже находившийся в Берлине, учредил журнал и институциональный аппарат нового движения за расовую гигиену. Итак, пора вернуться к проблеме, с которой мы начали: как мог рейхсфюрер говорить такие вещи? Помните?

«Антисемитизм — ровно то же самое, что уничтожение вшей. Избавление от вшей — не вопрос идеологии. Это вопрос чистоты <...> который мы вскоре решим. Скоро мы избавимся от вшей».

Возможно, Гиммлер иронизировал, и его люди понимали эту шутку. Хорошо известно, что в Аушвице заключенных замысловато разыгрывали. Тех, кого отбирали для немедленного уничтожения, отправляли — якобы для уничтожения вшей — в «дезинфекционные камеры» — в помещения, оборудованные фальшивыми душами. Их заводили в раздевалки, выдавали мыло и полотенца. Говорили, что за дезинфекцию их вознаградят выдачей горячего супа. Несмотря на странность их положения, на страхи перед болезнями, на мечту о чистоте и на рутинность подобных процедур в тот

период, есть сведения, что заключенные испытывали сильную растерянность и сопротивлялись. Они неуверенно толпились в душевой. Наверху невидимые «дезинфекторы», надев противогазы, ждали, пока тепло обнаженных тел не согреет воздух в помещении до оптимальной температуры — 25,7 градуса Цельсия. Затем «дезинфекторы» высыпали через люки в потолок кристаллы из банок с «циклоном Б» — средством от насекомых на основе синильной кислоты, разработанным для уничтожения вшей в помещениях и на одежде. Наконец тела, скорченные от боли (так действовало вещество, которое в других обстоятельствах спасает жизни), вывозились в крематорий [214].



В ходе этого гротескового фарса жертвы (а мы должны помнить, что среди них были не только евреи) превращаются из объекта заботы в объект истребления. Больным людям уничтожение вшей обещает выздоровление, возвращение в общество, возвращение к жизни; вшам оно обещает только истребление. Заключенные слишком поздно обнаруживают, что являются всего лишь вшами.

Политика жизни как политика смерти. Жизнь, с которой сорваны покровы человечности. (Даже если этот труд по превращению людей во вшей заодно очеловечивает вшей.) Подобные вещи были возможны не потому, что евреи считались низшей расой (этот факт так и не был в точности установлен, поскольку как они могли быть одновременно столь могущественными и столь неполноценными людьми?), но ввиду их нервирующей инаковости [215]. В этот момент верховная власть предоставляется профессиональным медикам. Конечно, не врачам-евреям типа Носсига (и Эдельмана), а другим, которые ранее дискутировали о науке национального выживания и сходным образом, и совсем по-другому [216].

Речь Гиммлера содержит метафоры, эвфемизмы и, подозреваю, в некотором роде квинтэссенцию его убеждений. Слово, которое юристы на Нюрнбергском процессе перевели как «избавиться» («Избавление от вшей — не вопрос идеологии»), — *entfernen*, то есть «устранять» или «убирать далеко», — еще один амбивалентный эвфемизм из застенчиво-крючкотворных терминов, которые Гиммлер употреблял в других местах, чтобы не называть убийство убийством: он говорил об «уровне смертности», «особом обращении», «эмиграции» и «известных задачах» [217].

Но это отдельно взятое слово не может объяснить буквальное воплощение речи Гимmlера, которое происходило в газовых камерах. Наряду с метафорой, эвфемизмом и убеждениями существует абсолютно материальная история насекомых-паразитов. Эта история окончательно стирает различия между тем, что входит извне (в тело индивида, в политическое тело государства, в инородное тело), и тем, что всегда присутствует внутри (животным-паразитом во внутренностях). Это окончательное разрушение различий между человеком и насекомым, разрушение, которое делает истребление возможным.

## 10

Для немцев ассоциация евреев с болезнями имела долгую историю, запечатленную в памяти о «черной смерти» как о *Judenfieber* — «еврейской болезни», проникшей в страну откуда-то извне, из-за восточных границ [218].

Самым страшным из числа современных аналогов «черной смерти» считался тиф, который переносили вши: смерть от него наступала быстро, а сама болезнь имела катастрофические масштабы, и хотя к 1900 году тиф, можно сказать, впал в спячку, его угроза оставалась осязаемой; к тому же тиф подвергся локализации — в среде евреев, цыган, славян и других выродившихся социальных групп, которые ассоциировались с Востоком [219].

Этот общенациональный страх перед болезнями только усиливался с развитием бактериологии. Хотя Роберт Кох, основоположник немецкой бактериологии, получивший в 1905 году Нобелевскую премию за исследования возбудителей холеры и туберкулеза, отрицал связь патогенов с расой (правда, делая упор на переносе инфекции), его работы вполне вписывались в новую идеологию расовой гигиены и подводили к логике истребления, которая в последующие десятилетия получила мощный импульс.

В этом отношении самое значимое наследие Коха — формирование комплекса авторитарных протоколов (в том числе принудительные анализы, карантин и дезинфекция жилищ), которые он разработал и применил на практике в колониальной Африке. Например, в 1903 году в немецких колониях в Восточной Африке он создал «концентрационный лагерь» для изоляции страдавших сонной болезнью. Хотя авторитарное управление людскими популяциями — лишь один из многочисленных уроков, которые можно извлечь из трудов Коха, именно этот урок оказал большое влияние [220]. Клаус Шиллинг, один из ассистентов Коха, впоследствии возглавивший кафедру тропической медицины в институте своего наставника в Гамбурге, в итоге был казнен за эксперименты с заражением малярией, которые проводил в лагере Дахау [221].

Прогресс научных средств обуздания всевозможных вредителей (бактерий, паразитов и насекомых) никоим образом не ограничивался Германией. В сфере медицины было как соперничество, так и определенное сотрудничество между имперскими державами, когда общие проблемы стали очевидными. Под флагом гигиены были возможны исследования переплетенных путей заражения болезнями, которые поражают человека, животных и растения; ученые стремились уберечь здоровье колонистов, их домашнего скота и их посевов.

В то же самое время страх перед передачей инфекции в Европе и США повлек за собой ограничения на государственных границах и жесткие процедуры осмотра, направленные против конкретных социальных групп (в США законы о карантине были приняты специально для того, чтобы не впускать в страну евреев, бежавших от погромов в России [222]).

Болезни делали необходимой и стимулировали изоляцию конкретных групп как объектов медицинского вмешательства и социального контроля. Кажущаяся предрасположенность евреев и других лиц к инфекционным заболеваниям была, очевидно, знаком культурной отсталости [223]. Мы могли бы предположить, что вмешательства во имя гигиены выражали этакий современный миссионерский пыл. Но, по-видимому, режимы чистки вводились и ощущались как карательные, а не спасительные меры. За ними стояло имплицитное представление, что болезнь (по крайней мере, среди этих паразитических популяций) — это наследственная черта, а не излечимое состояние.

В этот период мы наблюдаем, как разрабатываются методы санитарно-эпидемиологического контроля, которые в Аушвице достигли, так сказать, кульминации. Коллективные душевые, бактерицидное мыло, обработка газами, кремация...

Эти методы были обязательными для сети пограничных санэпидемстанций, которые стали бастионами на границах Германии с Россией и Польшей [так в оригинале; в описываемый период Царство Польское входило в состав Российской империи. — *Пер.*] и внушали мигрантам с востока, что территория Германской империи — чужой край, где к ним отнесутся весьма холодно. После того как в 1892 году в Гамбурге случилась сильная вспышка холеры и распространилось мнение, что болезнь принесли русские евреи, Германия закрыла свои восточные границы, согласившись установить лишь «гигиенический» транзитный коридор к портам, откуда эмигранты отплывали на остров Эллис. Некоторое время крупные пароходства финансировали и расширяли пограничные посты санэпидемконтроля [224].

В 1914-м началась война, и вскоре среди беженцев, военнослужащих и военнопленных начались эпидемии. В результате вспышки тифа в Сербии за полгода скончалось более ста пятидесяти тысяч военнопленных и гражданских лиц — беженцев [225]. Гигиена стала безотлагательной политической задачей, а санитарный режим, соответственно, ужесточился. Вина за кошмарный уровень смертности в лагерях военнопленных возлагалась на самих русских солдат, а не на ужасные условия их содержания. «Восточные народы» считались не жертвами болезней, а их переносчиками. Усилия властей были направлены на то, чтобы оградить гражданское население от заражения (русских военнопленных должны были лечить только русские врачи).

Ключевое научное открытие, сделанное незадолго до Первой мировой войны, — выяснение того факта, что тиф переносят вши, — повлекло за собой «индустриализацию» уничтожения вшей и расширение этих методов на гражданское население. Историк Пол Вейндлинг поясняет, что это значило:

«Режим требовал раздеть догола и обратить особое внимание на волосы, складки кожи и Schamgegend, где вши могли бы притаиться в лобковых волосах или в межъягодичной складке. Если кто-то сопротивлялся выбриванию всех



волос на теле (а, как отмечалось, женщины протестовали часто), то части тела, обороняемые от более радикального гигиенического воздействия, следовало смазать веществом, уничтожающим вшей, — керосином или эвкалиптовым маслом. <...> Одежда, постельное белье и наматрасники подлежали обработке в печах или автоклавах. Для дезинфекции помещений использовался либо пар, либо сосуды с серной кислотой или сернистым газом. Недорогие вещи сжигались» [226].

Вейндлинг описывает массовое применение таких процедур германскими дезинфекторами в оккупированных Германией Польше, Румынии и Литве в ответ на вспышки тифа в военное время. Он документирует всё более настойчивое стремление ассоциировать болезни с евреями и другими вырождающимися расами. Магазины евреев в Польше закрывались до тех пор, пока их владельцы не проходили процедуру дезинфекции для избавления от вшей. Вокруг Лодзи, где жило много евреев, появилось кольцо из тридцати пяти центров, где держали под арестом людей, считавшихся зараженными [227].

Но поражение Германии в войне в 1918 году кардинально изменило расчеты. Вместо экспансии в очищенное, подлежащее колонизации жизненное пространство медицинские учреждения обнаружили, что ограничены сильно уменьшившейся территорией своей страны. Они также столкнулись с неудержимым кризисом из-за наплыва беженцев (в основном этнических немцев и *Ostjuden* — восточных евреев), а также больных или раненых военнослужащих, возвращавшихся домой. В первые годы после подписания Версальского договора были введены очень жесткие ограничения на иммиграцию и драконовские методы осмотра, дабы оградить внезапно уязвимый *Volk* от заразы с востока [228].

И всё же, несмотря на ужасы Гражданской войны в России (в период с 1917 по 1923 год заболело тифом двадцать пять миллионов человек, до трех миллионов из них умерло [229]), становилось ясно, что истинная опасность теперь исходит не только извне. Уже в 1920 году полиция в Берлине и других городах ссылалась на «гигиенический контроль», когда устраивала облавы на *Ostjuden* и отправляла их в приграничные лагеря, где болезни были повальными.

Не только гигиенический дискурс (который сам был смесью евгеники, социального дарвинизма, политической географии и биологии вредителей), но и специальные технологии, опознаваемый персонал и особые институты, посвятившие себя истреблению патогенов, быстро и с легкостью переключились на истребление людей. Победа над тифом сделала бы возможным одновременное очищение расы и государства (которые к середине тридцатых годов стало единым целым), а люди — жертвы болезни всё в большей степени становились функционально и, пожалуй, онтологически неотличимыми от ее переносчиков — насекомых.

С 1918 года движение в этом направлении ускорялось: сформировался консервативный консенсус среди политиков и медиков, гласивший, что заражение прямо связано с вырождением, что политическое тело государства, здоровье которого подточено унижительным Версальским договором, теперь охвачено опасной заразой, что болезнь добралась до родины немецкой расы и

что единственный выход — так сказать, экзорцизм, изгнание призрака инфекции. Межвоенный период поразителен тем, что политическая философия и медицина радикально срастаются: например, гетто понимались как карантин, призванные защитить немецкое население (которое туда не допускалось) от болезней, а одновременно (и неизбежно, если учесть, каковы были условия жизни в гетто) как очаги эпидемий, порождающие патологический страх заразиться от беглецов. Остальное слишком хорошо известно, чтобы повторять его вновь.

## 11

Престарелый Альфред Носсиг много раз упоминается в дневнике Адама Чернякова, председателя еврейского административного совета Варшавского гетто. Записи загадочные; в них сквозит раздражительность, даже, пожалуй, снисходительное презрение. Носсиг прибегает к Чернякову с какими-то пустыми слухами с улиц гетто, у Носсига туго с деньгами, он бомбардирует немцев письмами, однажды его выгоняют вшаей из кабинета [230]. Всё это заставляет заподозрить, что старик выжил из ума [231]. Черняков пишет, что Носсиг «умоляет» и «лепечет». Упоминает о «кривлянье» Носсига. Однажды «делает ему выговор» [232]. Очевидно, что, хотя Черняков, возможно, не считает Носсига напрямую опасным, он ему не доверяет. Прежде всего, Носсиг слишком близок с нацистами. Это немцы представляют Носсига еврейской администрации гетто (хотя та уже его знает), это немцы настаивают на назначении его на какую-нибудь должность. И он становится в Совете инспектором по эмиграции. Должность вполне ему подходящая, но что это за издевательская функция для гетто? Вскоре гетто по всему рейху будут ликвидированы, а Носсиг ведет с эсэсовцами переговоры о переселении, как будто на дворе 1914 год, как будто все тут до сих пор «немцы»! И всё же работа, казалось, подзарядила его энергией, и на какое-то время Носсиг, похоже, убедил себя (но больше никого), что есть реальные надежды на переселение варшавских евреев в немецкую колонию на Мадагаскар.

Когда в ноябре 1940 года гетто изолируется от остальной Варшавы, нацисты назначают Носсига директором департамента культуры и искусства. Казалось бы, еще одна абсурдная должность. Но, открывая первое совещание в департаменте, престарелый Носсиг с характерной для него энергичностью говорит о роли искусства в еврейской Варшаве, где царит полное отчаяние, усиливаются голод и ширятся эпидемии. «Искусство — это чистота», — сказал он (по некоторым сообщениям), на миг объединив две мучительных истории социальной гигиены. «Мы должны принести культуру на улицы», — уверяет он. В гетто нужно навести чистоту, «чтобы нам не было стыдно перед нашими немецкими гостями» [233].

К  
Кафка  
Kafka

Теперь я готов поведать, как меняются тела,  
Становясь другими телами.  
Тед Хьюз. Истории из Овидия

## 1

Эту историю мы знаем. Одиночная оса *Ammophila hirsuta* ловит и парализует гусеницу озимой совки (*Agrotis segetum*). Утаскивает гусеницу в свое гнездо, откладывает яйцо на ее мягкое брюшко, в точку, куда не дотягиваются вяло бьющиеся в воздухе лапки, и удаляется, забаррикадировав снаружи вход в норку. Личинка осы вылупляется из яйца и сразу же принимается за еду. Крепнет, набирает вес. Гусеница, почти неспособная шевелиться, но всё же различающая формы и тени, чувствующая изменения в атмосфере и химическом составе, ощущающая боль, мало-помалу поедается: вначале второстепенные ткани, затем жизненно важные органы.

## 2

Сегодня утром я вычитал, что до половозрелого возраста доживает менее одного процента гусениц, которые выводятся из яиц. Слишком уж свирепы хищники, с которыми они сталкиваются: птицы, рептилии, млекопитающие (большие и маленькие), паразитоиды — осы и мухи, а также муравьи, пауки, уховертки и жуки, вирусы, бактерии и грибки. Не говоря уже о садовниках. Это положение дел объясняет, почему гусеницы обзавелись феерическим оборонительным арсеналом: в их плоти содержится яд, они прыскают химическими веществами, издают агрессивные крики, колются шипами, кусаются, отпугивают своей пестрой расцветкой, сбегают от врагов по шелковым канатам, отпрыгивают омерзительные жидкости, распространяют вокруг себя отталкивающие запахи, камуфлируют себя с помощью дотошной мимикрии (пятна, имитирующие глаза, рога на голове, жуткие морды, просто маскирующая расцветка, волоски с зазубринами, волоски-жала, устрашающие позы)... И еще одна уловка — альянсы с муравьями [234].

И всё равно менее одного процента гусениц доживают до половозрелого возраста, до момента, когда они «с беспечной улыбкой», как выразился Роберто Боланьо, выбираются из куколок и начинают сызнова [235].

## 3

Менее одного процента доживают до половозрелого возраста? Наверное, нелегко достоверно установить этот факт, когда мы не можем даже отдаленно прикинуть, сколько их было вначале, тем более что эти существа в каждой из своих возрастных стадий (а окукливанию часто предшествуют пять или шесть личиночных стадий) могут радикально менять свою внешность.

Итак, задумайтесь, как трудно собрать эту достоверную статистику; гусеницы, как выразился эколог Дэниэл Джанзен, — «последняя неизвестная группа макросуществ, обитающих на суше» [236].

## 4

Одно утверждение, две проблемы: как количественно измерить выживание и как осмыслить взрослость? Если первая проблема неразрешима, то вторая еще труднее.

В учебниках разъясняется, что гусеница — это личинка *Lepidoptera* (чешуекрылой бабочки), стадия жизненного цикла дневной или ночной бабочки, начинающаяся с расплода (выхода гусеницы из яйца) и заканчивающаяся образованием куколки. Эта стадия приводит к метаморфозу и превращению во взрослую особь, на этой стадии некоторые животные наращивают свою массу тысячекратно, а также вновь и вновь линяют, проходя через несколько личиночных стадий.

Историк и натуралист Жюль Мишле размышлял о том, как этот долгий путь насекомого от стадии к стадии может напоминать движение других животных «от эмбрионального существования к самостоятельной жизни». Отличие насекомых от млекопитающих состоит в том (писал он в *L’Insecte* в 1867 году), что у окукливающихся насекомых «конечный пункт не просто иной, но противоположный, налицо резкий контраст». Это «не просто смена положения», это не те «тихие маневры», благодаря которым все мы, остальные, достигаем зрелости. Эти существа, которые являются одним и тем же существом, различаются донельзя: неуклюжие/эфирные; прикованные к земле/парящие в небесах; копошащиеся во тьме/летающие на свет; жующие листья/пьющие нектар; не обремененные гениталиями/посвящающие себя сексу. «Лапки не станут вновь лапками... Голова не станет головой», — писал Мишле. Эта трансформация, как наблюдал он, «ставит в тупик наше воображение и действует почти устрашающе» [237].

Несомненно, Мишле знал, что слово *larva* («личинка») вошло в романские языки, нагруженное старинными, более мрачными коннотациями. Во времена исполненных смысла соответствий между явлениями природы и повседневной жизнью, в эпоху, когда люди видели глубокие знамения в камнях и бурях, слово *larva* навевало образы бестелесных духов, призраков, привидений и гоблинов, а за насекомое оно схватилось, испытывая шок от узнавания. Дуализм, заложенный в этом слове, выражал оккультную амбивалентность самого существа. Линней настоял на узком современном значении этого термина и, поменяв логику и настроение, начал писать параграф учебника, который всё еще стоит между нами и сверхъестественной реальностью этого существа.

Вот личинка, а вот взрослая особь. Мишле, автор семитомной «Истории французской революции», полагал, что эти фазы бытия разделены «революцией», «поразительным *tour de force*»\*. Возможно, Линнею удалось снять с этого слова чары, но укротить это существо — совсем другая задача.

## 5

Таким же упрямым, как ее гоблинская натура, было представление (которое до сих пор у нас сохраняется), будто личинка — это маска, за которой скрывается правда о насекомом. Одно существо входит в хризалиду. А выходит другое существо. «Всё отбрасывается в сторону вместе с маской, — писал Мишле. — Всё меняется — и должно меняться» [238].

Мишле написал *L'Insecte* в шестьдесят девять лет; спустя семь лет он скончался. Похоже, к личинкам его столь сильно влекло именно это тревожащее, хотя и совершенно обычное, сочетание кульминации с незавершенностью. Его не убеждает превосходство бабочки, тезис, будто это самое пленительное из животных — реализация потенциала гусеницы, точно так же как взрослый человек считается реализацией потенциала (к лучшему или к худшему) ребенка. Отчасти этот тезис порожден дарвинистской телеологией: акцент на размножении как на цели существования подтверждает, что половозрелая форма животного — единственная, которую стоит брать в расчет. Отчасти тезис в более общем плане связан с эволюцией: логика незрелости и развития, продвижение через всё более грандиозные, более высокоразвитые стадии к самым высокоразвитым, к самым идеальным состояниям — идея, которой с конца девятнадцатого столетия глубоко пронизаны политическая, культурная и частная жизнь, вопреки тому что наш опыт политической, культурной и частной жизни категорично говорит нам, что нет никаких гарантий целенаправленного прогресса.

Но, возможно, предполагает Мишле, урок, который мы черпаем из метаморфоза, касается не телеологии, а бренности и заключенного в ней бессмертия. «На протяжении всей моей жизни, — пишет он, — каждый день я умирал и вновь рождался».

«Я претерпел много болезненных поединков и трудоемких превращений... Много-много раз я проделывал путь от личинки к куколке и входил в более полноценное состояние, которое спустя некоторое время становилось — в других условиях — неполноценным и толкало меня на путь к совершению нового круга метаморфозов».

Мишле — момент посреди множества взаимосвязанных жизней. Иногда он ловит себя на каком-то жесте, на интонации и начинает ощущать, что внутри него живет его отец. «Нас двое? Мы были одним и тем же человеком? Ах! Он был моей куколкой» [239].

## 6

За полтора с лишним века до этого, когда 1699 год сменился 1700-м, пятидесятидвухлетняя Мария Сибилла Мериан, уже известная художница, изображавшая европейских насекомых, финансово независимая, но отнюдь не богатая, решительно подведя черту под двадцатью годами супружеской жизни и еще пятью годами аскетического уединения в общине мистиков-лабадистов в Западной Фрисландии, прихватив с собой свою двадцатилетнюю дочь и индейцев-рабов, ехала на ослике по тропическим лесам Суринама — голландской колонии: «единственная женщина из Европы, которая в XVII–XVIII веках путешествовала исключительно в научных целях» [240].

Мериан путешествовала в сопровождении рабов, но для колониальной путешественницы она была относительно безобидной: никогда не отзывалась о туземцах дурно, сожалела о том, что голландцы-колонисты обращались с ними жестоко, и признавала с нестандартной искренностью (хотя скорее обобщенно, чем упоминая конкретные имена) значительный вклад местных жителей в свою коллекцию.

Выросшая в семье художников и издателей (тестем ее отца был Теодор де Бри, чьи легендарные гравюры делали Новый Свет наглядным для читателей первых европейских записок о путешествиях), Мериан рано увлеклась исследованиями природы и пронесла этот интерес через всю жизнь. Для начала в тринадцать лет она начала изучать тутового шелкопряда (тут снова сработали семейные связи: брат второго мужа ее матери торговал шелком), но вскоре увлеклась гусеницами в целом, а особенно их преобразованиями.

Красота бабочек и мотыльков, писала она позже, «побуждала меня коллекционировать всех гусениц, которых я могла отыскать, чтобы изучать их метаморфозы» [241]. Для девочки это было чудачество, но, как и у знаменитой и столь же юной героини японской новеллы XII века «Любительница гусениц» (та не выщипывала себе брови, не чернила зубы и вообще вела себя не очень изысканно), это чудачество было сродни чуткости и проницательности, которые, возможно, указывали на философскую утонченность интеллекта [242]. Оказалось, с этим чудачеством люди вполне могли мириться, хотя ползучие твари часто ассоциировались с чем-то мрачным.



Окруженная книгами и художниками, Мериан имела доступ к большому собранию иллюстраций к книгам по естествознанию. Она сама ловила насекомых и выращивала их личинок, наблюдала за их превращениями, рисовала и писала с натуры. Она оттачивала свои традиционные навыки рисовальщика, копируя эмблемы из авторитетных книг, в том числе из *Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii* (1592) — популярного собрания гравюр с изображениями насекомых, которые Якоб Хуфнагель выполнил в стиле своего отца Йориса [243]. Но времена изменились, и Мериан тоже смотрела на насекомых по-новому: если у Хуфнагелей блистающая «вселенная насекомых» существовала ради откровений о микрокосме, то Мериан жила в мире, где изобретение микроскопа обеспечило людям свежий взгляд, где все

увлеклись наблюдениями и классификациями, которые стали возможны благодаря наблюдениям. Если Хуфнагель располагал своих насекомых в символическом порядке, то Мериан — по другому ранжиру, продиктованному ее собственными рисунками с натуры.

Ярко раскрашенные, колоссально субъективные, посвященные (на титульном листе) сразу и любителям искусства, и любителям насекомых, насекомые Мериан гипертрофированы, а растения уменьшены; их пропорции искажены; как растения, так и насекомые «кажутся осязаемо близкими, но одновременно воображаемыми и отдаленными», словно мы тоже водим лупой над их поверхностью [244]. Однако здесь, как никогда раньше, драма метаморфоза обретает единство. На одной и той же странице Мериан рисует гусеницу, куколку, бабочку и растение, которым кормится гусеница. (Иногда она включает в рисунок и яйца; это показывает, что она переняла доказательство Франческо Реди, продемонстрировавшего в 1668 году, что червяки развиваются из яиц, а не путем аристотелевского спонтанного самозарождения.) Это динамичный мир, где всё со всем взаимодействует. Его принципы — трансформация, холизм и ниспровержение прежней таксономии Аристотеля, Альдрованди и Моффета, которая подразделяла насекомых на ползучих и летучих и, сама не ведая, что делает, оторвала бабочек и моль от их личинок.

## 7

Мишле восхищался картинами Мериан. Он приветствовал ту, которая, как и он, путешествовала по краю насекомых, чувствовал прочные дружеские узы, протянувшиеся через века. На его взгляд, в ее картинах выражались не только женские качества, которые он ожидал найти («нежность, объемность и полнота растений, их глянцева и бархатистая свежесть»), но, что примечательно, в них также были «благородная сила, мужская серьезность, отважная простота» [245].

Он рассматривает раскрашенные от руки гравюры на меди в книге *Metamorphosis insectorum Surinamensium* — шедевре, который Мериан издала в Амстердаме в 1705 году. Тут всё — перемены, всё мимолетно, всё связано. Живучесть жизни как таковой клокочет, вырываясь из искусственной аккуратности научных категорий.

И всё же вопросы, которые гложут Мишле, не находят здесь разгадки. Что представляет собой зародыш, который переносится из одной стадии в другую, от одного существа к другому? Что остается неизменным? Что это за существо? Оно одно, или их много?

В Японии, несколькими столетиями раньше, юная любительница гусениц (героиня одноименной новеллы) целыми днями собирала гусениц в своем саду, упорядочивала их, рассматривала, восхищалась ими, ахала над ними. Она презирала бабочек — бесполезных существ по сравнению с личинками, из которых они получались и которые могли снабжать ее, например, шелком. Она любила маленьких ползучих тварей. Ее тянуло ко всему лишнему претенциозности. Она восхищалась основными феноменами — то есть вечно изменчивой реальностью, стоящей позади той «реальности», в которой мы по своему неразумию живем. Она говорила, что ее интересует «суть

вещей», *хондзи* — буддистский термин, которым неизвестный автор этой знаменитой новеллы обозначает что-то наподобие исходной формы, исходного состояния, первичного проявления [246]. «То, как люди теряют голову, восторгаясь цветами и бабочками, — совершенно нелепо и непостижимо, — говорила эта юная барышня. — Интересный ум — у того, кто искренен и доискивается до сути вещей» [247].

Но Мериан, трюхая на своем колониальном ослике по суринамским лесам или плывя в Амстердам в порыве предприимчивости, чтобы самой издать свою книгу, оказалась в каком-то совершенно другом месте, вдали от подобных мыслей. Ее энергия вкладывалась в наблюдения, ее аналитический ум мыслил наглядно. Должно быть, от монотонных онтологических размышлений она отрешилась, когда покинула Западный Фризланд, очень устав от самоотречения.

Ее принцип — не доискиваться до сути вещей, но искать красоту, создавать красоту, ценить ее, капитулировать перед ее невыразимостью. «Однажды, — пишет она, чуждая жеманства, в одном из своих комментариев к суринамским гравюрам, — я отправилась далеко в дебри и набрела в том числе на дерево, которое туземцы называют *medlar*. [Скорее всего, имеется в виду дерево *Mespilus germanica*, оно же чашковое дерево, или мушмула. — *Ред.*] <...> Там я нашла эту желтую гусеницу. <...> Я принесла эту гусеницу домой, и скоро она превратилась в куколку цвета светлой древесины. Спустя четырнадцать дней, в конце января 1700 года, из куколки вышла великолепная бабочка. Она похожа на отполированное серебро, покровы — самых пленительных оттенков ультрамарина, зеленого и пурпурного; она неопишимо красива. Кисть не в силах изобразить ее красоту» [248].

А Мишле, тоже прилагая усилия (правда, по-своему), чтобы уловить и поэтику, и механику превращения, увяз в метафизической неопределенности. История выкидывает странные шутки с историками. Бывали ли вы когда-нибудь на *Puces de Saint-Ouen* — знаменитом блошином рынке в центре Парижа? Езжайте на метро до «Ворот Клиньянкур» и ищите пересечение авеню Мишле и рю Жан-Анри Фабр.

Куда бы жизнь ни завела тебя, всегда есть что-то, что упирается, отказывается идти. Сколько бы ты ни путешествовал, за тобой всегда увязывается что-то незваное.

«Ветер обезьяньего прошлого щекочет пятки всем смертным без исключения», — говорит собравшимся академиком знаменитая обезьяна Кафки Красный Петер [пер. Л. Черновой]. Похищенный из родных джунглей, привезенный в цепях на другой берег океана, поставленный перед выбором: либо зоопарк, либо варьете, превращенный во что-то новое, отчасти человека, отчасти существо более грандиозное, чем человек, он больше не в силах достичь своей былой обезьяньей истины [249].

«Что ни делай, — написал Макс Брод, друг и литературный душеприказчик Кафки, — всегда делаешь не то». Как это симптоматично: если бабочкам и молям посвящены целые библиотеки, то до последнего времени не существовало ни одного авторитетного полевого определителя гусениц какого-либо региона. В концептуальном и таксономическом смысле их существование



несколько сомнительно. Несмотря на весь их оборонительный арсенал, менее одного процента доживает до половозрелого возраста.

## L

# The Language of Bees

## Язык пчел

Когда я хочу приманить пчел для экспериментов с обучением, я обычно кладу на столик листы бумаги, намазанные медом. И потом мне часто приходится дожидаться несколько часов, а иногда и несколько дней, пока наконец какая-нибудь пчела не обнаружит кормушку. Но стоит одной пчеле найти мед, вскоре появляется гораздо больше пчел — бывает, до двух-трех сотен. Все они прилетают из того же улья, что и первая сборщица; очевидно, пчела возвестила о своем открытии всему своему дому.

Карл фон Фриш [[250](#)]

### 1

В 1973 году Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за открытие языка пчел. То был год этологии, и вместе с фон Фришем премию по физиологии или медицине также получили Конрад Лоренц и его голландский коллега Николас Тинберген. В их работах не было никакой зауми, никаких малопостижимых игр в бирюльки на обочинах теории. Премия 1973 года была присуждена за «популистские исследования», которые прояснили тайны существования животных и сулили открыть глубокие, имеющие большие перспективы истины о бытии человека.

Фон Фриш заявил, что медоносные пчелы, невзирая на свою малую величину и отличия от человека, обладают языком — способностью, которая долгое время считалась отличительным признаком человечества. С помощью серии изящных экспериментов, проводившихся на протяжении почти пятидесяти лет, фон Фриш доказал, что пчелы общаются символами, что гораздо более сложным образом, чем любое животное, кроме человека, они опираются на опыт и память, чтобы передавать информацию друг другу.

Сегодня, спустя почти восемьдесят лет после его первых статей, эти открытия всё еще производят захватывающее впечатление. А манера фон Фриша — рассказчика придает им дополнительную увлекательность. По своим наклонностям и по своему первоначальному образованию он был натуралистом и рассказывал о природе не на сегодняшнем техническом жаргоне геномики, а на своем, глубоко своеобразном, «пчелином» языке — поразительно эмоциональном языке, который наделил его героев стремлениями и намерениями, придавал им обаяние и создал ощущение, что мы с ними близко знакомы.

Фон Фриш предлагал читателям науку «о том, что, как и почему делают животные», которая одинаково хорошо уживалась как с онтологической несхожестью и вечной загадочностью, так и с более привычным стремлением ученого к откровениям [[251](#)]. Без стеснения признаваясь во влечении к пчелам,

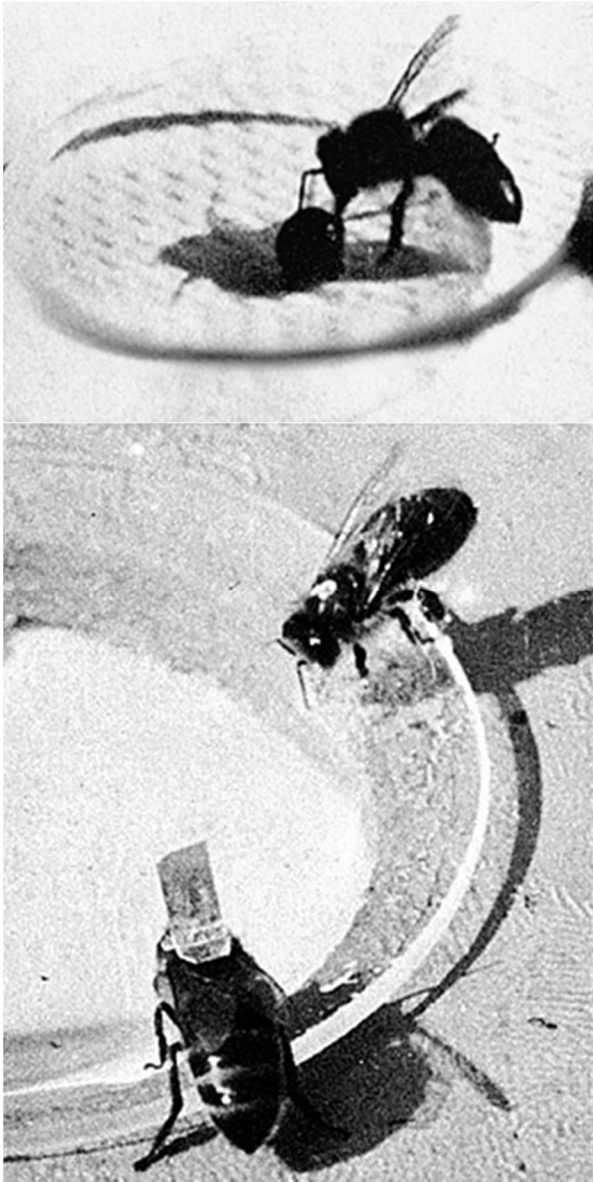
он внушал читателям — и самому себе, — что пчел можно понять в психологическом и эмоциональном плане. Он делал своих читателей «ветеринарными психоаналитиками». И тем самым он дал новый толчок (правда, возможно, это вовсе не входило в его намерения) возрождению дарвинианской концепции преемственности, согласно которой не только морфологические, но и поведенческие, нравственные и эмоциональные базовые элементы существования человека можно обнаружить в жизни других животных (то есть других, кроме человека) [252]. Фон Фриш говорил от имени медоносных пчел. Он дал им слово. Он не просто дал им язык — он переводил их слова. Что может быть соблазнительнее?



Однако эти влечения вызвали большую тревогу в научной дисциплине, которая едва появилась, но уже мучилась от подозрений, что ее выводы окажутся ошибочными. Этологию преследовал призрак Умного Ганса — знаменитого коня, чья смышленость, увы, заключалась не в математических способностях, а в феноменальной восприимчивости к невербальным подсказкам его честного, но незадачливого тренера. Когда психолог Оскар Пфунгст с огромным скандалом разоблачил Умного Ганса, тема когнитивных способностей у животных была отброшена на окраину научной легитимности, и стало очевидно, что обаяние объектов исследования создает для этологии смертельный риск [253].

Это было огромное искушение, которому не поддавались бихевиористы, категорично отрицавшие психологию. Но фон Фриш всю жизнь следовал этому соблазну, стоя, как между двух огней, между аффектом и объектом, интересуясь, как он сам писал, взаимодействием между «психологическим поведением и физиологией органов чувств» [254].

Дело в том, что фон Фриш любил своих пчел. Любил с нежной страстью. Холил и лелеял их поколение за поколением. Согревал их на своих ладонях, сложенных чашечкой, когда от холодного воздуха у них сводило мускулы крыльев. Считал их своими «личными друзьями» [255]. Это были его пчелы — в том же смысле, в каком антрополог былых времен, возможно, воображал, что племя, среди которого он живет в какой-то далекой стране, — это «его племя». Та же самая гремучая смесь науки, сантиментов и собственнической гордости. Та же самая готовность брать на себя ответственность за судьбу другого.



Итак, хотя он столь горячо пекся о благоденствии этих крохотных существ, фон Фриш любовно (со специфической любовью), старательно (с терпением профессионального ученого) и осторожно (недрогнувшей рукой) обрезал им усики, подрезал крылья, надрезал торсы, сбрасывал глазные щеточки, приклеивал грузы к их грудным отделам и тщательно закрашивал шеллаком их немигающие глаза, модифицируя их тела, парализуя их органы чувств, манипулируя их поведением в соответствии с условиями эксперимента, находя компромисс между своим желанием навести мосты через пропасть, отделяющую человека от насекомых, и своим негласным утверждением естественной верховной власти человека.

## 2

В апреле 1933 года рейхстаг, где большинство мандатов принадлежало нацистам, принял закон о восстановлении профессионального чиновничества. Теперь евреев, лиц, состоявших в браке с лицами еврейской национальности, а также ненадежных в политическом отношении лиц можно было законно увольнять из университетов. Отстранению подлежали и *Mischlinge* — неарийцы

особой категории, люди, у которых только один дед или одна бабушка были евреями [256].

К тому времени фон Фриш был одним из ведущих немецких ученых, директором нового, финансируемого Рокфеллером Института зоологии при Мюнхенском университете. Много лет назад во внутреннем дворе института, украшенном колоннами и обустроенном ландшафтными архитекторами, фон Фриш, как он вспоминал в своих мемуарах, «подпал под неудержимое очарование медоносной пчелы» [257].

Собственно, в действительности он еще раньше очаровался существами, которых позднее стал называть своими маленькими товарищами. В 1914 году, проявив артистичность фокусника, он публично продемонстрировал то, что в наше время кажется вполне банальной истиной: медоносные пчелы (как-никак их пропитание зависит от умения распознавать цветущие растения) умеют различать цвета (хотя страдают дальтонизмом, а именно «слепы на красный цвет»). Применяв стандартный для экспериментов с поведением метод — вознаграждение пищей, он обучил группу пчел узнавать голубые тарелки. Затем он показывал им маленькие квадраты из цветной бумаги и с удовольствием наблюдал, как на глазах скептически настроенных зрителей пчелы слетались к нужному квадрату, «словно бы по команде» [258].

Но именно в мюнхенском саду пчелы впервые для него станцевали:

«Я приманил несколько пчел к блюду с сахарной водой, пометил их красной краской, а затем на какое-то время прекратил кормежку. Как только всё успокоилось, я снова наполнил блюдо и стал наблюдать за разведчицей, которая попила из него и вернулась в улей. Я едва верил своим глазам: она исполнила на сотах с медом круговой танец, который очень воодушевил помеченных краской сборщиц вокруг нее и побудил их снова прилететь к кормушке».

Хотя пасечники и натуралисты уже сотни лет знали, что медоносные пчелы сообщают друг другу о местоположении источника пищи, никто не знал, как именно они это делают. Ведут друг дружку к нектару? Оставляют пахучие следы? «Полагаю, это было самое далеко идущее наблюдение в моей жизни», — написал фон Фриш без малого сорок лет спустя [259].

Закон о госслужбе обязывал фон Фриша и его коллег-ученых (как и всех остальных госслужащих в рейхе) предоставить документальные подтверждения своего арийского происхождения. Фон Фриш — а он уже был под подозрением из-за своей готовности брать в аспирантуру евреев, даже если темы их диссертаций были далеки от его собственного профиля, — оказался перед еще более опасной дилеммой [260]. Мать его матери, на тот момент уже покойная, дочь банкира и жена профессора философии, была еврейкой, уроженкой Праги.

Вначале университет защищал свое светило зоологии, устроив так, чтобы его включили в безопасную категорию «евреев на одну восьмую». Но вообразите себе ядовитую смесь идеологии и амбиций, которая забродила в умах, уставших от жесткой институциональной иерархии и невозможности продвинуться, среди ученых, которые, несмотря на образованность, не допускались к академической кормушке... В октябре 1941 года кампания против фон Фриша увенчалась успехом: его переклассифицировали, объявив

«*mischling* второй степени» — евреем на четверть — и добившись приказа о его увольнении.

Как нам уже известно, фон Фриш пережил нацистов. Но всё было непросто.

Влиятельные коллеги пришли к нему на выручку и нашли ему «трибуну» в новом еженедельнике *Das Reich*, куда Геббельс давал редакционные статьи, а фон Фриш писал о вкладе Института зоологии в национальную экономику и о ключевой роли его трудов для обеспечения тыла армии [261]. В конце концов фон Фриша спасли пчелы, хотя и довольно извилистым путем. Немецкие пасеки два года страдали от расплодившихся паразитов *Nosema apis*. Под угрозой оказались как запасы меда, так и опыление сельскохозяйственных культур. Фон Фриш, по протекции своего высокопоставленного доброжелателя, был назначен на пост специального инспектора, и паникующее министерство продовольствия поневоле отсрочило его увольнение «до конца войны» [262].

Аполитичность медоносных пчел не препятствовала их мобилизации на «трудовой фронт» национал-социалистов. Министерство вскоре расширило «отпущение грехов» фон Фришу, чтобы он искал способ рационализировать опыление — побудить пчел садиться лишь на растения, полезные для экономики. Много лет назад фон Фриш экспериментировал с «наводкой по запаху»: приучал пчел к определенному запаху, а затем выпускал, чтобы они садились на соответствующий цветок; но тогда он не смог заинтересовать этим проектом коммерческие фирмы. На сей раз «Организация пасечников рейха», взволнованная назревающей катастрофой, переполненная националистическим энтузиазмом и обеспокоенная новостями о сходных масштабных исследованиях в СССР, поспешила спонсировать работы фон Фриша.

Измотанные всё более интенсивными авианалетами на Мюнхен, фон Фриш и его сотрудница Рут Бойтлер, с которой он проработал всю жизнь, эвакуировались в Австрию, в деревню Бруннвинкль в Тироле. Именно там фон Фриш в детстве проводил лето, и в пристройке к дому располагался музей естествознания, который он основал, будучи пылким семнадцатилетним энтузиастом. Здесь, предаваясь своей юношеской страсти, Карл привлекал родственников и друзей семьи к поискам местной фауны в окрестных лесах и на берегах водоемов. Именно здесь, на старой мельнице у озера Вольфганг, под бережным руководством своего дяди, видного венского биолога Зигмунда Экснера, Карл развил классические умения наблюдателя и манипулятора, которые стали характерными чертами его экспериментальных исследований.



И именно здесь, среди животных, фон Фриш обрел свое «благоговение перед Неведомым» — скорее приверженность пантеистическому релятивизму, чем оформленное религиозное убеждение. «Все искренние убеждения заслуживают уважения, — уверял он, — за исключением самонадеянного утверждения, будто в мире нет ничего выше, чем человеческий разум» [263]. И именно здесь, как рассказывает он в своей простой, зачастую лирической манере, его семья либеральных католиков — доктринально-либеральная во времена, когда в Австрии биологов сплошь и рядом увольняли за поддержку учения об эволюции, — создала буржуазное убежище, дом науки и искусств, дом тихих радостей учтивой культуры, далекий от потрясений, терзавших *Mittleuropa* в начале XX века: энергичная мать и заботливый, хоть и сдержанный, отец, трое старших братьев, подготовка всего лишь к монотонным, постепенно развивающимся, длинным и безупречным карьерам на научном поприще.

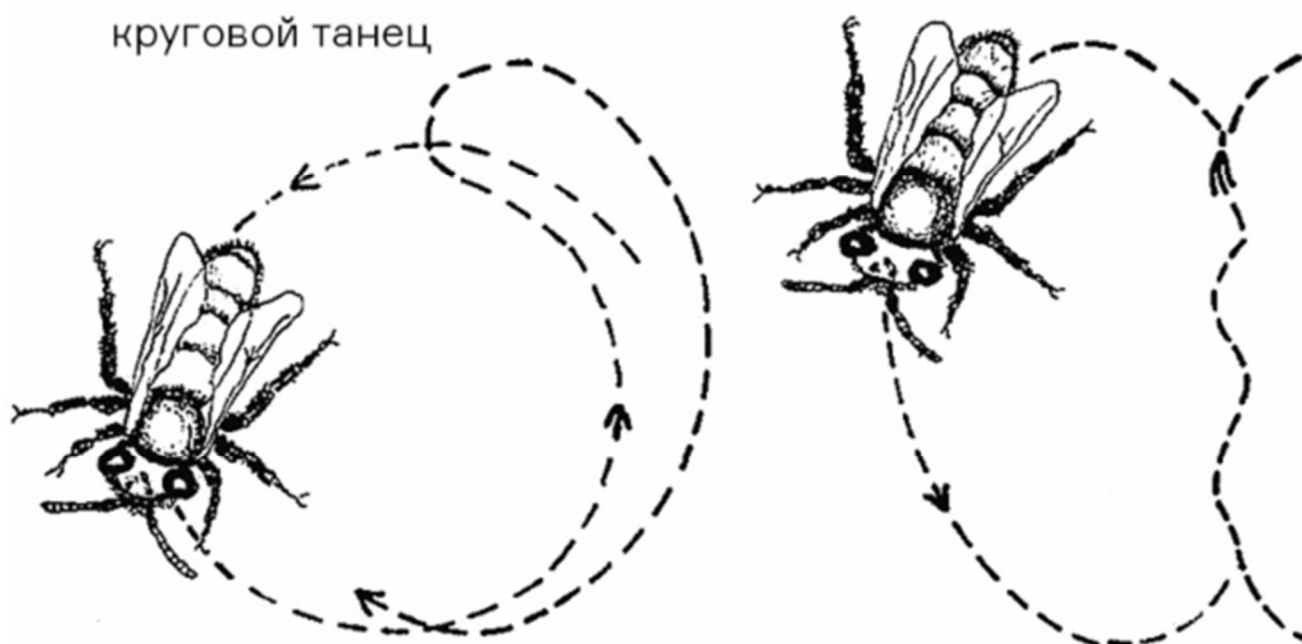


И именно здесь, в коконе семейной памяти, пока бомбы союзнической коалиции сжигали в огненных бурях Мюнхен и Дрезден, пока над Аушвицем воздух становился всё гуще, фон Фриш и Бойтлер, пользуясь разрешением властей, вернулись к работе об общении пчел, которую фон Фриш отложил в долгий ящик лет двадцать назад, чтобы сосредоточиться на зрении гольянов и чувстве вкуса у пчел.

В давние времена, занимаясь штудиями во внутреннем дворе института, фон Фриш выделил два танца (назвав их круговым и виляющим) и заключил, что первым пчелы указывают на источник нектара, а вторым — на источник пыльцы. В последующие годы Бойтлер продолжила эту работу, но начала сомневаться в гипотезе. В 1944-м, возобновив совместные эксперименты, они обнаружили: если установить блюдца с кормом более чем в ста метрах от улья, то не важно, какое вещество приносят пчелы: при возвращении все они исполняют виляющий танец. Должно быть, различия между танцами, которые подметили ученые, не описывали саму пищу, а служили для передачи гораздо более сложной информации о местонахождении корма. Эта способность четко указывать расстояние и направление казалась, писал фон Фриш, «слишком фантастической, чтобы быть правдой» [264].

Сложность поведения пчел завораживала. В наше время само собой разумеется, что замысловатые общественные инстинкты медоносных пчел (живущих самовоспроизводящимися колониями, где насчитываются тысячи особей) как-то связаны с развитием изошренных форм коммуникации. Но в начале XX века в зоологии доминировала убежденность биологов и психологов, что поведение животных полностью объяснимо через простые реакции на раздражители — рефлексy и тропизмы. А пчелы фон Фриша делали то, что ведущие бихевиористы типа Джона Б. Уотсона и Жака Лёба считали невозможным: они общались символами, репрезентируя информацию в форме (предсказуемом паттерне движений физического тела), привязанной к ее объекту «общественными условностями, негласной договоренностью или явным кодом» [265]. Более того, эта репрезентация могла иметь место спустя несколько часов после полета, который она описывала. Она опиралась на фиксирование подробностей этого полета, воспоминания о его содержании и, конечно, на перевод и «разыгрывание» значимой информации. Более того, для нее требовалась аудитория, способная эффективно взаимодействовать при интерпретации информации. Как недавно написал Дональд Гриффин, неутомимый поборник идеи сознания у животных, спонсор лекционного тура фон Фриша в США в 1949 году, это «самый существенный пример разносторонней коммуникации, известной у какого-либо животного, за исключением нашего собственного вида» [266]. Фон Фриш пошел дальше. Он полагал, что это достижение «не имеет параллелей нигде во всем царстве животных» [267].

Современные исследователи пчел развили ту теорию танца, которую фон Фриш и Бойтлер переработали во время войны. Сегодня большинство ученых полагает, что два основных танца не различаются по типу информации, которая в них содержится [268]. В обоих танцах покачивания сообщают о расстоянии и направлении, в обоих танцах именно относительная страстность танца говорит о качестве еды. При обоих танцах тип цветка сходным образом выясняется по запаху, который пристал к телу пчелы.



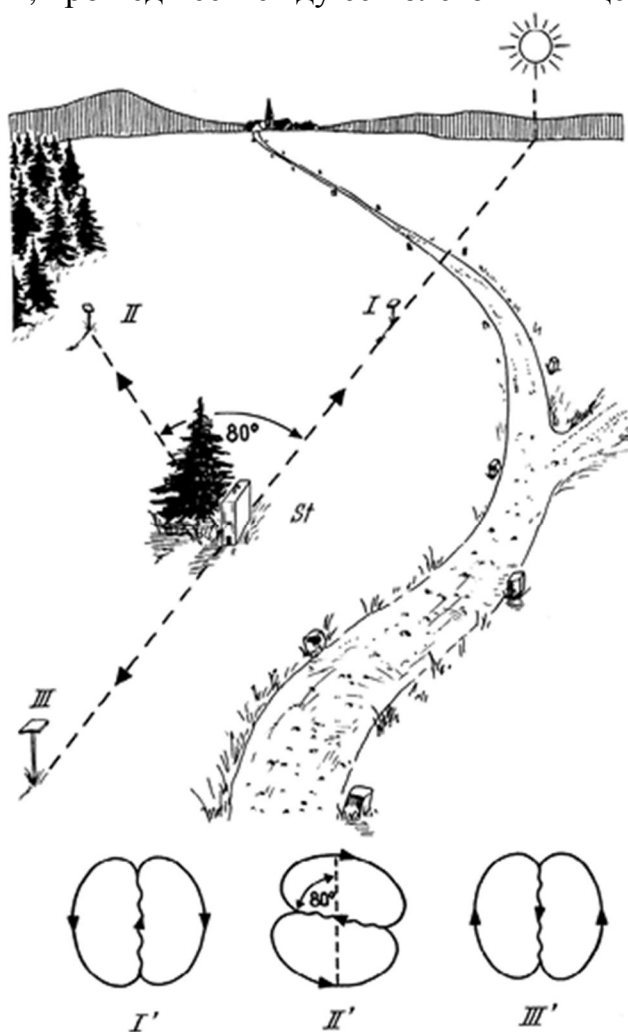
В Мюнхене фон Фриш размещал кормушки прямо у улья, чтобы его ассистенты, наблюдавшие за танцами, и те ассистенты, которые дежурили у кормушек, могли легко общаться между собой. Однако в круговых танцах, исполняемых пчелами, чтобы сказать: «Еда неподалеку», виляния брюшком длятся недолго: они исполняются, когда плясунья разворачивается, чтобы начать новый круг. Фон Фриш и его команда не заметили этих тонких нюансов, а пчелиная аудитория, вероятно, тоже не особенно их примечает, полагаясь больше на свое обоняние для поиска корма так близко. Но когда пища находится дальше (для пчел краинской породы, которых предпочитал фон Фриш, переломная дистанция пятьдесят — сто метров), пчелы, возвращающиеся в улей, вставляют в свой танец дополнительную последовательность па: пчела бежит по прямой линии, энергично виляя своим брюшком из стороны в сторону, и это виляние может повторяться тринадцать-пятнадцать раз в секунду [269]. Именно эта характерная последовательность движений содержит ключевую информацию. Кружа в темноте, в толчее «танцзала» (как назвал его фон Фриш) улья, вернувшаяся сборщица обнаруживает, что за ней следуют три-четыре последовательницы, которые принимают информацию, заключенную в танце, своими усиками, задействуя обоняние (чтобы опознать тип цветка), вкус (чтобы оценить качество «продукции» цветка), осязание и акустическую чувствительность, которая позволяет им уловить колебания воздуха от крыльев танцовщицы [270].

Танцующая пчела берет за точку отсчета солнце. Когда она освещена дневным светом на горизонтальной платформе у летка улья, ее движения «индексальны», они указывают прямо вперед, «совсем как мы указываем на далекую цель, подняв руку и вытянув палец» [271]. Танцует на открытом



воздухе, пчела ориентируется, наклоняя свое тело так, чтобы видеть солнце под тем же углом, как и во время ее недавнего перелета к источнику пищи [272].

Но подавляющее большинство танцев происходит внутри улья, в полной темноте, на поверхности вертикальных сот. Эти условия создают для пчелы целый комплекс сложностей, которые она разрешает, реконфигурируя индексальную ассоциацию между танцем и источником пищи. Этот танец внутри улья предполагает пространственно-временное смещение: пчела конвертирует угол солнца (который при танце на открытом воздухе позволял ей имитировать свой полет) в термины гравитации. Чтобы справиться со своей задачей, пчела должна увидеть угол между направлением движения солнца и источником пищи во время ее полета к источнику, запомнить эту информацию, безошибочно транспонировать этот угол в угол, связанный с гравитацией, и тем самым провести вычисления, которые вносят поправку на движение солнца за время, прошедшее между ее полетом к пище и танцем [273].



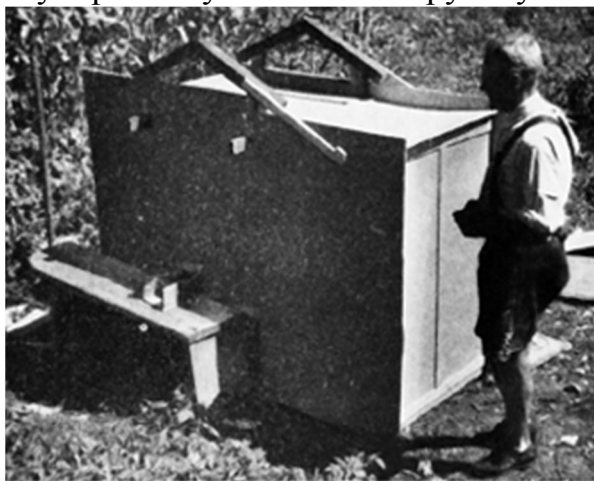
Если кормушка находится на одном направлении с солнцем, пчела избегает по сотам вверх, а если кормушка в противоположной стороне, то вниз. Если корм находится, например, в восьмидесяти градусах левее солнца (как на кормушке II на иллюстрации справа), пчела, виляя брюшком, бежит по линии, которая на восемьдесят градусов отклоняется влево от вертикали (II'), и т. п. и т. д. [274] Даже если солнце скрыто облаками, пчела умеет определять свое

положение по солнцу, распознавая паттерны поляризованного света, которые не способен видеть человеческий глаз [275].

Фон Фриш проследил за тем, как пчелы улетают в поисках нектара за одиннадцать километров от своего улья, и обнаружил, что они описывают расстояние с помощью некоего сочетания знаков (количество виляний брюшком, их темп, скорость движения вперед, длина и продолжительность пробежки пчелы по прямой линии во время танца) [276]. Однако расстояние — «субъективная» характеристика, которую пчелы измеряют количеством усилий, затраченных на полет к источнику пищи. Фон Фриш продемонстрировал это, прикрепляя различные грузики к разным частям тела пчел, заставляя их бороться с встречным ветром или принуждая ходить. В каждом из этих случаев они сообщали, что расстояние длиннее, чем при полете, не сопряженном с этими помехами [277].

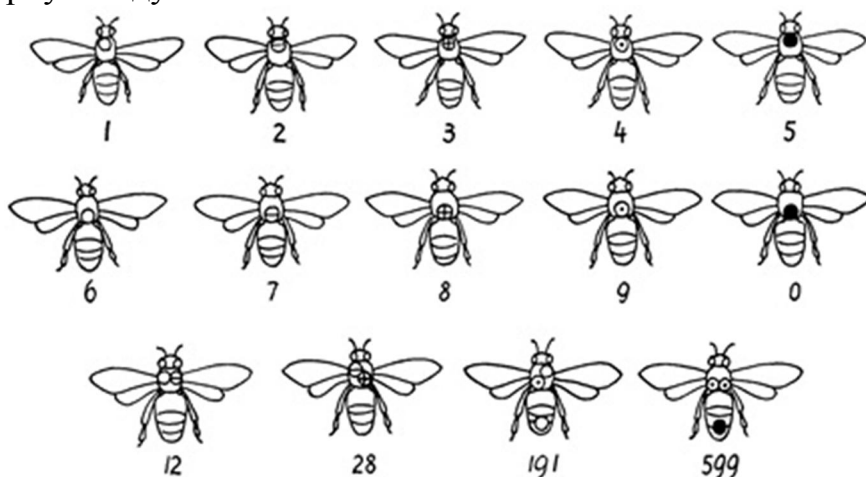
Фон Фриш любил работать со «спокойными и миролюбивыми» пчелами [278]. Они охотно с ним сотрудничали, а он проявлял отзывчивость, разрабатывая эксперименты и приспособления, которые отвечали бы их потребностям и желаниям. Пчелы были подвержены влиянию ветра и температуры воздуха. У них обнаружили поразительно тонкое обоняние и вкус. Они активно реагировали на изменение освещенности. Постепенно учились опознавать конкретных рабочих пчел. Фон Фриш, зная их чувствительность, никогда не мог быть уверен, что поведение пчел, которое он наблюдает, не отражает искусственные условия в ходе эксперимента, а потому позволил пчелам принудить себя к всестороннему (и утомительному) повторению проверок: стал искать способы для повторения контролируемых экспериментов в природных условиях. Когда он открывал для себя что-то слишком поразительное, то спрашивал себя: а если его внимательность породила нечто вроде «научной пчелы»? [279]

Для начала он соорудил специальный улей для наблюдений. Это был стандартный улей с пасеки, но со стеклянными окошками, чтобы наблюдать за пчелами, не очень их тревожа. Но вскоре фон Фриш обнаружил, что яркий солнечный свет и возможность видеть лоскутки неба искажали танцы, и тогда он разработал свою линейку ульев со съемными панелями, чтобы манипулировать условиями снаружи улья.

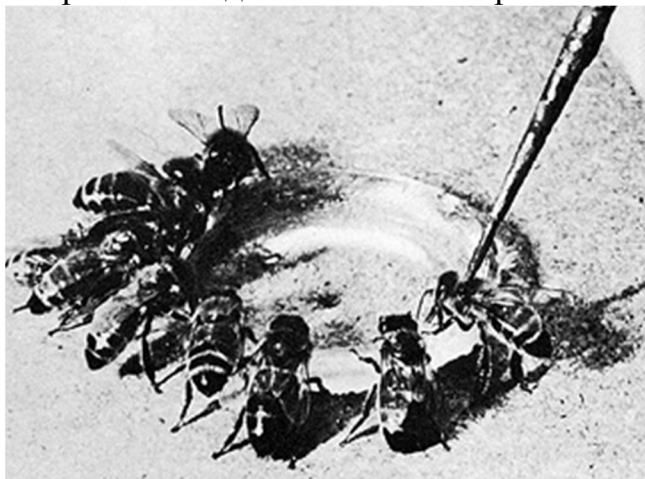


Затем он разработал схему кодировки — весьма остроумную, — которая позволяла визуальнo опознавать сотни конкретных пчел. И, взяв тонкую

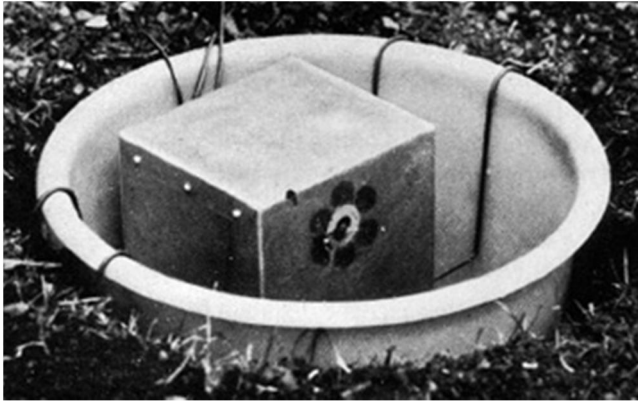
кисточку и цветной лак, помечал каждую пчелу точками, пока пчелы пили сахарную воду.



Он конструировал кормушки и специальные дозаторы с пищей. Изобрел автоматический аппарат-счетчик, замаскированный под цветок: этот прибор регистрировал визиты пчел на цветок в ситуациях, когда приглашать волонтеров-наблюдателей было непрактично или излишне.



Но истинный талант фон Фриша состоял в разработке простых и эффективных элементов, отличавшихся чрезвычайным изяществом. Например, вначале он переводил с языка танца, систематически перенося на всё более далекое расстояние источник пищи, к которому его пчелы были приучены летать, и внимательно наблюдая за танцами, которые исполнялись вернувшимися сборщицами. Подспорьем всему этому — вдобавок к терпению, самокритичности и изобретательной методичности в работе — были его зоркий глаз естествоиспытателя, примечавший экологию пчелиной жизни, темперамент и привычки этих насекомых, и глубокое чувство сродства с «пчелиной онтологией», чувство того, каково быть пчелой.



Всё это помогло ему признать индивидуальность членов коллектива-улья, их характерные склонности и разные темпераменты, их переменчивые настроения, тонкие вариации их деятельности. Несомненно, это было глубоко антропоморфическое понимание. Его пчелы «проницательны», «энергичны» и «флегматичны», в определенный момент они даже проявляют «классовое сознание» [280]. Но неверно думать, что работу фон Фриша можно счесть проявлением антропоморфизма (под которым мы в данном случае можем подразумевать стремление понять других существ, взяв за опору внутренний мир человека). Для фон Фриша медоносные пчелы были и личными друзьями, и глубоко загадочными ввиду своей инаковости существами. И эта пропасть, а также мосты через нее позволяют одновременно благоговеть и завоевывать; это неутомимое стремление к некому искупительному контакту и готовность проявлять жестокость на пути к цели.



Возможно, всё дело во времени, когда это происходит, — страшном, обезчеловечивающем периоде историко-политического развития, который совпадает с волнующим моментом, когда все описываемые здесь открытия совершенно новы. Либо, возможно, дело в возрожденном стремлении этологов найти в животном что-то человеческое. Но, очевидно, в понимании (и в исследованиях) фон Фриша пчелы — в равной мере его сотрудники и его подданные. Он устраивает им экзамены и не скрывает своего разочарования в тех редких случаях, когда они не демонстрируют свою проницательность. Но и они его экзаменуют: бросают ему вызов, чтобы он разрабатывал достаточно тонкие эксперименты, близкие к их загадочному образу жизни.

В исследованиях в Бруннвинкле фон Фриш погрузился, словно в пышные дебри чужой планеты. «Я стремился с головой уйти в работу, — вспоминал он,

— по возможности стараясь обращать как можно меньше внимания на события, происходившие вокруг меня». Над жизнью за пределами Бруннвинкля он не имел никакой власти. В Мюнхене Институт зоологии лежал в руинах, на месте его собственного дома была «зияющая дыра». Враждебность коллег ставила его в замешательство. Он убедил свою жену сжечь ее дневник [281]. Кому можно доверять? Кто читает дневники? Кто может подслушать? Но пчелы... Пчелы разговаривали, но их не волновала политика. Их язык не был испорчен развращающим жаргоном Третьего рейха. Пчелы были непорочны. Пчелы обладали ясной рассудительностью. Среди пчел можно было найти убежище.

Мы не знаем, что чувствовала в тот момент Рут Бойтлер, но Мартин Линдауэр, впоследствии самый блестящий ученик фон Фриша, рассказывает, как после тяжелого ранения вернулся в Мюнхен с русского фронта, выразил желание изучать науки и получил от лечащего врача совет сходить на лекцию Карла фон Фриша о делении клеток. Линдауэр вспоминает это событие как прозрение, вновь открывшее перспективу нормальной, осмысленной жизни перед растерянным двадцатидюлетним парнем, который отказался вступить в гитлерюгенд и был отправлен строить Дахау, ушел добровольцем в немецкую армию после другой лекции (прочтенной эсэсовцами, вербовавшими добровольцев в его школе), а затем нашел в фон Фрише сурового наставника со «страстью к науке... не терпевшего обмана, чрезвычайно придирчивого человека» [282].

Возможно, неудивительно, что Линдауэр, как и его учитель, привязался к пчелам. Когда нацистский авторитарный порядок превращался в хаос и условия для профессиональных занятий наукой повсюду шли прахом, фон Фриш создал на озере Вольфганг островок покоя, обрел в своих медоносных пчелах размеренность, упорядоченный образ жизни, при котором, как и во всех хорошо управляемых институтах, никому не приходится бояться непредсказуемых событий, никому не приходится чувствовать себя неприкаянным. Это вновь была Германия непрофессионального музея у австрийского [так в оригинале. — *Пер.*] озера, Германия до революции 1918 года, до Веймарской республики с ее инфляцией, до нашествия нацистов. «После того как я познакомился с безумным режимом гитлеровских времен, который был злобным, бесчестным и неправильным во всех отношениях, — сказал Линдауэр в интервью полвека спустя, — я черпал силы в том, что моя работа основывалась на абсолютной правильности, честности и объективности. На руинах этого материального и духовного крушения, этой безысходности я смог, под руководством моего учителя Карла фон Фриша, построить новый образ жизни. Среди пчел я обрел новый дом. Это и впрямь был новый дом, пчелиная колония» [283].

### 3

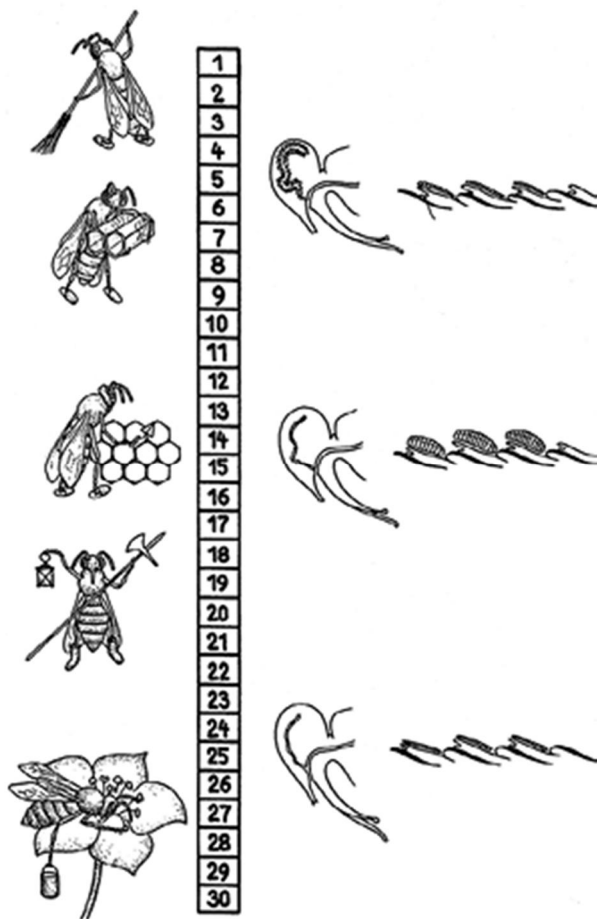
Понять это несложно. В колонии медоносных пчел десятки тысяч членов, чья повседневная жизнь — чудо саморегулируемой сложноустроенности, эффективный порядок, постоянно обеспечиваемый замысловатой текучестью общественных отношений, практик обмена и разделения труда. В работе «Танцующие пчелы» (1953) фон Фриш первым делом сообщает нам, что медоносные пчелы обязаны быть общественными существами, что уровень

интеграции задач и кооперативной взаимозависимости означает: пчела-одиночка не в состоянии выжить вне улья («нет более маленькой единицы [чем колония] ...одна-единственная пчела, держа себя своими усилиями, скоро погибнет» [284]).

Подобно муравьям, осам и другим общественным насекомым, медоносные пчелы живут в «кастовых» (согласно термину энтомологов) обществах; зоологи прибегают к аналогии с кастами, чтобы указать на присутствие морфологически различных профессиональных групп: матка откладывает яйца, многочисленные рабочие самки не размножаются, а несколько сот самцов — толстяки-трутни — существуют, насколько нам известно, только ради того, чтобы совокупляться с маткой в ее единственном брачном полете; в конце концов, когда приблизится зима и пищевые ресурсы оскудеют, трудовые пчелы вытаскают трутней из улья и выгонят, чтобы те умерли с голоду; если же трутень сопротивляется, его зажалют до смерти. «С этого момента и вплоть до следующей весны, — писал фон Фриш (тут вспоминаются феминистские утопии Шарлотты Перкинс Гилман), — самки колонии, оставшиеся в своем кругу, поддерживают безмятежный мир» [285].



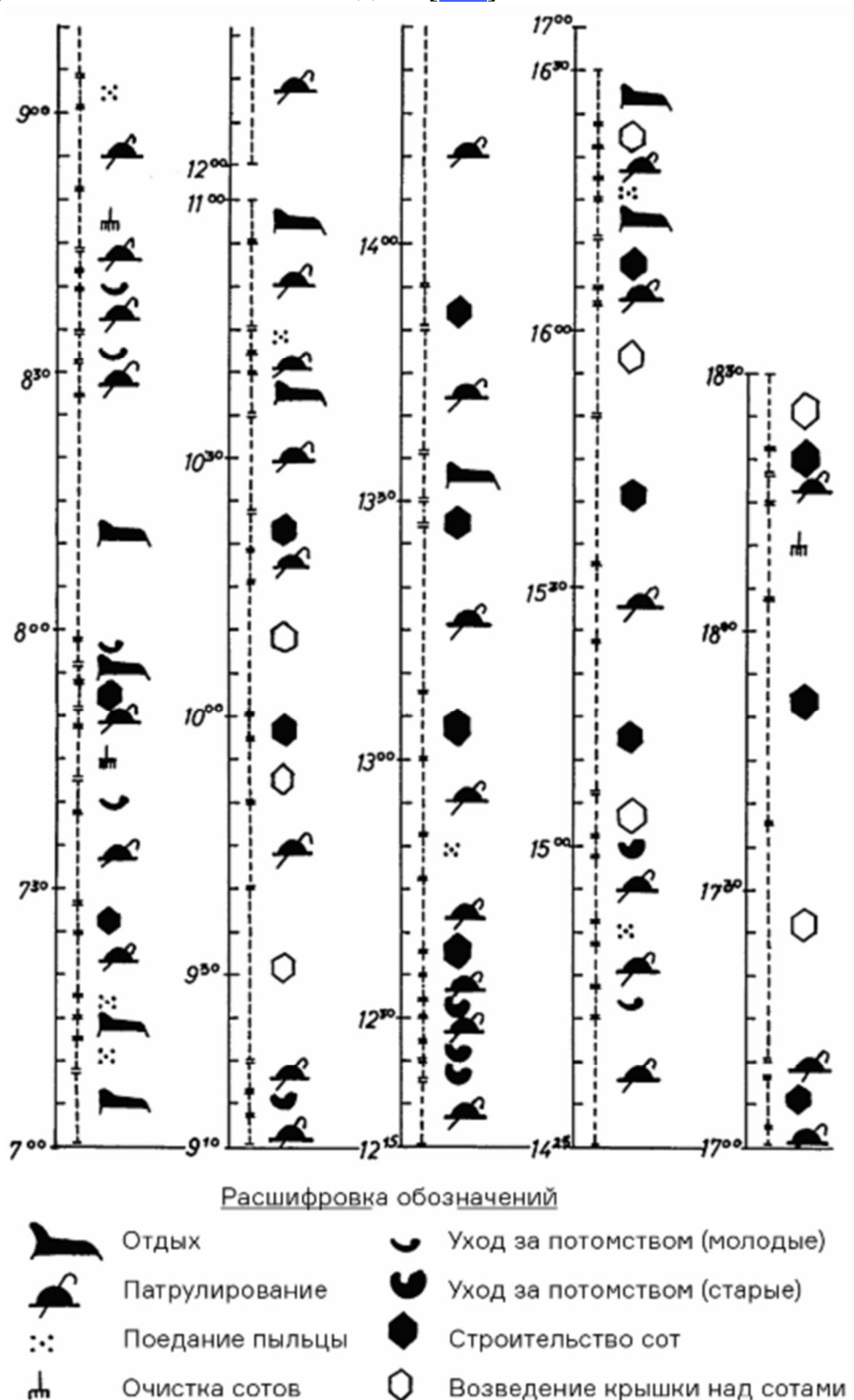
Неудивительно, что именно трудовые пчелы привлекли внимание исследователей. Фон Фриш и Бойтлер составляли каталог их танцев, а также делали далеко идущие открытия, касавшиеся их способности ориентироваться. Линдауэр продолжил их исследования, изучив образование роя, обнаружение гнезд и поразительный процесс выбора гнезда, который я опишу ниже. Все три исследователя детально изучали распределение труда и времени среди рабочих пчел; правда, Линдауэр продвинулся дальше всех, проследив всю биографию пчелы, которую нарек «номер 107».



Вот первая схема распределения работы среди трудовых пчел, составленная Линдауэром. На ней показано то, что Томас Сили назвал «разделением труда, основанном на временных специализациях». Схема взята из классической работы Линдауэра «Коммуникация среди общественных пчел» (1961) — сборника его лекций в американских университетах [286]. Колонка цифр — возраст пчел в днях. Забавные человекообразные пчелы совершают действия, которые ассоциируются с конкретным моментом в жизни пчелы (очистка сот, заботы о расплоде, строительство и ремонт улья, охрана гнезда, сбор нектара, пыльцы и воды). На рисунках справа показано соответствующее развитие желез в голове пчелы (железа ухода за молодняком или кормления) и в брюшке (железы, производящие воск). Несмотря на эту тесную увязанность вида деятельности, физиологии и стадии жизненного цикла, Линдауэр четко осознавал, что в критических обстоятельствах — например, при внезапном дефиците пищи — эти взаимосвязи могут радикально прерваться. В подобной ситуации рост желез может прекращаться, и пчела начинает собирать пищу раньше назначенного дня. Физиология и поведение пчелы отличаются гибкостью и приспособляемостью, они реагируют на изменения условий жизни.

Но это еще не всё. Наблюдая за жизнью «номера 107», Линдауэр подметил: она не только уделяет многозадачной работе больше времени, чем, как можно было бы ожидать, одному назначенному заданию, но и очень много болтается («патрулирует»; на его диаграмме это пчела в шляпе-котелке и с тросточкой), а также довольно долго (40% своего времени) вроде бы бездельничает («отдыхает» в шезлонге). Линдауэр нашел объяснения этим наблюдениям. Патрулирование, рассудил он, — разновидность надзора за местом работы:

пчела выясняет, что нужно сделать безотлагательно, и распределяет свое время соответствующим образом. «Праздность», уверял он не очень убедительно, позволяет беречь силы «резервным войскам», которые при необходимости могут моментально взяться за дело [287].



Оба этих неожиданных вида деятельности наводят на мысль, что в обществе, где нет ни лидеров, ни централизованного принятия решений, важна коммуникация «по горизонтали» — между равными. Способность медоносных пчел поддерживать в улье постоянную внутреннюю обстановку (невзирая на



перемены в условиях жизни за пределами улья и неравномерную доступность ключевых ресурсов) зависит от контакта между сборщицами, которые только что вернулись в улей, и теми, которые оказались внутри раньше. Например, проворство, с которым сборщицы скидывают свой груз, демонстрирует степень коллективной потребности в том веществе, которое они принесли. Причем тут задействован не только описанный фон Фришем язык, явно основанный на знаках. Происходит нечто, еще более основополагающее для социальной жизни. Пчелы всё время контактируют между собой физически, ощупывают головы и усики друг дружки, обнюхивают друг друга, передают друг дружке комочки спрессованной пыльцы, делятся или обмениваются сладким содержимым своих желудков, принимают ближнепольные колебания друг дружки. Вместе, соприкасаясь, в теплой темноте, посасывая, ощупывая, соприкасаясь, обнюхивая, пробуя на вкус, соприкасаясь. Другая страна. Другой язык пчел.

И этот язык каким-то образом связан с другим языком, который здесь окружает нас со всех сторон, — языком колоний, каст и рас, сестер и двоюродных сестер, маток и трудовых пчел, языком танца. Язык языка, боже ж ты мой! Этот язык не исчез вместе с фон Фришем и Линдауэром. Сегодня исследователи пчел тоже на нем говорят, даже если частенько прячут его в механическом дискурсе биоэнергетики: диссонанс ощущается в разрыве между антропоморфной терминологией и «компьютерообразным» организмом, который ею описывается.

Новая пчела — пчела эволюционная, для которой (как и для всех общественных насекомых) общество — это индивид, а взаимоотношения пчел с ульем — всё равно что взаимоотношения клетки с организмом. Из этих метафор возникает убедительная версия эволюции пчел, где давление отбора действует на уровне соперничества между колониями: соперничества за пищу, за участок сбора пищи и другие ресурсы; эту версию подкрепляет отсутствие заметных трений внутри улья [288].

Но фон Фриш предлагает дополнение к этой теории. Не только каждый улей (как известно всем пасечникам) проявляет свои черты личности (есть ульи аккуратные и неряшливые, миролюбивые и агрессивные). По версии фон Фриша, взаимодействие между индивидом и коллективом оставляет простор для индивидуальной вариативности и отводит место варьирующимся способностям и талантам каждой пчелы в достижении успеха коллектива. В его версии улей — выражение культуры сотрудничества между тысячами многообразных индивидов.

#### 4

Эрнст Бергдолт, преподаватель ботаники Института зоологии в Мюнхене, вступил в нацистскую партию в 1922 году, когда ему было всего двадцать лет. Этот фашист из молодых да ранних, предвидевший, откуда ветер дует, в 1937 году стал редактором *Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft* («Журнала всех естественных наук»), и это была самая серьезная попытка подчинить биологические науки нацистской идеологии [289]. Именно Бергдолт, светило Немецкой национал-социалистической лиги университетских преподавателей, возглавил кампанию по изгнанию фон Фриша из мюнхенского института. Вот

отрывок из письма в министерство образования, которое написал Бергдолт, требуя уволить директора:

«Профессор фон Фриш отличается необычайной способностью применять результаты своих исследований в пропагандистских целях — способностью того сорта, которую мы знаем по еврейским ученым. Напротив, он полностью лишен способности глядеть на свою работу в более широкой перспективе и уж тем более находить связи с естественным образованием национального общественного строя, хотя это кажется самоочевидным и было бы так легко, если учесть, что область его компетенции — пчелы» [290].

Бергдолт уже пытался — безуспешно — добиться, чтобы фон Фриша отдали под суд за жестокое обращение с животными [291]. Его первым залпом стала тривиальная отсылка к «еврейской науке». Но второе обвинение скорее необычно. Если фон Фришу и Линдауэру логика улья обещала убежище от хаоса нацистского рейха, выбивавшего их из колеи, то для Бергдолта та же систематичность воплощала утопические посулы самого нацизма. Пчелы охотно служили зеркалом для человечества. Но этим зеркалом служила жизнь пчел, которая, несмотря на ясность языка, была достаточно загадочной, чтобы подкреплять даже самые противоположные фантазии, — пусть даже в этом случае фантазии формировались в одной и той же взбаламученной общественной атмосфере.

Отчасти дело было в разных представлениях о порядке — но только отчасти. Разумеется, для нацистов порядок требовал жесткой и образцовой иерархии, требовал — и навязывал ее. Однако в улье иерархия весьма амбивалентна. Мало того, что гендерные отношения в мире пчел шли вразрез с идеалами национал-социализма, но и номинальный лидер — пчелиная матка — была сомнительно-автономной фигурой: она почти во всем была подчинена тем работницам, которые ее обслуживали. И всё же такие неудобные подробности пчелиного порядка ничего не значили в свете аллегорических возможностей формальной упорядоченности: дисциплинированная зависимость от благополучия коллектива, жертвенный альтруизм работниц, которые не размножаются, растворение индивидуального в анонимности коллективного предназначения, эффективное избавление от жизней, которые не окупаются, посвящение себя владениям и доходам цивилизации. И, возможно, Бергдолта влекло к улью еще кое-что — грубая наглядность этого ограниченного мира, самодостаточного и унифицированного, несмотря на его кипучую энергию, так напоминающего эстетику тоталитаризма.

В отличие от своего нобелевского солауреата Конрада Лоренца, который был не только активным членом НСДАП, но и ключевой фигурой Управления расовой политики, фон Фриш (как сознавал Бергдолт) мало интересовался столь масштабной аналогией [292]. В то время как Лоренц открыто устанавливает соответствия а-ля расовая гигиена между вырождением одомашненных животных и упадком цивилизованных человеческих рас, фон Фриш чаще всего сводит свою тенденциозность к замечаниям о том, какие у пчел тонкие органы чувств. В этот период инстинкт для Лоренца имеет конкретное значение, согласно которому инстинктивное действие, роднящее людей и других животных, направлено на сохранение биологического вида, причем категория

«вид» гомологична *Volk*. Эволюция, уверяет Лоренц, наполнена нравственным предназначением, естественный отбор действует на уровне общины, субординация индивида идет обществу во благо, и, более того, уничтожение «низкоценных» индивидов — общественная необходимость. Эти идеи продвигались также Альфредом Плоцем и нордическим течением немецкой *Rassenhygiene*, которое обосновывало нацистскую расовую политику. Причем Лоренц черпал их непосредственно из своеобразной работы Эрнста Геккеля *Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen* («Эволюция человека», 1874), где общественные насекомые в улье выступали в качестве модели отношений между гражданином и государством [293]. Готовность Лоренца подкреплять подобные представления своим научным авторитетом была надлежащим образом вознаграждена [294].

Неудивительно, что Берголт остался недоволен пчелами фон Фриша. Инстинкт, который так легко позиционировать как двигатель прогресса расы, в их улье проявлялся сдержанно. Лишь изредка генетика ускользала от посреднических усилий сознания [295]. Если Лоренц упорно девальвирует способности животных: то, что кажется преднамеренным поступком, вновь и вновь оказывается, при всей его сложности, всего лишь машинальным действием, — то труд фон Фриша, сосредоточенный в основном на поведении индивидов, проникнут духом ревальвации, в котором доминируют чувство сродства и удивление. (Может быть, назовем это гуманизмом, который в своем великодушии включает в себя и нечеловеческое?)

Статус фон Фриша как основателя этологии опирается на его сенсационное описание мира чувств животного. Это описание поставило под сомнение упрощенные модели поведения животных по типу «раздражитель — реакция» и снова подняло в диспутах о когнитивных способностях животных тему сложной устроенности восприятия [296]. В отличие от своих предшественников бихевиористов, фон Фриш обратил внимание на сознание животного, а не только на его внешние выражения. Его медоносные пчелы — «самые совершенные насекомые с просто невероятными инстинктами» — обладают самосознанием и целеустремленностью, они способны учиться и принимать решения [297]. Его язык языка — нечто далеко не случайное. Фон Фриш почти не оставляет сомнений в том, что у этого биологического вида есть что-то вроде индивидуальности. Это простое утверждение влечет за собой сложные последствия. Возможно, лучший способ в них вникнуть — проведенные учеником фон Фриша Мартином Линдауэром знаменитые исследования о том, как медоносные пчелы выбирают гнезда [298].

Когда население увеличивается и в улье становится тесно, когда нектар имеется в изобилии, склады наполнены и сборщицам некуда девать их груз, пчелы готовятся к роению. Матка больше не откладывает яйца, а работницы, ухаживающие за расплодом, начинают кормить «королевским желе» тех, кого выбрали в преемницы для матки. Сборщицы, со своей стороны, прекращают сбор пищи и принимаются искать дупла и тому подобные полости: осматривают деревья, здания и все прочие подходящие места. Через несколько дней старая матка покидает улей с эскортом из примерно половины рабочих пчел — возможно, тридцати тысяч особей, оставляя «дом, медовые соты и запасы пищи

своим преемницам», как писал Линдауэр. Рой усаживается, свившись в единое живое скопление, где-нибудь неподалеку, часто на ветке дерева [299].

Рабочие пчелы-сборщицы отправляются из этого временного дома на разведку; они, как и прежде, прочесывают колоссальную территорию, но на сей раз разыскивают потенциальные гнезда, отвечающие набору четких критериев: надлежащая величина, маленький и удачно расположенный вход, защита от ветра, достаточная отдаленность от изначальной колонии, и чтобы было сухо и темно, и чтобы поблизости не было муравьев. Обнаруживая подходящие места, они возвращаются к рою и, как и в случае с источниками пищи, возвещают о своих открытиях танцами, хотя теперь они пляшут на телах своих сбившихся в кучу сородичей.

Наблюдая за этим поведением, Линдауэр осознал, что вернувшиеся сборщицы танцуют, но больше не обмениваются нектаром или пыльцой. Он идентифицировал и пометил их, интерпретировал их танцы, вычислил координаты точек, на которые они указывали, и, прибыв в указанные места, обнаружил, что пчелы не собирают нектар с цветов, а «деловито осматривают ямы в земле, дупла деревьев, трещину в ветхой стене» [300]. Он осознал, что эти сборщицы сделались квартирмейстерами. Вот как он описывает их возвращение к рою:

«Если вы некоторое время отслеживаете танцы пчел-квартирмейстеров из роя и фиксируете их сообщения о местоположении подходящих мест, то вы придете к совершенно неожиданному выводу: сообщается не только об одном месте гнездования, а о разных направлениях и расстояниях, что значит: пчелы одновременно сообщают о нескольких потенциальных жилищах.

Например, 27 июня 1952 года я видел в рое танец, сообщавший о месте для гнезда в трехстах метрах к югу. Спустя несколько минут можно было наблюдать второй танец, объявлявший о другом месте для гнезда — в тысяче четырехстах метрах к востоку. За последующие два часа поступили еще пять сообщений: с северо-востока, севера и северо-запада, с различными сообщениями о расстоянии, а к вечеру того же дня пришлось зафиксировать восьмое сообщение — о месте в тысяче ста метрах к юго-востоку. На следующий день прибавилось четырнадцать новых донесений о местоположении точек для гнезд, и теперь имелся двадцать один вариант на выбор. По пчелам-квартирмейстерам с первого взгляда было видно, что они проинспектировали различные жилища: некоторые были покрыты сухой пылью, потому что зарывались в яму в земле; другие прилетели из подвала разрушенного дома — они были присыпаны красной кирпичной пылью; однажды эти квартирмейстеры прилетели, вывалявшись в саже: они обнаружили подходящее место для гнезда в узкой дымовой трубе, которая летом не использовалась» [301].

И как же взвешиваются все эти варианты? Поскольку матка всего одна (причем, возможно, эта матка одряхла и ослабела, и ей трудно летать), рой должен держаться вместе. Чтобы избежать катастрофы, он должен прийти не только к решению, но и к консенсусу. Однако так бывает не всегда. Если невозможно найти подходящее место, пчелы просто гнездятся на открытом месте, обрекая себя на верную смерть: их уничтожат хищники либо погубит

первый заморозок. Если, однако, две впадины вызывают более-менее одинаковый интерес, рой может разделиться, каждая группа последует за своей фракцией, но только в одной группе будет матка. У второй группы в итоге не будет альтернативы, кроме прекращения раскола и воссоединения с роем; часто это происходит, когда обе группы всё еще летят к своим новым жилищам [302].

В этот опасный момент выживание колонии зависит исключительно от пчел-квартирмейстеров. Линдауэр обнаружил, что выбор гнезда, как и его обнаружение, — их задача. Они — одновременно танцовщицы и последовательницы. Но донныне неизвестно, как эти квартирмейстеры «выбирают себя» среди других сборщиц и как убеждают остальную часть роя последовать за ними [303].

Как и в случае с нектаром и пыльцой, интенсивность танца отражает привлекательность ресурса.

Оживленный танец, указывающий на первосортное гнездо, может длиться часами, его продолжительность и энергичность привлекают внимание большого числа квартирмейстеров. В целом танцы в рое длятся несколько дней, иногда даже до двух недель, и чем дальше они продвигаются, тем меньше впадин, которые достаиваются отдельного балета. Наконец, если всё хорошо, подавляющее большинство танцовщиц предлагает одно и то же место, и тогда на оставшихся «инакомыслящих» уже не обращают внимания [304]. Всеобщее возбуждение охватывает колонию. Рой с маткой в центре вылетает к своему новому дому.

Но и это еще не все подробности. Во-первых, когда разворачиваются дебаты, квартирмейстеры снова посещают впадины и заново их описывают. А их мнения, вероятно, меняются. При повторном визите они, возможно, сочтут, что это место не так уж привлекательно: во впадину затекает дождь, или там обосновались муравьи, или, когда ветер переменялся, потенциальное гнездо стало уязвимым. В таких случаях энтузиазм танца остывает, и квартирмейстеры, вполне возможно, начинают поддерживать конкурирующий вариант.

Наблюдая за помеченными пчелами-квартирмейстерами, Линдауэр осознал: пчелы, которые танцуют о некоем месте относительно вяло, позднее, скорее всего, предпочтут другое, более популярное, место.

Мыслящие гибко, поддающиеся убеждению квартирмейстеры относятся к принятию решений с должной серьезностью. Вместо того чтобы верить другим танцовщицам «на слово», они лично посещают несколько мест, инспектируя их самостоятельно. Причем они не ограничиваются самыми популярными вариантами. Квартирмейстеры внимательно относятся к самым разным танцам и посещают целый ряд предложенных впадин. Только после этого, вооружившись сравнительными выводами и свидетельствами очевидцев, они окончательно решают, за какое место голосовать [305].

Джеймс и Кэрол Гулд полагают, что это взаимодействие иллюстрирует «демократический по своей сути характер определенных видов деятельности колонии» [306]. Дональд Гриффин пишет: «Эти коммуникативные обмены танцами похожи на обмены репликами в разговоре» [307]. В них есть что-то от аргументов и контраргументов на заседании комитета, предполагает он.

На меня тоже производит большое впечатление эффективность и уместность процесса, в результате которого решается этот вопрос жизни и смерти, а также пронизательность, которая в нем проявляется. Поневоле серьезно относишься к этой настойчивости, решительности и подтверждению, к этому простору для перемен мнения, для колебаний и сомнений, к этой готовности пересматривать оценки, к выкладкам на основе обязательств и компромиссов, к сравнительному мнению.

Но какого типа этот язык? И какие виды разговоров возможны на нем? Мы знаем, что ученые будут охотно говорить от имени медоносных пчел. Но могут ли эти крохотные насекомые по-настоящему высказаться от своего имени?

## 5

Зимой 1973 года, несмотря на преклонный возраст — ему было восемьдесят семь лет, — фон Фриш приехал в Осло на вручение Нобелевской премии.

В своей нобелевской лекции он вспомнил труд всей своей жизни: свою науку, своих пчел, своих коллег, — но ничего не сказал о своем языке языка. И лишь название лекции содержало намек: «Дешифровка языка пчелы» [308].

То была характерная для него замкнутость. С благоговением перед способностями пчел уживалось нежелание перейти от документирования (от естествознания, вооруженного приборами, которое могло бы просто выставлять его новых пчел на обозрение восхищенных зрителей) к более умозрительному, теоретическому подходу, который сумел бы оценить, измерить... и, возможно, счесть неполноценными эти способности. Собственно, именно благодаря этой сдержанности языковая жизнь пчел стала в его трудах самоочевидной. И именно благодаря его молчанию аналогия приобрела эффективную конкретность. Собственно, тут сработала именно эта сдержанность, даже если в большинстве случаев он скрупулезно заключал особое слово «язык» в кавычки, служившие утлым укрытием.

Итак, фон Фриш осторожничает. У пчел есть «язык», но речи у них нет — ни при каких условиях. Они не разговаривают (хотя он слушает и понимает). А когда он пишет, что исследования Линдауэра в Азии и Африке, посвященные эволюционному происхождению коммуникации пчел, — это «сравнительная филология» «диалектов» *Apis*, он следует за устоявшейся сюжетной линией. Терминология чисто описательная, сравнения ограничатся кругом медоносных пчел, а претенциозные латинские термины — знак немалой самоиронии.

И всё же, хотя иногда фон Фриш кажется ученым из совершенно другой эпохи, он прекрасно владеет регистрами теоретической биологии, столь иными по своему тону и устремлениям, и он может ими оперировать, чтобы обращаться к другому набору абстракций. Например, в 1965 году он дописывает «Язык танца и ориентирование пчел» — работу, в которой кратко подведены итоги его научных достижений. Обстоятельства вынуждают его рассмотреть онтологический вопрос во всей его полноте, и в предисловии он недвусмысленно настаивает на ограниченности аналогий:

«Многие читатели, возможно, будут гадать, уместно ли называть словом „язык“ систему коммуникации насекомых. Здесь это слово употребляется в смысле, который не следует трактовать неверно, — не следует рассматривать

информирование пчелами друг дружки как эквивалент человеческой речи. Язык человека находится в совершенно другой плоскости ввиду своего богатства понятиями и своего четкого способа выражения».

Язык пчел, заключает фон Фриш в своем самом отчетливом высказывании на эту тему, хоть и «уникален во всем царстве животных», в действительности является «педантичным и высокодифференцированным языком жестов» [309].

Но, возможно, это не столь узкое определение, как кажется вначале. Фон Фриш пишет эти слова в момент, когда язык жестов обещает ключ к загадкам невербального сознания, которое никаким иным путем недоступно. Поддавшись этой тенденции, он вводит в улей деревянную пчелу — свой собственный «протез» — и заставляет ее двигаться, надеясь, что его пчелы ответят, если он заговорит с ними на их языке. Последовательницы этой «вещи» проявляют любопытство, но не попадают на обман.

«Очевидно, у модели, — признает фон Фриш, — недоставало какой-то существенной черты, без которой ее нельзя было воспринимать серьезно» [310]. Пчелы знают, что она чужая. Они атакуют ее и многократно жалят.

Тем временем по ту сторону Атлантики психологи Аллен и Беатрис Гарднер, интересующиеся эволюцией когнитивных способностей, готовятся радушно принять шимпанзе Ушо в своем доме в Неваде, растить ее, как свое, человеческое дитя, учить ее американскому языку жестов. Вознамерившись проверить мысль Витгенштейна («Если бы лев мог разговаривать, мы не смогли бы его понять») на прочность эмпирическими исследованиями, супруги Гарднер выворачивают метод фон Фриша наизнанку и решают доказать, что «невербальные» животные могут усвоить человеческий язык и пользоваться им для общения друг с другом и со своими дрессировщиками [311].

Но, как указала дрессировщица и философ Вики Хёрн, нельзя утверждать, будто лев Витгенштейна не имеет языка как системы символов, — он просто «не умеет говорить» [312]. Немота льва предполагает непримиримое различие, индифферентность, которая не позволяет себя укротить, полноту, а не нехватку, «сознание, которое стоит вне нашего сознания», как выражается Хёрн [313]. Тем не менее именно эту феноменологическую пропасть решается перейти фон Фриш; правда, он не столько разгадывает шифры, сколько проецирует свои (и Линдауэра) самые сокровенные желания, поскольку, когда его принуждают сделать уступку языку науки — поступиться языком пчел, он тоже вынужден говорить зашифрованными словами.



Медоносные пчелы, как и лев Витгенштейна, не говорят с нами. Фон Фриш просто научил нас, как их подслушать. И — шепотом — рассказал нам, что, даже если их язык танца проявляет автоматизированность, свойственную

шифру, мы не должны полагать, будто их мир коммуникации исчерпывается теми сигналами, которые мы способны воспринять.

Разумеется, это не просто мучительная попытка понять значение «слов» животного, — это мучительная попытка понять, что значат сами животные. И эта борьба долгое время идет в сфере языка. Фон Фриш, хоть он и не был философом, понимал это даже слишком хорошо. В западной философии после эпохи Просвещения (и в этом смысле традиция примечательно картезианская) язык — отсутствие языка — по-прежнему обозначает подчиненное положение (а не просто инаковость) животного [314]. Мог ли фон Фриш выразиться яснее? Этот язык танца реституционен, это апелляция к этике обоюдности и признания, призыв уважать других животных, не являющихся человеком: уважать животных вообще и удивительных медоносных пчел в частности.

«Десяток лет терпеливых наблюдений понадобилось Карлу фон Фришу, — писал Жак Лакан после бруннвинкльских экспериментов, — чтобы расшифровать код этого сообщения: ведь речь идет именно о коде, то есть о системе сигнализации, которую лишь родовой ее характер мешает рассматривать как произвольную» [пер. с франц. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 1995] [315]. Лакан хочет объяснить нам: код соотносится с языком точно так, как природа с культурой, а животное — с человеком. Пчелы, подвластные жестким инстинктам, находящиеся под давлением, олицетворяют запрограммированную, механическую природу, которая ярко контрастирует со сложно устроенной спонтанностью человеческой культуры [316]. И действительно, они позволяют довольно сурово провести эту границу.

Аргумент не нов: животные могут жестиковать, но не могут лгать. Могут реагировать, но не могут отвечать [317]. Могут общаться, но не могут участвовать в метакоммуникации второго порядка, столь привычной для человека. Они не могут обозначать обозначение, мыслить о мышлении и, если уж на то пошло, не могут танцевать о танце [318].

Это общепринятое утверждение — настойчивое заявление гуманиста об отсутствии языка у животного. И, поскольку оно формулируется в неприводимо человеческих терминах, его невозможно опровергнуть (хотя оспорить можно: например, в атмосфере сотрудничества в улье трудно вообразить, зачем пчела стала бы утаивать местонахождение источника пищи; и, кстати, именно своей «честностью» пчелы так полюбили Линдауэру, верно?).

Но цель не в том, чтобы заставить пчел заговорить, чтобы заставить их выболтать нам свои секреты, как Гарднерам хотелось узнать от бедняжки Ушо ее секреты. Не стоит и воображать, будто крохотные медоносные пчелы в чем-то такие же, как мы, что их мир в чем-то соответствует нашему, что быть пчелой — в чем-то всё равно что быть человеком, который просто оснащен иными сенсорными приборами. Будто наше общее эволюционное происхождение, наши переплетенные истории, уходящие вглубь, даруют нам и общую онтологию.

Возможно, вместо этого достаточно указать, что «репертуар» медоносных пчел выходит за пределы функциональных объяснений и биохимической предсказуемости, что чем больше ученые узнают о когнитивных способностях и поведении медоносной пчелы, тем менее уместна и эффективна метафора



машины (картезианское понятие животного как машины, образ, который сегодня сплошь и рядом выражается в терминах информатики)? По крайней мере, в данном случае кажется, что язык (или его отсутствие) — неподходящая примета внутренней жизни. И, похоже, тезис, что язык (человеческий язык) — это «беспрецедентный индуктивный двигатель», сам порожден заикленностью на языке, он больше говорит нам о сотворении животного в сфере языка, чем о том живом животном, которое якобы является предметом научного исследования [319].

Как в подобных терминах мы можем истолковать «спазматический танец» пчел, который является «скорее выражением „настроения потанцевать“, чем эффективным сигналом»? Или «трясущийся танец», который, по словам фон Фриша, «ничего не говорит пчелам», но проявляется в моменты стресса и, как представляется, указывает на что-то вроде невроза? Или «дергающийся танец», который фон Фриш считает «проявлением радости и удовлетворенности»? [320] Или, кстати сказать, «танцы о гнездах», описанные Линдауэром, каждый из которых вмещивается в более масштабный, общественный процесс принятия решений?

Но для меня это уже потемки. Я, как и фон Фриш, предпочитаю избегать коварного и бурно дискутируемого вопроса о языке и когнитивных способностях. Термины слишком буквальны. Условия слишком необъективны. Смешивание инаковости и неполноценности слишком повсеместно.

Лакан, как и многие другие, цепляется за посулы этой границы между шифром и языком, за обещание, что бегство возможно, что есть способ оторваться от животного и сделаться всецело человеческим субъектом.

А за инклюзивность играет когнитивная этология Гриффина с ее твердой решимостью возродить достоинство, деятельность и сознание у животного; ее орудие — скромность в методологии и построении теорий; она приходит к своему небесспорному гуманизму, идее «вернуть речь», предоставить животному права меньшинств, точно мыслящему ребенку; это странное, лаконичное повторение того исторического периода, когда формировались колониальные иерархии [321].

Такова дилемма фон Фриша. Он знает, что его пчелы не говорят так, как люди, он знает, что их «язык» меньше — но также больше — его собственного. И он знает, что его новая научная дисциплина дает простор только для того, чего меньше. Где в рамках рациональности своей науки он мог бы найти язык, чтобы выразить глубокую общность жизни и неустранимый факт общей смертности? Где мог он найти его двойника — язык для выражения инаковости, для которой не существует слов? И где в рамках рациональности своей науки он мог бы найти язык, на котором мог бы понять отсутствие языка не как дефицит, а как что-то иное?

(Пожалейте животное, которое живет только в качестве тени человека, животное, вынужденное реагировать, а не отвечать, животное, чья задача — отдавать человеку свою плоть, дух и значение, антропологизированное животное, чья печальная судьба состоит в том, чтобы быть «Другим» для человечества.)

«Ведь нет никаких оснований, — говорит Жак Аустерлиц, герой одноименного романа В. Г. Зебальда, — отказывать более простым существам в наличии у них своей душевной жизни» [пер. Марины Кореневой й. — *Ред.*] [322]. Вспоминая ночи своего детства, он гадал: видят ли мотыльки сны? Знают ли они, что сбились с дороги, когда, введенные в заблуждение пламенем, залетают в дом, чтобы умереть? Какой вопрос задавал фон Фриш: «Может ли медоносная пчела говорить?» Нет, не так. Вначале он подумал: «На самом деле нет никаких оснований предполагать, что медоносные пчелы лишены языка». А потом он спросил: «Что говорит она, мой маленький товарищ?»

Пожалейте медоносных пчел. Пожалейте и защитите. Нет никакого толку от их индифферентности. Они безнадежно заперты в языке. Медоносные пчелы и мы: нас держат вместе, нас расталкивают в разные стороны. Даже фон Фриш, даже Линдауэр, любившие их так нежно, находившие в них спасение от ужасающих зверств своей эпохи... помните, что они делали, чтобы доказать способности своих малюток?

Но хватит парадоксов: дать пчелам язык — это одновременно прославить их инаковость и обречь их на невероятность, приговорить их к статусу чистой подражательности, в которой они могут только потерпеть неудачу, (ошибочно) принять «самореферентность языка за парадигму самореферентности в целом» [323]. Но, конечно, человеку свойственно ошибаться (возможно, это свойственно особой «научной» породе людей, но они всё равно люди), а ошибка в том, что человек способен вообразить себе социальность и коммуникацию лишь через нечто наподобие языка и при этом утверждает, что мы — вершина всего этого. Как глупо судить о насекомых — таких древних, таких разнообразных, таких талантливых, таких успешных, таких красивых, таких удивительных, таких загадочных, таких неведомых существах — по критериям, которым они никогда не смогут соответствовать и которые никак не могут их волновать! Просто умора — игнорировать их достижения и вместо этого сосредотачиваться на их предполагаемых недостатках! Какая плачевная скудость воображения — видеть в них всего лишь ресурсы нашего самопознания! Как печальна печальная-печальная печаль, когда у нас нет подходящего языка, чтобы ее выразить.

## М

### Мои кошмары My Nightmares

Долгое время я думал только о пчелах. Они вытеснили всех остальных, и эта книга сделалась книгой исключительно о них. «Книгой пчел», книгой обо всей их пчелиности. Все эти физические возможности, все эти тонкости поведения, и загадки высокоорганизованности, и товарищество. Весь этот золотой пчелиный воск свечей, озарявших древний мир. Весь этот мед, который подсластил жизнь средневековой Европы. Все эти пчелы — вечные образцы для самых разнообразных затей и идеологий человечества. Пчелы захватили власть.

Но тут в мою гостиную вторглась орда крылатых муравьев, а когда они улетели, я задумался о саранче, а потом о жуках — сколько ж этих жуков! — а потом о ручейниках, долгоножках, плодовых мушках, носоглоточных оводах, стрекозах, поденках, мухах комнатных и всех прочих многочисленных мухах. Потом, по цепочке ассоциаций, я набрел на сверчков полевых, медведок и иерусалимских сверчков, как по-английски называют семейство *Stenopelmatidae*, а потом Джесси прислала мне из Новой Зеландии экземпляр уэты. А потом в Огайо выбрались на поверхность цикады с семнадцатилетним жизненным циклом, а я открыл для себя трипсов и углокрылых кузнечиков, припомнил тлей на калифорнийских розах и летних ос, тонущих в заполненных водой банках от варенья, а потом — термитов, и шершней, и ухверток, и скорпионов, и божьих коровок, а еще богомолы, которых можно купить расфасованными в пакеты в магазинах для садоводов. А еще комары: комары-долгоножки и комары-«коротконожки»... А бабочек — дневных и ночных, таких и сяких — даже чересчур много. И я припомнил то, что мы все знаем и так: насекомые бесчисленны, им нет ни конца, ни краю, по сравнению с ними мы — только прах, но это еще не самое страшное.



Есть кошмар плодovitости и кошмар полчищ. Есть кошмар неконтролируемых тел и кошмар, в котором они заполняют наши тела изнутри и наваливаются на них снаружи. Кошмар неохраемых проходов внутрь и кошмар уязвимых мест. Кошмар инородных тел в наших кровеносных жилах и кошмар инородных тел в наших ушах и глазах и под нашей кожей.

Есть кошмар роения и кошмар ползания. Кошмар зарывания внутрь и кошмар свечения в темноте. Кошмар, когда включаешь люстру, а ковер под твоими ногами разбегается в разные стороны. Кошмар неразумных существ и кошмар неспособности объясниться. Кошмар о том, что кто-то рыщет, преследуя нас.

Кошмар знания и кошмар неузнавания. Кошмар, в котором не видишь лица. Кошмар, в котором ты не имеешь лица. Кошмар, когда слишком много конечностей. Кошмар, когда есть все эти черты плюс незримость.

Есть кошмар затопления и кошмар заплонения. Есть кошмар о вторжении и кошмар об одиночестве. Есть кошмар чисел — больших и малых. Есть кошмар превращения и кошмар упорства. Есть кошмар сырости и кошмар сухости. Есть кошмар яда и кошмар паралича. Есть кошмар надевания обуви и

кошмар разувания. Есть кошмар, скользящий, как змея, и тот, который ходит вспять. Есть кошмар извивающийся и кошмар хлюпающий при раздавливании. Есть кошмар неприятного сюрприза.

Есть кошмар исполинства и кошмар преображения. Есть кошмар заточения в чужом теле, заточения безвыходного, необратимого. Есть кошмар покинутости и кошмар социальной смерти. Есть кошмар отвергнутости. Есть кошмар гротескности.

Есть кошмар неуклюжего полета и кошмар лязгающих крыльев. Есть кошмар спутанных волос и кошмар открытого рта. Есть кошмар длинных, ощупывающих тебя усиков, которые появляются из переливной трубы в ванне или, что еще хуже, высовываются из-за обода унитаза. Есть кошмар огромных пустых глаз. Есть кошмар случайности и заставания врасплох.

Присесть — кошмар, перевернуться на другой бок — кошмар, встать на ноги — тоже кошмар.

Есть кошмар о вооруженных силах, которые финансируют почти все фундаментальные исследования насекомых, кошмар о зондах в мозгу и бритвах в глазу, кошмар, который гласит: если ученые докопаются до секретов нашествия саранчи, или до секретов ориентации пчел в пространстве, или до секретов добывания пищи муравьями, эти секреты породят другие секреты, кошмары — другие кошмары, куколки — других куколок, и родятся насекомые с микроимплантами, насекомые, которые уже не насекомые, а полунасекомые-полумашинны, вооруженные насекомые-шпионы с дистанцированным управлением, мотыльки для боевых вылетов, жуки-нелегалы... Не говоря уже о роботах-насекомых, кошмарных насекомых массового производства, массового развертывания, массового суицида.

Есть кошмары, навевающие мечты о грядущих войнах, о войнах между насекомыми, где не будет уязвимых центральных штабов, войнах, где войска сосредотачиваются и рассеиваются, отвердевают и растворяются, войнах децентрализованных, разветвленных, структурированных вокруг неких сетей, войнах без потерь (по крайней мере, с нашей стороны), сны об Усаме Бен Ладене, сидящем где-то в пещере.

Есть кошмары о незримых террористах, роящихся, и нет им числа, проникающих в сокровенные места в моменты уязвимости. Кошмары нашей эпохи, кошмары о вылуплении из яиц, об «улье зла», о породе злодеев, о суперорганизме, который сильнее, чем сумма составляющих его индивидов: «Он роится по собственной инициативе: особи сходятся к нескольким мишеням, выступая из разбросанных точек, а затем рассеиваются только для того, чтобы образовать новые рои» [324]. Кошмар языка. Языка пчел. Кошмар плодит кошмары. Рой плодит рои. Мечты плодят мечты. Террор плодит террор.

Пчелы — где они теперь? Чахнут в своих колониях, скользят по пластиковым лабиринтам, вынюхивают взрывчатку, упиваются сахарной водой, жиреют и слабеют от кукурузного сиропа, запертые в коробочках в аэропортах, высовывающие язычки по команде. «Кто знал, что эта мелюзга такая сообразительная?» — сказал журналист.

Маленькие пушистые нюхачи. Ж-ж-ж-ж-ж. Охраняют наш покой. Их заботами мы можем спокойно спать по ночам.

# N

## Непал

### Nepal

А потом однажды утром я проснулся и, словно во сне, покинул Лондон вместе с моим другом Греггом и взял курс на север Индии и Непал. Мы планировали несколько месяцев путешествовать вместе, но спустя пару недель Грег вернулся домой, а я отправился дальше в Непал вместе с другим своим другом, Дэнном, который, как и я, заработал на билет в местной больнице — был грузчиком. В общем и целом я странствовал полгода, но теперь с удивлением обнаруживаю, что от той поездки у меня осталось не так-то много воспоминаний, а фотографий вообще ни одной. Возможно, так бывает, когда путешествуешь без определенной цели, либо, как минимум, когда твоя единственная цель — смутная жажда приключений, порожденная смутным ощущением своей избранности. Я хорошо помню, что Дэн был охоч до наркотиков и что после его приезда мы с ним курили более или менее постоянно: просыпались — закуривали и так курили, пока не ложились спать. Мы жили в состоянии обостренного чувственного восприятия (хотя про наши аналитические способности нельзя было так сказать).

В те времена город Покхара состоял почти что из одной главной улицы, в конце которой отвесно высилась, царя над всем остальным, умопомрачительная громада Аннапурны. Когда небо очищалось от облаков, казалось, что гора вот-вот опрокинется и погребет под собой всё. Мы прожили там день или два в рабочем общежитии, а затем решили отправиться в горы. Каким-то образом — точно не знаю, как нам это удалось, — мы подружились с непальцем, нашим ровесником, который согласился нас сопровождать, и мы отправились в путь пешком. У меня нет никаких фотографий, писем или дневников из этой поездки, но если я сосредотачиваюсь на некоем предмете, а от него перехожу к другому, а затем к следующему, я продуцирую воспоминания. Водопад, спадающий с утеса; после водопада наши тела были облеплены черными пиявками, и мы избавлялись от них, прижигая их сигаретами. Женщина свернула шею курице, чтобы накормить нас ужином, а мы почувствовали себя неловко, потому что целая курица — это было слишком много, а женщина отказывалась от денег. Деревянный дом на горном склоне, где после ужина маленький мальчик пытался продать мне свою сестру на одну ночь. Поджаренный хлеб и соленый чай с животным маслом. Широкие скалистые долины. Хлопанье тибетских молитвенных флагов на веревках. Когда я впервые увидел поразительную первую сцену в фильме Вернера Херцога «Агирре, гнев божий», мне вспомнились караваны мулов, попадавшие нам по дороге: как они пробирались по горным склонам. Когда я услышал в эфире «Би-би-си», что маоисты наконец-то пришли в Катманду и вошли в правительство страны, я вспомнил женщин, которые умоляли нас дать денег для их больных детей, которые объясняли, что фельдшерский пункт закрылся, которые показывали нам своих малышей — вялых, покрытых язвами, с раздутыми животами; глядя на них, мы почувствовали себя бессильными, невежественными олухами,

которые забрели туда, где им не место; я поклялся себе, что никогда больше в такие путешествия не отправлюсь.

Сегодня вечером, спустя тридцать лет, на Манхэттене, я сижу в хвосте автобуса «М5», водитель поворачивает с Семьдесят второй улицы на Риверсайд-драйв, и мы несемся в сумраке мимо величественных домов, стоящих, как швейцары, справа, и призрачного парка слева, а река и автострада нам не видны: они внизу; и вдруг я вспоминаю, сам не зная почему, совершенно другое впечатление от поворота высоко в горах, невероятно солнечным утром: мы втроем беспечно шагали по каменистой тропке, под нами расстилалась долина, над нами высились горные пики, где-то наверху белели, совершенно ирреальные, снега Гималаев, а к нам со смехом, кувырком бежала ватага детей — наверно, за дровами, подумали мы, — и девочка лет десяти, вспомнил я теперь, самая старшая в этой маленькой компании, остановилась перед нами, вытянув вперед руку, свой сжатый кулак, велела мне подставить ладонь и с неудержимым хихиканьем, которым заразились и мы, разжала кулак и уронила мне на ладонь какой-то шарик, сжавшийся живой шарик, что-то многоцветное и живое, и оно уселось, неподвижное, как камень, укрываясь от этого яркого-яркого света, у него был сегментированный панцирь, похожий на свернувшееся в клубок морское животное или на какой-то особенный драгоценный камень, это было какое-то очень редкое существо, а после того, как я разглядывал его некоторое время, не понимая, что это, зачем оно на моей ладони, девочка подхватила его, всё так же свернувшееся в клубок, и, продолжая хихикать, широко-широко размахнулась и — прежде чем я успел что-то сказать — подбросила это существо высоко-высоко, далеко-далеко, и оно унеслось по спирали над склоном, бороздя разреженный воздух, и упало вниз, головокружительно, в буро-серую долину под нами, а девочка убежала с хохотом, кружась так и сяк, но оставаясь на ногах; стайка маленьких приятелей со своими узелками умчалась, смеясь, не оглядываясь назад.

## О

### On January 8th, 2008, Abdou Mahamane Was Driving Through Niamey...

### Когда 8 января 2008 года Абду Махамане ехал по Ниамею...

#### 1

Восьмого января 2008 года Абду Махамане, исполнительный директор первой в Нигере независимой радиостанции R et M, ехал домой по Ниамею, столице страны. Примерно в полдесятого вечера, когда он въехал в предместье Янтала на западе города, его тойота наткнулась на фугас, закопанный под грунтовой дорогой. Радиостанция объявила без обиняков: «Нашего коллегу разорвало в ключья». Женщина, ехавшая с ним в машине, выжила, но получила серьезные травмы.

Мы с Каримом только что сошли с автобуса в Маради, в шестистах семидесяти километрах восточнее Ниамея, и смотрели новости вместе с еще тремя-четырьмя постояльцами в тускло освещенном гостиничном баре. «Я каждый вечер езжу домой по этой дороге», — потрясенно выдохнул Карим. На большом плоском экране телевизора толпа безмолвно созерцала воронку, подсвеченную прожекторами, и измятый остов машины журналиста. В студии, сидя на фоне фотографии горящего автомобиля, которую, верно, кто-то сделал телефоном, пресс-секретарь правительства клеймил «Движение нигерцев за справедливость» (ДНС) и призывал законопослушных граждан искоренить зло, которое угнездилось в их рядах. Со своей стороны, ДНС, движение туарегов, которое в феврале 2007 года подняло вооруженный мятеж на севере Нигера, обвинило режим президента Мамаду Танджи в том, что он сам устанавливает фугасы, чтобы разжигать эскалацию небезопасности и насилия, и затягивает очередную фазу многолетнего конфликта, потому что отказывается вступать в переговоры.

В гостиничном баре царили сомнения, контрсомнения и вдумчивое молчание. В столице это был первый теракт, но месяц назад здесь, в Маради, подорвались на противотанковых минах два человека, а в городе Тахуа были ранены еще четверо. Два месяца назад в окрестностях Агадеса, крупного города на севере страны, пострадал автобус, битком набитый пассажирами. В том, что правительство враждебно относится к независимым журналистам, сомнений не было: в тот момент два нигерских и два французских репортера содержались в одиночном заключении за то, что сунулись в зону деятельности повстанцев, где действовало военное положение. Но кто мог сказать, специально ли охотились на Абду Махамане или он пострадал случайно? И, в любом случае, кто мог быть уверен в том, на кого работают эти убийцы? Из радиоприемника прозвучало: люди «ходят на цыпочках», все «боятся, что их разнесет в клочья».

Однако, как прекрасно известно нигерцам, есть много разных обстоятельств, при которых тебя может разорвать в клочья, есть много разных причин опасаться за свою безопасность и испытывать ужас. Эти фугасы и этот страх — всего лишь два из множества путей, по которым волнения распространялись по стране. При первом знакомстве Карим лаконично посвятил меня в тонкости политической жизни Нигера. Добро пожаловать в Нигер, сказал он, в большую страну с малочисленным населением, в бедную страну, богатую полезными ископаемыми, в слабую страну с сильными соседями.

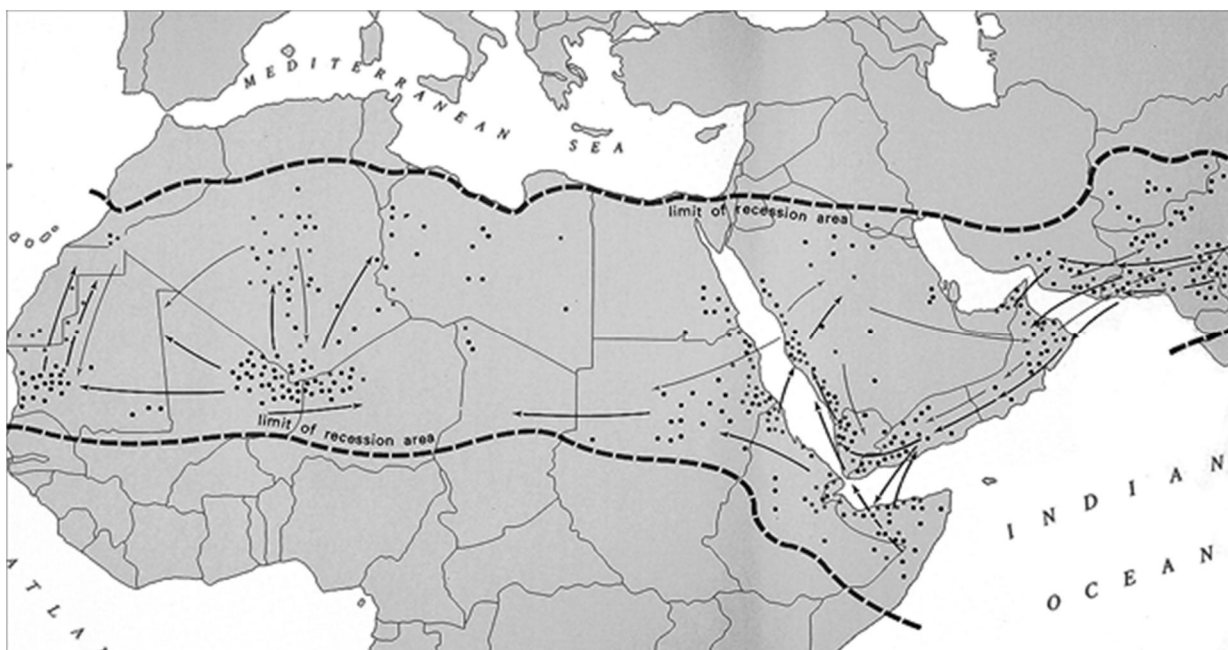
Примерно двумя днями раньше мы вдвоем проехали на такси через построенный на деньги США мост Кеннеди, переброшенный через реку Нигер в Ниамее, и прогулялись по студенческому городку Университета Абду Мумуни, где кипит жизнь. Карим учился там на юриста до 2001 года, когда университет закрылся из-за того, что студенты забастовали. Карим уехал, чтобы продолжить учебу в Нигерии и Буркине-Фасо. У него до сих пор много друзей в университете, и мы часто останавливались, чтобы поздороваться. Парни, собравшись кучками на солнце у своих общежитий, слушали радио, разговаривали о политике, стриглись. Девушки проходили мимо, взявшись за руки.

В кабинете, полном книг, расположенном на первом этаже двухэтажного красного кирпичного здания, где находится факультет естественных наук, мы познакомились с Махамане Сааду, профессором биологии растений. Еще раньше Карим терпеливо объяснял мне, как политическая нестабильность на севере Нигера порождает произвольные вспышки насилия и психические расстройства, как она обрекает национальную экономику на отсталость, препятствуя освоению подземных богатств (месторождений урана и нефти), как она расширяет возможности для геополитических козней Франции — бывшей колониальной державы, а также Ливии и других соседей. Профессор Сааду выслушал мой рассказ о замысле этой книги, а Карим пояснил, что мы проведем две недели вместе, беседуя с жителями Ниамея, Маради и окрестной сельской местности о саранче: что делают эти насекомые, что люди делают с ними, что они значат и что они порождают здесь, в Нигере. Когда мы договорили, профессор Сааду сказал нам, что и фугасы, и саранча плодят страх, причем не только поодиночке, но и сообща.

Из-за политического противостояния и нешуточной опасности стать жертвой похищения, сказал профессор Сааду, группы, которые на зарубежные деньги борются с саранчой в Агадесе, вблизи плато Аир и наступающих песков Сахары, редко покидают свои базы. А если покидают, то лишь для кратких полевых вылазок. Они не в состоянии выполнять свою работу, и — поскольку где тонко, там и рвется — нет толку и от замысловатой «транс-Сахелианской» сети слежения за саранчой, этой системы раннего предупреждения, которая должна защищать тех, кто живет по соседству с этой зоной, — а это не только зона конфликта, но и зона распространения, точка, откуда *criquet pèlerin* — самый губительный вид сахелианской саранчи — прорывается на запад и на юг, в сельскохозяйственные регионы.

Собственно, продолжал профессор, если вы изучите атлас распространения пустынной саранчи и всмотритесь в карты ее «района рецессии» — зоны, где саранча размножается и скучивается, зоны, откуда полчища отправляются на поиски более влажных и зеленых кормовых угодий; зоны, покрывающей около шестнадцати миллионов квадратных километров в широком поясе, который идет через Сахель и Аравийский полуостров, достигая Индии; единственной зоны, где, возможно, есть слабый шанс обуздать развитие насекомых, — вы четко увидите, что многие из важнейших очагов находятся в местах, куда сейчас невозможно добраться из-за вооруженных конфликтов: север Нигера, восток Мали, север Чада, Мавритания, Сомали, Судан, Афганистан, Ирак, запад Пакистана... Список длинный, уже знакомый и в этом контексте глубоко удручающий.





В другой части студенческого городка, на факультете филологии и общественных наук, профессор Бурейма Альфа Гадо рассказал похожую историю. Альфа Гадо — историк, ведущий специалист по голоду в Сахеле, автор авторитетной работы на эту тему [325]. Он рассказал, как определил по рукописям, которые хранятся в Тимбукту (древнем центре мусульманской и домусульманской учености), моменты бедствий начиная с середины XVI века. Чтобы описать катастрофы XX века, он опрашивал сельских жителей. Так он выстроил хронологию сильного голода, выявил ключевые факторы (основные — засуха, саранча и перемены в сельскохозяйственной экономике) и их изменчивые взаимодействия.

Исследования профессора Гадо обнажили аграрное общество, которое столкнулось с крайней нестабильностью, уязвимое перед превратностями дождей или их отсутствия, эпидемиями среди людей и животных, а также вспышками размножения среди насекомых. Его работа подтверждает тот очевидный факт, что природные бедствия обостряют уже существующие проблемы — уязвимые места и неравенство в социуме, а природа как таковая (в данном случае ее развитие предопределяется опустыниванием и засухой, которая, в свою очередь, спровоцирована климатическими изменениями) далека от невинной естественности. Профессор тщательно и подробно описал локальные социальные аспекты этих событий — политику колониальных и постколониальных властей, которая увеличила подверженность сельчан голоду и снизила их сопротивляемость заболеваниям и нашествиям насекомых. Не умолчав о немногочисленных, слишком недолговечных периодах относительного процветания, Альфа Гадо описал состояние повседневного истощения, которое прерывалось катастрофами, когда количество умерших «неисчислимо». Как и Махамане Сааду, он нарисовал картину ужасов, которые накладываются друг на друга, картину вечного пребывания на краю пропасти: это скорее состояние, чем событие, состояние со своими ритмами, историей и долговременными последствиями.

Саранча дважды появляется в знаменитом романе Чинуа Ачебе «И приходит разрушение». Это книга о том, как британский колониализм вторгается в сельскую жизнь в дельте Нигера в конце XIX века. Первое появление саранчи: «На землю упала тень, будто солнце спряталось за темную тучу». Деревня Умуофия напряженно замирает, ожидая тьмы, которая наступает, разламывая горизонт. Или не замирает?

«Внезапно Оконкво поднял голову, удивленный, что в такое необычное время года собирается дождь. Но тут же со всех сторон послышались радостные крики, и вся Умуофия, сбросив с себя полуденную дремоту, ожила и пришла в движение.

— Саранча, саранча! — ликовали вокруг.

Мужчины, женщины, дети, побросав работу и игры, выбегали на улицу посмотреть на это необычное зрелище. Саранча не прилетала уже много-много лет, так что никто, кроме стариков, никогда ее не видел».

Вначале насекомых было мало: «Это были высланные вперед разведчики». Но скоро в воздухе стало тесно от гигантской стаи: «Великолепное зрелище, полное силы и красоты».

Вся деревня ликует, когда саранча решает сделать здесь остановку. «Она сидела на каждом дереве и на каждой травинке, на крышах домов и просто на земле. Толстые ветви деревьев обламывались под ее тяжестью, и всё вокруг словно покрылось бурым налетом: так несметны были полчища голодной саранчи» [326]. На следующее утро, до того, как солнце успело согреть тела насекомых и высушить их крылья, все деревенские вышли наружу и стали набивать мешки и горшки, набирать насекомых, сколько влезет. Наступили беззаботные дни, люди только и делали, что пировали.

Но Чинуа Ачебе рассказывает историю о разрушении. Радость оборачивается неумолимой болью, закрепленной в истории. Туча зависает над Умуофией, отбрасывая тень на будущее деревни. Удовольствия тесно связаны со своими роковыми противоположностями. Пока вся деревня радостно объедается неожиданной добычей, в дом Оконкво приходит делегация старейшин. Они официально отдают приказ об убийстве его любимого маленького воспитанника, и это убийство, точно ржавчина, разрушает семью Оконкво. Во второй раз саранча появляется, когда Оконкво живет в изгнании.

Его друг Обиерика приходит к нему с новостью. В соседней деревне появился белый человек. «Альбинос», — предполагает Оконкво. Нет, это не альбинос. «Те, кто увидели его первыми, помчались от него со всех ног, — говорит Обиерика. — Старейшины посоветовались с Оракулом, и Оракул сказал, что чужой человек расколется их клан и будет сеять среди них разрушение». И продолжает: «Совсем было забыл сказать: Оракул предупредил их еще вот о чем. Следом за белым человеком, сказал он, придут другие белые люди. Это саранча, сказал Оракул, и первый белый — лишь высланный вперед разведчик. Вот они и убили его» [327].

Они его убили, но действовать было поздно. Скоро прибыло неисчислимое полчище белых людей. В этой истории нет ни капли неоднозначности. Удовольствия скоро облагаются налогом. Всё становится унылым; унылость истории предрекается заранее. Унылость повседневной жизни среди саранчи.

Трудно вообразить себе что-то за пределами этого ужаса, можете сказать вы (вполне обоснованно).

Скоро прилетят неисчислимые полчища захватчиков, и всё переменится необратимо.

### 3

Какие радушные хозяева Махаман и Антуанетта! Мы сидим в буйном тропическом саду у них во дворе в Ниамее и разговариваем о *les criquets*. Мы пытаемся установить, к какой именно категории еды они относятся. Все сходятся на том, что саранча — особая еда. Но это особый род особой еды, не чета особенным хрустящим медовикам, которые Махаман только что привез из Эфиопии, которыми он настойчиво угощает меня и Карима. *Criquets* — это еда для компании, говорит Антуанетта. Наподобие арахиса, но это не еда для вечеринок. Хм-м-м. Короткая пауза. Что ж, важно то, какие они на зуб, — хрустящие! И спонтанные. В каком смысле? Понимаете, здесь мы покупаем продукты не в супермаркете, а на уличных рынках, так что мы ходим за покупками каждый день. Это экономика день ото дня. Мы видим на рынке *criquets* и, возможно, думаем: «Куплю немножко!» Несем домой и готовим на растительном масле с перцем чили, щедро солим. Вкуснятина! Это спонтанное лакомство. Еда для развлечения, угощение, которым радуют себя и друзей. Друзей, родных. Еда как социальная смазка. Та еда, которую ты ешь просто потому, что хочется.

Это нигерская еда, добавляет Махаман. Когда наша дочь уезжает учиться во Францию, она всегда просит нас присылать ей *criquets*. Именно по ним она больше всего скучает: это самый отчетливый вкус родины. Да, кивает Карим, по ним все скучают, мы посылали моей сестре посылки, когда она тоже жила во Франции. А помните, говорит он мне, что сказал этим утром мужчина, который торговал этими насекомыми цвета ржавчины, хрустящими даже на вид, на сонном рынке за университетом: «Пожарьте их, обсыпав солью, и возьмите с собой в Нью-Йорк, поделитесь ими с каким-нибудь нигерцем, который скучает по родине, — порадуйте его!»

За такими разговорами мы быстро устанавливаем, что *criquets*, как и многие другие продукты и блюда, утоляют не только физический голод, но и духовную жажду. Если вы едите *criquets*, это делает вас настоящим нигерцем. В Чаде их тоже едят, говорит Карим, но там качество пониже. А в Буркине-Фасо их не ест никто, только студенты-нигерцы привозят их из дома через границу, и в Уагадугу их кое-кто уже распробовал. Но туареги их не едят, говорит кто-то, еще больше запутывая национальный вопрос. И, появившись как по заказу, широко улыбаясь, прикрывая за собой садовую калитку, директор LASDEL (научного института, который пригласил меня сюда) говорит: «Да, истинная правда, мы, туареги, не едим никаких мелких животных!»

Особая еда, соглашаемся мы все, и на рынках в Ниамее и Мареди это совершенно ясно. По подсчетам ООН, 64% жителей Нигера живут менее чем на один доллар США в день (в пересчете на местную валюту). Режим с трудом удерживает власть. Как властям раздобыть ресурсы, чтобы обеспечить себе поддержку населения, когда 50% потенциального годового бюджета уходит

напрямую международным организациям развития? Правительство оспаривает статистику ООН, а также показатель в индексе человеческого развития 2007 года — 0,374, означающий, что Нигер находится на сто семьдесят четвертом месте из ста семидесяти семи изученных стран, и индекс матерей организации «Спасем детей» за 2007 год, согласно которому Нигер на сто сороковом месте из ста сорока стран, и 40% детей в Нигере недоедают, средняя продолжительность жизни женщин — сорок пять лет, а каждый четвертый ребенок не доживает до пяти лет. Пресса расценивает эти цифры как позор страны и — более напористо — как проявление враждебности со стороны международного сообщества [328]. Однако с какой стороны ни взгляни, в такой обстановке риторика кризиса невыгодна правительству. Возможно, некоторые из этих цифр можно оспорить, поскольку экономика в Нигере преимущественно аграрная, далекая от простой модели на основе наличных денег. Но совершенно ясно: если не считать сотрудников международных организаций, преуспевающих торговцев и политиков, то мало у кого из нигерцев есть большой располагаемый доход.



И всё же в январе 2008 года торговцы на многочисленных рынках Ниамея продавали миску сушеных *crickets* за тысячу КФА. Эта сумма в два с лишним раза выше, чем дневной доход большинства нигерцев по оценкам ООН [329].

*Crickets* — еда особая. И недешевая.

Для торговли саранчой январь — не лучший сезон. После праздников — Курбан-Байрама, Рождества, Нового года — у людей остается мало лишних денег на то, чтобы баловать себя *crickets*, покупают их понемножку, не целую миску (*tia*), а какую-то часть. Туго не только с деньгами. На рынке вообще мало насекомых. Прошло много времени с сентября — пика предложения в конце сезона дождей, когда на рынках полно торговцев саранчой и цены снижаются до пятисот КФА. Сейчас, как мы вскоре обнаруживаем, *crickets* в деревнях осталось мало, а через месяц уже никто не будет привозить их в город.

Мы беседуем со всеми лоточниками, которые торгуют насекомыми в Ниамее. Некоторые закупают товар в соседних торговых городах — Филинге и Тиллибери, другие берут товар у других торговцев на больших рынках Ниамея, третьи просто скупают оптом то, чем торгуют их соседи на том же рынке. Но большинство говорит, что их *crickets* привезены из Маради, и все советуют нам отправиться туда. Вот откуда присылают этих насекомых, вот где вы найдете

сборщиков, которые спозаранку выходят в буш, вот где базируются крупные поставщики.

Мне нравится бегать по Ниамею вместе с Каримом. Тут так много можно увидеть и узнать. Я восхищаюсь рынками, изумленно обнаруживаю, что могу опознать лишь малую толику овощей и фруктов, выставленных на продажу. Эти растения попали сюда благодаря эволюции, которую я даже не могу вообразить! А тут же продаются товары, которые могут оказаться и животными, и растениями, и минералами, — я в замешательстве. Никак не могу догадаться, для чего они предназначены, пока Карим не разъясняет: эти аккуратно сложенные шарики из крапчатого стекла — на самом деле капли древесной смолы, которая служит отличной жевательной резинкой, а эти темные шероховатые теннисные мячи — измельченный и спрессованный арахис, из него готовят соусы, а эти бутылки с мутной жидкостью — контрабандный бензин из Нигерии.

Мы с Каримом находим друг другу массу занятий: посещаем рынки, университет и государственные учреждения, знакомимся с самыми разными интересными людьми: не только с учеными и торговцами, но и с чиновниками, сотрудниками организаций развития, исследователями насекомых, любителями еды из насекомых, разговорчивыми попутчиками в маршрутках. Мы извлекаем максимум выгоды из гостеприимства Махамана и Антуанетты. Но это всё ненадолго. Спустя несколько дней в полчетвертого утра мы жмемся друг к другу на запруженном людьми автовокзале. Холодно, глаза слипаются, настроение слегка раздраженное; кажется, что автобус на Маради никогда не придет.

#### 4

Первые несколько дней в Ниамее мы провели, пытаюсь разгадать парадокс Ачебе: как могут эти насекомые приносить одновременно пир горой и голод? Как они могут быть предвестниками и жизни, и смерти, приносить и радость, и страдание? Наши знакомства и наши разговоры множились, и постепенно мы стали задавать другие вопросы.

Скоро у нас появилось подозрение: может быть, это не столько парадокс, сколько путаница, как тактично предположил Бурейма Альфа Гадо? Может быть, тут больше насекомых, чем мы осознаем? Может быть, это не те насекомые, о которых мы думаем? Может быть, речь не всегда идет об одних и тех же насекомых? Может быть, отчасти проблема в трудностях перевода? По-французски их всех называли *criquets*. На языке хауса они называются *houara*. Мы думали, что говорим с нашими собеседниками о саранче, но теперь как-то засомневались.

AGRHYMET, сельскохозяйственная научно-исследовательская организация, спонсируемая девятью западноафриканскими странами Сахеля, имеет в Ниамее свое представительство и научную библиотеку рядом с университетом. Радужные и услужливые библиотекари выдали нам серию красивых книг карманного формата в бумажных обложках, в том числе *Vade-Mecum des Criquets du Sahel*, авторы Ми Хан Лануа-Луонг и Мишель Лекок, — полевой определитель более восьмидесяти региональных видов. Некоторые из

них (например, *criquet pèlerin*, *criquet migrateur*, *criquet nomade* и *criquet sénégalais*) знамениты своей разрушительной силой и давно являются объектом энергичных исследований и мер сдерживания. Другие, перечисленные по латинским названиям, включены в определитель просто потому, что их много, или, наоборот, потому, что они необычны [330].

В *Vade-Mecum* утверждается, что почти все виды *criquets* в Сахеле принадлежат к семейству настоящих саранчовых (*Acrididae*). К этому семейству относится более тысячи известных видов, в том числе все разновидности саранчи (примерно двадцать видов). Чем выделяется саранча? Биологи отличают ее от других членов семейства *Acrididae* по ее способности менять форму в ответ на скученность. Самый характерный вид — пожалуй, *Schistocerca gregaria*, она же *criquet pèlerin*, она же саранча пустынная, она же восьмая казнь египетская. Одиночная саранча безобидна. Считается, что в фазу стадности она переходит под воздействием учащающихся контактов, которые сопутствуют увеличению плотности популяции; это увеличение порождается двумя совпадающими во времени, но ничуть не экстраординарными факторами: более интенсивные, чем в среднем, осадки в сезоны дождей побуждают насекомых размножаться, а приходящие им на смену сухие сезоны влекут за собой сокращение ареала и оскудение пищевых ресурсов, побуждают насекомых к странствиям [331]. При трансформации фаз быстрые и обратимые изменения в морфологическом строении саранчи (голова становится шире, торс увеличивается, крылья удлиняются), жизненном цикле (размножение начинается раньше, плодовитость снижается, половая зрелость наступает быстрее), физиологии (ускоряется обмен веществ) и поведении настолько кардинальны, что долгое время две фазы саранчи считались двумя разными биологическими видами.

Стадные личинки, они же саранчуки — прыгающие насекомые, сбиваются в кулиги — отряды из тысяч или даже миллионов особей — и начинают свой марш. По мере того как они продвигаются по пустыне, подтягиваются другие отряды саранчуков и соединяются с их колонной. Они могут преодолеть десятки километров, двигаясь как по линейке, и прямо в дороге проходят через все свои пять возрастных стадий, причем остановку делают только в момент финальной линьки, когда превращаются во взрослое насекомое.

Когда плотность популяции достигает критического уровня, взрослые особи саранчи взлетают. До недавнего времени считалось, что ветер несет эти сахельские полчища через межтропическую зону конвергенции в районы, где количество осадков благоприятно для размножения. Теперь же стало очевидно, что саранча не отдается пассивно на волю ветра, а контролирует свой маршрут и направление, меняет свой курс коллективно и поодиночке, часто летит против ветра, а не по ветру и в пути делает остановки там, где можно подкормиться. Также стало ясно, что у саранчи стайный образ жизни: в основном деятельность ради добычи корма, а не миграции, а миграцию на дальние расстояния чаще предпринимают одиночные взрослые особи, которые по ночам преодолевают огромные дистанции. Вся эта замысловатая комбинация талантов (быстрое размножение и скучивание, дальние перелеты, массовое добывание корма и миграция индивидов) позволяет *criquet pèlerin* находить и эксплуатировать

временные участки благоприятных ареалов в среде обитания, которая в целом почти неблагоприятна [332].

Размер полчищ саранчи — нечто хорошо известное, но всё же труднодостижимое. В отличной «Книге насекомых-рекордсменов», изданной Флоридским университетом (*University of Florida Book of Insect Records*) описывается полчище саранчи в Кении в 1954 году: около пятидесяти миллионов насекомых на один квадратный километр; общая площадь, которую покрыла саранча, — двести квадратных километров, то есть в общей сложности десять миллиардов особей. Цифры колоссальные — и аппетиты тоже. Одна особь саранчи может за день съесть количество растительного корма, равное по весу ей самой; возможно, это всего два грамма, но умножьте эти два грамма на десять миллиардов и подсчитайте, каковы будут последствия.

На сайте «Би-би-си» мне попала впечатляющая статистика: тонна саранчи (то есть маленький лоскуток стаи) за сутки съедает столько же еды, сколько две тысячи пятьсот человек (правда, мы можем спросить, какие люди имеются в виду). Самоочевидно (но всё равно стоит отметить), что немыслимо огромная численность усиливает свой эффект из-за того, что саранча преодолевает гигантские расстояния (до трех тысяч километров за сезон) и опустошает колоссальные территории, а вдобавок готова и способна съесть почти всё: не только посевы, но также пластмассу и текстильные изделия. От нее защищено только то, что растет под землей, — клубни, корнеплоды.

В английском языке есть красноречивая разница между словом «саранча» и словами, которыми называют других представителей семейства прямокрылых [333].

Слово «саранча» вызывает в памяти четкий комплекс образов: алчность, страх, страдания. Напротив, слово «кузнечик» (по крайней мере, не в книгах, которые агитируют против всех прямокрылых) редко звучит зловеще. Вспомним героя по прозвищу Кузнечик, которого в сериале «Кунг-фу» сыграл Дэвид Кэррадайн, вспомним маленького друга поэта Китса: «Певун и лодырь, потерявший стыд, Пока и сам, по горло пеньем сыт, Не свалится последним в хороводе» [Джон Китс. Кузнечик и сверчок. Пер. Б. Пастернака] [334].

В народном узусе слова «кузнечик» ничто не ассоциируется с *ravageurs* [опустошителями (*франц.*)]. — Пер.]. А должно было бы ассоциироваться. Какой бы грозной ни была саранча, в Сахеле она не имеет монополии на террор. Даже на террор со стороны насекомых. Второй вид *criquet*, которого в Нигере ждут с наибольшим ужасом, — это кузнечик *Oedaleus senegalensis*, *criquet sénégalais*, описываемый как нестадный кузнечик [кобылка], поскольку смены фаз у него не бывает; тем не менее эти кузнечики сбиваются в кулиги марширующих личинок и неплотные стаи взрослых особей, которые за одну ночь могут преодолеть расстояние в триста пятьдесят километров [335]. Именно *criquet sénégalais* — виновник опустошительных набегов на возделываемые земли и пастбища в Нигере — нашествий, которые по масштабу сопоставимы с деяниями *criquet pèlerin*. Как и саранча пустынная, этот кузнечик — постоянная угроза фермерам в Сахеле. В отличие от саранчи, он размножается в районах неподалеку от возделываемых земель, а его цикл развития тесно скоординирован с жизненным циклом проса.

Он упорно навязывает свое присутствие, берет измором, почти всегда находится на полях. Собственно, часто утверждается: когда стали применяться пестициды для сдерживания размножения насекомых, численность кузнечиков выросла, поскольку были уничтожены опасные для них хищники. «Кузнечики, — написал в 1990 году энтомолог Роберт Чеке, — несут сельскому хозяйству гораздо более серьезную долговременную и хроническую угрозу, чем классическая саранча» [336]. Жители сельской местности рассказали нам: даже когда нет полчищ, они испытывают ужас перед медленной смертью, которую несут *criquet sénégalais* и его союзники, постоянно подтачивая основы повседневной жизни и перспективы на будущее.

И всё же факт, что подавляющая часть ассигнований, выделяемых на исследования и административные усилия по защите посевов от вредителей, идет на борьбу с *criquet pèlerin*. Кузнечики, часть которых неотличима от саранчи по всем важным признакам, оказались в тени по разным причинам, в том числе из-за таксономической неупорядоченности (вопроса о том, как мы даем имена и каковы последствия этого процесса). Если стаи *criquet pèlerin* давно уже вызывают полномасштабные гуманитарные интервенции, то убытки фермеров в сражениях с сахельскими кузнечиками еще совсем недавно трактовались как издержки деятельности в зоне рискованного земледелия [337]. Другая проблема — в разнице между временным и постоянным характером. А также в самом взгляде на проблему и в ее зримости. Долгосрочная война, направленная на изнурение противника, не годится для политических кампаний в помощь бедствующим. А вот демографический взрыв среди саранчи — это кризис, предполагающий мобилизацию всех мировых СМИ и глобальных гуманитарных организаций. Это «катастрофа», которую расцветивают роковое обаяние, харизматичность и слава саранчи: новости выглядят эффектно, власти чувствуют, что обязаны отметиться в борьбе с легендарным врагом человечества, международные агентства используют свой шанс войти в административный вакуум.

Два самых распространенных слова, которыми обозначают этих насекомых в Нигере, имеют широкое значение. И *criquet* (на французском), и *houara* (на языке хауса) описывают пестрое сообщество насекомых, у которых гораздо больше общих черт, чем различий. Мы с Каримом никогда не составляли систематической карты этого сообщества и не выясняли различий между двумя терминами, но каждое из этих слов уютно вбирало в себя всех насекомых, о которых мы говорили: тех, которых едят в компании; тех, которых собирают в буше; тех, которых ловят играющие дети; тех, которыми торгуют на рынках; тех, которых посылают ностальгирующим родственникам; тех, которые сбиваются в стаи и совершают эффектные набеги; тех, которые не сбиваются в стаи, но всё же совершают набеги; насекомых с полиморфическими фазами и тех, у кого этих фаз нет; целебных; волшебных; тех, которые позволяют мечтать о финансовых успехах; саранчу и других прямокрылых.

Как-то утром в деревне Риджио Убандаваки, к северу от Маради, в трех часах езды по пыльной дороге от города, мужчины и мальчики, собравшись толпой, за несколько минут назвали нам имена тринадцати разных *houara*. Поскольку сбор этих насекомых — дело женщин, неизвестно, сколько еще имен



мы бы узнали, если бы женщины к тому времени вернулись с полей. Одиннадцать из этих тринадцати *houara* — съедобные. Три вида считаются особенно опасными для посевов. И только один вид сбивается в стаи. Некоторые мужчины из этой крупной деревни со скоплениями приземистых саманных домов, с узкими улочками, с плетеными изгородями, с открытыми песчаными площадями и большим бетонным зданием школы помнили, как в их юности прилетели полчища тех *houara*. Как такое забудешь? Они объели поля, вторглись в дома. Мог ли это быть *criquet pèlerin* [*Criquet* во французском языке — слово мужского рода. — *Ред.*]? Или, может быть, *criquet sénégalais*? А может, *criquet migrateur*, который когда-то наводил ужас в регионе, но теперь в основном нейтрализован благодаря изменениям экологической обстановки в районе Мали, где происходило их массовое размножение? Всё зависит от того, когда появились эти стаи. В 1928–1932 годах появлялся *criquet migrateur*; в 1950–1962 годах — *criquet pèlerin*; в 1974–1975-м — *criquet sénégalais* [338]. Какой бы это ни был вид, сказали нам мужчины категорично, с тех пор эти конкретные *houara* здесь никогда не появлялись.

Биологи, с которыми мы встречались в крупных городах, не могли увязать яркие названия этих насекомых («нож вождя», «с дерева калго», «*houara* колдуна», звукоподражательное *radada*) с их французскими или латинскими эквивалентами. Биологи даже не смогли помочь нам идентифицировать темных насекомых под названием *birdé*, которых в Риджио Убандаваки охотно уплетают все жители; это насекомое питается всеми целебными растениями, так что само по себе оно — сильное лекарство, но его появление на полях всё же наводит ужас. Изю всех *criquets*, которых мы обнаружили, *birdé*, как представляется, лучше всех соответствует парадоксу Ачебе. Мы заподозрили, что это *Kraussaria angulifera*, хорошо известный стадный кузнечик, который вместе с *criquet sénégalais* массово плодился в Западной Африке в 1985 и 1986 годах; *Vade-Mecum* организации АGRHYMET относит его к самым опасным вредителям (*ravageurs*) проса во всем Сахеле. В «антиакридном отделе» Управления защиты растительности в Маради доктор Махаман Сейду, сидя в своем кабинете между двумя плакатами с рекламой пестицидов, дал *birdé* вторую жизнь, заявив, что это один из двух самых популярных в Нигере видов съедобных насекомых.

У нас зародилась мысль, что в *houara* больше от Протея, чем от парадоксальности: у них много лиц, много существ, много жизней. И всё же здесь и сейчас, в данной точке, в данный момент их идентичность представлялась вполне непреложной. Саранчовые или нет, стайные или нет, съедобные или нет, приносящие доход или нет... — все они отбрасывали мрачную тень на этот край. От фактов, если они и не абсолютно точны, никуда не деться. Примерно 20–30% посевов зерновых в Нигере — около четырехсот тысяч тонн зерна — больше, чем примерные объемы продовольствия, которого недостает Нигеру (нехватка продовольствия в данном случае вычисляется так: это разница между тем, сколько съедает население, и тем, какой урожай оно выращивает), — ежегодно уничтожается насекомыми и другими животными, преимущественно птицами. Здесь, в регионе Маради, где для насекомых

условия даже благоприятнее, чем в других регионах Нигера, эта цифра ближе к 50% [339].

Но, может быть (закрался у нас вопрос), не только весомость фактов отбрасывает эту тень на наши разговоры? Возможно, тень сгущалась из нашего интереса к теме и из ресурсов, которые мы олицетворяли в стране, зависимой от сотрудников международных благотворительных организаций и часто ими посещаемой? В тот день в Риджио Убандаваки радости жизни и возможности, которые дают *houara* (еда, игры, наличные деньги, познания), быстро отодвинулись на второй план. В иных обстоятельствах удовольствия, возможно, заняли бы первое место. Но во время столь краткого визита, в ситуации, когда мы не успели особо ни с кем сблизиться, когда со всех сторон были только просьбы и желание помочь, самой зримой жизнью было нечто очевидное и самыми зримыми *houara* были *houara* очевидные, те, которые умножали разноликие риски крайне тяжелого существования людей.



«У меня есть вопрос, — сказал мне один мужчина, когда мы уезжали. — Можете ли вы подсказать нам какие-то способы обуздать этих *houara* и уберечь наше просо?» Что я мог ответить? «Боюсь, по этой части я не специалист», — смущенно сказал я и добавил, что на следующей неделе, когда я вернусь в Ниамей, я немедленно пойду в головное Управление защиты растений и расскажу чиновникам о проблемах местных жителей. Все умолкли. Мужчины, с которыми мы беседовали, учтиво поблагодарили меня, но заметили, что я должен понять: никакого толку от этого не будет.

Пятнадцать лет назад, пояснил мужчина, который раньше задал мне вопрос, в деревню приехала группа агротехников. Они научили местных жителей использовать пестициды и оставили запас на будущее. Все применили химикаты в соответствии с инструкцией и обрадовались, увидев, что они подействовали: ущерб от насекомых значительно снизился, урожаи увеличились, а вредных побочных эффектов для посевов, людей или других животных не было замечено. Но скоро запасы химикатов иссякли и доныне, спустя пятнадцать лет, не пополнялись ни разу. Нынче, продолжал он (а мы все внимательно слушали), пестицидами в этой деревне не пользуется никто, кроме богатых фермеров, у которых больше десяти гектаров земли: им по карману закупка пестицидов у частных торговцев. *Houara* не суются на поля богачей, зато объедают их не столь везучих соседей. Каждый год насекомые и птицы (эти ужасные птицы!) едят наше просо, наше сорго и нашу вигну, иногда пожирают половину посевов или даже больше. Мы натягиваем проволоку от

птиц, мы сжигаем *houara*. Птиц мы тоже сжигаем. Но ничего не помогает. Он погрузился в молчание, а другой мужчина заговорил. Вообще-то, сказал он, вам стоит сходить в управление. Сходите, и, если вы внимательно присмотритесь, вы найдете толстые папки с материалами о нашей деревне. Сходите туда, но не тратьте зря время на разговоры о нас. Не надо думать, будто они не знают, в каком мы положении. Что бы ни происходило в столице, это не из-за неведения.

## 5

Подъезжает автобус, и мы залезаем внутрь. Прямо перед нами встает огромное-огромное красное солнце, и скоро мы на полной скорости выезжаем за окраину Ниамея и катим по изжаренной равнине, монотонность которой прерывается низкими круглыми холмами и острыми латеритовыми откосами. На протяжении нескольких часов мы едем по двухполосному шоссе мимо деревень цвета охры, состоящих из семейных усадеб с квадратными домами из сырцового кирпича. Изящные амбары в форме луковиц переполнены снопами проса недавнего урожая. Люди сидят у своих домов или у лотков на обочине. Мужчины строят и подновляют стены и заборы, ремонтируют амбары, мотыжат поля. Женщины молотят высокие груды зерна, толкут просо, чтобы сварить кашу, собираются у деревенских колодцев, таскают большие вязанки дров или стеблей проса, их ослепительные хлопчатобумажные одеяния развеваются на ветру, когда они идут. Дети тоже собирают дрова, или присматривают за другими детьми, или пасут стада коз. Мы ненадолго останавливаемся купить еды на переполненном автовокзале в Бирни Н'Кони, а затем продолжаем путь на запад, игнорируя поворот на север — дорогу на Тахуа, Агадес и город урановых рудников Арлит. С этого момента всё вокруг немного зеленее, немного благополучнее: большие стада длиннорогих коров, стада верблюдов со слегка стреноженными передними ногами — чтобы не убрели слишком далеко и слишком быстро, гурты осликов, снова амбары, снова поля и поразительно темное пятно — орошаемые огороды, где растет лук.

Маради так и гудит от энергии торговцев, но центром экономики в Нигере он стал только в конце Второй мировой войны. Из-за своего географического местоположения и невозможности защитить пути поставок этот город оказался в стороне от великих караванных путей через Сахару, которые веками связывали Алжир, Тунис, Триполи и другие средиземноморские порты с Зиндером, Кано и окрестностями озера Чад, а уже оттуда — с остальной Африкой.

В ходе этой транссахарской торговли товары поступали в города-государства хауса XVIII века, а эти торговые центры, в свою очередь, снабжали золотом, слоновой костью, страусовыми перьями, кожей, хной, гуммиарабиком и — с наибольшим барышом — рабами из субсахарианской Африки торговцев — туарегов и арабов, которые везли всё это на север, а с побережья возвращались с огнестрельным оружием, саблями, белыми и голубыми хлопчатобумажными тканями, одеялами, солью, финиками и содой, а также свечами, бумагой, монетами и прочими вещами, произведенными в Европе и Магрибе [340].

К 1914 году сеть железных дорог, построенных британцами в Нигерии, добралась до Кану — города вблизи границы с Нигером. Теперь стало дешевле и безопаснее везти товары по железной дороге в Лагос и другие порты на Атлантике, чем доставлять их на север на верблюдах через пустыню. Воспользовавшись упадком караванов и неожиданным доступом к новому транспорту, французская администрация приложила изрядные усилия, чтобы в долине Маради появились стартовый капитал и инфраструктура для выращивания земляных орехов для колониального рынка растительного масла. К середине пятидесятых годов XX века Маради соперничал с другими региональными центрами за сельскохозяйственную культуру, которая была сильно коммерциализирована французами в Сенегале и других их западноафриканских колониях, но дотоле едва привилась в Нигере.

Фермеры из Маради, вынужденные платить налоги колониальной администрации наличными (и соблазняемые новыми европейскими торговыми домами, которые продавали импортные товары), отводили всё больше земель под выращивание земляных орехов и дали начало двум тенденциям, которые оказались губительными в период затяжной засухи и голода 1968–1974 годов: продовольственная безопасность, и без того хрупкая, была подорвана масштабной заменой основных культур, особенно проса, на земляные орехи; кроме того, фермеры заняли и фактически приватизировали пастбища, которыми пользовались туареги, фулани и другие народы-скотоводы, а те, вытесняемые вместе со своим скотом на всё более неблагоприятные земли, стали основными жертвами голода [341].

Граница, которая разделила земли народа хауса между Нигером, управляемым французами, и британским протекторатом Северная Нигерия, была установлена на основе ряда договоренностей, заключенных колониальными державами с 1898 по 1910 год. Французы, не уверенные в лояльности своих подданных — хауса, оказали покровительство этнической группе джерма из Западного Нигера и в 1926 году перенесли столицу из Зиндера в Ниамей. «В то время как в Северную Нигерию [британцы] постепенно приносили дороги, школы и больницы, — пишет антрополог Барбара Купер, — французы оставляли Маради в небрежении, в качестве захолустья периферийной колонии, где инфраструктура если и развивалась, то урывками» [342].

Вполне предсказуемо, что последствия этой политики не вполне совпали с ее намерениями. Хотя в доколониальную эпоху «хаусаленд» раздирали яростное соперничество, общий опыт колониальных поборов под властью как Британии, так и Франции, а также прочность культурных, языковых и экономических связей породили мощные трансграничные идентификации, которые сохраняются доныне. Один из признаков этого — тот факт, что в Маради появились *Alhazai* (это слово происходит от почтительного мусульманского обращения «аль-хаджи» — тот, кому по карману хадж, паломничество в Мекку) — могущественные торговцы из народа хауса, которые начали свою карьеру в секторе земляных орехов и в европейских торговых домах, но вскоре диверсифицировали свой бизнес, ухватившись за шансы для торговли (законной и незаконной), которые дарует государственная граница. Как отмечает Купер,

именно способность *Alhazai* извлечь барыш из британских инвестиций в Северную Нигерию (например, на железнодорожной ветке до Кано) выдвинула их на авансцену и помогла им пережить такие кризисы, как голод 1968–1974 годов (на котором многие неплохо нажились) и девальвация нигерской найры в девяностые годы.

*Alhazai* активно участвуют в глобальной географии мусульманского мира — связях Маради с Египтом, Марокко и другими центрами высшего образования, а также с Абу-Даби, Дубаем и прочими средоточиями крупного капитала. Они также заметны в возрождающихся исламистских сетях, которые связывают их город с двенадцатью штатами северной Нигерии, где действует шариат. Вспоминая свой опыт левого активиста в студенческие годы (тогда он противостоял укреплению политизированного ислама в университете), Карим мрачно пророчит, что через двадцать лет в Нигере придут к власти молодые интеллектуалы-горожане, руководящие исламистскими организациями. Их дисциплинированность, честность и верность своему делу весьма притягательны, они задают модель будущего, которая радикально отличается от отрешенности и приспособленчества (дефицита идеологии, как выразился Карим) политиков в официальном Ниамее, а также от парализующего сочетания неэффективности с неокOLONиальной властью, которое стало отличительной чертой гуманитарных организаций.

Дискурсы о политическом и нравственном упадке легко сливаются воедино. Во главе беспорядков, которые сотрясли Маради в ноябре 2000 года, шли активисты-исламисты, протестовавшие против Международного фестиваля африканской моды — благотворительного фэшн-шоу, которое проводилось при поддержке ООН с участием ведущих дизайнеров из Африки и других частей света. Демонстранты объявляли незамужних женщин проститутками, атаковали их на улицах и в лагере беженцев, в котором ранее укрылись многие беглецы из Нигерии, где исламисты тоже чинили насилие. Мятежники поджигали бордели, бары, киоски букмекеров. Вторгались в жилища христиан и анимистов [343].

Жители Ниамея указывают на признаки перемен в культуре и обычаях: магазины, которые всего пару лет назад не закрывались на время мусульманского намаза, теперь закрываются; в студенческом городе многие девушки и женщины теперь носят покрывала. Маради оказался в авангарде этой запутанной борьбы, в которую вовлечены мусульмане — как мусульмане-«реформисты», так и «традиционные» мусульмане, — евангелические христиане и секулярные нигерцы. Карим сказал мне, что за то время, пока он жил за границей, — с девяностых годов, — Нигер очень изменился. И всё же однажды вечером в гигантском кинотеатре под открытым небом мы остолбенели, когда болливудский гангстерский боевик (кстати, его показывали на хинди, без дубляжа и субтитров) без предупреждения сменился дешевой захолустной порнухой, которую кто-то вставил в этот пиратский DVD. Глубокое, сладострастное безмолвие воцарилось в кинотеатре, где еще несколько минут назад среди зрителей — поголовно мужчин — царил такое же оживление, как и на экране.

Но вскоре сюрреалистический эффект от этой неожиданности выдохся, и мы под черным звездным небом вернулись в гостиницу, пристроившись на

заднем сиденье проворного моторикши. Когда мы доехали, Карим сказал мне, что, вопреки происшествию в кинотеатре, будущее теперь принадлежит исламистам. Развитие с международной помощью и эта версия современности дискредитировали себя, страна истерзана конфликтами, никаких альтернативных вариантов на горизонте нет, так что время работает на исламистов. Когда я отвечаю, что я ехал в такую даль не для того, чтобы писать элегию Африке, он приводит цитату, которую приписывает Ленину. От фактов никуда не деться, говорит он.

В январе в Маради такой же мертвый сезон в плане *criquets*, как и в Ниамее. И всё же, когда мы входим в ворота Большого рынка (*Grand Marché*), похожие на крепостные врата, мы тут же заводим разговор с приветливым молодым парнем, который помаленьку торгует здесь *houara*, но по большей части экспортирует их в Нигерию. По его словам, нигерийцы предпочитают насекомых из Маради, потому что знают, что местные фермеры не применяют пестициды. Мы спрашиваем, где он достает насекомых, а он окликает мужчину, который с кем-то болтает в подсобке лавки. Хамиссу — поставщик, заключивший долговременный контракт с хозяином лавки. Он смущенно говорит, что уже десять лет ездит на своем мотоцикле по деревням севернее Маради и скупает просо, *bissap* (цветы гибискуса) и *houara*.

Спустя два дня нас становится четверо: Карим, Хамиссу, Бубе (обычно он работает водителем у «Врачей без границ») и я. Мы едем быстро, но осторожно — опасаясь фугасов — за окраину Маради по красной грунтовой дороге, которая идет по прямой линии и потому кажется бесконечной. Хамиссу, во всем белом, закутав лицо в полотняный шарф от пыли, сидит рядом со мной на заднем сиденье.

Поездки по деревням с Хамиссу были настоящим удовольствием. Все радовались его приезду. Его встречали улыбками и воодушевлением. Мужчины вскакивали, чтобы в шутку побороться с ним на руках. По-дружески подсмеивались над его застенчивостью. Свою коммерцию он вел весело, без напряжения, тут не было никакой «экономики недоверия».

Утром он повел нас в буш знакомиться с женщинами, собирающими насекомых. Женщины помолились в шесть утра и после этого вышли из деревни; когда спустя четыре часа мы их нагнали, они успели далеко отойти от дома. Они показали нам, как находят *houara* под невысокими кустами, как тыкают в них просовыми стеблями, ловят их — проворным, уверенным движением одной руки, надламывают задние лапы самым бойким, чтобы не упрыгали, складывают их в полотняные сумки. В сентябре, сказали женщины, они бы каждый день набирали *houara* килограммами, получали бы от Хамиссу по две-три тысячи КФА и всё равно оставляли бы себе много *houara*, чтобы поесть. *Houara* заменяют мясо, сказали они, и мне вспомнился разговор во дворе у Махамана и Антуанетты в Ниамее. Они богаты белками и (в этом они тоже похожи на мясо) не являются каждодневной едой (а еще ими нельзя объедаться, иначе начнется понос и рвота). Они очень вкусны, если поджарить их с солью или истолочь в соус для блюд из проса. В сентябре их так много тут, на полях, что мы приводим с собой детей, чтобы помогли ловить.

Но теперь, в январе, по утрам слишком холодно, чтобы тащить сюда детей, и вообще насекомых практически нет. Посмотрите, какая жалкая добыча: чтобы наполнить эту сумку, понадобится два дня, а дадут нам всего сотню КФА. В это время года даже рост цен не компенсирует скудость предложения.

«Если доход невелик, зачем тратить столько времени на такую утомительную работу?» — спросил я по глупости.

Ответила пожилая женщина, с нескрываемым презрением: потому что мы голодаем. Потому что у нас нет денег. Потому что надо покупать еду. Потому что надо покупать одежду. Потому что надо как-то выживать.

Потому что через месяц у нас не будет даже этой пригоршни насекомых. Потому что в это время года мы больше ничем не можем заработать. Потому что это все-таки кое-что, а лучше хоть чем-то заниматься, чем сидеть дома сложа руки.

Она продолжала: выдаются годы, когда *houara* вообще не прилетают. Но когда они прилетают, это помогает нам подкопить денег. За выручку от лова мы можем купить растительное масло, пластиковые пакеты и всё остальное, что нам нужно для торговли *masa* — жареными в масле пирогами из просяной муки. На доходы от торговли пирогами мы можем еще немножко отложить на будущее, купить детям что-то необходимое, слегка обезопасить себя на черный день. Бывают годы, когда в деревню прилетает столько *houara*, добавила она, что мы даже можем купить корову. Но вот чего мы не можем делать — запастись излишки на случай голода. Нет, насекомые хранятся долго, это не проблема, но мы не можем их запастись, потому что нуждаемся в живых деньгах.



Она снова принимается ловить насекомых под палящим солнцем, от которого негде укрыться. Мы следуем ее примеру, скоро начинаем носиться туда-сюда, гоняясь в пыли за *houara*. Лучше всего мне запомнилось, что у Бубе это отлично получалось, он продолжал охоту, когда мы с Каримом уже давно капитулировали, что Бубе не хотел уходить и что очень скоро мы, остальные, замерли под вечноголубым небом, наблюдая, как он роет землю в кустах и ликующе смеется, радуясь своему успеху.

Спустя несколько дней мы снова вчетвером миновали полицейские блокпосты и ехали, подсакивая на ухабах, по красной дороге, ведущей из Маради на север. На сей раз Хамиссу был занят другими делами, и нас сопровождал Забеиру, энергичный человек, сидевший на переднем сиденье рядом с Бубе и объяснявший скороговоркой на хауса, французском и английском, как он сделался крупнейшим торговцем *criquets* в Маради, если не во всей стране.

Начиная с периода 1968–1974 годов жестокая засуха и голод, усугубленные демографическими взрывами среди *Schistocerca gregaria*, уничтожили экономику Нигера, которая держалась на земляных орехах. Голод вынудил фермеров отказаться от выращивания культур на экспорт и вернуться к выращиванию того, что предназначалось для их собственного потребления, то есть тех растений, вытеснение которых подорвало безопасность фермеров. В Сахеле умерло, по разным оценкам, от пятидесяти до ста тысяч человек. В Нигере объемы производства земляных орехов снизились со ста девяноста одной тысячи метрических тонн в 1966 году до пятнадцати тысяч метрических тонн в 1975-м [344].

Но к середине семидесятых дыра в бюджете начала заполняться благодаря запасам урана — одному из крупнейших на планете месторождений, открытому Комиссией по атомной энергетике Франции на плато Аир. В лучшие годы уран приносил Нигеру 80% с большим гаком от общей суммы доходов от экспорта, что стало основой для общенационального экономического бума.

Но в начале восьмидесятых, после аварии на острове Три-Майл и успехов движения против атомной энергетике в Европе и США, началось длительное падение цен на уран, и теперь они только начинают восстанавливаться [345]. В Нигере объемы добычи урана упали вместе с ценами, так что экономика снова столкнулась с дефицитом доходов и оказалась еще более зависима от милости международных институтов-доноров и их карательных финансовых предписаний.

В начале этого цикла урановый консорциум SOMAIR, мажоритарными акционерами которого были французы, построил в пустыне, в двухстах пятидесяти километрах севернее Агадеса, новый город для шахтеров. Это был Арлит, прозванный *Petit Paris* («маленький Париж») за свой комфорт, рассчитанный на экспатов: например, там были супермаркеты, которые снабжались товарами напрямую из Франции. Именно в Арлите Забеиру был чернорабочим до 1990 года, а потом ушел, получив в качестве выходного пособия сто пятьдесят тысяч КФА (примерно пятьсот пятьдесят американских долларов по тогдашнему курсу). Он вернулся в Маради и принялся присматриваться к рынкам. И вскоре обнаружил, что среди женщин велик спрос на *criquets* и что — в отличие от других популярных товаров — этим сектором не заправляют крупные торговцы. *Alhazai* из Маради не пришли в этот бизнес, и в нем задавали тон мелкие предприниматели.

Как рассказывает сам Забеиру, он предпринял решительные меры, чтобы сделаться первым в Нигере серьезным торговцем *criquets*. На свой стартовый капитал из Арлита он сделал запасы: скупил у деревенских сборщиков всех насекомых, каких только удалось. Заняв господствующую позицию на рынке, он снизил свою отпускную цену, чтобы вытеснить с рынка конкурентов. Сделавшись монополистом, снова поднял цены и вскоре возместил свои убытки.

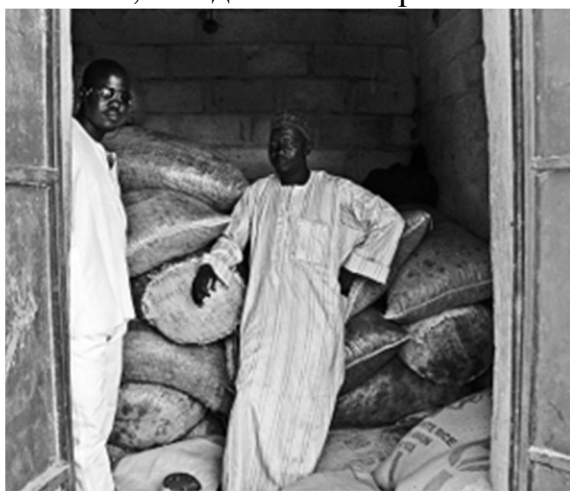
В наше время конкуренция более острая, а бизнес Забеиру стал замысловатее. У него есть целая сеть информаторов, рассеянных по городкам и деревням в окрестностях Ниамея, Тахуи, Маради, а также по ту сторону границы — на севере Нигерии; дело информаторов — отыскивать *houara* в



периоды оскудения. На него также работают скупщики, каждый со сметой в триста тысяч КФА, которых он рассылает из Маради и Ниамея раздобывать насекомых в деревнях и на рынках. В этой сфере царит опасливость. Забеиру держит свои источники в секрете. Часто он скрывает и свое местонахождение: разводит конспирацию, перемещается потихоньку, старается внушить людям, что он находится в Маради и следит за поставками, а сам в это время ведет бизнес в Ниамее. В этой сфере царит опасливость, но она окупается: бывало, что за неделю Забеиру заколачивал миллион КФА.

Когда Забеиру находится в Маради, вы, скорее всего, найдете его на Касува Мата — Женском рынке. Это рынок, где торгуют преимущественно оптом; находится он на северной окраине города, и торгуют там в основном женщины. Касува Мата — перевалочный пункт для товаров, поступающих из сельской местности. С этого рынка они отправляются на *Grand Marché* и другие торговые площадки в городе, а также на рынки по всему Нигеру и закупщикам в Нигерию. На этом рынке у Забеиру есть свой магазин с хорошим ассортиментом. Туда отправляются посредники типа Хамиссу и женщины-сборщицы, привозящие *houara* на продажу из своих деревень.

У Забеиру есть четыре варианта для перепродажи: розничная торговля прямо в магазине, оптовая продажа торговцам с Касува Мата и другим торговцам из Маради, которые перепродают товар на местных рынках; отправка мешков с товаром на грузовиках, чтобы его сотрудники продавали товар в Зиндере, Тауе или Ниамее; либо он сам отвозит товар в Нигерию. В это время года, когда цены высоки, а предложение невелико, среди клиентов Забеиру много женщин, которые готовят насекомых, а их дети младшего школьного возраста продают их, разложив на железных подносах. Маленькие торговцы уверенно держат подносы на голове. Это популярная пикантная еда для перекуса: маленькие пакетики с пятью-шестью насекомыми, по двадцать пять КФА за пакет, покупают другие дети у начальных школ, а пакеты побольше, по пятьдесят КФА, — водители *kabu-kabu*, то есть моторикши. Они стоят и хрустят насекомыми, ожидая пассажиров.



Забеиру привел нас на запертый склад, находящийся за его магазином, и показал нам кое-что из своих запасов. Мешки с *criquets*: хватит на несколько месяцев, стоят два миллиона КФА, сказал он. В ближайшие несколько недель он будет наращивать запасы, пока в сельской местности не останется насекомых и

цены не начнут расти. Тогда он выбросит их на рынок. Хороший бизнес, закивали мы все.

У него три жены и десять детей. Большой дом с двором, обнесенный стеной, неподалеку от Касува Маты. Процветание Забеиру в чем-то сродни его экспансивности. Мы с Каримом осторожно радуемся тому, что он решил взять нас под свое крыло. После двух часов езды мы делаем остановку в торговом городе Сабон-Маши, где он вызывается угостить нас завтраком — *masa* и сладким чаем. Еще часа через два мы приезжаем в деревню Дандасай.

В местной школе три учителя, один из них — Ибрагим, брат Забеиру. Он держится тихо и кротко, по манерам заметно отличается от старшего брата. Я думаю: наверно, он соперничает своим ученикам. Он рассказывает, что у родителей школьников в этой деревне так мало наличных денег, что ему иногда страшно попросить у них десять КФА на учебные материалы. Он знакомит меня со своим коллегой Коммандо — поразительно высоким и худым мужчиной, в котором тоже чувствуется добродушие. Карим догадывается, что Забеиру раньше не бывал в Дандасае.

Последний отрезок пути мы проделываем по бездорожью, несколько раз поневоле останавливаемся спросить дорогу. Когда мы въезжаем в деревню, Забеиру приказывает детям, которые сбегаются нас приветствовать: бегите, скажите матерям, что он приехал покупать *houara*.

День оказался непростой. Забеиру, взяв на себя двойную роль — гида и антрепренера, решил, что мы должны увидеть процесс подготовки *houara* к продаже. Он принимается организовывать спектакль, вербовать подходящих женщин, но обнаруживает, что сборщицы еще не вернулись из буша, а свежих *criquets* ни у кого тут нет. Тем временем женщины, которых оповестили дети, появляются из своих домов с маленькими мешочками насекомых. Обычно они отправляются с ними на соседний рынок в Комаке, или в Сабон Маши, город побольше, но подальше, а по пятницам — в Маради, совсем большой и очень далекий. Обычно закупщики Забеиру ждут этих женщин на тех рынках. Но сегодня день особенный, и Забеиру располагает за нашим пикапом и принимается заключать сделки.

Он мало что успевает прежде, чем группа мужчин приходит пригласить нас на *себе* — церемонию, на которой младенцу дают имя. Идти надо на другой конец деревни, так что Забеиру приостанавливает торговлю, и мы едем по узким песчаным улочкам к маленькому дому, проходим во внутренний двор, крытый соломой, где для нас освободили первый ряд стульев. Имам занимает свое место на циновке, рядом с группой старейшин, и аудитория наблюдает, периодически вторя благословениям, меж тем как высшие лица совершают торжественную церемонию. Это медитативное, успокоительное действо; все с молчаливой серьезностью сосредоточены на молитвах. Но вскоре я замечаю, что у нас за спиной идут какие-то бурные дебаты. Оборачиваюсь: Забеиру снова занял свое место позади пикапа и торгуется с целой очередью женщин, которые пришли продавать *houara*.

Здесь нас встречают даже слишком радушно. После церемонии отец ребенка приглашает нас к столу первыми, до всех его остальных гостей. Карим, Бубе, Забеиру, Ибрагим и я с ними входим в маленькое круглое здание, и нам

подают замысловатые блюда из проса и мяса. Выйдя из дома, мы узнаем, что сборщицы вернулись из буша.

Перед домом неподалеку спешно разводят огонь, и какая-то девушка (на которую это всё явно не производит особого впечатления) начинает греть воду в большом котле на глазах у немаленькой толпы. По мере развития процесса Забеиру подробно комментирует его для нас в стилистике журнала *National Geographic* и вновь и вновь напоминает мне: не упускайте случая, фотографируйте. Когда ему приносят *houara*, он кидает их в кипящую воду, берет у девушки палку и, не прекращая свою болтовню, заталкивает трепещущих насекомых глубоко в котел. Женщин, совершающих эту рутинную операцию ежедневно, не допускают в круг, и они уходят, чтобы заняться более неотложными делами. Мужчины поочередно тыкают палкой в котел, внимательно наблюдая за зрелищем, которое они, верно, видели невесть сколько раз, но меня оно крайне удивляет: когда эти желто-бурные насекомые кружатся в клокочущей воде, они быстро розовеют — вылитые вареные креветки — и в этот момент открывают роковую дверь в другие вселенные своих возможных судеб.



Насекомые варятся тридцать минут. Тем временем мы с Ибрагимом беседуем с *maigari* — старостой этой большой деревни — и еще несколькими мужчинами. Они говорят нам, что *criquet pèlerin* появлялись здесь шестьдесят лет назад, но с тех пор не возвращались. Эти пожилые мужчины помнят катастрофу, но, как и мужчины в Риджио Обандаваки, не любят о ней задумываться. Их волнует не тот апокалипсис, случающийся раз в жизни, а проблемы с менее экзотическими *houara* — например, с *birdé*, подтачивающими каждодневную продовольственную безопасность.

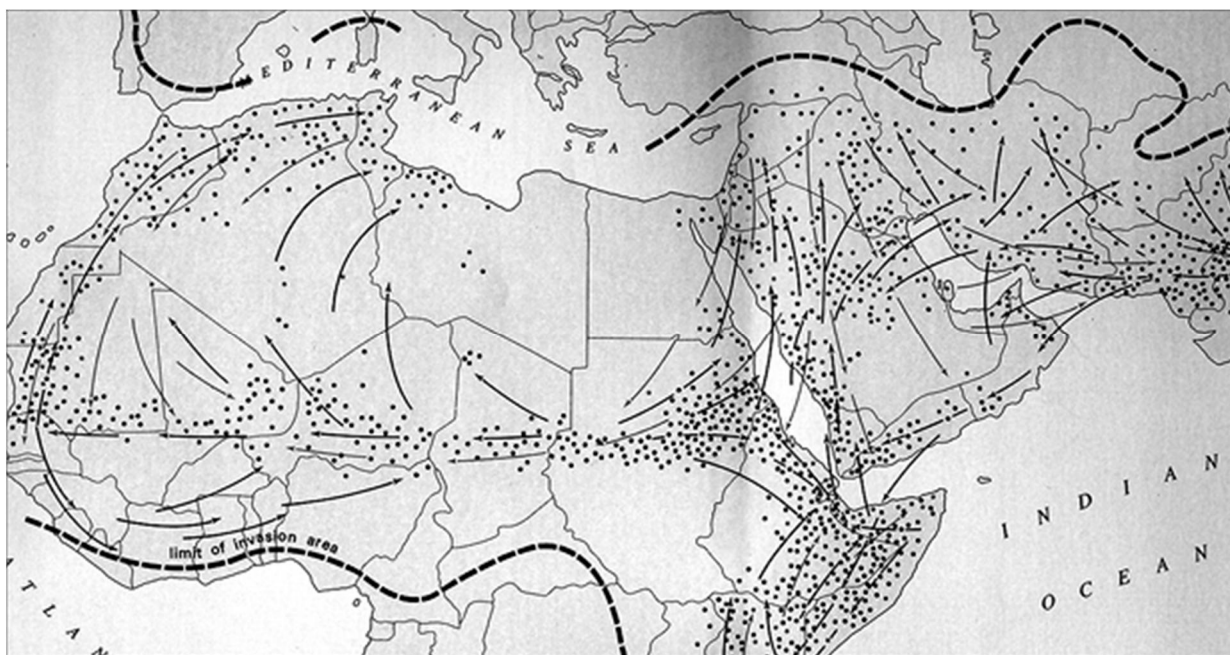
Коммандо тоже участвует в разговоре. А потом говорит мне, что когда-то работал в деревне под названием Дан мата Соуа, примерно в ста километрах к северу отсюда. Надо туда заехать, говорит он. Тамошний вождь может рассказать нам о нашествии саранчи в 2005 году. Очень интересная история. И тут я замечаю за толпой Забеиру. Он держит *tia* и отмеряет ею насекомых, которых принесли женщины. К ужасу продавщиц, он заполняет миску с верхом, наваливая в нее всё больше. Когда он высыпает миску в свой мешок, в ней, наверно, на 40% больше насекомых, чем полагается. Наблюдая за этим, я вспоминаю, что, когда он торгует на Касува Мата, он всегда вносит дополнительные «социальные платежи», как он добавляет в миску столько-то

насекомых, исходя из статуса покупателя (например, вдова может получить побольше), и *houara* сыплются через край его миски в знак великодушия, — правда, те горки несколько скромнее, чем те, которые он наваливает сегодня.

В Маради мы вернулись без происшествий. Прежде чем мы уехали обратно, девушку, которая варила *houara*, снова вызывают: пусть рассылет их на синем полотнище, чтобы мы посмотрели, как они сушатся на солнце. Забеиру выражает удовлетворенность программой, выполненной в этот день. Когда мы подъезжаем к городу, он спрашивает, скоро ли я сюда вернусь. Я не могу назвать ему четкую дату, и мы все погружаемся в собственные мысли. Когда мы приезжаем в дом Забеиру, он резко меняет стиль поведения. Отбросив сентиментальные условности, он требует плату за свои услуги, — видно, позабыл, что наша поездка задумывалась под флагом дружбы народов и что он уже неплохо заработал на женщинах из Дандасая. Карим негодует, и мы вступаем в напряженные переговоры, а Забеиру отказывается нас отпускать, пока мы не приходим к неудовлетворительному компромиссу.

Оставшись втроем, мы снова едем по городу в раздраженном настроении. Но оно скоро проходит. К нам возвращается целеустремленность, когда мы решаем последовать совету Коммандо и на следующий день отправиться спозаранку в Дан мата Соа.

## 6



По данным Всемирного банка, зона нашествий *criquet pèlerin* охватывает 20% пашен и пастбищ нашей планеты — двадцать восемь миллионов квадратных километров в шестидесяти пяти странах. Меры их сдерживания — преимущественно наблюдение и опрыскивание химпрепаратами — направлены на предотвращение массового размножения и на истребление насекомых в зоне рецессии — засушливой центральной области этого региона площадью шестнадцать миллионов квадратных километров, где скапливаются насекомые. Логика проста: едва личинки, объединенные в кулиги, претерпят последнюю линьку, сделавшись крылатыми взрослыми особями, и стая поднимется в

воздух, будет только один способ защитить посевы — активно истреблять насекомых на месте, но у этого метода крайне невелики шансы на успех. Защита посевов в деревне, объяснял нам профессор Махамане Сааду, — признак неудачной профилактики в зоне рецессии. Это означает, что деревни применяют огромное количество пестицидов (в том числе вещества, которые в Европе и США под запретом), создавая риск как для деревенских жителей, которые применяют химию (часто они не имеют защитной одежды и не обучены технике безопасности), так и для пищевой цепи и источников воды в этом населенном пункте.

Как и обещал Коммандо, вождь Дан мата Соуа охотно поведал нам о нашествии. Саранча прилетела с запада, сказал он. Это было в октябре, сразу после сезона дождей. Просо созрело, но жатва еще не началась, зерно оставалось на полях. Худший момент из возможных.

Вначале насекомых было совсем немного: разведчики, как выразился Чинуа Ачебе, высланные осмотреть местность.

Саранча появилась около полудня. Тревогу забили дети, прибежавшие с полей. Но никто из взрослых не пошел посмотреть, что там происходит. Все знали: слишком поздно. К сумеркам прибыла стая.

На следующее утро деревня была захвачена. *Houara* покрыли толстым ковром землю. Покрыли толстым ковром буш. За ними не было видно почвы. Не было видно проса. Люди пытались их прогонять. Действовали сельскохозяйственными орудиями и голыми руками, разводили огонь. Пытались спасти просо, обрывая его руками со стеблей. Но что тут можно было сделать — разве что сваливать колосья на землю? Оборачиваешься — а все колосья покрыты насекомыми.

На второй день с утра *maigari* и группа старейшин отправились в ближайший город, Дакоро, чтобы предупредить Службу сельского хозяйства. Обычно, сказал нам *maigari*, Служба сельского хозяйства не обращала внимания на местные проблемы. Но в тот день чиновники приехали. Осмотрев поля, посоветовали молиться. Больше ничего предпринять нельзя, сказали они. Однако в тот же день прилетел самолет, чтобы опрыскать район пестицидами. Когда он пролетал над деревней, *houara* взлетели. Вначале казалось, что они покидают деревню, но вместо этого они атаковали самолет. Летели прямо к нему, облепили кабину, роились над крыльями, пытались направить самолет вверх, отогнать его от деревни. Пилот поменял тактику. Поскольку он не мог снизиться, он попытался опрыскать насекомых в воздухе, но они рассеялись, и химия не возымела большого эффекта. Насекомые действовали дисциплинированно и организованно. Казалось, у них был командующий, и они выполняли приказы. Каждый день они приступали к работе ровно в восемь утра. Нет, не потому, будто до этого часа было холодно. Так думают все: они, дескать, ждут, пока их крылья согреются на солнце.

Но нет: просто у них есть рабочий день. Как у белых людей. Они начинали в восемь утра, непременно в это время — не раньше. Когда восемь утра близилось, они нетерпеливо ерзали, готовились взлететь. Командующий отдавал приказ, и они начинали.

Поднявшись в воздух, они летели низко, высматривая на земле пищу, всегда готовые совершить посадку. В шесть часов вечера они прекращали работу. Да, как армия с командующим. Это умные насекомые. Казалось, у них были бинокли. Если они что-то оставляли несъеденным, то разворачивались и возвращались, чтобы всё докончить. Если одно насекомое получало травму, они разворачивались, возвращались и съедали павшего товарища вместо того, чтобы бросать его на марше.

Некоторые люди по утрам поджигали насекомых, когда те, скопившись на месте, ждали приказа. Это была ошибка. Это их только провоцировало. Если людям удавалось убить сколько-нибудь насекомых — допустим, на один мешок, — можно было не сомневаться: скоро прибудет вдвое больше, чтобы занять их место. Никто уже не ходил на поля. Выходя из домов, люди закрывали лица. Взрослые не пускали детей в буш.

На третий день саранча улетела. Проса не осталось вообще. Саранча съела всё просо. Но она оставила кое-что свое. Через две недели прыгающие личинки вылупились из яиц и выбрались из земли.

На сей раз нашествие было намного хуже прежнего.

Маленькая девочка подошла по песку к раскидистому дереву, в щедрой тени которого мы сидели. Воздух днем был горячий и затхлый. Издали слышались ритмические удары: женщины толкли просо.

*Maigari* продал девочке несколько бульонных кубиков. Мужчина с узким лицом, работавший на ручной швейной машинке, подхватил нить рассказа, а мы, остальные, — шесть мужчин и две женщины — слушали.

Этих *houara* мы никогда раньше не видели. Даже столетние старики никогда их не видели. Мы называли их *houara dango* — саранча-разрушительница. Снаружи они были ярко-желтые, внутри — черные. Желтое осыпалось, как краска, если ты к ним прикасался. Они были такие странные, что сначала мы подумали, что их изобрели белые люди. Старики велели детям не трогать их. Животные, которые ели их, сдохли, у коз случились выкидыши, куры передохли. Не от пестицидов, как вы можете подумать, а от каких-то крохотных насекомых, которые жили во внутренностях *houara*. Кур и коз было опасно есть. Нам пришлось уничтожить их трупы.

*Houara* забрались в колодцы. Отравили воду. Эту воду не мог пить даже скот. Один человек в другой деревне поел этих насекомых, но заболел, его несколько дней рвало. Мы не могли их есть. А если бы могли, мы бы ими до сих пор питались — так их было много.

Теперь в разговор включились все. Несомненно, вторая волна была еще разрушительнее первой. Служба сельского хозяйства обработала личинок химией, но уцелевшие сожрали тела сородичей. На полях не оставалось ничего. Прыгающие сожрали в деревне всё, что только могли съесть. На сей раз они оставались в деревне три недели, систематически продвигаясь по ней, поглощая всё на своем пути, даже собственных мертвецов; о да, истинная правда, они ничего после себя не оставили, даже своих мертвецов.



Без проса в амбарах, без урожая, на который можно было бы рассчитывать, жители Дан мата Соуа оказались в полной зависимости от срочной гуманитарной помощи. Благодаря эмоциональным репортажам «Би-би-си» ситуация в Нигере и по всему Сахелю попала в мировые новости. Призрак голода в сочетании с нашествием саранчи вдохновлял громкие призывы собирать пожертвования в странах-донорах. Администрация президента Мамаду Танджи впала в отчаяние, видя, как эта громкая медийная кампания дала карт-бланш НКО, и те, действуя в интересах глобальной аудитории гуманитарных акций, еще больше подорвали и без того слабый потенциал государства.

На протяжении нескольких недель центр раздачи продовольствия, организованный «Врачами без границ» в Маради, «привлекал больше внимания прессы, чем любая другая точка планеты» [346]. И действительно, хотя мне неясно, насколько серьезной была ситуация в других областях Нигера, жителям сельской местности в окрестностях Маради (а также пастушеским племенам на севере) приходилось намного тяжелее, чем обычно. Организация «Оксфам» отправила в Дан мата Соуа четыреста мешков риса, и привезли их как раз в тот момент, когда жители спорили, пора ли бросить деревню. Дан мата Соуа стала центром распределения продовольствия, люди собирались со всей округи за своими пайками. «Оксфам» пообещала три партии, но по причинам, которые остались неизвестны местным жителям, вторая партия была значительно меньше первой, а третья попросту не поступила.

В тот год нашествия *houara dango* фермеры из Дан мата Соуа сажали семена, полученные в кредит от международных организаций. Расплатиться за семена предполагалось после сбора урожая. Когда урожай проса был уничтожен, фермеры оказались перед сложным выбором.

Первое решение — попросить местных торговцев (ведя переговоры с крайне слабых позиций) дать денег под залог благотворительного риса, чтобы фермеры могли погасить кредиты. Но рис так и не подвезли, так что задолженность увеличилась (а людям не удавалось продавать даже гуманитарную помощь, которую им выдавали; гуманитарные организации категорически не приемлют эту практику, но она может быть весьма логичной).

Деревенские жители рассказали нам, что после двух урожаев всё еще не погасили кредиты. Налогов они с 2005 года тоже не платят. Если Нигер как государство завяз в хронических долгах перед зарубежными странами и институтами, то сельские жители в окрестностях Маради точно так же с трудом

получают доступ к ресурсам, которые теоретически могут им перепасть [347]. В период долгого голода после нашествия саранчи фермеры из Дан мата Соуа сообща с региональными НКО учредили *banque ceréalaire\**, где брали в кредит зерно (а не семена) и после жатвы погашали долги. Даже в лучшие времена урожаи не столь велики, чтобы образовывались большие излишки, так что обязанность отдавать часть урожая не приветствуется. Но, по крайней мере, при такой системе нет необходимости ни в наличных деньгах, ни в торговцах, подобных Забеиру. Может быть, с надеждой говорит один из наших собеседников, если просо уродится, если не прилетят другие стаи, года через два мы выберемся из этой ямы.

## 7

Возвращаясь из Маради автобусом, мы с Каримом оказались по соседству с группой агрономов, которые ехали в Ниамей на конференцию по вопросам борьбы с насекомыми-вредителями. Они поделились с нами зубчатыми листьями *tchoukou* — пахучего твердого сыра, который надо долго жевать, а когда в Бирни Н'Кони все мы вышли из автобуса размяться, они настояли на том, чтобы угостить нас содовой. Мы обсудили их работу с сортами проса, устойчивыми к вредителям, и я припомнил, как несколькими дням раньше беседовал с молодым ученым-энтузиастом в Департаменте защиты растений в Маради. Он разрабатывает методы биологического контроля *criquet pèlerin* с использованием патогенных грибков как альтернативы химическим пестицидам.

На следующее утро мы снова отправились в университет, к профессору Усману Мусе Закари — видному нигерскому биологу, который критически относится к тому, как борется с вредителями ФАО (организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства). ФАО ни разу не предсказала ни одного нашествия *criquet pèlerin*, сказал профессор Закари. По его подсчетам, с 1780 года в Нигере было тринадцать крупных вспышек размножения саранчи, и хотя локальный эффект может быть колоссальным, совокупный эффект не столь велик. Подобно многим исследователям и фермерам, с которыми мы беседовали, Закари считал нынешние усилия неудачными. Ареал рецессии слишком велик и слишком малодоступен, а у насекомых слишком высока приспособляемость: они способны выдержать длительную засуху, зато на благоприятные условия реагируют незамедлительно. Закари заявил, что сотни миллионов долларов, которые направляются на борьбу с вредителями, лучше потратить на другие цели: например, помочь фермерам воспользоваться их собственными познаниями о борьбе с вредителями, совместно с фермерами разработать новые методы — к примеру, нарушать развитие *criquet sénégalais*, отсрочив первый в году сев проса (в этих местах просо сеют и собирают два раза в год).

В тот же день — как бы в напоминание о том, как уязвимы нигерцы с разных сторон, как тяжело им приходится, — сотрудница гуманитарной организации, француженка, стала жертвой преступления в Зиндере. Двое мужчин, стоя на обочине шоссе, просили о помощи. Француженка остановила свою машину. Они выкинули ее из машины и уехали. В итоге обошлось без



пострадавших, но, к сожалению для всех участников события, мужчины укатили, не заметив, что на заднем сиденье находился маленький ребенок владелицы машины.

Мне кажется, в тот же день Карим рассказал мне, как в детстве ловил *houara*. Мне кажется, это было именно в тот день. Но, может быть, и раньше, когда автобус, выехав из Маради, катил по равнинам под закатным небом, или в такси в совершенно другой день, когда мы выехали на мост Кеннеди, миновав агитационный щит ООН во славу прав ребенка, а может быть, даже до нашего отъезда из Маради, когда мы возвращались из Дан мата Соуа по единственной в Дакоро дороге, вдоль которой полно вывесок международных агенств развития (точно так же в любом американском городке главная магистраль пестрит вывесками мотелей и заведений фастфуда). Как бы то ни было, в один из этих дней Карим рассказал мне, как в детстве ловил *houara*. Это было недалеко от Дандасая, в деревне, где он вырос. Это была излюбленная игра. В нее играли все дети. Они разводили огонь, чтобы приманить насекомых, и ловили, сколько удавалось: чем больше, тем лучше. Насекомые имелись в изобилии, побеждал в игре тот, кто наловит больше всех. Игра была незамысловатая, но веселая, сказал он.

## Р

### Il Parco delle Cascine on Ascension Sunday Иль Парко делле Кашине в день Вознесения Христова

#### 1

В Японии сверчки поют осенью, выражая своими голосами недолговечность этого времени года и его успокоительную меланхоличность. Но во Флоренции, пишет фольклорист Дороти Глэдис Спайсер в своей книге «Праздники Западной Европы» (*Festivals of Western Europe*), сверчок появляется весной, как символ обновления, и его песня — саундтрек дней, которые становятся длиннее, жизни на открытом воздухе, а день Вознесения в Парко делле Кашине — главном общественном парке Флоренции — проходит праздник, посвященный сверчкам.

Не ясно, видела ли Дороти Спайсер этот праздник — *festa del grillo* — своими глазами, но описывает она его живо и наглядно. На сороковой день после Пасхи, выпадающий на теплое воскресенье в конце мая или начале июня, «родители, не скупясь, упаковывают корзины для пикников, собирают детей и сходятся в парке Кашине», пишет Спайсер. В прежние времена дети сами ловили сверчков, теперь же (описывается 1958 год) их покупают на специальном праздничном рынке. Преобладают яркие цвета: «Над лотками продавцов качаются сотни ярко раскрашенных клеток из деревянных прутьев или проволоки, в которых сидят сотни сверчков, изловленных в парке». Идет торговля всевозможной едой и напитками. Есть воздушные шарики — красные, зеленые, оранжевые и голубые. Звучит музыка. Полно мороженого. В общем,

пишет она иронично, это «одно из самых приятных и веселых весенних событий для всех, кроме *grilli!*» [348]

Путь до Парко делле Кашине лежит по северному берегу Арно, по самому солнцепеку; парк всего в тридцати минутах ходьбы от исторического центра Флоренции. Но это городское пространство кардинально отличается — особенно летом — от исторического центра, от запруженных туристами Понте Веккьо, Дуомо и площади Синьории, от легендарного великолепия работ Фра Анджелико, Джотто и Микеланджело. Знаменитые шедевры воистину потрясают по отдельности и, все вместе, ошеломляют своим количеством. Неудивительно, что англичане и другие гости околдованы Флоренцией с тех пор, как в XVIII веке этот город стал обязательным пунктом для всех представителей высшего класса, стремившихся расширить кругозор во время традиционного «большого путешествия». Картины, статуи и историческая застройка Флоренции небезосновательно были признаны эмблемой западной цивилизации за несколько столетий до того, как ЮНЕСКО — в подлинном духе Просвещения — объявило центр города объектом Всемирного наследия.

И всё же даже во времена, когда Дороти Спайсер писала свою книгу, интенсивность «потребления культуры» была не столь масштабной, как сегодня. Я это знаю, потому что всего за несколько лет до Спайсер мои родители, совершавшие свадебное путешествие, застряли во Флоренции, когда у них закончились деньги (те пятьдесят фунтов стерлингов наличными, которые британское правительство позволяло путешествующим вывозить из страны). В то время еще не существовало кредитных карт, но мои родители как-то перебивались: беспечно устраивали пикники на холмах вокруг Фьезоле, откуда открывалась панорама на мирное море красных крыш, над которым парит купол Дуомо.

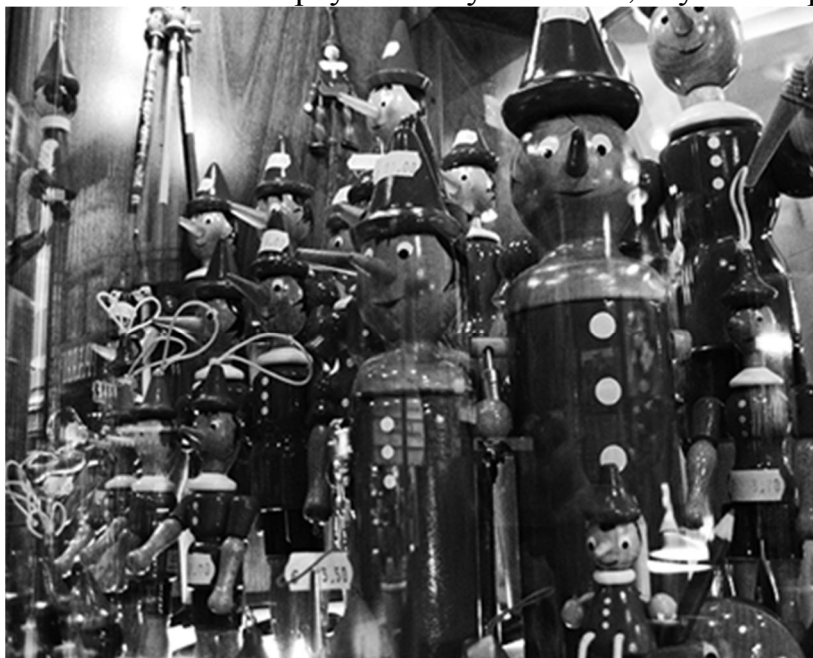


В ту эпоху Флоренция в куда большей степени была любимым городом Рёскина, Шелли и Генри Джеймса, чем «тематическим парком Ренессанса», как ее недавно обозвал пресыщенный обозреватель *The New York Times*. Сегодня исторический центр Флоренции по-прежнему остается экстраординарным местом, но теперь это частично музей, частично развлекательный центр, и всё в нем насквозь коммерциализировано. Все осматривают его бегло, и мы тоже. В

галерею Уффици надо три часа стоять в очереди, и мы с Шэрон, подобно Гёте (правда, возможно, с бо́льшим сожалением), решаем, что мы — нерадивые туристы. В октябре 1786 года, в начале своего итальянского путешествия, великий писатель, ученый и философ «наскоро прогулялся по городу», чтобы посетить Дуомо и Баттистеро [то есть Баптистерий. — *Пер.*]. «Еще один раз, — записал он в дневнике, — передо мной открылся совершенно новый мир, но мне не хотелось оставаться надолго. Сады Бобболи расположены в чудесном месте. Я поспешил покинуть город так же быстро, как в него въехал» [349].

## 2

Среди магазинчиков, где продают мороженое, сделанное вручную, бумагу, сделанную вручную, и обувь, сделанную вручную, затесались магазинчики с еще одним товаром, на котором специализируется Флоренция, — деревянными Пиноккио. Среди них есть гиганты, намного выше кукольного мальчика из обожаемой читателями нравоучительной сказки Карло Коллоди. Коллоди родился во Флоренции и проработал там всю жизнь чиновником и журналистом. Его книга о безумных приключениях, впервые опубликованная по частям в 1881–1883 годах в детском еженедельнике *Giornale per i bambini*, — это шкатулка с фокусами; Коллоди берет литературные сказки (он переводил французские сказки, кстати сказать), а также устные предания (он был редактором энциклопедии флорентийского диалекта) и тосканскую новеллу, а затем выворачивает всё это наизнанку, даря читателям нечто новенькое, нечто острое, исполненное мрачного юмора, со множеством неожиданных перипетий и, если отвлечься от виртуозных кунштюков, глубоко серьезное.



Один из самых запоминающихся героев, придуманных Коллоди, — говорящий сверчок, *grillo parlante*, второстепенный персонаж, которого студия Диснея превратила в Сверчка Джимини. Есть нечто важное в том, что самый знаменитый флорентийский роман Нового времени подарил миру самого знаменитого сверчка, но я не могу сказать, в какой мере этот *grillo* был порожден местным фольклором или общеитальянскими преданиями. Увлечение

флорентийцев сверчками, которое дало начало празднику, вполне может оказаться проявлением общенациональной или даже региональной (южноевропейской? средиземноморской?) близости к насекомым.

Здесь люди много веков держат сверчков в качестве домашних животных. Маленькие клетки, похожие на те, которыми торгуют на флорентийском празднике, нарисованы даже на стенах домов, раскопанных в Помпеях. Есть также масса языковых свидетельств того, что шумные насекомые, щебеча, глубоко втерлись в жизнь итальянцев. Связь между говорящими насекомыми и человеческой речью слышится во многих словах, которые произошли от *cicala*, «цикада» (ит.), и обозначают несерьезную или заумную болтовню людей (*cicalare*, *cicalata*, *cicaleccio*, *cicalio*, *cicalino*) [350].

Подобные данные говорят нам кое-что о месте сверчков в сегодняшней жизни, но лишь запутывают вопрос об их местоположении в культуре в прошлом. Как-никак современный итальянский язык во многом восходит к флорентийскому диалекту, которому Данте придал общенациональный характер. Я не уверен, что возможно в точности выяснить, где возник этот конкретный этимологический кластер. Возможно, во Флоренции и ее сверчках действительно есть нечто уникальное. В любом случае, великий поэт и филолог XIX века Джакомо Леопарди облагораживает представление о том, будто звуки насекомых — пустая болтовня. Леопарди (как и другой европейский философ и поэт, любитель насекомых Жан-Анри Фабр) поясняет, что сверчки и цикады, подобно птицам, поют для удовольствия, себе в радость, ради чистой красоты [351].

Европейская традиция слышать в песне сверчка лишь нечто глупое, тщеславное и раздражающее имеет давние корни и всё еще сохраняется в Италии — в выражении *non fare il grillo parlante*, которое можно примерно перевести как «не говори чушь». Разумеется, это не единственная традиция, поскольку эти насекомые играли совершенно другую роль — были неотъемлемыми персонажами классической идиллии; но именно тема глупости звучит в двух баснях Эзопа, где фигурируют сверчки. Коллоди, достигший славы (если и не богатства) вопреки тому, что вырос в страшной нищете, типичной для бедняков XIX века, упоенно ниспровергает стереотипные ожидания, и слова его говорящего сверчка безусловно глубокомысленны. Однако (и это тоже явно автобиографическая деталь) *grillo parlante* Коллоди переживает гораздо более тяжелые события — причем намного более реалистичные, с надрывом, — чем щебечущий Сверчок Джимини у Диснея.

Какими бы кошмарными ни были порой классические американские ремейки («Остров удовольствий», где похищенных маленьких мальчиков поощряют избавляться от комплексов, был настолько скандальным, что о нем вспоминали во время суда над Майклом Джексонем по обвинениям в педофилии), но оригинал Коллоди еще мрачнее, и на Пиноккио, поначалу феерически эгоистичного кукольного мальчика, не понимающего, каким испытаниям он подвергает своего нищего отца Джеппетто, обрушивается целый ряд мучительных кар, которые должны его проучить (сожжение, изжаривание, порка, утопление, заточение в собачьей будке и более традиционное превращение в осла).

Диснеевский «Пиноккио» вышел на экраны в безотрадном феврале 1940 года, когда горизонт омрачали призраки войны и массовой безработицы. Джими — «Главный Лорд-Хранитель познаний о добре и зле, Советник в моменты соблазна, Проводник по прямому и узкому пути добродетели» — спрыгнул с экрана в начальных титрах, неутомимый дух оптимистичной энергичности и трезво-просчитанной скромности, поющий одну из самых живучих демократических песен Голливуда (ее текст блестяще передает пустопорожность, наивность и утешительность Американской Мечты: «Когда ты загадываешь желание на звезде, Неважно, кто ты такой, К тебе придет всё, чего твоя душа пожелает»). *Grillo parlante* Коллоди был не менее добродетельным насекомым. Он убеждает Пиноккио уважать отца, ходить в школу, быть старательным и бережливым, усваивать ценности, которые нужны для выживания в современном обществе. Но у него есть более суровые увещевания для твердолобого кукольного мальчика — персонажа-пролетария, заброшенного в неприветливый мир, персонажа, чья история закончилась бы повешением на Большом Дубе в конце главы XV, если бы возмущенные читатели не запротестовали, а мудрый редактор не вмешался [352].

Негодование читателей спасло Пиноккио, но спасти сверчка было уже поздно. Подобно тому как Джузеппе Гарибальди, «герой двух миров», умирал на острове Капрера вблизи Сардинии, *grillo parlante* тоже узнал, что он смертен. Больной Гарибальди, «меч итальянского единства», также основал первое в Италии общество защиты животных; накануне смерти он создал свою семью, чтобы послушать певчую птицу на подоконнике окна, выходящего на тогда еще кристально чистое Тирренское море. В тот момент Коллоди, патриот, ушедший добровольцем на войны Гарибальди за независимость, критиковавший, как и этот отец нового государства, политическую коррупцию, социальное неравенство и клерикализм, разошелся с автором афоризма «Это Человек сотворил Бога, а не Бог Человека».

Возможно, Коллоди разочаровался, обнаружив, что объединение Италии не повлекло за собой социальных преобразований. Возможно, на него повлияла жизнь в скудном, абсурдном мире ненадежных заработков и быстрых общественных перемен. Либо, может быть, Коллоди просто не мог удержаться от соблазна побаловаться гротесковым насилием. Во вселенной Коллоди все бьются за свою крошку хлеба, ни один биологический вид не имеет привилегий. Человек человеку волк, волк волку волк, волк кукле волк, кукла волку волк, мальчик превращается в осла, и никогда не бывает доподлинно понятно, кого от кого надо защищать или даже кто есть кто. Лис-мошенник и кот-люмпен вздергивают Пиноккио на дубе. Но потом Пиноккио откусывает лапу ослепшему коту, а голодающий лис продает свой собственный хвост.

А говорящий сверчок? Не успевает история начаться, как в еще одной сцене, оказавшейся за бортом диснеевского мультика, *grillo parlante* обнаруживает, почти неожиданно-негаданно, что «остался висеть на стене, застывший и безжизненный» и онемевший: деревянный молоток, брошенный капризной куклой, расплющил сверчка в блинчик [353].

Возможно, в сосуществовании Диснея и Коллоди есть нечто, объясняющее путаницу вокруг *festa*. Во Флоренции сверчки давно уже достаточно заметны, чтобы удостоиться собственного праздника; не ясно лишь, для чего затеяно это мероприятие: чтобы прославлять их или чтобы демонизировать (точно так же не ясно, любят или ненавидят в этом регионе).

Некоторые полагают, что у *festa del grillo* есть четкая дата и место рождения: 8 июля 1582 года, Сан-Мартино-а-Страда, в приходе церкви Санта-Мария алль'Импрунета неподалеку от Флоренции. Как сказано в «Флорентийском дневнике» (*Diario fiorentino*) Агостино Лапини (подробной истории города, написанной в XVIII веке), в тот день приход организовал отряд из тысячи мужчин, чтобы спасти посевы от уничтожения полевыми сверчками. Лапини описывает введение чрезвычайного положения. В течение десяти дней толпа, настроенная крайне решительно, заполняет поля, вылавливая всех сверчков, попадающихся на ее пути. Она *fa la festa* с насекомыми — «забавляется ими», можно сказать, — убивая всех, кто попадется, на празднике убийства, упиваясь убийством. И всё же как много разных способов убийства ни применялось бы (в том числе массовое закапывание и утопление), «самые мелкие сверчки остались в добром здравии, — повествует Лапини, — и из-за великого зноя забрались под землю и там отложили яйца» [354].

Еще два сверчка. Злой сверчок: герой истории о бедствии и воздаянии, наводящий страх на крестьянина. Добрый сверчок: символ весны и удачи, любимец детей. Как нам перейти от массового истребления в 1582 году к семейному отдыху, описанному Фрэнсис Тур в книге «Праздники и народные обычаи Италии», — тому самому событию, которое спустя пять лет описала Дороти Спайсер?

Парко делле Кашине заполнен толпами людей; есть воздушные шарики, изобилие еды и напитков, клетки всевозможной формы и величины; пение сверчков висит в воздухе. Такие дни запоминаются детям на всю жизнь: «*festa* — самый настоящий, колоритный праздник... всё играет яркими красками». Сверчок — «предвестник весны, каковым он раньше был для народов, существовавших здесь прежде», пишет Тур, имея в виду этрусков, древних греков и древних римлян.

«Во Флоренции говорят: если *grillo*, которого ты несешь домой, скоро запоет, это предвещает удачу. Друзья выбрали для меня двух самцов (их опознают по узкой желтой полоске вокруг шеи), потому что самцы поют больше, чем самки, и один из моих сверчков пел всю дорогу до дома. Освобождение сверчков тоже приносит удачу. Я этого не знала, но немедленно выпустила своих сверчков в саду. Веселый сверчок ускакал, напевая, другой, молчун, был, похоже, ранен, но он тоже ухромал вдаль, словно радуясь освобождению» [355].

Освобождение приносит удачу? Я не могу найти ни одной убедительной версии, которая соединяла бы две эти сцены. Нет, есть «кровавый пир» 1582 года, описанный Лапини, а после него — пустота, на протяжении целого века в анналы не вошло ничего, связанного со сверчками. (Может быть, в Тоскане больше не было нашествий сверчков? Из яиц так и не вылупились сверчки? Местные жители не вспоминали о массированном походе против сверчков?)

Когда в конце XVII века сверчки объявляются вновь, они находятся в Кашине и, как и многое другое во Флоренции того периода, занимают прочное место на орбите семейства Медичи [356].

В шестидесятые годы XVI века Козимо Медичи из младшей ветви Медичи, первый великий герцог Тосканский, провел ландшафтные работы, благодаря которым появился Парко делле Кашине. Он посадил там рощи дубов, кленов, вязов и других тенистых деревьев. Позднее парк на длинной узкой полосе вдоль Арно использовался дворянами для прогулок, охоты и развлечений под открытым небом, в том числе, по некоторым сведениям, для отлова сверчков.

После того как род Медичи захирел, а власть в 1737 году перешла к Габсбург-Лотарингскому дому, парк стал собственностью государства. Не ясно, когда туда был открыт полноценный доступ всему населению, но общественные мероприятия (в том числе, возможно, *festa del grillo*) были в порядке вещей уже в конце XVIII века, в правление Пьетро Леопольдо, «просвещенного» великого герцога (брата Марии-Антуанетты), о чьем энтузиазме модернизатора четко свидетельствует его покровительство научным музеям Флоренции и великолепные коллекции научных приборов и прочих принадлежностей, которые хранятся в этих музеях, — коллекции, где находятся как костлявый средний палец правой руки Галилея («Это палец знаменитой руки, которая рассекала небеса, указывая на бескрайние просторы и выделяя новые звезды», — гласит пояснительная подпись, сочиненная Томмазо Перелли), так и его телескоп (возможно, тот же самый, с помощью которого он сделал зарисовки фаз луны, которыми столь вдохновилась Корнелия Хессе-Хонеггер).



Почти несомненно, что к концу XIX века *festa del grillo* прочно заняла место в календаре весны. Это было популярное мероприятие, куда был открыт вход всем; парк заполняли семейства, выехавшие на пикник. Сохранялась аристократическая традиция парада видных людей; правда, теперь им руководили муниципальные чиновники, а его кульминацией была официальная церемония благословения города. По-видимому, в то время люди уже не ловили сверчков в парке, а покупали их (вместе с раскрашенными клетками) у торговцев, которые охотились за насекомыми на Монте Кантагрильи [горе Поющего Сверчка] и других окрестных холмах. Похоже, это чисто урбанистический переход к абсолютному потреблению. Такое же впечатление производит недвусмысленно-ликующий тон праздника (весеннее обновление, удача, долголетие и т. п.), тон, который тоже продолжает аристократическую традицию *festa* как поиска сокровищ. Где неопределенность крестьянской жизни? Где дикая и опасная природа?

*Grillo parlante* прибыл. Джимини скачет к нам. Саранчи больше нет. Сверчки — наши друзья.

#### 4

О том, как Гарибальди относился к птицам и другим живым существам, я впервые узнал из небольшой книги, изданной в Риме в 1938 году Национальной фашистской организацией защиты животных. Отец *Risorgimento* (политического воссоединения Италии) был включен в троицу любителей животных, наряду со святым Франциском Ассизским и Бенито Муссолини (приведена цитата из речи последнего на съезде ветеринаров, где Муссолини — по-видимому, без тени иронии — призывал «обходиться с животными по-доброму, потому что они часто бывают интереснее людей»). Автор книги Фелициано Филипп объясняет, что новое итальянское государство относится к животным разумно, без сантиментов, но и без жестокости. «Оно привило каждому ребенку идею долга в отношении тех, кто младше или слабее», — пишет он. Его цель — поощрять «ту снисходительность, которую мы должны проявлять к низшим существам» [357].

Хорошо известно, что нацисты пеклись о благополучии животных и сохранении окружающей среды, так что неудивительно, что их союзники по «оси» тоже проповедовали милосердное отношение к животным [358]. Но всё же я поразился тому, что европейские фашисты XX века могли баловать, а не истреблять тех, кого считали существами низшего порядка. Это кажется парадоксальным, но, возможно, такой подход порожден особенно четким пониманием отличия человека от других животных. В этой области гигант западной мысли Мартин Хайдеггер смог оказать своим покровителям-нацистам ценную философскую поддержку. Люди и другие, писал он, разделены не просто своими способностями, но и «пропастью сущности» [359]. Различие в фундаментальном смысле — в онтологическом смысле — иерархическое: камень «лишен мира», животное — «бедно миром», человек — «мирообразующ» [360].

Хайдеггер рассуждает только в категориях «животного» (в единственном числе), но в быту мы встречаемся с животными во множественном числе и в многообразных обличьях. Более серьезная сложность для фашистских политиков состояла в недочеловеках — этих существах, которые были низшими существами иного сорта, чем животные — нечеловеки, вселяющие сострадание. Особая проблема с евреями, цыганами, инвалидами и т. п. состояла в их способности вносить путаницу в категории, быть тревожно-соседними, несмотря на огромную дистанцированность, одновременно портить изнутри (быть паразитами) и угрожать извне (быть захватчиками). Ни то, ни другое фашистское государство, как нам известно, не узаконило защиты или терпимого отношения к этим существам. Эти существа занимают свое место среди животных-изгоев: они не заслуживают права на жизнь, это вредители обеих разновидностей.

Есть и другие истории о защите животных. Так, всегда казалось немаловажным сближение двух движений: движения за хорошее отношение к животным, возникшего в Европе в начале XIX века, и движения аболиционистов, которое в тот же период вело кампанию за освобождение



рабов. Эти два движения часто объединяли свои организационные ресурсы; были отдельные активисты, которые участвовали в обоих движениях; оба движения (наряду с фашистами XX века) разделяли мнение, что некоторые формы онтологического превосходства требуют патерналистской ответственности. Многие участники этих двух кампаний не видели большой разницы между африканцами, «пересаженными» на другую почву, и домашними животными. И те, и другие возбуждали сочувствие либералов и толкали их на действия. И те, и другие нуждались в заботе и, возможно, в снисхождении. И те, и другие были неспособны говорить от своего имени или представлять свои интересы. И те, и другие заслуживали шанса трудиться в достойных условиях [361].

Я говорю всё это вовсе не для того, чтобы намекнуть, будто зоозащитники до сих пор остаются в плену прошлого своих организаций. Но генеалогия въедается глубоко, неразрешенные дилеммы сохраняются надолго и как минимум требуют проявлять осторожность при предположениях, что заботливое отношение к другим существам автоматически делает тебя высоконравственным человеком. Возможно, надо пересмотреть взгляд на снисхождение, которое неотъемлемо присутствует в понятиях заботы, защиты и социального обеспечения. Аргумент Исаака Башевиса Зингера и многих других, который гласит, что жестокое обращение с животными разрушает нравственность и легко влечет за собой сходную жестокость к людям, вполне весом. Однако, очевидно, нет оснований предполагать, что доброе отношение к животным в равной мере влечет за собой сострадание к людям. Столь же напрямую на его почве может развиваться склонность к дискриминации, к разделению на тех, чью жизнь стоит защищать, и тех, чья жизнь не стоит того, чтобы ею кто-то жил.

Государство Муссолини приняло целый набор законов, которые гарантировали безопасность целого ряда животных и гуманное обращение с ними. Законы распространялись на «стандартную элиту» домашних питомцев и аборигенных видов, правовая защита которых уже сделалась приметой современности. Среди инициатив режима были акт о защите диких животных и статья 70 закона об общественной безопасности, воспрещавшая «любые спектакли или общественные развлечения, предполагающие мучения животных или жестокое обращение с ними» [362]. Этот запрет имеет для нашей истории особое значение. В Италии широко распространены публичные мероприятия с участием животных, и *festa del grillo* относится к этой категории. Статья 70 знаменовала начало нового этапа.

В девяностые годы XX века Флоренция стала ареной общенациональной борьбы против использования живых животных при религиозных и других праздниках. «Никакой Дух Святой, никакое выражение искреннего благочестия не наделяет людей правом распинать голубя в Орвьето, приносить в жертву быка в Роккавальдине или перерезать глотку козам в Сан-Луке», — заявил один из лидеров кампании, Мауро Боттиджелли из «Лиги против вивисекции» (*Lega Anti-Vivisezione*) [363].

Во Флоренции активисты заручились значительной поддержкой. Знаменитый *Scoppio del Carro* — драматичный взрыв большой телеги с

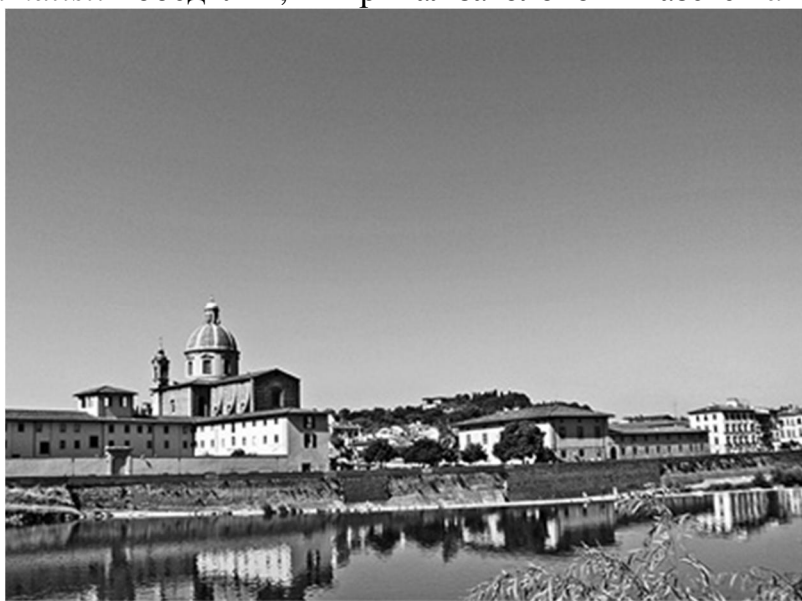
пиротехническими изделиями на Пьяцца дель Дуомо в пасхальное воскресенье — был переработан: живого голубя, привязанного к пылающей ракете, которая традиционно провоцировала взрыв, заменили механической птицей. Затем, в 1999 году, муниципалитет Флоренции принял закон о запрете любой торговли дикими или «автохтонными» (то есть аборигенными) животными. Этот закон был конкретно направлен против продажи *grilli* в день Вознесения. (Считали ли депутаты, что продолжают труд дуче? Подозреваю, что большинство вообразило себе более мирную родословную. А если мысль и закрадывалась, их, возможно, успокоил бы тот факт, что фашисты не интересовались сверчками. Фелициано Филипп упоминает в своей книге о насекомых всего единожды: вычисляет довольно сомнительными методами, сколько насекомых (6720) съедают за день пара ласточек и их птенцы, и эта цифра должна продемонстрировать значение птиц для сельского хозяйства и здравоохранения, а не важность насекомых для здоровья птиц.)

Битва за душу праздника сверчков приобрела форму борьбы между *animalisti* [зоозащитниками (*um.*)] и традиционалистами. Вред, причиняемый сверчкам этим праздником, был, возможно, менее очевидным, чем в случае со *Scoppio* и голубем, — но, мне кажется, не потому, будто страдания птицы легче себе представить, чем страдания насекомого. Вопрос стоял более тонко, поскольку взаимоотношения между флорентийцами и их *grilli* были более тесными.

Все стороны, соперничавшие между собой в этой драме, считали себя друзьями сверчков [364]. Когда муниципалитет в итоге разрешил проблему, он занял максимально дружественную к сверчкам позицию: защитил живых насекомых и оказал покровительство мифическим. Торговцам запретили продавать живых сверчков, а если кто-то попадет с поличным, его клетки будут конфискованы, а насекомых выпустят, «чтобы они свободно скакали по холмам Флоренции». Но торговля клетками не попала под запрет, причем клетки продавались не пустыми. Чтобы не оставить без работы мастеров, изготовлявших клетки, и уберечь историко-культурную форму (если не конкретное содержание) мероприятия, город снабдил торговцев сверчками двумя одобренными аборигенными видами. Сверчки первого вида, особенно красивые, изготавливались из терракоты по эскизу местного художника Стефано Рамунно; сверчки второго вида, более шумные, работали на батарейках и издавали знакомый, если и не вполне аутентичный, стрекот. Вы догадываетесь, что думали политики: местные ремесленники не останутся без работы и даже получат больше заказов, сверчки (живые) смогут свободно прыгать и распевать, не опасаясь поимки и заточения, а население — любящие сверчков флорентийцы — смогут, не совершая ничего дурного, предаваться своим увлечениям, чтить свою культуру и историю.

Как и следовало ожидать, вскоре возник черный рынок сверчков, поскольку некоторые родители твердо решили доставить своим детям удовольствие: пусть выбирают причудливую клетку с крохотным обитателем, несут домой своего нового стрекочущего друга, выпускают его во дворе и, если повезет, приятельствуют с ним, когда он поет для них всё лето. То были глубоко прочувствованные удовольствия, с которыми людям не хотелось расставаться.

Но депутаты, которые поддержали реформу, не просто отвергли эту традицию; они считали, что поддержали динамичное понимание ее потенциала, концепцию, которая предполагала, что тесные отношения с этими животными — нечто анахроничное, архаичное. Как-то так получилось, что в этом подходе официальных властей, дружественном к сверчкам, сами сверчки, сверчки как живые существа считались столь маловажными для *festa del grillo*, что без сомнений предполагалось, что без них этот праздник сохранится — праздник во славу их отсутствия и во славу прогрессивного мышления, которое породило реформу. «Освобождая сверчков, мы расстаемся с аспектом прошлого, который не отражает современное мировосприятие, ничем не умаляя дух мероприятия в Кашине», — заявил в интервью национальной прессе Винченцо Бульяни, член партии зеленых, депутат, курировавший вопросы окружающей среды. «Традиция, — заверил он, — эволюционирует и совершенствуется» [365]. «*Animalisti* победили», — кричал заголовок в газете *La Repubblica*.



Новый *festa* дебютировал на Вознесение в 2001 году, заодно с активной просветительской кампанией: школьников учили понимать, ценить и уважать *grilli*.

Ровно пять лет спустя, предвкушая удовольствие, мы вышли из нашего пансиона, пересекли Понте Веккьо и радостно зашагали по берегу Арно к Парко делле Кашине; нам не терпелось узнать, в какое мероприятие превратилась *festa del grillo*. Праздник сверчков без сверчков. Речная гладь сияла, спокойная, как пруд под небом Тосканы — самым синим на свете.

## 5

Было жарко и влажно. Ни ветерка, затхлый воздух. Мы бродили по парку несколько часов.

Сверчков было не видно и не слышно. Ни одного. Ни терракотовых, ни механических, ни даже живых. Не было и раскрашенных клеток, описанных Дороти Спайсер. Может быть, мы не туда пришли? Или перепутали дату?

Как и было обещано, торговцев оказалось хоть отбавляй. Но они не торговали сверчками. Игрушки, еда, одежда, ремни, кепки, предметы домашнего обихода. Куча поддельных часов, но ни одного поддельного сверчка.

Тут были два длинных ряда лотков, тесно выстроившихся вдоль главной аллеи парка. Прямо посередине, привлекая самую большую толпу, стоял большой лоток с несчастными на вид животными в клетках: собаками, кошками, экзотическими птицами, — никаких диких, автохтонных или запрещенных животных.

Мы снова прошлись из конца в конец аллеи, а затем стали прочесывать парк более систематически на случай, если «движуха со сверчками» происходит где-то еще. Мы набрали на *Fonte di Narciso* [«Источник Нарцисса» (*um.*)], где Шелли (который в других произведениях называл насекомых своей родней) сочинил «Оду западному ветру», подивились загадочной, скрытой зарослями пирамиде (позднее мы выяснили, что это один из знаменитых ледников Кашине). Мы отыскивали благотворительную ярмарку и красивый фасад XVIII века — здание сельскохозяйственного факультета, где недолгое время, прежде чем уйти в партизаны, проучился Итало Кальвино. И мы увидели позади рынка дорожные указатели *Divieto di Transito per Festa del Grillo* («На время праздника сверчков проезд воспрещен») — единственную приметку того, что это и есть мероприятие, ради которого мы приехали в далекую Флоренцию.

Но, наверно, праздник где-то есть. Наверно, мы по какой-то причине его пропустили. И одновременно мы оба вспомнили туманный день двадцать с лишним лет назад, когда мы стояли на террасе перед церковью Сакре-Кер на Монмартре, озирали успокоительно-серую панораму Парижа и целых десять минут безуспешно пытались отыскать взглядом Эйфелеву башню, пока вдруг словно тучи раздвинулись — и самое заметное в городе сооружение появилось, возвышаясь над пейзажем в центре нашего поля зрения, и мы растерянно вопрошали, как мы могли ее не заметить. И тут, когда всплыло это воспоминание, мы неожиданно обнаружили, что мужчина, заведующий безупречно чистым общественным туалетом в середине Кашине, — бразилец из Форталезы, штат Сеара; что он прекрасный рассказчик, что он очень рад возможности поговорить по-португальски, что во Флоренцию он приехал тридцать лет назад с остановкой в Париже; и что, в отличие от Эйфелевой башни, *festa del grillo* сегодня не материализуется чудесным образом из эфира.



Итак, мы свели знакомство с сеу Эдинальдо из Форталезы, полным жизни и энергии; в нем чувствовалось лишь слабое влияние меланхоличности изгнанника. Не знаю, может быть, он и его жена жили в том же здании; факт тот, что они превратили его в дом из тропиков, самый красивый туалет, который вы только можете вообразить: занавески из бусин, побеленные стены, вырезанные из журналов фотографии птиц и пейзажей, а полы так отполированы, что можно было танцевать со своим отражением, как с партнером. У сеу Эдинальдо есть родня в Рио и Сан-Паулу, но возвращаться слишком поздно. О, *saudades*, тоска, отсутствие.

Сверчки? Несколько лет назад закон изменили, запретили торговать на *festa* живыми сверчками, сказал он. И с тех пор это уже не *festa del grillo*. Раньше это был совершенно особый день, собирались десятки тысяч человек, взрослые, дети, заполняли весь парк. А теперь... Он указал рукой на рынок и почти безлюдные лужайки. И всё же, продолжал он, увидев, что мы поникли, если вам повезет, если вы тщательно пороетесь на лотках, вам попадетс маленькое насекомое на батарейках, которыми торгуют в последние годы. А может быть, вам попадетс клетка; правда, клеток я давненько не видел, добавил он.

И тогда мы снова посмотрели товары и на сей раз увидели футболку с пчелой, и несколько раскрашенных глиняных божьих коровок, и стеклянную (или цирконовую) брошку в виде бабочки, и пластмассовых китайских певчих птиц в зеленых с золотом клетках (на секунду нам показалось, что в клетках сверчки), и один столик с куклами-блондинками и несколькими тамагочи — очаровательными виртуальными питомцами, которые стали настоящим феноменом в Японии в конце девяностых, а в тот момент, на этом столике, выглядели совершенно уместно — как реинкарнации *grillo parlante*, воскресшие из мертвых, как и сам этот сверчок, воскресающий без объяснений в финале шедевра Коллоди.

Почему это идеальная реинкарнация? Потому что, взаимодействуя с тамагочи (как уверяли его любители), дети могут научиться заботиться о других существах, понимать потребности существ, которые на них не похожи, в раннем возрасте познакомиться с темой смерти и бренностью жизни, узнать на практике взаимосвязанность, радости и печали жизни. И казалось, это счастливое совпадение, что мы видим их здесь, на новом *festa del grillo*, потому что аргументы в пользу тамагочи полностью совпадают с аргументами в пользу сверчков, высказываемыми их почитателями, — точнее, теми почитателями сверчков, которые любят окружать себя сверчками, которым нравится иметь сверчка в качестве друга и с ним разговаривать, слушать его, играть с ним, кормить его, делить с ним свой кров на лето, пока длится его жизнь. Эти аргументы они применяли против тех, других почитателей сверчков, которые твердо намерены спасти сверчков от подобной собственнической любви, от заточения и несвободы, которые дарит такая любовь, которые считают себя бескорыстными влюбленными, чистыми влюбленными, теми, кто может любить, ничего не требуя взамен, чьим гимном вполне могла бы стать песня Стинга «If You Love Somebody Set Them Free»\*.



Но битва завершилась, по крайней мере на данный момент. В день Вознесения в Парко делле Кашине больше не было сверчков, и больше не было тесного взаимодействия со сверчками, которое стало бы основой нравственного

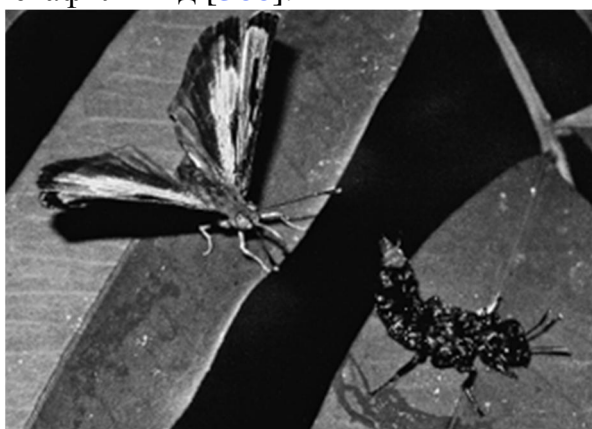
воспитания и будущей ностальгии. Были только тамагочи. И, похоже, их всё равно никто не покупал.

## Q

# The Quality of Queerness is Not Strange Enough Квирность — еще не самое странное свойство

## 1

Присмотритесь к этой фотографии. Ее сделал 15 марта 1991 года в Рондони, на юго-западе бразильской Амазонии, Джордж Кризек, клинический психолог, энтомолог-любитель из Флориды. Слева — бабочка рода *Dynamine*; справа — жук-стафилинид [366].



Доктор Кризек наблюдал за жуком, когда появилась бабочка. Самец или самка бабочки (в статье это не уточняется) сел(а) на лист слева, вытянул(а) свой хоботок и сразу же начал(а) исследовать приподнятый анус жука.

Кризек торопливо достал фотоаппарат. Но, пока он наводил на резкость, бабочка, застеснявшись, — возможно, не желая, чтобы его/ее запечатлели в столь интимный момент, — отвел(а) хоботок. И всё же нетрудно вообразить, как выглядело бы это фото, будь доктор чуть-чуть попроворнее.

## 2

Как знать, что наблюдал доктор Кризек в тот день в Рондони? Давайте вообразим, что это действительно были случайные межвидовые анальные утехы (извините, я не могу придумать более благопристойный эвфемизм). И давайте вообразим, как предполагает Кризек, что эти два насекомых не руководствовались какими-то тайными мотивами: жук не был богомолем, пытающимся приманить бабочку, чтобы ею пообедать; бабочка не была муравьем, который ходит по пятам за тлей, чтобы слизывать сладкий анальный экссудат. Давайте вместо этого предположим — как и доктор Кризек, — что это были всего лишь два маленьких насекомых, которые познакомились между собой, перепихнулись и искренне этому порадовались. Кризек не сомневался в своей трактовке увиденного. Во время своего шести-семисекундного интимного контакта оба насекомых вели себя «спокойно» (собственно, спокойнее, чем он сам). Судя по всем признакам, они взаимодействовали по доброму согласию.

Если бы этот межвидовой «орально-генитальный контакт» произошел между человеком и другим млекопитающим, заметил Кризек (довольно авторитетно, поскольку в этой области он практикует как профессионал), это немедленно было бы признано «половой парафилией», то есть фетишизмом.

Но, добавляет Кризек, международная терминология психиатрии распространяется только на людей, так что для этого взаимодействия требуется другое название. Он предлагает термин «зоофилия». Он не может не знать, что сейчас так обозначаются действия людей, которым нравится секс с животными других видов, термин, которым даже сами любители животных теперь называют то, что когда-то именовалось скотоложеством. Может быть, фото Кризека, сделанное чуть запоздало, — приглашение ко всем секс-исследователям всех видов создать их дивный новый мир по-настоящему многообразного многообразия?

### 3

В сочинении «О том, что животные обладают разумом» (одном из самых занимательных в его знаменитых «Моралиях») Плутарх (45–120 н. э.) указал на то, что среди животных не встречается гомосексуальность, «в то время как у вас подобные примеры нередки среди самых замечательных людей, не говоря уже о безвестных» [пер. С. В. Поляковой. — *Ред.*], сочтя это убедительным доказательством того, что животные добродетельнее людей [367].

С тех самых пор исследователи, по-видимому, с трудом признают сексуальность в свиданиях животных по схемам «самец — самец», «самка — самка» или в смешанных группах. И всё же теперь накопилось слишком много свидетельств, их уже невозможно игнорировать. Как недавно написал нейробиолог Пол Вейзи, «всё труднее отметить, считая исключениями, индивидуальными особенностями или патологией, все сексуальные взаимодействия у животных между особями одного пола» [368].



Это касается не только обезьян бонобо, знаменитых своей сговорчивостью в этих вопросах. Многообразный «секс-репертуар» документально зафиксирован у большого числа видов, от гусей (парные связи между самцом и самцом) до дельфинов (одиночная и взаимная мастурбация, оральный секс и петтинг), от ящериц (вуайеризм и эксгибиционизм) до американских бизонов (спаривание самца с самцом и самки с самкой) и многих других. Еще в 1912 году итальянский энтомолог Антонио Берлезе сообщил, что тутовый шелкопряд вида *Bombyx mori* — одно из множества насекомых, склонных к тому, что этот ученый назвал гомосексуальным извращением [369].



Долгое время зоологи просто приискивали какие-то объяснения квинности (будь то гомосексуальность или что-то еще), на которую натыкались, и не считали, что ее следует воспринимать серьезно. Вначале — как будто это были гомосексуальные половые акты в тюрьмах — они отмахивались от этих черт, объясняя их развращающим эффектом одомашнивания или заточения в лабораторных клетках. Позднее стало очевидно, что «в природе» животные часто выбирают партнеров своего пола, даже когда есть потенциальные партнеры противоположного пола. Эти существа, заключили ученые, либо ведут себя девиантно, либо, что встречается чаще, ошибаются. Просто не понимают, что развлекаются с партнером своего пола.

К семидесятым годам XX века биологи всё больше стали склоняться к тезису, что гомосексуальное и другое нерепродуктивное поведение может иметь смысл с точки зрения эволюции, хотя, как представляется, и идет вразрез с основополагающим эволюционным императивом, который велит размножаться. Вместо того чтобы отказывать ему в значимости, исследователи (особенно те, на кого повлияли социобиология и эволюционная психология) начали работать над объяснениями, которые включали эту на первый взгляд аномальную деятельность в контекст естественного отбора. Если квинный секс существует, рассудили они, то он должен, как и поведение в целом, нести адаптационную функцию. Они назвали нерепродуктивные сексуальные взаимодействия (типа анальных забав бабочки с жуком) «социосексуальным поведением»: социальным по функции и сексуальным по форме.

Однако еще до того, как биологи понаблюдали за этим поведением, еще до того, как они увидели, в чем оно состоит, еще до того, как они вообще зафиксировали, что оно существует, они полагали, что уже знают его предназначение. Как и поведение в целом, уверяли они, однополый секс служит для того, чтобы сделать возможной для его участников «некую социальную цель, повышающую приспособленность организма, или стратегию размножения» [370]. Подобная трактовка походила на кроссворд, где ответы известны, а вопросы следует додумать, — только, в отличие от кроссворда, не было никаких гарантий (кроме уверенности ученых) в том, что ответы и вопросы регулируются одними и теми же правилами. Если бы применялась более ортодоксальная аналитическая процедура, разве теория не пересматривалась бы на основе полученных данных?

Вполне предсказуемо, что объяснения, к которым привели такие способы, могли быть весьма изворотливыми. По распространенному мнению, секс между самцами дрозофил в подростковом возрасте — тренировка или практика в целях последующих гетеросексуальных походов [371].

«Женственное» поведение самцов жука-страфилинида (они уворачиваются от более крупных и более агрессивных самцов, делая то, что делают самки: добывая навоз, занимаясь сексом с самцами) — это стратегия слабых самцов, которые иначе не могли бы получить доступ к пище и самкам [372]. Бисексуальный «промискуитет» самцов плавта, которые, пренебрегая периодом ухаживания, вскакивают на любого другого плавта — самца или самку, попадающего на их пути, имеет смысл, так как «затраты времени и энергии на попытки спаривания с другими самцами меньше, чем выгоды от

оплодотворения всех потенциальных партнерш» [373]. То, что самец и самка японского хрущика (*Popillia japonica*) после коитуса проводят два часа «в обнимку», — проявление решимости полигамного и склонного к гомосексуальным контактам хрущика-самца уберечь свои «генетические инвестиции» от других самцов, которым захочется оплодотворить самку прежде, чем она отложит яйца. Что до однополых соитий между самцами или самками японского хрущика, то это «ошибочное поведение» «особей в состоянии полового возбуждения» [374]. Бисексуальные самки виноградного долгоносика совершают садки на других самок в три раза чаще, чем самцы виноградного долгоносика на других самцов. Почему — никто не знает, но исследователи уверены, что у этого поведения есть «биологическая функция», которая вскоре будет открыта [375].

Всё чисто функционально, никакого веселья. Какая уж там радость секса. А у меня, как и следовало ожидать, есть своя ненаучная догадка: по моим подозрениям, если среди насекомых не замечен приятный секс, то потому, что никто (пожалуй, кроме Джорджа Кризека) его не высматривал.

Факт тот, что биологи, изучающие других животных, обнаружили, что секс («нерепродуктивный» и прочий) — это зачастую занятие, которому предаются исключительно ради удовольствия. И, что было неотвратимо, биологи сразу же заключили, что у такого удовольствия тоже есть своя функция. Приятный секс, говорят многие, — это «социальная смазка». Удовольствие и чувство близости, возникающие при сексе, разряжают напряженность в группе. Это инструмент примирения. Это часть тех близких отношений, которые способствуют налаживанию социальных связей [376].

Естественно, мы могли бы привести тот же аргумент, говоря о функции секса между людьми. И как знать, возможно, она действительно такова. Но, даже будь это истинной правдой, это всё равно объясняло бы очень мало, это был бы лишь малюсенький обрывок одного из самых запутанных повествований о жизни.

#### 4

Должен ли квір-секс у животных всегда нести эволюционную функцию? Казалось бы, это совершенно тривиально, но, может быть, у животных, как и у людей, желание заняться сексом — достаточная причина, чтобы сойтись вместе?

По крайней мере, у некоторых видов ответ ясен. Среди самок японской макаки, которых изучал Пол Вейзи, отношения держатся на «взаимном половом влечении» [377]. Вейзи и его соавторы много лет наблюдали, как самки макаки поглаживают себя своими же хвостами и трут клиторы друг дружке.

На взгляд Вейзи, все эти сексуальные игры между самками не несут никакой адаптационной функции. Скорее, считает он, они возникли как побочный продукт гетеросексуального секса, а теперь существуют сами по себе, разнообразя жизнь и принося удовольствие.

Утверждая, что удовольствие и вожделение — уже достаточное объяснение однополых свиданий, Вейзи и другие опираются на работы эволюционного биолога Стивена Джей Гулда, охватывающие почти тридцать лет. В серии

революционных и спорных работ Гулд утверждал, что в эволюционной теории в США делался слишком сильный упор на адаптации. Он указывал на черты, которые не отбирались эволюционным путем напрямую, а были нефункциональными побочными продуктами («биологическими антрвольтами») других адаптаций [378]. Подобные черты часто нейтральны в эволюционном отношении: они не ставят в невыгодное положение своих носителей и потому не подвергаются негативному селективному давлению. Один из примеров — лесбиянство среди японских макак. Вейзи предполагает, что оно возникло, когда самки забирались на апатичных самцов, пытаясь возбудить их для соития. Как только самки обнаружили, что им приятно тереться о тела самцов, вскоре они выяснили, что об подружек тереться еще приятнее. Изначальный гетеросексуальный секс несет эволюционную функцию, а квир-секс просто приносит больше удовольствия.

Как знать, прав ли Вейзи насчет этих обезьян-лесбиянок. По крайней мере, он рассказывает интересную историю, поинтереснее, чем версия, которая гласит, что они просто не могут почувствовать разницы.

## 5

Нам нужны более интересные истории и о насекомых-гомосексуалах. Энтомологи, садитесь и пишите! Удручает, что спустя несколько столетий после Декарта мы вынуждены иметь дело с механистическими моделями. Мы должны вернуть удовольствие и вожделение. Даже глубоко зловещее, непростое парафилическое удовольствие — вожделение богомола. В особенности глубоко зловещее, непростое парафилическое удовольствие- вожделение богомола.

Нам нужно больше квирного! Вспомним пчел. Якобы бесполое сестричество пчел. Прихлебывающих и сосущих во тьме улья. Прикасающихся друг к дружке и вбирающих что-то, трущихся и корчащихся. Этот жидкий мир теснейшей близости.

Кто может знать, что наблюдал в тот день в Рондони Джордж Кризек? Приятно думать, что это действительно были межвидовые анальные утехы. Два крохотных насекомых перепихнулись и получили удовольствие. Но неважно, если это было не так. Всё равно могло быть так. И если не в тот момент, то когда-нибудь еще. Возможности безграничны. Нам следует внимательно наблюдать за окружающим миром. Кто может знать, что мы найдем? Кто может знать, что мы выясним? Кто знает, во сколько крат интереснее наш мир, чем кажется нам?

## R

### The Deepest of Reveries В глубочайшей задумчивости

Если на железнодорожной ветке компании «Ханкю» сойти в Миноо — курортном городке, который начинается там, где густонаселенная равнина в регионе Кансей резко переходит в горы, еще более густо поросшие растительностью, — если, пройдя через вокзал, подняться по извилистой, всё

время сужающейся дороге, вдоль которой выстроились магазинчики, где торгуют маринованной редиской, чаями из морских водорослей, надувными животными, керамикой ручной работы, свежим *темпура* из кленовых листьев (коронным блюдом города, который славится своими осенними пейзажами), а также прочими товарами, которые могут заинтересовать покупателей солидного возраста, заботящихся о своем здоровье и любящих природу, и другую категорию покупателей — молодые семьи, приехавшие на денек из Осаки; если вы не соблазнитесь лифтом, который поднимает на высоту двадцати этажей и вмиг доставит вас к слегка обветшавшему, но всё же очаровательному санаторному комплексу с горячими источниками, примостившемуся высоко на склоне; если вместо этого вы продолжите движение по дороге, которая, сужаясь, следует за речкой с такой прозрачной водой, что можно пересчитать рыб, зарывающихся в грунт на дне, и если продолжите путь пешком, медленно, потому что летом воздух очень влажный, и пройдете мимо красивой беседки, увешанной красными праздничными фонариками, и изящно выгнутого деревянного моста, то скоро, когда тропа повернет обратно, огибая подножие горы, вы увидите у речки небольшой открытый участок и три деревянные скамейки, которые кто-то расположил (с заботливостью и тщанием, которые тут прилагают к любому делу) так, чтобы с них открывался вид на лесистый склон, возвышающийся на том берегу реки.



Мы сделали привал, попили воды, пожевали сладкие панированные листья и вскоре, не обменявшись ни словом, впали в самую глубокую задумчивость, погружившись в звук, вибрируя вместе с звуком — с голосами цикад, окруженные цикадами, летней симфонией цикад. На соседнюю скамейку присел мужчина, разулся. Положил ноги на забор, прикрыл глаза. И когда мы погрузились еще глубже в звук, стена голосов цикад превратилась в волну, которая то прилиwała, то отступала, ее ритмы менялись, ее ноты пришли к ясности, — а точнее, это мы нашли в них ясность, — музыканты-виртуозы исполняли свои соло (не знаю, каким еще словом назвать это), завизжала обезьяна, за нашими спинами пробежал, хохоча, ребенок, а пульсирующая толща мелодии и тона сплелась с журчанием реки, катившейся по камням под нами. «Диктофон при тебе?» — шепнула Шэрон, и я нашарил цифровой диктофон, на который записываю интервью, и пристроил его стоймя на забор. И теперь мы можем воспроизводить этот звук всякий раз, когда нам требуется вернуться в те места, побыть среди этих деревьев, у этой реки, вместе с этими

насекомыми, с этим мужчиной. Звуковой пейзаж парка Миноо, префектура Осака, Япония, 1 августа 2005 года, в полуденную жару.



S  
Секс  
Sex

1

В сентябре 1997 года Кит Тугуд, которого британская пресса назвала «сорокачетырехлетним заводским рабочим, отцом двоих детей», был арестован у себя дома сотрудниками таможенной службы, которые конфисковали на сортировочном почтамте в Лондоне нечто подозрительное. Посылка прибыла из Нью-Йорка, отправителем была компания *Expressions Videos*, принимавшая заказы для рассылки наложенным платежом. В посылке находились носители с десятью фильмами, в том числе «Сабо и лягушки», «Краш босиком» и «Жаботоптатель».

Спустя одиннадцать месяцев в Телфордском мировом суде Тугуд признал себя виновным в ввозе порнографических материалов и был приговорен к штрафу в размере двух тысяч фунтов, а также погашению юридических издержек. Пресс-секретарь таможни Билл О'Лири заявил, что таможенники с двадцатипятилетним опытом «думали, что видели в этой жизни всё, пока им не попало вот это». Эти видеозаписи, сказал он, «слишком мерзостны, чтобы их описывать». Майк Хартли из Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (отделение в Западных Центральных графствах, Великобритания) был того же мнения. Эти так называемые краш-видео, сказал он репортеру газеты *The Scotsman*, «верх извращенности и разврата» [379].

За четыре года до этого, когда арест Тугуда и все последующие события были еще невообразимы, Джефф Виленсия жил и снимал кино в гараже на участке своей матери в Лейквуде, южном пригороде Лос-Анджелеса. Он радовался неожиданному успеху, который снискали в артхаусных кругах две его короткометражки: «Раздавливание», где запечатлена женщина, которая давит виноград, и «Расплющивание», где запечатлена другая женщина, которая расплющивает множество земляных червей.

Оба фильма были показаны на кинофестивалях, в том числе престижных, и Джефф оказался интересным собеседником для интервьюеров: внешность серфера, улыбчивый, стильно одетый, да к тому же обаятельный, красноречивый и обезоруживающе прямой. «Краш-фетишист, — терпеливо объяснял он недоверчивому ведущему дневного ток-шоу на канале *Fox Daytime*, — это человек, который желает стать крохотным, величиной с насекомое, похожим на жука и растоптанным, раздавленным женской ножкой».

«Я всегда был извращенцем!» — лучезарно ответил он на вопрос зрителя, давно ли у него появились такие желания. Если уж быть фриком, то самому себе хозяином. Он держался гордо и спокойно, с удовольствием опровергал стереотипные ожидания. Это был не какой-то субчик, которому трудно найти себе девушку, — не то что робкий на вид Пирожник, другой участник программы. («В сексуальности есть могущество, — отметил Джефф с интонацией, напоминавшей одновременно фильмы по сексуальному воспитанию и рекламу жидкого мыла, — и мы все повязаны унижением, особенно Пирожник и я».)



Джефф упустил случай угостить аудиторию в студии и перед телевизорами подробным описанием того, что он подразумевал под унижением. Вместо этого он пояснил, что с тех пор, как в 1990 году снял свой первый фильм, он сделался ядром международного братства из трех сотен краш-фриков («Кстати, все они — джентльмены, умнейшие люди»). Заинтересованные лица могли обратиться к нему через Squish Productions, фирму заказов по почте, которая базировалась у него дома в Лейквуде: приобрести его видеофильмы или экземпляры «Американского журнала краш-фриков», первой из двух книг, которые он написал и издал, чтобы расширить сообщество крашеров.

«Журнал» вибрирует от энергии, спрессованной в небольшом объеме, страницы изобилуют информацией и мнениями: пространные рассказы об этом фетишизме (его история, его радости, его вариации); длинное интервью с

Джеффом из журнала фут-фетишистов *In Step* (Джефф о своих фильмах: «Есть жизнь, а исток жизни — в сексе или в половом акте, и есть смерть — совершенно окончательное, совершенно удручающее, крайне мрачное неведомое нечто. Каким-то образом иногда эти две вещи сталкиваются между собой в тех или иных оргазмических образах»); демографическое исследование на основе писем, полученных Джеффом после публикации интервью («Большое скопление краш-фриков — уроженцы севера и восточного побережья, а среди фут-фетишистов велика доля тех, кто из Нью-Йорка»); факсимиле этих писем («Я прочел ваше интервью в *In Step* и был очень рад узнать, что не только у меня есть фантазии, в которых на меня наступает Женщина-Великанша!»); ценный список фраз, которые обязательно возбудят краш-фрика («Ты будешь хлюпать у меня между пальцами ног»); раздел рецензий, где заострялось внимание на книгах по садоводству и энтомологии, содержащих сцены убийства насекомых; эти сцены оцениваются по пятибалльной системе, от одной («Да ну...») до пяти туфель на платформе («Улёт! У авторки, очевидно, тоже краш-фетиш, и таким образом она выражает свои фантазии»); длинное интервью с госпожой Дж., доминатриссой краша, о ее профессии («Я не наступаю на маленьких тонконогих паучков, потому что они мои друзья. Но жуки — другое дело, понимаете, это же такие мерзкие букашки, не могу взять в толк, почему бы их не растоптать!»); объявления с приглашениями на кастинги и ответы («Я модель и актриса, работаю в рекламе, имею опыт работы в театре. У меня именно то, что вам нужно, — БОЛЬШИЕ СТУПНИ. Прилагаю мое портфолио модели — читайте внимательно информацию о размерах») и многое другое. Всё это перемежается то игривыми, то смешными, то страшноватыми, то слегка жалостливыми, но написанными непременно в его стиле (мол, воспринимайте меня таким, какой я есть, строго между нами) фантазиями Джеффа на тему краша, его историями и воспоминаниями, в которых отражены три ключевых нарративных элемента краш-фетиша (выделенные самим Джеффом): могущество, сексуальное насилие и вуайеризм.

Рей, подруга Джеффа, посадила его в баночку. Проткнула в крышке четыре или пять дырок — для вентиляции.

А сама уходит на свидание с супружеской парой, с которой познакомилась по объявлению в журнале фут-фетишистов. Уходя, выключает свет. Джефф засыпает в баночке.

Рей возвращается домой. Супруги связывают ее и облизывают ее ступни («Она знает, что я беспомощен и ничего не могу сделать — только смотреть... Мне нравится смотреть! Мне нравится быть маленьким, как жучок, мне нравится, что я сижу взаперти и могу только смотреть»). В следующий момент Рей трясет банку, точно бутылочку с острым соусом. Его голова ударяется о стекло, он думает, что, наверно, сломал руку, что, возможно, даже размозжил себе череп. Рей откручивает крышку и вытряхивает его на ковер, переворачивает его большим пальцем ноги. «Эй, ребята, смотрите, что я нашла, — маленького жучка! Как он корчится!»



Все трое нависают над ним, как башни. Он пытается пошевелиться, но ему кажется, что он приклеился к полу. «Наверно, я похож на крохотную, извивающуюся чешуйницу или на гигантского белого червяка или личинку». Он беспомощно трясется. Рей смотрит сверху вниз: «Посмотрите, ребята, здесь на полу мой парень. Я знаю, что он похож на диковинное насекомое, но это он».

Ее новая приятельница по развлечениям тянется за носовым платком. «Чего с ним церемониться, — говорит Рей, — давайте просто на него наступим!»

Всё происходит медленно-медленно: мы можем предположить, что именно так течет время для крохотных, короткоживущих существ, именно так время притормаживает, почти останавливаясь в чрезвычайных обстоятельствах. «Она заносит свою огромную ногу. Я пытаюсь поднять голову, но у меня ничего не получается. Я не могу пошевелиться. Слышу ее голос, в последний раз: „Размажем этого жука!“» [380]

И теперь всё сходится в одной точке. Когда он лежит, обездвиженный, мысленно моля, чтобы нога опустилась на него, упрашивая, чтобы она опустилась, а нога опускается, гигантская нога накрывает его, и он спонтанно эякулирует, и именно в этот момент, ровно в этот момент липкая ступня раздавливает его, и «мои кишки изверглись из меня, а мои глаза выскочили из глазниц. Мое внутреннее содержимое с хлопаньем полилось изо всех отверстий моего тела!.. Мои бока полопались, и все мои внутренности расплющились, как полураздавленная винограда. Я превращаюсь в каплю кровавого месива под пяткой. Теплая нога разворачивается взад-вперед, чтобы вернее меня растоптать. Половина моего крохотного тельца разломилась на части и была втоптана в ковер. Другая половина прилипла к пятке, словно кожица раздавленной виноградины» [381].

Возможно, эти слова действуют на вас, если вы уже увлечены сюжетом и пленились его призывами. Возможно, другой литературный стиль мог бы лучше передать это оргазмическое столкновение смерти, секса и покорности. Либо, возможно, ставить так вопрос бессмысленно, так как эти истории имеют



функциональный, а не просветительский характер. Но архаичные фильмы Джеффа «Раздавливание» и «Расплющивание» каким-то образом производят впечатление на всех зрителей, а не только на тех, кто уже увлекся темой. Возможно, это что-то говорит об отличиях между разными родами искусства, между режимами внимания, которые создаются этими родами искусства. А может быть, дело только в том, что от этих конкретных фильмов невозможно увернуться: они сжатые и компактные, сведенные к одной чистой идее, непоколебимой и однозначной.

Фильмы короткие, длиной всего пять и восемь минут соответственно, изображение черно-белое, высококонтрастное. Эрика Элизондо, главная героиня «Расплющивания», появляется в темном платье на ярко-белом фоне. Она прямо перед нами, на сверхкрупных планах снова и снова ее хорошенькое пухленькое личико, ее изменчивое выражение лица — слегка невинное, слегка искушенное, слегка кокетливое, слегка непредсказуемое, слегка неприступное, ее ступни с педикюром, мягкие пятки, которые вскоре испачкаются кровавым месивом из червей.



«Мой вес — 122 фунта, размер обуви — восемь с половиной, — начинает она, принимая манерные позы манекенщицы на подиуме. — Я обожаю расплющивать червей. Я обожаю дразнить их, сначала надавливая легонько...» Голос у нее — как у Бетти Буп, высокий, отзывается эхо. Она разговаривает с вами, она знает, что вам по вкусу, и она устроит это для вас. Она не судит вас, она с вами играет — в том числе как с игрушкой. Она хихикает, но она тут всем командует. Она морщит нос с деланной гадливостью: «Очень приятно вообразить, будто черви под моими ногами — это маленькие мужинки. И еще

больше мне нравится вообразить, что это мои бывшие, и я им мщу». Усиленное динамиками хлюпанье червяков под ногами похоже на писк. Восемиминутный фильм кажется длинным-длинным, пока она дразнит животных, смеется, позировает, переобувается в черные туфли-лодочки («Это туфли моей матери. Я решила их взять, потому что она не хотела, чтобы я снималась в фильмах для фут-фетишистов!»). Она впечатывает свои босые ноги в трепещущих червей, и их кишечные жидкости бьют струей из заднего прохода, и это похоже на оргазм, на оргазм, который Джефф испытывает за секунду до того, как нога Рей оставляет от него мокрое место. «Вы — просто пятно грязи», — говорит Эрика Элизондо червякам, растирая их в кашицу на ярко-белой оберточной бумаге из мясного магазина.

Краш-фрики пришли в восторг от этих фильмов, и те быстро стали классикой жанра. До сих пор можно увидеть, как люди на форумах фетишистов пытаются найти копии фильмов. Но критики и публика на кинофестивалях не знали, как реагировать. «Завораживает, но... раздвигает пределы толерантности», — заключила комиссия кинофестиваля в Хельсинки. «Шоу ужасов для зоозащитников», — написал в *Washington Post* Чарльз Трухарт.

Для Джеффа Виленсии фильмы, книги и телеинтервью были знаком, что его славят, претензией на право жить полной жизнью. «Я люблю себя и мой фетиш, и я никогда не поменялся бы на другой фетиш! Я обожаю ноги девушек (восьмого, девятого, десятого размера и еще больше!). Я обожаю облизывать пятки и сосать пальцы ног. Я обожаю фантазировать, что я жук, а она наступает на меня, и меня расплющивает! Я мастурбирую под эти фантазии два раза на дню», — заявлял он в «Журнале». «Мы должны свободно разговаривать о сексуальности и чувствах, — продолжал он, — и тогда исчезнут все табу. <...> Мы должны сделать шаг вперед в сексуальном воспитании и объяснить каждому ребенку, что секс, фантазии и фетиши — это хорошо, это основа счастливой, здоровой сексуальной жизни, которая, в свою очередь, упрочит отношения между партнерами. Мир станет лучше, когда люди поймут, что такое сексуальность и что значат жизненные впечатления. Желаю вам много счастливых фантазий, от чего бы вас ни вштыривало. *Мы — краш-фрики, давите нас ногами!*» [382]

### 3

Арест Кита Тугуда был только началом, рассказал мне недавно Джефф, когда мы сидели и разговаривали вечером на солнышке у «Старбакса» в пригороде Лос-Анджелеса [383]. Британские зоозащитники предупредили Общество гуманности в Вашингтоне. Те, в свою очередь, указали окружной прокуратуре в округе Вентура на видеостудию *Steponit*, работавшую в ее юрисдикции. Посмотрев пленки, лос-анджелесские полицейские испытали ту же гадливость, что и британские таможенники, но не смогли найти состава преступления: людей, снимавшихся в фильмах, было невозможно опознать, в кадре были только ноги; *Steponit* уже закрылась; было неясно, когда сняты видеофильмы (в Калифорнии законы о жестоком обращении с животными предусматривают трехлетний срок давности, а прокуратура решила, что именно эти законы дают наибольшую вероятность обвинительного приговора).

Раздосадованные правоохранители затеяли операцию под прикрытием. Следователь из округа Вентура Сьюзен Крид, называя себя Минни, зарегистрировалась на форуме *Crushcentral* и в январе 1999 года вступила в контакт с Гэри Томасоном, местным продюсером и распространителем краш-видео. Скоро они уже болтали в чатах, и Минни рассказала Томасону, с каким удовольствием она топчет мышей своими ногами десятого размера в гараже своего парня и, что еще важнее, как ей хочется сняться в главной роли. Томасон, который в своих фильмах дотоле ограничивался мелкими животными (червями, уликами, сверчками, кузнечиками, мидиями и сардинами), опешил от необычного энтузиазма Минни, но всё же был заинтригован. В начале февраля они увиделись в реале, и, поддавшись на уговоры Минни, Томасон осмелел и решил попробовать нечто новое. Как он объяснял корреспонденту журнала *California Lawyer* Мартину Ласдену, «мыши очень популярны среди как минимум 30% краш-сообщества, так что ими вполне стоит заняться».

Ласден пишет, что на какое-то время переписка заглохла. Затем в конце мая Томасон написал Минни, что снял новый фильм, в котором актриса раздавила двух крыс, четырех взрослых мышей и шесть мышат. Он послал Минни отрывок, а она ответила: «Хорошо сработано».

Через три недели Минни со своей подругой Лупе (Марией Мендес-Лопес, служащей полиции из Лонг-Бича) приехали, как было уговорено, на квартиру к Томасону. Минни попросила его купить несколько морских свинок, но через полчаса он вернулся с пятью коробками, в каждой из которой было по одной большой крысе (их ему продали в качестве корма для змей). Морские свинки слишком дорого стоят, пояснил он.

Развязка не заставила себя ждать. Томасон опустил жалюзи и запер входную дверь. Не без труда зафиксировал сопротивляющуюся крысу, приклеив скотчем ее хвост к стеклянному столу — ценному реквизиту: если снимать снизу, можно запечатлеть последний вздох на окровавленных пятках женщины. Ласден реконструировал то, что за этим последовало:

Томасон и его помощник Роберт наводят видеокамеры.

Минни: «Как бы мне хотелось, чтобы это был мой бывший муж».

Лупе: «Ага, тот еще был ублюдок».

Громкий стук в дверь. Томасон: «Кто там?»

«Полиция».

Паника. Томасон пытается освободить крысу. Прежде чем ему это удастся, полицейские выбивают дверь, и восемь сотрудников в штатском, с пистолетами наготове, врываются в квартиру. «Полиция! Полиция! Всем лечь на пол».

«Таких лютых полицейских вы в жизни не видали, — рассказал мне Джефф. — Они разгромили всё его имущество. Украли его нумизматическую коллекцию. Когда позвонил кто-то из его родственников, они подняли трубку в его квартире: „Да, мы знаем Гэри. А вы знаете, что Гэри — сраный извращенец?“»

Полиция отпустила Роберта, но Томасону предъявила обвинения в тяжком уголовном преступлении — трех эпизодах жестокого обращения с животными. Томасону грозило до трех лет тюрьмы. Сумму залога установили в тридцать тысяч долларов. В файлах на его конфискованном компьютере они нашли

личные данные актрисы, которая снялась в его предыдущем фильме с крысами. Когда они отыскивали Дайан Чэффин в Ла-Пуэнте, штат Калифорния, в ее гардеробе всё еще лежали преступные туфли.

Уголовный кодекс штата Калифорния писался в 1905 году, когда законодатели, думая о животных, имели в виду прежде всего домашний скот. Кодекс содержит определение животного («бессловесная тварь») и предполагает кары для всякого человека, кто «злонамеренно и умышленно калечит, увечит, мучит или ранит живое животное либо злонамеренно или умышленно убивает [его]». Адвокаты Дайан Чэффин и Гэри Томасона попытались ограничить охват этого пункта закона, сославшись на норму из Кодекса санитарии и безопасности, которая гласит, что жители Калифорнии обязаны уничтожать грызунов в своих жилищах «с помощью яда, ловушек и других подходящих средств» [384]. При кратком изложении доказательств казалось, что можно обоснованно утверждать, что на мышей и крыс защита не распространяется (как и на беспозвоночных, убийство которых не вызывало никаких юридических споров), и более того, что одобренные методы истребления тоже предполагают нанесение увечий и мучения. Однако на практике обвинителю было достаточно показать судье несколько отрывков, где Дайан Чэффин играла свою роль, чтобы крюкотворство адвокатов оказалось бессильно («Эй, малыш, я тебя проучу, я научу тебя любить мой каблук», — сказала она мышонку, и в суде был заслушан этот отрывок [385].)

«Вы можете убивать животных весь день напролет, — отметил зампрокурор округа Вентура Том Коннорс, который вел это дело. — Это делается на бойнях. Важно другое — каким способом вы их убиваете» [386].

И всё же Чэффин судили лишь за убийство трех животных. Прокурор сомневался, что может доказать жестокость в случае еще девяти животных. Джефф Виленсия пояснил: в реальности это значило, что корчи взрослых крыс были заметны, а конвульсии крохотных мышат — нет. «Ничего более запутанного вы в жизни не слышали, правда?» — спросил меня Джефф.

#### 4

«Раздавливание» и «Расплющивание» — лишь два из многочисленных краш-фильмов Джеффа Виленсии. Остальные он выпустил в рамках своей серии «Театр раздавливания», насчитывающей пятьдесят шесть выпусков. Он продавал их по почте, высылая наложенным платежом; клиенты узнавали о них от других зрителей или из рекламы в порножурналах. Ни один из этих фильмов не попал на фестивали (это, впрочем, и не предполагалось). «Они были сделаны для мастурбации в частной обстановке, — сказал мне Джефф, — для фетишистов».

Фильмы из серии «Театр раздавливания» цветные, они намного длиннее, чем артхаусные, — минимум сорок пять минут. В них могут фигурировать сверчки, улитки и мышата, а также черви. Джефф выполняет роль закадрового церемониймейстера и интервьюера. Их сюжетные условности знакомы зрителям малобюджетного «любительского» порно, в котором особенно ценится «обыкновенность» женщин, участвующих в фильме, и продуцирование фантазии о нормальности — фантазии, вселяющей ощущение, что такие

события могут происходить где угодно, в любой момент, что прямо сейчас в вашу дверь позвонят, и появится девушка, которая будет рада проделать всё это только для вас.

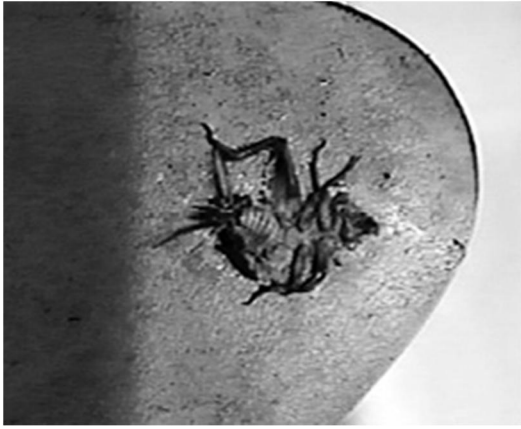
Всё это происходит, как представляется, в квартире Джеффа. Для начала он берет интервью у актрисы, его бестелесный голос — энергичный бас, как у приветливого радиоведущего. Фильмы малобюджетные, но сняты профессионально, хотя Джефф много смеется нервным смехом, и становится ясно, что он возбужден. Он всё это организовал и всем командует, но в воздухе разлита неопределенность.

Актриса сидит перед белым задником. «Ваш рост? — спрашивает он. — Ваш возраст? Ваш вес? Ваш размер обуви?»

Ему хочется вести фетишистские разговоры. «Чем вас привлекло объявление насчет раздавливания жуков?» — спрашивает он. Элизабет, высокая брюнетка, главная героиня «Театра раздавливания № 42», утирает нос бумажным платком (у нее насморк) и отвечает не раздумывая: «Деньги!» — говорит она, и оба хохочут.

Иногда женщины стесняются. Джефф старается их разговорить: вспоминает, как они познакомились — на автостоянке! — спрашивает, что она знает об этом фетише, как она относится к насекомым, к раздавливанию насекомых, что подумала бы ее мама, если бы узнала, что она это делает, что она думает о мужчинах, которые кончают, глядя, как она это делает. Он добивается, чтобы она смущенно захихикала и рассказала несколько историй об убийстве насекомых. («Какие туфли на вас были?») Он ее поддразнивает: «Да вы же чудовище!» Она приступает к работе.

Всё просто: большой квадратный лист белой бумаги, сменная обувь, несколько мелких животных. Женщина, возможно, осторожничает, как Элизабет, или полна энтузиазма, как Мишель в «Театре раздавливания № 29» («Какие ощущения это у вас вызвало?» — «Что я занимаюсь искусством»). Она толкает животных туда-сюда пальцем ноги. Он дает ей указания. Она снова их толкает. Камера наезжает, сосредотачивается на действии. Женщина давит нескольких животных, набирается уверенности, возможно, начинает на них сердиться, грозит им, насмехается над ними, хохочет над ними, хохочет над ситуацией, забавляется с ними, шевеля ногой, делает вид, что перед ней бывший любовник («Ах ты козел, ах ты сволочь, ты меня затрахал, ты трахнул мою лучшую подругу, ты меня с дерьмом смешал, ты заслуживаешь смерти, ты должен умереть самой страшной, мучительной, изнурительной, ужаснейшей мучительной смертью», — говорит Мишель странно монотонным голосом), она позволяет им убежать недалеко и ловит их снова, пинает их, давит то сильнее, то слабее. Джефф зуммирует, снимает крупным планом голову сверчка, торчащую на ее туфле («Гляди, как он корчится, вот круто, так они сильнее мучаются», — замечает Мишель). Они делают перерыв, чтобы поговорить об испачканной подошве ее туфли. И начинают сызнова: новая бумага, новые животные, иногда совершенно новый костюм.



Нет никакого ловкого монтажа, никаких спецэффектов, всё без претензий. Домашнее видео, то, что происходит здесь и сейчас, происходит в реальном времени с реальными людьми. Но что происходит? Наводя камеру на зардевшееся лицо Мишель, Джефф подталкивает ее к объяснениям.

Джефф: «Когда мужчины будут смотреть этот фильм... Ты ведь знаешь, что они будут делать, правда? Что они будут делать?»

Мишель: «Он их возбудит» (смущенный смешок).

Джефф (тоже смеется): «И каким образом он их возбудит?»

Мишель: «Они будут дрочить!» (Оба смеются.)

Джефф: «Итак, они будут фантазировать о том, что их давишь ты. И у них встанет, и они будут дрочить. Что ты об этом думаешь?»

Мишель: «Они вообразят себя жуками». (Камера наезжает.)

Джефф: «Ну да, и что тогда произойдет?..»

Мишель (шепотом): «Не знаю, наверно, они...»

Джефф: «Итак, они воображают себя жуками...»

Мишель: «Ну да...»

Джефф: «И что после этого происходит?..»

Мишель: «И после этого я их раздавливаю, и я словно бы раздавливаю их, а не жука...»

Джефф: «Вау! Невероятно! Ты рассказывала своим друзьям об этом фетише?»

Мишель рассказывает Джеффу, что готовилась к роли, просматривая его фильмы и пролистывая два выпуска «Американского журнала краш-фриков». Джефф говорит мне, что эти сцены снимались без единой репетиции.

Я знаю, откуда Мишель почерпнула представление, что мужчины воображают себя жуками. Я прочел те же книги, посмотрел те же фильмы и, наверно, вел с Джеффом Виленсией отчасти те же самые разговоры. Казалось бы, всё просто: «воображают себя» — краткий эвфемизм для глубокого самоотождествления в момент безумно дезориентирующего возбуждения. Но с чем конкретно самоотождествляются Джефф и другие краш-фрики?

Вначале я воображал себе что-то вроде превращения, что-то вроде кросс-видового слияния двух существ в нечто невиданное, жукомужчину/мужежука, нечто, достижимое, когда пусковым крючком служат моменты экстаза при детальном разыгрывании фантазии. Я предположил, что этот временный мужежук каким-то образом ощущает, что обитает в физическом и психическом мире-существом насекомого. И эта мысль мне понравилась, так как создавала

вероятность того, что перед нами нестандартная попытка вырваться за рамки человеческого существования, а не более привычное людское стремление к осуществлению своих грез и самовыражению. Мне показалось, что это нечто утопическое, хоть и своеобразное, с примесью умопомрачения.



Но затем я подметил, что в фантазиях Джеффа — или, по крайней мере, в его фетишистских историях и фильмах — женщина всегда знает, что мужежук — вовсе не жук. Она знает, что нечто жукообразное, извивающееся на ковре, — это Джефф. Иногда — собственно, довольно часто — она поручает своему здоровенному, сильному парню (которого часто зовут Саша) раздавить его, и Саша, возможно, не знает, что давит Джеффа, а она только потом сообщает ему об этом, а иногда так и не сообщает, и Саша, возможно, никогда этого не узнает. Но женщина знает это всегда, — а именно женщина, выносящая вердикт и организующая наказание, в этих историях главная.

Помните фантазию Джеффа о том, как Рэй и ее друзья втаптывают его в ковер? Это одна история из многих (историй много, сюжетов мало). Джефф — крохотный, дрожащий, отвратительный, никчемный. Он ни на что не годится — его можно только раздавить. Он имеет черты насекомого и заслуживает соответствующего обращения, жестокого, немилосердного.

Участники драмы очень четко сознают этот момент. Джефф подобен жуку. Но он — не жук. Он не частично жук. Он не жук в промежуточном состоянии. Он определенно не трансжук. Он даже не выдает себя за жука. Он подобен жуку. Все знают, что на ковре растаптывают Джеффа; он это знает, Рэй это знает, и пара, которая облизывает ей ноги, тоже это знает. Помните, что сказала Рэй? «Посмотрите, ребята, здесь на полу мой парень. Я знаю, что он похож на диковинное насекомое, но это он».

Итак, хотя Джефф любит подписываться Жук Джефф Виленсия, его амбиции в действительности довольно скромны: он просто хочет иметь те черты, которые есть у жука: никчемность, отвратительность, уязвимость, подверженность растаптыванию. Метаморфоза не такая уж масштабная. Почти



все эти черты у него уже есть. И он сумел найти в них нечто позитивное: обнаружил, что для него унижение — это осуществление желаний. Он может нанять женщин, чтобы они по нему ходили. Но ему нужно нечто большее. Ему нужно, чтобы его жукоподобная натура стала зримой, ему нужно, чтобы его принудили расплачиваться за это — снова, снова и снова.

И тогда я понимаю, что на самом деле он не жукомужчина/мужежук, потому что все эти страдания и унижения никак не могут вселять в него сопереживание или сочувствие насекомым. Разве тут до сочувствия? Потому что страдание для него — удовольствие, а насекомое — только лишь вместилище этого зловещего удовольствия, вот и всё. Насекомое — не что иное, как темный мир, абсорбирующий отвращение общества. Анонимный темный мир, где возможно неумолимое повторение одних и тех же действий. Давить, давить, давить. Так маленький ребенок снова и снова бросает свою бутылочку на пол, всякий раз, когда ее поднимают, снова и снова, — бросает, пытаюсь постичь что-то одновременно темное и пустопорожнее.

Снова и снова. Вот и всё.

Вы это чувствуете? Вот что тут важно. Не забивайте себе голову размышлениями о том, почему они это проделывают, хотя сами краш-фрики — обреченные, как и все секс-меньшинства, давать объяснения, — поневоле должны всё время биться над этим вопросом. Внебрачное дитя фут-фетишизма, отвергнутое дитя помешательства на великаншах, печальный кузен трамплинга, забытый сводный брат зоофилии, злой близнец WAM-фетиша [387]. Его возникновение все возводят к детству, к неожиданному зрелищу роковой сцены: мать, насекомое, нога. В это мгновение широко раскрытого ока что-то создается навеки, что-то утрачивается навеки.

Фрейд пишет, что фетишизм — это отрицание, «колебание между двумя логически несовместимыми убеждениями» [388].

Невозможность разрешения конфликта побуждает к вечному возвращению: к ноге, к насекомому, к взрывчатой смерти, к тому давнему моменту за секунду до этого нехорошего события. К отсутствующему женскому фаллосу. Но, может быть, и нет. Когда пишешь об этом в такой форме, всё это кажется не совсем серьезным.

И всё же не только краш-фрики чувствуют потребность это узнать. Как мы вскоре увидим, все хотят услышать историю о том, откуда это взялось, все — от ведущих *Fox TV* до прокуратуры, от Общества гуманного отношения к животным до юридического комитета Палаты представителей. Откуда эта потребность докопаться до причин? Это стремление добиться, чтобы такое не повторялось? Найти лекарство? Аннулировать, оправдать, объявить патологией, объявить нормой, криминализировать? Все стороны разделяют мнение, что растаптывание — знак, что что-то неладно. Единственные симптомы, которые никто не считает нужным объяснять, — именно те симптомы, которые обнажаются при этих неизбежных требованиях объяснений.

Как и большинство из нас, Джефф — человек крайне непоследовательный. В отличие от большинства из нас, он мастер чеканных формулировок. «В данный момент моей жизни, — пишет он в „Журнале“, — мне интереснее само

явление, чем его истоки» [389]. Жук раздавливается. Человек кончает. Вот что важно. Возможно, вы этого не чувствуете. Но Джефф-то чувствует.

## 5

Жорж Батай начинает свою вдохновляюще-чуждую любым оправданиям «книгу-картинку» «Слезы Эроса» тоном утопического манифеста. «Мы дерзаем, — объявляет он, — постичь абсурдность отношений эротизма и морали» [390]. «Мораль, — сообщает он нам позднее, — делает ценность действия зависимой от его последствий» [391].

Когда летом 1999 года начался судебный процесс «Народ США против Чэффин и Томасона», Джефф Виленсия, единственный в Америке телегеничный краш-фрик, снова оказался в центре внимания прессы. Но на сей раз всё было иначе. В заголовки попал не только незадачливый Гэри Томасон. На Лонг-Айленде, в предместье Ислип-Террас, краш-фрики задали работу нью-йоркским полицейским. Руководствуясь информацией от его бывшей подружки, полиция провела обыск в спальне двадцатисемилетнего Томаса Каприолы и обнаружила полдюжины единиц полуавтоматического огнестрельного оружия, плакат с изображением нацистского штурмовика, полный аквариум мышей, пару туфель на высоком каблуке, испачканных запекшейся кровью, и то, что обеспокоило их больше всего: краш-видео, семьдесят одна штука, которые, как утверждали полицейские в суде округа Саффолк, Каприола продавал через свой сайт под названием «Богиня Краша» и рекламу в порножурналах [392].

Внезапно Америку взяли в клещи. Растекаясь по карте, словно «красная волна» в мультиках времен холодной войны, краш-фрики наступали на сердце Америки со стороны обоих побережий.

Кто-то должен был оказать им отпор. Майкл Брэдбери, прокурор округа Вентура, провел пресс-конференцию вместе с представителями Лиги животных Дорис Дэй. В солнечный день в Сайми-Волли, стоя перед крупноформатными изображениями насекомых, котят, морских свинок и мышей в момент их растаптывания женскими ногами, они начали кампанию по ускоренному принятию Резолюции 1887 Палаты представителей — специального законопроекта о введении уголовной ответственности за производство и распространение краш-видео. Автором законопроекта был конгрессмен-республиканец Элтон Галлегли, на тот момент шесть раз побеждавший на выборах в Калифорнии. Известно, что Галлегли энергично поддерживал кампанию производителей цитрусовых и виноделов за истребление цикадки *Homalodisca vitripennis* (а также занимал столь жесткую позицию в отношении иммиграции, что его ввели в Зал славы погранслужбы США). Факт тот, что Галлегли назвал этот фетиш «одной из самых извращенных и патологически-безумных форм жестокого отношения к животным, о которых я только слышал».

Кампания строилась вокруг тезиса, что краш — это «фетиш, открывающий двери». Совсем как употребление каннабиса неизбежно ведет к употреблению крэка, утверждали активисты, фетишисты, возможно, начинают невинно — с винограда и червей, но затем, шаг за шагом, их влечет вверх по лестнице творения, пока, согласно страшному сценарию Брэдбери, скоро кто-нибудь

«заплатит миллион долларов за организацию раздавливания младенца» [393]. Чтобы подкрепить его аргумент, один из его заместителей дал показания, что видел видеоролик, где топтали куклу-пупса. Семидесятивосьмилетний Микки Руни, в прошлом юная кинозвезда, возвысил свой голос: «Положите конец этим краш-видео, будьте так добры. Что мы передадим по наследству своим детям? Вот что, значит, мы передадим — эти видео, краш-видео? Боже упаси» [394].



Когда законопроект был внесен в Конгресс, все корреспонденты всех СМИ устремились к Джеффу. На протяжении нескольких бурных недель его забросали просьбами об интервью для радиостанций, журналов и газет. Он проигнорировал совет своего друга-юриста. Возможно, Джефф поддался соблазну этой специфически американской смеси идеализма с эксгибиционизмом и мечтой о славе. Он соглашался — возможно, наивно — на все предложения. («Я думал: погодите, но это же несправедливо, потому что, прежде всего, мы ничего плохого не делали...») И всё же — по крайней мере, какое-то время — Джеффу удавалось оградить себя от нападков. В интервью он уверял, что прекратил производство видеофильмов на то время, пока не будут решены все правовые вопросы; он также четко разграничивал «вредителей», фигурировавших в его собственных фильмах (особенно насекомых), и млекопитающих, чья судьба особенно заботила Брэдбери, Галлегли и Руни. Он говорил, что не верит в реальность краш-видео с домашними животными — млекопитающими, но если такие видео существуют, они ему определенно неинтересны. Вначале я предположил, что это разграничение — юридически-правовой маневр, которым Джефф старался уберечь себя посреди опасной моральной паники. Но затем я осознал, что это разграничение имеет коренное значение для его фетиша. Он уверял, что, конечно же, ему неинтересно топтать домашних питомцев. Даже грызуны, сказал он в интервью *Associated Press*, «слишком пушистые, слишком похожи на зверушек» [395].

Джефф приводил те же аргументы, что и на ток-шоу в 1993 году. Он атаковал зампрокурора Тома Коннора и его единомышленников, утверждавших, что проблема — в методе убийства животных, а не в самом факте убийства. На взгляд Джеффа, неправильно убивать животных вообще. Метод не имеет значения. Он выступил с систематической критикой. («Послушайте, — сказал он мне, — 75% американцев страдают ожирением. Думаете, они так на овощах разожрались?») Убийство животных — эндемическое зло в капиталистическом обществе. Джефф уверял, что в споре о краш-видео речь идет о лицемерии общества, которое закрывает глаза на

ежедневный массовый забой самых разных животных, но в ужасе ломает руки, когда горстка людей совершает убийства ради сексуального наслаждения.

Оказалось, что Джефф — веган и борец за права животных. «А как же меховая промышленность, а рыбаки, а животноводство? — вопрошал он в интервью „Би-би-си“. — Вы можете убивать, в сущности, кого хотите, любым способом, каким захотите, если это делается ради добывания пищи, или ради изготовления одежды, или из спортивного азарта, но вы преступаете черту дозволенного, когда делает это ради сексуального наслаждения» [396]. И вообще, добавил он, если мы не будем лукавить, то разве все мы не понимаем, что возбуждение тореро и азарт охотника — это сексуальный азарт, сексуальное возбуждение? Они испытывают оргазм при убийстве. Проблема в том, что краш-фрики не притворяются. «Я думал, — сказал мне Джефф, — что я объясню миру: пусть это предосудительно, пусть это мерзко, но это не более ужасно, чем то, что делают все каждый день». Или, как он выразился на дебатах в прямом эфире с Элтоном Галлегли на *Court TV*: «Наш благородный конгрессмен говорит, что есть гуманный способ убивать вредителей. Это только слова. Убийство есть убийство. Их можно убивать быстро или медленно. Интересно, видел ли когда-нибудь конгрессмен клеевую ловушку или капкан. В них ничего гуманного нет».

Законопроект Галлегли был принят в Палате представителей 372 голосами против 42 и снискал единодушное одобрение в Сенате. Однако возникло сильное беспокойство по поводу того, что значил этот законопроект для Первой поправки. Этот закон был написан с целью криминализировать определенное содержание («изображения жестокого обращения с животными»), и до голосования в Палате представителей подкомитет по вопросам преступности юридического комитета существенно пересмотрел его, дабы допустить исключения, «если материал имеет серьезную религиозную, политическую, научную, образовательную, журналистскую, историческую или художественную ценность» [397].

Вопреки этому некоторые конгрессмены, особенно демократ Роберт Скотт (штат Вирджиния), энергично заявляли, что законопроект всё еще слишком широк (Скотт: «Фильмы, где показывается раздавливание животных, — это информация об изображенных деяниях, а не сами деяния») и что в нем не доказано, что проблема заслуживает интереса государства (критерий, установленный Верховным судом в 1988 году в отношении дел, касающихся Первой поправки) [398]. Позиция по этому вопросу была ясна из постановления Верховного суда от 1993 года, который поддержал права Церкви Сантерии Лукуми Бабалу Айе (та жаловалась на запрет жертвоприношений животных, введенный администрацией города Хайалиа, штат Флорида), заявив, что, вопреки аргументам зоозащитников, благополучие животных не является достаточным правовым основанием для ограничения свободы слова.

Итак, почему краш-видео могут заслуживать интерес со стороны государства? Конгрессмены один за другим поддерживали законопроект Галлегли, дабы установить связь между жестоким обращением с животными и жестоким отношением к людям. Они ссылались на домашнее насилие, насилие над стариками, насилие над детьми и даже на стрельбу в школах. Наиболее

лаконично подытожил логику этого закона о защите животных конгрессмен-республиканец от Алабамы Спенсер Бейчус. «Это закон насчет детей, — проинформировал он спикера, — не насчет жуков» [399].

И всё же максимальное внимание прессы привлекли знаменитые серийные убийцы. Что общего между Тедом Банди, Джеффри Деймером, Тедом Качински (он же Унабомбер) и Дэвидом Берковицем (он же Сын Сэма)? Галлегли знал ответ: «Все они мучали или убивали животных, прежде чем начали убивать людей» [400].

В газетах это выглядело красиво, но я сомневаюсь, что даже политики поверили в эту связь между краш-видео и массовыми убийствами. Как-никак многие из них уже выслушали показания Сьюзен Крид (она же Минни), следователя под прикрытием, в подкомитете по делам преступности. Она говорила о психологии краш-фетишистов. Крид провела почти год в чате *Crushcentral* и теперь была свидетелем-экспертом.

«Они говорили о своих фетишах и о том, как эти фетиши развивались», — сказала Крид на заседании.

«У многих фетиш развился в результате чего-то, что они увидели в очень раннем возрасте, обычно когда им еще не было пяти лет. По большей части эти мужчины видели, как женщина на что-то наступила. Обычно эта женщина играла важную роль в их жизни. Они испытали возбуждение при этом зрелище и каким-то образом связали с ним свое половое влечение.

Когда эти мужчины выросли, женские ноги становились элементом их сексуальности. Для них много значили власть и господство женщины, „работающей“ ногами. Они начинали фантазировать, воображая, как находятся под ногами у этой женщины. Они фантазировали о власти женщины, о том, что она, если только захочет, может растоптать их до смерти. Многие из этих мужчин обожают, когда женщины топчут их ногами. Некоторым нравится, когда по ним ходят женщины в туфлях — любых или на высоком каблуке. Другим нравится, когда их топчут босые женские ноги. Они выбирают боль, и чем равнодушнее женщина относится к их боли, тем сильнее они возбуждаются.

Я узнала, что верх фантазий для этих мужчин — быть растоптанным или раздавленным до смерти ногами властной женщины. Поскольку они смогут испытать это всего один раз, эти мужчины нашли способ переноса своей фантазии и возбуждения. Они обнаружили: если они смотрят, как женщина раздавливает животное или другое живое существо, убивая его, они могут в фантазиях воображать себя этим животным, принимающим смерть у ног этой женщины» [401].

Конгрессмен Галлегли услышал во многом то же самое от Джеффа Виленсии во время их встречи в эфире *Court TV*. «Зритель отождествляет себя с жертвой», — категорично сказал Джефф, пытаясь парировать тревожное утверждение Галлегли, что краш-фрики — опасные садисты. Фетиш «возникает в детстве, когда ребенок наблюдает, как взрослый, обычно женщина, наступает на какое-то насекомое, — продолжал он, вторя словам Крид, своего противника из правоохранительных органов. — Он испытывает сексуальное возбуждение, в общем-то по случайности, а когда он становится подростком, он эротизирует

свое поведение, включая его в свою сексуальность, и оно становится элементом его карты любви...» («Его карты любви?» — изумленно переспросил ведущий.)



Как мог бы Джефф, не располагая историей о происхождении фетиша, опровергнуть домыслы Галлегги, в которых краш-фрик — это протосерийный убийца, а насекомое — протомладенец? Простора для отрицаний нет. В центре пугающе острых публичных дебатов (телеведущий: «Джефф Виленсия, неужели вы ни капельки не боитесь, что вас отдадут под суд? Это же вы снимаете такие фильмы...») объяснение — единственный выход для него. Он должен объяснять, что у его фетиша есть специфическая история, связывающая его со специфическими объектами, что это мазохистский фетиш и что мазохизм (как утверждает философ Жиль Делёз в своей знаменитой работе о Захер-Мазохе) — это не форма, дополняющая садизм, а часть совершенно другой конструкции. «Садист никогда бы не потерпел жертву-мазохиста, — пишет Делёз, — а мазохист, со своей стороны, никогда бы не потерпел настоящего садиста в качестве палача».

Различий предостаточно: мазохисту требуется ритуализированная фантазия, он нагнетает напряженную тревогу ожидания, выставляет напоказ свое унижение, требует наказания, чтобы избавиться от своей тревожности и усилить свое запретное наслаждение, а также (в отличие от садиста и ссылаясь на авторитетное мнение Захер-Мазоха) мазохист нуждается в обязательном контракте со своей мучительницей, которая благодаря контракту (который на деле не более чем слово мазохиста) становится олицетворением правосудия [402].

Но если б только в жизни всё это было так просто. Когда в момент задумчивости Джефф говорит мне, что извлек из этого всего один урок: «Женщины — они по-настоящему жестокие, какие же они злые», причем говорит он это мрачно, без тени иронии, я понимаю, что не вполне разобрался во всем этом, и начинаю сомневаться, что это удалось Делёзу. Разве жестокость не предусмотрена сделкой: ведь есть договоренность — негласная или открытая — о границах и потребностях? Джефф прощупывает эти границы, когда болтает с Элизабет и Мишель, правда ведь? Надо признаться, что в финале «Венеры в мехах» Захер-Мазоха Ванда натравливает своего любовника-грека на Северина, и тот дает волю своим охотничьим хлыстам. Это ужасно, а также неожиданно. Но со стороны Ванды это судьбоносная попытка наконец-то отучить его от зависимости, спровоцировать разрыв, однозначно выйдя из договора. Ванда ищет жест, который даст им обоим свободу так, чтобы ему или ей не пришлось

умереть. Под этим натиском, пишет Захер-Мазох, Северин «сворачивается в клубок, словно червяк, которого давят». Хлысты выбивают из него всю поэзию. Когда избиение наконец-то прекращается, он становится другим человеком. «Выбор — это только одно из двух, — говорит он повествователю, — быть молотом или наковальней». Отныне это он будет работать хлыстом [403].

Но, может быть, так случилось и с Джеффом? Только по-другому. Может быть, фурии с *Fox News* отняли у него его удовольствия? Может быть, то нервное, но игривое «я» исчезло, смытое волной гадливости, которая обрушилась на Джеффа? Страдание, да не такое, как надо. Спектакль окончен, в зале включается свет. Жестокость внезапно оказывается просто жестокостью, а Мишель — просто некой девицей, которая топчет животных и, возможно, действительно испытывает от этого удовольствие. Это больше не Богиня, она больше не возбуждает. Она просто злая.

Какой долгий путь он проделал до этой точки. Путь, вымощенный объяснениями. Для следователя Сьюзен Крид объяснения — дело простое. На заседании подкомитета ее задача состояла в том, чтобы создать объект, к которому можно было бы применить законы. Будем считать, что Крид — патологоанатом, рассказывающий о трупе. Но для Джеффа Виленсии всё намного сложнее. Не только сиюминутная необходимость вынуждает его заговорить языком Крид. Среди DVD, видеозаписей, книг, аудиозаписей, неопубликованных текстов и вырезок из газет, которые он прислал мне после нашего первого разговора, оказалось нечто неожиданное. Написанная им статья на три страницы под названием «Фетиши/Парафилия/Извращения». Статья начинается, точно программа: «Извращения — необычные или важные модификации ожидаемого паттерна сексуального возбуждения. Одна из форм — фетишизм, краш-фетишизм — один из его примеров». Далее излагаются семь теорий формирования фетиша (теория об окситоцине, теория о ложной сексуализации, теория о дефиците контакта с женщинами и т. п.), в качестве приложения описываются семнадцать «возможных стадий развития фетиша» — основа теории о модифицированной выработке условного рефлекса, которой и Джефф, и Сьюзен Крид объясняли конгрессмену Галлегли зарождение краш-фрика.

В то время я не понял, почему Джефф захотел передать мне эту статью. Я также не понял, почему он посвятил «Расплющивание» Рихарду фон Крафт-Эбингу, венскому сексологу-основоположнику, который работал в XIX веке (его «Половая психопатия» описывает «аберрантные» сексуальные практики как медицинские явления). Но затем я добрался до второй части «Американского журнала краш-фриков», изданной в 1996 году. Ее подзаголовок гласит: «Как, собственно, мы во всё это вписываемся?» Во введении Джефф пишет: «Вообразите в полной мере, какой стыд вы испытываете, когда вам не с кем поговорить о своих желаниях. Это величайшее одиночество, которое только можно почувствовать. Ты всё равно что на необитаемом острове.

Что ж, теперь эти черные дни остались в прошлом. Когда мы движемся к XXI веку, после того как на протяжении многих лет различные сексуальные группы совершили каминг-аут, я не вижу никаких причин для того, чтобы люди продолжали чувствовать стыд. <...>

Сегодня выбор шире, чем когда бы то ни было. Когда я был ребенком, я был краш-фриком, вот только я не знал, как себя называть. Сегодня я знаю, кто я, и, что еще важнее, я знаю, почему я существую.

Именно это „почему“ — главное.

В детстве у меня был талант нарываться на неприятности. Теперь я вырос и предвкушаю, как расскажу миру о своей сексуальности. Я готов сразиться со всеми моими критиками. Я выступал по радио и телевидению, в крупных газетах и в фетиш-журналах для взрослых. Я выступал в четырех университетах в Южной Калифорнии. Я также снимаю видеофильмы, которые продаю своим товарищам, краш-фрикам, чтобы они использовали их для мастурбации. Встречайте, я принес вам неприятности, меня зовут Джефф Виленсия!» [404]

## 6

Когда 9 декабря 1999 года Билл Клинтон подписал Резолюцию 1887, придав ей законную силу, он распорядился, чтобы министерство юстиции толковало этот закон в узком смысле, дабы он применялся только к «распутно-жестокому отношению к животным, призванному апеллировать к сладострастному интересу к сексу» [405]. За последующие восемь лет прокуроры применили его всего три раза (возможно, опасаясь, что закон окажется хрупким). В каждом случае (и вопреки директиве Клинтона) его применяли против распространителей видеозаписей, где запечатлены собачьи бои. В июле 2007 года *The New York Times* написала, что соответствие закона Первой поправке оспаривается одним из дистрибьюторов, а также собственниками сайта о петушиных боях, которые вслед за Робертом Скоттом утверждают: Первая поправка не разрешает правительству запрещать изображения незаконного поведения (в противоположность этому поведению как таковому) [406].

Как бы ни сложилась судьба Резолюции 1887, Джефф Виленсия обнаружил, что те несколько бурных недель осенью 1999 года изменили его жизнь безвозвратно. Джефф говорит мне, что его интервью на телевидении и радио были смонтированы, чтобы превратить его в монстра, что он пытался ставить своим родным оригинальные пленки, но те верят только версиям, которые вышли в эфир. Он рассказывает, что его племянница, ссылаясь на то, что у нее маленький ребенок, показала его матери сайты, где выложены краш-видео или критика конкретно в его адрес. «Я потерял друзей, своих братьев и сестер... Понимаете, это было просто ужасное испытание. Я оказался в почти полной изоляции. Понимаете, я остался без друзей, никто не хотел со мной разговаривать, знаете, вот я и подумал... ну, знаете...» Он умолк. Он сообщил мне, что бросил снимать видео. «Я был готов поставить крест на своей жизни». Он говорит мне, что не может найти работу, потому что в наше время работодатели на автомате гуглят имена соискателей работы.

Итак, мы сидим в безликом дворике у «Старбакса» где-то в пригороде, и он говорит мне, что всё это преподало ему два урока: женщины — «такие жестокие суки», а «извращения лучше всего держать в тайне, во тьме». Он рассказывает мне о мужчинах, которые, вдохновившись его примером, открылись своим подругам или женам, и это разбило их жизнь. Он говорит мне, что ему тоже нужна любовь, и теперь у него есть кое-кто, кто его любит, но не хочет, чтобы



он продолжал высказываться на все эти темы. Он нервно смотрит на часы на моей руке, откидывается на спинку стула, смотрит в дальний угол автостоянки, вздыхает и тихо говорит: «Кажется, что это только сон...»

## 7

Зайдите на YouTube, наберите в поиске «краш-видео» и посмотрите, что получится. Их там полно. Короткие, некачественные домашние видеоролики с женщинами, наступающими на сверчков, червей, улиток, много сочных мягких фруктов. Есть ролики, у которых десятки тысяч просмотров, у большей части — несколько тысяч, у одного — двести тысяч. Это далеко ушло от подпольной торговли дорогими кинофильмами в формате Super-8 в пятидесятые-шестидесятые годы и даже от торговли в восьмидесятые-девяностые, когда реклама размещалась в порножурналах. Если YouTube не удовлетворяет ваши потребности, легко найти длинные и более профессиональные фильмы на многочисленных специализированных сайтах, где торговля идет совершенно открыто, вопреки закону Галлегли.

Галлегли сам создал простор для этого будущего. Когда обсуждалась Резолюция 1887, он взял слово, чтобы прояснить ключевой момент. «Это не имеет никакого отношения к жукам, насекомым, тараканам и прочим подобным тварям, — сказал он своим коллегам. — Это имеет отношение к живым животным — таким, как котята, обезьяны, хомяки и так далее и тому подобное» [407]. На миг появилось то, с чем могут согласиться все. Есть животные, которые чего-то стоят, и есть никчемные твари. А затем Галлегли переводит дух, и не успеваете вы опомниться, как он опять начинает толковать про Теда Банди, Унабомбера и безопасность наших детей.

## Т

# Соблазнение Temptation

## 1

В августе 1877 года русский аристократ барон Карл Роберт Остен-Сакен, недавно ушедший в отставку с поста генерального консула Российской империи в Нью-Йорке, остановился на несколько дней в Гурнигеле, «на известном курорте с минеральными водами невдалеке от Берна» [408].

Барону было сорок девять лет, он переживал поворотный момент своей жизни. Весь последующий год он посвятит путешествию по Европе, а затем приедет в Кембридж, штат Массачусетс, и, снова оказавшись в Новом Свете, но освободившись от тягот государственной службы, обоснуется в знаменитом Музее сравнительной зоологии при Гарвардском университете и проведет там всю оставшуюся жизнь, предаваясь своей страсти — изучению мух. Спустя тридцать лет в некрологе его назвали «*beau ideal*\* ученого-энтомолога», сославшись на то, что он прекрасно владел теми иностранными языками, которые важны для этой науки, был материально независим, имел высокий

социальный статус, феноменальную память, исключительную наблюдательность, «почти идеальную» библиотеку научных трудов о *Diptera* и, естественно, обладал безукоризненными манерами [409].

Вернемся в Швейцарию. Однажды утром, прогуливаясь в альпийском лесу на задах гостиницы, барон заметил нечто совершенно новое для себя, что-то, что он счел «уникальным для зоологии». Еще не было десяти утра, но солнце уже поднялось высоко. Над головой барона, описывая зигзаги среди столбов света, проникавших сквозь кроны лиственниц, летали стаи крохотных мушек. «Что привлекло мое внимание, — написал он в октябре того года в ликующих заметках, будучи во Франкфурте, — так это необычайный сверкающий белый или серебристый блеск, который они давали, пересекая солнечный луч».

Барон принялся гоняться за ними с сачком, поймал мушку, ухватил ее пинцетом и «изумленно обнаружил, что эта мушка намного мельче, чем я ожидал, и ничуть не серебристая». Насекомое, которое он держал, было тускло-серым и совершенно непримечательным на вид.

Иногда крохотные существа не сразу раскрывают свои секреты. Но чрезвычайная наблюдательность барона Остен-Сакена вскоре навела его на след: «Я разглядел на марле моего сачка, недалеко от мухи, какую-то чешуйку из непрозрачного, белого, пленкообразного вещества — овальную, длиной около двух миллиметров и такую легкую, что самое слабое дуновение ветра могло поднять ее в воздух». Он вспоминает о тонких шелковинках, которые прядут пауки-парашютисты, готовясь к полету. «Но, если бы не ее гораздо меньший вес, ее можно было бы сравнить с лепестком маленького белого цветка». Он ловит вторую муху, третью — и каждый раз вытаскивает из своего сачка самца мухи, который держит под брюшком ту же самую полупрозрачную структуру. Он заключает, что именно эти «кусочки белой материи, которыми они размахивали, как флагами, волоча их за собой» ослепительно отсвечивают на солнце. Но ему совершенно непонятно, что это такое и почему мухи их таскают.

## 2

Барон — первый энтомолог, обнаруживший мух-аэроустатов, как их позднее стали называть. Первый, но далеко не последний. В последующие десятилетия исследователи описывали всё больше таких особей. Все они оказались самцами. Все несли какие-то предметы. И все они принадлежали к семейству *Empididae* — так называемым толкунчикам, которые знамениты тем, что образуют огромные порхающие стаи.

В 1955 году Эдвард Кессель, заместитель куратора отдела насекомых Калифорнийской академии наук, написал авторитетную работу о толкунчиках-аэроустах, в которой предположил, что барону и его преемникам не повезло: они наткнулись на предельный случай [410]. Можно провести такое сравнение: эти благовоспитанные энтомологи, знавшие только европейскую живопись конца XIX века, забрели в музей и наткнулись на целую стену работ Марка Ротко. Они повстречались с абстракцией, непостижимым объектом, который не сохранил никаких следов того оригинала, который послужил для него сырьем. Собственно, обнаруженные в таком виде, эти хлопья белого вещества могли

быть чем угодно, практически чем угодно, даже «воздухоплавательными досками для серфинга», как предположил в 1888 году Йозеф Мик.

Но со временем, писал Кессель, наблюдатели подметили, что самцы мухи-аэролата всегда вручали свою чешуйку самке мухи, и вскоре после этого самец и самка совокуплялись. Энтомологи стыдливо называли эти объекты брачными дарами, и этот эвфемизм доселе употребляется широко. Иногда подарком былодохлое насекомое, никак не украшенное; иногда трупик был завернут в пенообразную или шелковистую ткань (порой небрежно, порой старательно); а иногда трупики вообще не было, и подарком служила сама замысловатая обертка.

Кессель создал эволюционную историю даров у *Empididae*. Он описал иерархию видов в соответствии с их обычаями дарить подарки, от примитивных до учтивых, от грубых до изысканных. В его истории было восемь этапов, на протяжении которых предмет, приносимый в дар, эволюционировал от чего-то очевидного в самом материальном смысле (пищи) до чего-то изящного, труднодостижимого и, пожалуй, нематериального (символа) [411].

Толкунчики — плотоядные хищники, и, во многом как у богомолов и разных пауков, их сексуальная жизнь полна опасностей. По версии Кесселя, самцы сделались расчетливыми циниками, а самки капризны и, к счастью самцов, рассеянны. У Кесселя самцы готовы на всё что угодно ради секса, а самки, зараженные вещизмом, готовы на всё, чтобы заполучить дорогую цацку. Это весьма типично для середины пятидесятих годов XX века: практически «Джентльмены предпочитают блондинок» или *film noir*, вот только место действия — не ночной клуб, а то, что биологи называют местом совместных брачных демонстраций, — арена, где самцы выступают, стараясь привлечь к себе внимание, а самки могут выбирать из собравшихся «завидных холостяков».

Ставки высоки. Самцы (какими их описывает Кессель) нахальны и хитроумны, но также нервозны и беспокойны. Они вычисляют оптимальный путь: расходы на соблазнение должны быть минимальными, но всё же цель должна быть достигнута. Они прекрасно танцуют. Они то и дело бдительно оглядываются по сторонам. Кессель был прав: Остен-Сакен никогда не дошел бы до этой разгадки.



Кессель отыскал виды толкунчиков, соответствующие каждой из восьми ступеней эволюции в его теории. Самые примитивные: «самец не приносит невесте никаких брачных даров»; вторая стадия — он приносит «брачный дар в виде мясистого насекомого»; третья стадия — «добыча стала стимулом спаривания», четвертая — «добыча кое-как обмотана шелковистыми нитями».

Пятую стадию Кессель и его жена Берта обнаружили в округе Марин к северу от Сан-Франциско и нарекли ее *Empis bullifera*, потому что самцы изготавливают обертку из липких «пузырьков». Всё лето 1949 года они провели, наблюдая за спариванием: пары «дрейфовали в ленивом полете, то в одну, то в другую сторону, взад-вперед на полянке под деревьями; их блестящие белые аэроstatы ослепительно отсвечивали, попадая под солнечный луч». Они наблюдали, как насекомые встречаются в воздухе, наблюдали, как они обнимаются, наблюдали, как самцы вручают самкам аэроstatы, внутри которых была мошка, паучок или крохотный крылатый сеноед. А затем совместно написали статью о новом виде и в 1951-м опубликовали ее в *Wasmann Journal of Biology*.



На шестой и седьмой стадиях самец высасывает добычу до иссушения, прежде чем отдать партнерше. Она получает всего лишь несъедобные останки. И всё же происходит знакомая последовательность событий: мухи обнимаются, аэролат переходит из рук в руки (точнее, из лапок в лапки), и совершается половой акт. Восьмая, финальная, стадия — та, которую наблюдал барон. У нескольких видов, в том числе *Hilara sartor*, загадочный дар — это обертка, в которой вообще нет добычи, даже иссохших останков.

Кессель акцентировал межвидовые различия. Современные биологи тоже их акцентируют, но заодно признают бо́льшие вариации внутри вида. Они описывают виды толкунчиков, у которых самцы приносят и большие, и маленькие подарки, и другие виды, где самцы приносят и съедобные, и несъедобные дары. Они также описывают самцов, которые ловят особей своего вида, чтобы принести их в дар, и других самцов, которые пренебрегают насекомыми и добывают совершенно иные дары — например, лепестки цветов. Несмотря на всю эту вариативность поведения, те немногочисленные ученые, которые изучают этих мушек, до сих пор верны теории Кесселя об эволюции *Diptera economicus*, согласно которой самцы готовы на всё, чтобы минимизировать затраты энергии и довести до максимума свою «репродуктивную выгоду», и неуклонно выбирают всё более неприглядные дары, дабы получить секс как можно дешевле.

Эта подмена питательных подарков «пустопорожними» сделалась знаменитым примером «жульничества самцов» — гипотезы, которая предполагает не только проницательную двуличность самцов, но и тупость самок [412]. Даже когда дары «никчемны», даже когда это самые дешевые безделушки (например, обыкновенные комочки ваты, подсунутые биологами), исследователи сообщают, что глупые самки толкунчика дают дарителям фальшивых подарков то, чего они добиваются; или, как минимум, видят, что самка осознает обман запоздало: дает партнеру то, чего он добивался, и только потом осознает, что ничего не получила взамен. Обманутые. Поддавшиеся на уловку. Затраханые. И так повторяется снова, снова и снова. По крайней мере, такова теория.

Французский прозаик Жорж Перек, обратившись к теме острова Эллис, обнаружил, что его преследуют мысли о том, что могло произойти, но не произошло, о том, что он назвал потенциальной памятью. «Это меня волнует, это меня околдовывает, — писал он. — Это меня затрагивает, это ставит меня под сомнение». Сердце Перека было разбито, когда ему было шесть лет: его мать арестовали и отправили из Парижа в Освенцим. Он всё время натыкался на истории жизни, которые могли бы стать его историей: мальчик, который сворачивает в монохромный переулочек где-то впереди, в полуквартале от него, «биография, которая могла бы быть моей», «вероятная автобиография», «воспоминание, которое могло бы принадлежать мне», книги, в которых многое отсутствует, роман без буквы *e*, новелла, в которой отсутствуют другие французские гласные (*a, i, o* и *u*) [413].

Эти фиктивные истории — не просто забавы фантазии. Это суровая проза жизни, которая отягощает настоящее время мыслями о дорогах, которые мы не выбрали. У каждого из нас есть такое: отбракованные негативы решений, чья весомость становится очевидной лишь позднее, отголоски в психике, дополняющие ту жизнь, которая у нас есть, ту жизнь, которая сложилась. Когда Шэрон внезапно пробирает дрожь, она говорит: «Кто-то прошел по моей могиле».

Кессель понял, что толкунчики Остен-Сакена порхали не только на лесной полянке, но и в нарративном вакууме. Разве могли барон и его последователи взять эти непостижимые чешуйки — вроде лепестков, но гораздо менее плотные — и домыслить историю в отсутствие предыстории? Что они могли сделать, когда ни один знак ничего не значил, когда у них были только невесомые паутинки? Они соприкоснулись с красотой. Но это лишь ухудшило их положение. Не имея даже потенциальных предысторий, как они могли понять, что может происходить, что могло бы произойти и что действительно происходит теперь?

Но столь же реальна противоположная проблема. Проблема чрезмерного внимания к предыстории. Как вы можете понять, что может происходить, что могло бы произойти и что действительно происходит теперь, когда перед вами столь убедительная предыстория, не позволяющая вообразить иные или попросту более широкие сюжеты?

Конечно, может статься, что самцы толкунчиков — обманщики, а самки толкунчиков — дуры. Но также возможно, что самцы и самки толкунчиков не воюют между собой без передышки и не всегда поддерживают отношения в духе мыльных опер. «Возможно, животные иногда лгут друг другу, — пишет эволюционный биолог Джоан Рафгарден, — но биологи пока ни разу не поймали их на лжи» [414]. Она предполагает, что животные честны, пока кто-то не докажет их изворотливость, что они обладают способностями, пока кто-то не докажет их неспособность. А если, вслед за Рафгарден, мы предположим, что самки толкунчика знают, что делают? Что если эти пустые аэролаты — действительно дары, просто мы не понимаем их ценность? Может быть, самки испытывают экстаз от ощупывания этих крохотных чешуек. Или пленительное расслабление. Возможно, чешуйки пробуждают воспоминания или какой-то

аппетит. Возможно, они имеют символическую ценность — полны нежности и глубокого смысла. Возможно, они просто нравятся толкунчикам.

Как нам избежать превращения толкунчиков в героев какой-нибудь «просто сказки» Стивена Джея Гулда — сказки, которую нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, так как она начинается с некоего бесспорного механизма (в данном случае выбора полового партнера, которым движет конфликт между полами) и подгоняет под готовый тезис все результаты экспериментов? А если, например, мы предположим, что среди толкунчиков отношения бывают самыми разными, в соответствии с теми разными типами поведения, которые уже наблюдали биологи? Что, если мы предположим: готовность многих самок толкунчика принимать комочки ваты — знак того, что это не «никчемный» предмет, а нечто, обладающее неведомыми нам ценными качествами? Разве не очевидно, что крайне сложно угадать, что представляет собой некий предмет и чем он полезен с точки зрения существ, чей образ жизни так отличается от нашего?

#### 4

Август 1877 года. Карл Роберт Остен-Сакен стоит среди деревьев на задах отеля в Гурнигеле, загораживая рукой глаза от солнца, глядя на пятна света в кронах, удивляясь ослепительным вспышкам *Hilara sartor*, пересекающих в танце солнечные лучи.

Лето 1949 года в округе Марин, Калифорния. Эдвард и Берта Кессель застыли, как истуканы, чтобы не вспугнуть совокупляющихся *Empis bullifera* и особенно самку, изучающую свой изящно завернутый подарок.

Май 2004-го, ферма в графстве Файф, Шотландия. Наташа Леба вынимает пинцетомдохлое насекомое из лапок самки *Rhamphomyia sulcata* и, безнадежно надеясь не прервать коитус насекомых, бережно заменяет добычу комочком ваты.

Конец 2009-го или еще более далекий момент будущего, и мы снова в той же точке — между неизбежностью сравнений и сознанием основополагающих различий. Мы всё там же, снедаемые жаждой познания, вооруженные своими всевозможными инструментами анализа и интерпретации, пытаемся установить как объективные принципы, так и следы прожитой жизни по загадочным приметам поведения, наблюдаемого извне. Мы всё там же, где-то между приведением к общему знаменателю, которое делает вещи постижимыми, и великодушием, которое придает им всю полноту жизни. Вот мы, снова попались на соглядатайстве, всё еще подсматриваем — на сей раз за крохотными мушками и их сверкающими дарами.

## U

# Незримое The Unseen

Иногда поздно ночью я слышу шорохи. Я работаю на верхнем этаже в своей комнате, пишу книгу на самом верхнем ярусе здания, примостившись на крыше, размышляя о насекомых и обо всем, что они мастерят и делают, сижу за своим письменным столом в этой приземистой коробочке, покрытой сверху слоем черного битума, чтобы не промочил городской дождь.

Окна закрыты сеткой. Но есть также раздвижная дверь, и если выйти наружу, на мягкий битум, покрытый серебристой пленкой, и посмотреть налево, то дух захватывает от просторов Гудзона, особенно зимой, когда деревья стоят голые и на черной лакированной глади реки посверкивают огни Нью-Джерси.

Днем мимо пролетают белые цапли и краснохвостые сарычи, держа путь в Центральный парк. Кардиналы, зяблики, голубые сойки, писклявые плачущие горлицы и растрепанные голуби присаживаются к нам на перила. В сумерках на деревьях внизу безумствуют воробьи. Чуть позднее мы с Шэрон спускаемся в парк Риверсайд, проходим мимо железнодорожного тоннеля, где ночует со своими кошками и енотами Бруклин (шесть лет в морской пехоте, двадцать четыре года на американских улицах без крова), где мы наблюдаем, как городские дикие животные ищут пищу на помойках в тусклом, унылом свете фонарей.

Здесь, наверху, атмосфера мирная, закутанная в кокон тишины. Наступает ночь, и в окрестных многоэтажках одно за другим гаснут окна. Шорох шин на хайвее Вестсайд утихает. В небе пролетают последние самолеты. Тишина становится еще плотнее, и все мы погружаемся во тьму.

Наверху, на верхнем ярусе здания, я выключаю лампу на своем столе. Убавляю яркость на своем ноутбуке.

Мои глаза — не без сопротивления — привыкают к полумраку, расслабляются. Всё замедляется. Иногда летом, когда жарко и влажно, в ночь врываются шорохи. Это не мыши в подвале и не белки в сточных канавах. И не мохнатые многоножки, которые разбегаются по углам. И не комары, и не трупные мухи, и не сумасбродные долгоножки. И не божьи коровки, и не крылатые муравьи, которые каждый год нежданно-негаданно появляются *en masse* и столь же внезапно исчезают. Это не здание потягивается на ветру. Это не шелест листьев по окнам. Но это не загадка. Я знаю, кто это шуршит. Это крупные «водяные жуки» — то есть американские тараканы — приходят царапать стены, занимаются своим делом, перебираются из одного места в другое, поднимаются снизу из канализации: в общем-то они сюда не стремятся, слегка заблудились в поисках чего-то.

Писатель Кикио Итая — автор рассказов, дзен-буддист, творивший в XX веке, — жил среди тараканов, отказывался причинять им вред, разрешал им делить с ним кров. Но он был нетипичным человеком даже в Японии. Я думаю о нем, когда убиваю тараканов. Я должен их убивать, потому что у Шэрон фобия, она пугается до безумия, завидев хоть одного: прячется, вся трясется, ее тело конвульсивно подергивается. Стоит ей увидеть таракана, я не могу просто притвориться, будто его убиваю. Таракан снова выберется наружу, и будет еще хуже. И вообще, Шэрон чует, когда я лгу.



Услышав шорохи, я еще больше приглушаю свет. По моей спине бегут мурашки предвкушения. Если она его не увидит, если я его не увижу, если он останется незримым... Я не желаю знать, что он здесь.

Но иногда шорох слишком настойчив. Однажды вечером, отвлекшись, бездумно, я развернулся на своем вращающемся кресле. На штабеле книг за моим плечом сидел крепкий таракан. Наши взгляды скрестились. Его голова выдвинулась вперед, словно у черепахи. Лицо у него было угловатое, выражавшее любопытство. И действительно, как однажды заметил Карл фон Фриш, у него «высокий лоб философа» [415]. Наши взгляды скрестились, как в фильме про животных. Мы поняли друг друга без слов. Но, должно быть, я слишком резко пошевелился, и он задал деру, а я погнался за ним, схватив швабру, и всё внезапно стало динамичным, и я загнал его в захламленный угол, он торопливо перебирал лапками, пытаюсь удрать, а я, поддавшись мгновенному порыву, всё колотил его и колотил, пока не заметил, что дрожу от отвращения и растерянности, а от него осталось только месиво жира и хитина на деревянной половице. Только грязное пятно, как сказала бы Эрика Элизондо.

Я сижу с тусклым светом, чтобы тени были густыми. Я знаю, что таракан здесь, но мне его не видно. Если я его не вижу, мы оба в безопасности. Ночь оберегает нас обоих. Когда начинаются шорохи, я не оборачиваюсь. Если всё нормально, шорохи в конце концов прекращаются, и вскоре начинают петь птицы — сначала несколько, затем к ним присоединяются другие, поют громче, а когда рассветает и солнце озаряет комнату, их голоса становятся совсем громкими.

## 2

Но затем — собственно, сегодня утром — произошло нечто новенькое. Я был в душе и, как всегда, унесся мыслями куда-то вдаль под успокоительными теплыми струями, празднично размышляя о главе этой книги, которую я пытаюсь закончить, — главе о насекомых с нетрадиционной ориентацией и о нетрадиционных вещах, которые им так нравятся, — когда, появившись неизвестно откуда, трехдюймовый таракан свалился с потолка ванной и совершил посадку у моих ног.

Должен сознаться: я завизжал. А вы бы не завизжали на моем месте? Я не сразу пришел в себя после этой неожиданности. Итак, мы один на один — таракан и я, оказавшийся в ловушке, беззащитный, покрытый мыльной пеной. И мы оба не шевелились, пока это огромное маленькое животное — женского пола, как я заметил, — не взобралось проворно на полотенцесушитель и не замерло там, на уровне моих глаз, в нескольких дюймах от моего лица; симпатичное и умное лицо тараканихи склонилось набок, как у философа, смотрело на меня странно-вопросительно, ее глаза смерили меня с головы до пят, словно посмеиваясь над этой неожиданной ситуацией и заинтригованно гадая, что случится дальше. Один из нас был совершенно спокоен. Один из нас начал тщательно чистить свои усики — как-никак это же ванная. Я умолчу о подробностях того, что произошло дальше. Сомневаюсь, что в тот раз даже Эрика Элизондо не почувствовала бы угрызений совести.

# V

## Зрение

## Vision

### 1

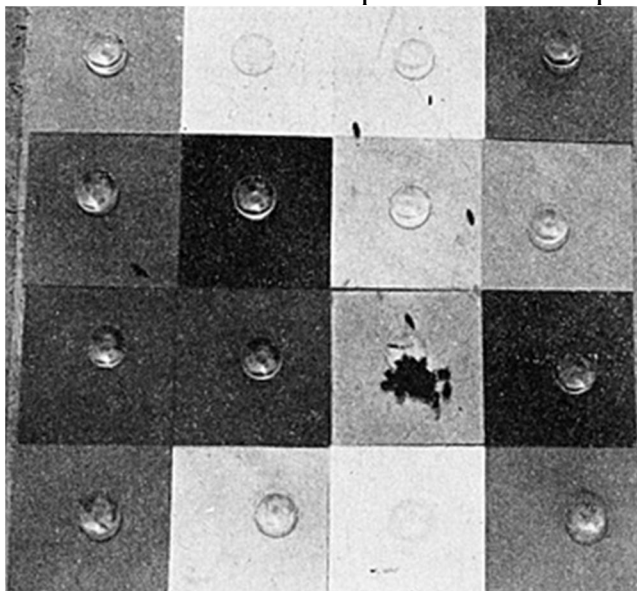
Компания *Academy Studios* (Новато, штат Калифорния), занимающаяся дизайном экспозиций и производством соответствующего оборудования, создала эти интерактивные станции для «Зоопарка членистоногих» в Музее естественных наук, который финансируется властями штата Северная Каролина. Конструкторы соорудили семифутового богомола и стрекозу с двенадцатифутовым размахом крыльев (обе фигуры — анатомически точные!), но самое большое внимание привлекают маски: жутковатые на вид шлемы из научной фантастики, которые, как сказано в рекламных брошюрах *Academy Studios*, «дают посетителям шанс взглянуть на жизнь глазами пчелы».



Креативный директор фирмы Роберт Ягура сказал мне, что они взяли шестиугольные листы плексигласа, чтобы воспроизвести фасетки составного глаза пчелы, и соединили их на искривленной основе, чтобы получалось изображение, расколотое на фрагменты. Но, предостерег Роберт, даже этот протез не позволяет посетителю увидеть мир глазами пчелы. Начнем с того, что чувствительность пчелы к электромагнитному спектру сильно смещена по сравнению с человеческим глазом в сторону коротких волн, незримых для человека. Нижний уровень для пчелы — волны длиной менее трехсот восьмидесяти нанометров, так что она видит ультрафиолетовый свет, неразличимый для нас; верхний уровень не дотягивает до красного: то есть пчелы, что называется, «слепы на красный цвет», и красный кажется им пустой чернотой, отсутствием света.

Почти забытый зоолог Чарльз Генри Тёрнер делит с Карлом фон Фришем лавры первого человека, который позволил взглянуть на мир глазами пчелы [416]. Тёрнер, первый афроамериканец, защитивший диссертацию в Чикагском университете, автор более пятидесяти научных работ, опубликовал свое исследование в 1910 году, в начале своего долгого учительского пути (он преподавал естествознание старшеклассникам в государственных школах). Фон Фриш закончил свое исследование в 1913-м, задолго до того, как переехал в Мюнхен и стал свидетелем танцев медоносных пчел. Фон Фришем уже тогда

руководило стремление продемонстрировать способности его крохотных друзей, которое в итоге принесло ему Нобелевскую премию. До того как Тёрнер и фон Фриш обратили внимание на этот вопрос, считалось, что насекомые — абсолютные дальтоники, и это несмотря на всю экстравагантность окраски цветов, на замысловатую экономику взаимозависимости, которая тысячи лет связывает насекомых и покрытосеменные растения.



Способ, которым фон Фриш опроверг тезис о дальтонизме насекомых, стал общеизвестным. Это характерно и изящно простой способ: никакой замысловатой техники. Фон Фриш расставил блюда, подложив под них карточки. Всего лишь на одном квадратике — на единственной голубой карточке на поле разных оттенков серого цвета — стояло блюдо с сахарной водой. Для начала фон Фриш научил своих пчел посещать голубую карточку. Затем на протяжении нескольких часов он переставлял голубую карточку с места на место в матрице. А на следующем этапе убрал все карточки и блюда, заменил их новым набором таких же карточек и блюд, но на сей раз оставил блюдо на голубой карточке пустым. Как фон Фриш и ожидал, пчелы вернулись к голубой карточке: их привлек цвет, а не запах или местоположение [417]. Как пояснил фон Фриш, это поведение продемонстрировало «подлинное чувство цвета» у пчел, а не просто их способность различать уровни яркости света. Он отметил: если бы они видели мир черно-белым, то сочли бы, что как минимум некоторые серые карточки неотличимы от голубой [418].

Сегодня мало кто спорит с мнением, что большинство насекомых в той или иной форме обладает цветовым зрением. Проводя электрофизиологические эксперименты с фоторецепторными клетками, ученые могут запросто продемонстрировать способность к цветовому зрению. Например, им известно, что пчелы, как и люди, обладают трихроматическим зрением, у них есть светочувствительные пигменты трех типов, максимально поглощающие разные части спектра (правда, у пчел эти части — зеленый, голубой и ультрафиолетовый, а у нас — красный, зеленый и голубой). Ученые также знают (хотя трудно постичь, что это может значить в реальности), что многие стрекозы и бабочки имеют пентахроматическое зрение: у них есть пигменты

пяти типов. (А еще им известно, что раки-богомолы имеют рецепторы, чувствительные к волнам двенадцати разных длин!)

Однако одно дело — доказать, что у животных есть способность к цветовому зрению, а совсем другое — продемонстрировать, что мир, по которому они движутся, сияет и мерцает, как и наш, разнообразными оттенками. Эту задачу ученые решают, полагаясь на исследования поведения и всё еще применяя методы, придуманные Тёрнером и фон Фришем: тренируют насекомых искать корм-приз и ориентироваться в цветных пятнах.

Но насекомые — не самые сговорчивые объекты исследований, и пока такие работы проведены только с медоносными пчелами, мясными мухами и несколькими видами бабочек [419]. Если учесть особый спектр поглощения, характерный для их фоторецепторных клеток, мы можем быть вполне уверены, что этим насекомым предметы представляются совсем не так, как нам. Например, многие цветы сквозь ультрафиолетовый фильтр выглядят почти неузнаваемо. На этих цветах рудбекии (*Rudbeckia hirta*) проступает рисунок в виде концентрических кругов, который, кажется, ведет пчел, ос и других опылителей к их цели — «яблочку» мишени; у других цветов характерный рисунок напоминает посадочную полосу, ведущую к тому же конечному пункту.

Вроде бы очевидно, но до чего же интригует! Всюду вокруг нас — невидимые миры, параллельные миры.

У знакомых предметов есть тайные лики, некоторые из которых мы можем увидеть с помощью незамысловатых механических приспособлений (плексигласовых фракталов и ультрафиолетовых фильтров), но другие остаются недоступными даже для нашего воображения (двенадцать пигментов?!). Мы идем по жизни не просто близоруко, но и в шорах бытовой предпосылки, будто мир, который мы видим, и есть тот мир, который существует. Наше восприятие довольно поверхностно (по крайней мере, в этом отношении), хотя, надо признаться, пчелы или бабочки наверняка тоже зациклены на себе.



И всё же безразличие мира природы как минимум должно удержать нас от предположений, будто цветы, привлекающие наш взор, столь же пленительны для опылителей. Подобные скрытые истины обнажают один важный факт о зрении (о нашем и о зрении других существ): оно отражает не только зрителя и объект зренья, но и взаимоотношения между ними [420].

Чем внимательнее мы присматриваемся, тем больше видим. Маски пчел и фотографии, сделанные в ультрафиолетовом спектре, не просто интригуют, но и завораживают. Они сулят: если только мы сможем воссоздать зрительный аппарат насекомого, нам откроется то, что оно видит; а если мы увидим то, что оно видит... что ж, тогда мы сможем видеть так, как видит насекомое. Но я сомневаюсь, что в это искренне верят многие из нас, в том числе ученые и дизайнеры выставочных экспонатов. Зрение отнюдь не сводится к механике.

К этой проблеме давным-давно привлек внимание советский энтомолог Георгий Мазохин-Поршняков: «Когда мы говорим о зрении, — написал он в конце пятидесятых, — мы подразумеваем не только то, что животные способны различать объекты (то есть раздражители) визуально, но и их способность распознавать их» [421]. Сама по себе фоторецепция, полагал он, мало чем ценна для живого существа; важна способность опознавать объект и что-то понимать в нем. Восприимчивость предполагает восприятие; насекомые видят мозгом, а не глазами.

В этом отношении зрение насекомого ничем не отличается от зрения человека. Как и наше, зрение насекомого — это замысловатая процедура сортировки, способ отфильтровывать объекты, существующие в окружающем мире, и выстраивать их иерархию; одно чувство среди нескольких взаимозависимых чувств, один запутанный элемент восприятия.

Фредерик Прет, биолог из Университета де Поля, изучающий визуальную вселенную богомолов, отмечает, что до недавних пор ученые обычно исходили из предпосылки, что зрение насекомого действует по принципу исключения, что пчелы, бабочки, осы, богомолы и им подобные существа созданы для того, чтобы «игнорировать всё, кроме очень ограниченного списка специфических типов визуальной информации, например маленького движущегося пятнышка в форме мухи в нескольких миллиметрах или желтых цветков определенной величины». Однако, как демонстрируют Прет и его коллеги, богомолы и многие другие насекомые обрабатывают сенсорную информацию почти так же, как люди: «Они используют категории для классификации движущихся объектов, они обучаются, они применяют сложные алгоритмы для решения непростых задач». Прет описывает обработку визуальной информации человеком как что-то типа следующей таксономии:

«Мы фильтруем сенсорную информацию, распознавая и оценивая определенные ключевые характеристики событий и объектов вокруг нас; эту информацию мы используем, чтобы опознать событие или объект как пример широкого класса событий или объектов. Например, вы не откажетесь от порции еды по той причине, будто она не похожа на конкретное идеализированное кушанье на тарелке. Вы оцените ее характеристики (запах, цвет, фактуру, температуру), и, если все они отвечают определенным критериям, вы попробуете еду на вкус. В данном случае незнакомое блюдо — пример категории „приемлемая еда“. Точно так же мы можем научиться тому, что конкретная задача — например, зашивание прорехи в занавеске — пример категории „сшивание материалов вместе“. Итак, когда мы впервые пытаемся зашить занавеску, мы применяем правила, усвоенные нами при решении других аналогичных задач по зашиванию чего-то. Иначе говоря, мы усвоили алгоритм

и применяем его; это практический способ решения специфических проблем данного обобщенного типа» [422].

На протяжении дня богомол, пишет Прет и его коллега Карл Краль, встречает большое количество потенциальных съедобных вещей, и, подобно нам, он создает и применяет категорию родственности («теоретический, перцепционный абрис»), которая соответствует мысли «приемлемая еда». Животное опирается на свой опыт (уроки прошлых событий и встреч), чтобы оценить серию параметров раздражителя, в том числе величину объекта (если он небольшой), его длину (если он продолговатый), контраст между объектом и фоном, местоположение объекта в поле зрения богомола, скорость объекта и общее направление его движения [423]. Чтобы богомол атаковал свою добычу, она должна соответствовать определенному (изменчивому) числу критериев. Однако это не реакция, запускаемая определенным пороговым значением: богомол учитывает взаимосвязи разных данных в каждом параметре. Краль и Прет называют эти вычисления перцептуальным алгоритмом (и довольно резонно утверждают, что, будь они описаны у приматов, их бы сочли абстрактными рассуждениями).

Наряду с другими немногочисленными исследователями беспозвоночных, которые объединяют исследования поведения и нейроанатомии в рамках того, что иногда называется психофизиологическими исследованиями (то есть исследованиями связей между психологическими и физиологическими аспектами поведения), Краль и Прет открыто пишут о сложности поведения насекомых, о параллелях между осмыслением мира насекомыми и позвоночными (в том числе людьми), о сознании насекомого.

Но, возможно, эти насекомые чуть-чуть слишком расчетливы: они вылеплены по образцу рациональных акторов в классической теории экономики (которых, как мы знаем по личному опыту, в реальности не существует). Возможно, им не хватает экспансивности и спонтанности. Откуда мы знаем, что они всегда просчитывают свои действия, исходя из логики охотника? Разве у них не может быть других желаний? Но, возможно, богомолы именно таковы, хотя мы не обязаны предполагать, что таким же образом действуют, например, бабочки или дрозды. Тем не менее эта работа наталкивает на глубокие мысли: здесь присутствует когнитивная способность, пишет Краль и Прет, которая зависит от физиологии, но не сводима к ней. И всё же если когнитивные процессы нельзя свести к электрохимической функции, то что, собственно, они собой представляют? Похоже, никто этого не знает доподлинно [424].

Стоит отметить, что эти вопросы играют центральную роль для современной нейробиологии — междисциплинарной отрасли, занимающейся исследованиями головного мозга человека. Нейробиология ищет объяснения в физиологии, но всё равно глубоко увлечена вопросами сознания, такими неясными феноменами, как самосознание, когнитивная способность и восприятие, материальными решениями тех проблем, которые многие считают онтологическими или даже метафизическими. Для нейробиологии является аксиомой, что головной мозг — это центр жизни для всякого животного; стандартный справочник начинается так: «Ключевая философская тема современной нейробиологии — мысль, что любое поведение — это отражение

функции головного мозга» [425]. Такие «высшие» функции мозга, как метакогниция (мышление о мышлении) и эмоции, обычно трактуются как функциональные результаты анатомии и физиологии головного мозга [426]. Однако модель восприятия, которая выстроена на этом простом принципе, поражает своей замысловатостью. Восприятие мыслится как набор динамичных, взаимодействующих функций головного мозга, в которых соединены когнитивная способность и опыт, которые включают в себя отфильтровывание, селекцию, приоритизацию и другие формы активной и гибкой обработки информации в контексте ранее невообразимой нейропластичности. Один из примеров — обособление: способность мозга моментально, неосознанно вычленять важные изображения из насыщенного неиерархического поля зрения. Такие представления полностью совместимы с тем типом перцепционных алгоритмов, которые Краль и Прет разработали для насекомых (кстати, этим занимались и другие; например, ознакомьтесь с исследованиями когнитивных способностей медоносной пчелы, которые двадцать лет проводились Мандиамом Сринивасаном и его группой в Австралийском национальном университете). И всё же эти параллели между людьми и беспозвоночными, подозреваю, покажутся глупыми многим нейробиологам, для которых чудесная величина и сложность мозга современных гоминидов (а конкретно количество его нейронных связей) — решающий признак исключительности человека.

В сферах общественных и гуманитарных наук Краль и Прет, вероятно, найдут еще меньше поддержки, но уже по другим причинам. В этих сферах исследования зрения делают упор на роли культуры и истории для посредничества между человеческим глазом и миром [427]. В понимании исследователей культуры физиология — это зачастую всего лишь набор возможностей для сложной перцепционной связи человека с миром. То, как видят люди, и то, что они видят, трактуется как нечто глубоко предопределенное историей общества и культуры. Зрение и восприятие в целом вовсе не неизменны во времени и не являются константой у разных культур [428]. У них есть история — собственно, несколько историй, поскольку считается, что характер перцепционного понимания предопределяется региональными и национальными эстетическими культурами. Ключевые моменты трансформации связаны с появлением конкретных визуальных технологий. Например, на Западе ученые привлекли внимание к изобретению и распространению линейной перспективы в XV веке, а также к тому, что в XIX веке интерес переносится на морфологию поверхности, на поверхностные впечатления от объектов и тел, с которыми мы всё еще живем [429]. В этих версиях зрение — то, как мы наблюдаем за людьми и вещами, формы категоризации, встроенные в наши собственные способы зрения, и те технологии, с помощью которых нас, в свою очередь, видят, подвергают слежке, классифицируют, оценивают, — играет центральную роль в том, как мы понимаем себя и как нас понимают другие; это источник культуры/истории/общества, а также его результат.

Насколько иной взгляд на зрение! В отличие от изолированного мозга (в понимании нейробиологии), социальный мозг погружен в мир, который сам по себе переполнен смыслами, глубоко включен во вселенную, где даже так



называемые явления природы всегда являются одновременно биофизическими и культурно-историческими, так что цвет, например, — это в одно и то же время измеримая длина волны и неясная история (и мы не можем избежать знания того, что розовое, даже если оно нам не к лицу, прелестнее, чем темно-синее). В этой концепции зрения люди учатся видеть, а форма и содержание этого обучения — нечто специфическое, predetermined временем и местом. Незрячий человек снова обретает зрение, и его нужно учить распознавать перспективу способами, эффективными для культуры; женщина покидает густую чашу, в которой провела всю свою жизнь, и вынуждена вносить радикальные, даже травматичные коррективы, прежде чем она постигнет пространственные особенности пейзажа в городе, где она теперь живет [430].

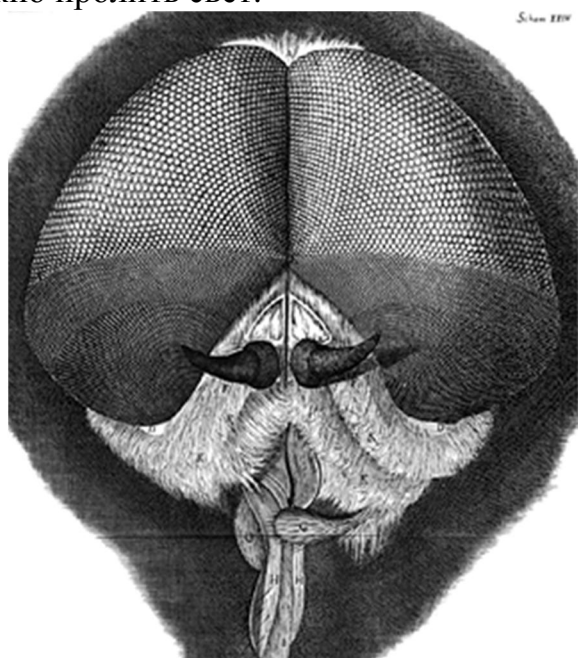
Однако история, политика и эстетика — главные категории, используемые теоретиками культуры для исследования зрения, — это по определению исключительно человеческие категории, а на деле — определенно, классически человеческие. Хотя социальный мозг и нейробиологический мозг, возможно, расходятся во мнениях обо всем остальном, но когда речь заходит об исключительности человека, то налицо четкий альянс между социальным мозгом, погруженным в культуру, и нейробиологическим мозгом, озабоченным величиной и физиологической сложностью. А различия, относительно которых эти конкурирующие взгляды сходятся, — наверняка не пустяк. Как мы можем сохранить их, одновременно отвергая иерархию, которая в них имплицитно заложена?

### 3

«Самый лучший глаз [насекомого], — написал в 1894 году мастер оптических приборов Генри Мэллок, — давал бы картинку не более качественную, чем довольно грубо связанный узор, рассматриваемый с расстояния одного фута». Собственно, продолжал Мэллок, составной глаз, который имел бы разрешающую способность человеческого глаза, — это само по себе было бы удивительное зрелище. Мэллок подсчитал, что такой глаз имел бы двадцать метров в диаметре [431]. Чем объясняются такие чудовищные размеры? Чтобы надлежащим образом компенсировать дифракцию (способность света рассеиваться и размываться, когда он проходит через узкое отверстие), каждый хрусталик в каждой из многочисленных фасеток составного глаза должен был бы иметь диаметр два миллиметра, как человеческий зрачок. То есть для пчелы этот диаметр должен увеличиться в восемьдесят раз [432].

Фантастические представления Мэллока — голова насекомого: гипертрофированная, диковинная, но не ужасающая, не чета мухе Кроненберга — побуждают меня снова забраться в эти плексигласовые маски! Хоть я и знаю, что маски вообще-то не работают, что зрение — гораздо более сложный феномен, трудно подавить в себе эту тягу увидеть мир чужими глазами. И я далеко не одинок. Столько людей стремилось это попробовать! Люди с научным складом ума изобретали изощренные способы для прямой съемки этого вида: аккуратно выскабливали внутреннюю структуру глаза, удаляли сетчатку, очищали роговицу, экспериментировали со светом, микроскопами, камерами; это не такой иммерсивный результат, как маска, зато он кажется

более объективным и ощущается более аутентично. Эта тяга постичь, как другое существо видит мир, сильна; полагаю, сильна она потому, что порождает необычное совпадение двух взглядов на зрение, между которыми мы застряли: между обещаниями естественных наук (то есть откровением о том, как всё устроено, обнажением структур и функций, которое зачастую мало что приоткрывает) и недостижимой мечтой гуманитарных наук (утопическим исчезновением онтологических различий, неутолимой жаждой войти в другое «я»). Эта тяга говорит нам, что самые потаенные загадки разрешимы. На всё можно пролить свет.



Антон ван Левенгук, открывший бактерии, сперматозоиды и клетки крови, ротовой аппарат и жало пчелы, мельтешение микроорганизмов в капле воды и многие-многие другие феномены микробиологии, первым увидел свет в составном глазу. Посветив свечой через роговицу насекомого, он взял один из своих составных микроскопов, которые сам и изобрел, — микроскоп из серебра и золота, один из тех, которые после его смерти были проданы родственниками и пропали бесследно, один из тех микроскопов, которые Роберт Гук скопировал, чтобы проникнуть в невообразимый, крайне тревожный мир, с аккуратностью чертежника обнаженный им в «Микрографии» — томе, где содержится его знаменитая гравюра с головой стрекозы (дьявольским маскообразным лицом, которое впервые в истории стало зримым), где он записал свое изумленное наблюдение, что, идеально отражаясь во всех фасетках составного глаза насекомого, виднелся «пейзаж с тем, что находилось перед моим окном, в том числе с огромным деревом, ствол и крону коего я смог отчетливо рассмотреть, как и части моего окна и мою руку и пальцы, если я держал ее между окном и объектом» [433].

Гук вслух размышлял об оптике своей «Ильницы-пчеловидки» («Какими чрезвычайно замысловатыми и нежными должны быть составные части среды, которая передает свет, когда мы находим инструмент, созданный для его получения или преломления, чрезвычайно маленьким?» [434]), но именно Левенгук спустя тридцать лет первым осознал, что изображение, которое передается в мозг мухи, раздроблено, что каждая фасетка глаза улавливает

отдельное изображение. Ван Левенгук изложил свои мысли в восхищенном письме в Королевское общество, опубликованном в 1695 году — в эпоху, когда науки и искусства всё еще договаривались о своем официальном разводе. «То, что я наблюдал, глядя в микроскоп, — сообщил он коллегам, — представляло собой перевернутые изображения горящего пламени: не одно изображение, а около сотни изображений. Какими бы маленькими они ни были, я видел, что все они движутся» [435].

Спустя почти двести лет Зигмунд Экснер, видный биолог, который консультировал своего молодого племянника Карла фон Фриша при создании семейного музея естествознания на берегах озера Вольфганг, дописывал «Физиологию составных глаз насекомых и ракообразных» — первую авторитетную работу о зрении насекомых, революционную монографию, тезисы которой не опровергнуты донныне [436]. Экснер был ассистентом Эрнста Брюке — того самого профессора физиологии Венского института физиологии, который убедил Зигмунда Фрейда отвергнуть нейробиологию ради неврологии. Экснер и Фрейд были коллегами по институту, оба учились у Брюке. Экснер, как и Фрейд, одновременно был рабом зрения и живо интересовался его механикой. Проявив огромное тщание и проделав гигантскую работу, он сумел сделать фотоснимок через составной глаз светляка *Lampyrus*, но изображение, которое он увидел, весьма отличалось от того, что зрел ван Левенгук.

Fig. 4

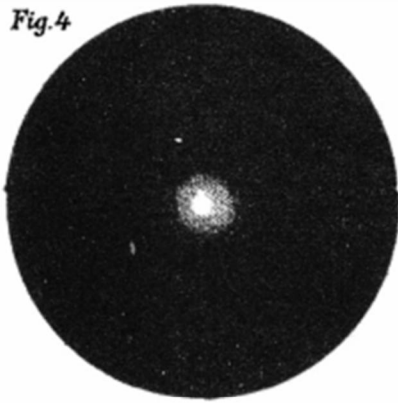
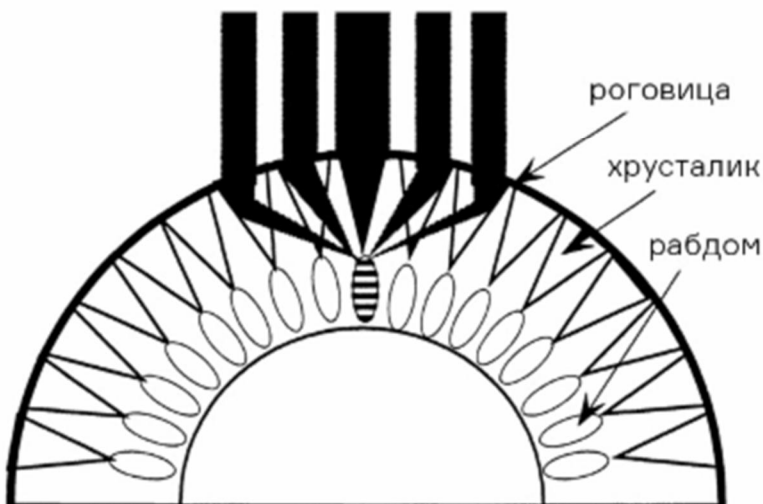
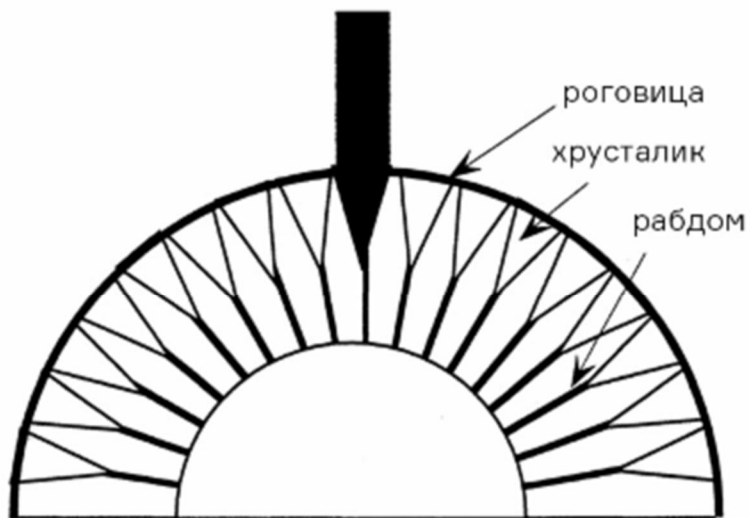
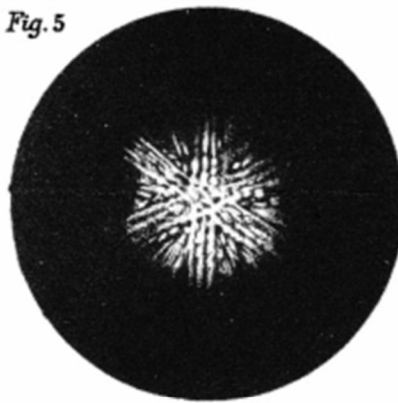


Fig. 5



Как может составной глаз, образованный из множества граней, раздробляющий изображение, в итоге продуцировать одно-единственное изображение и как может это изображение быть правильно ориентированным, а не перевернутым, как то, которое попадает в мозг и из глаза мухи, и из глаза человека?

Хотя снаружи разница неочевидна, Экснер знал, что в действительности есть два разных типа составного глаза. Составной глаз мухи, изученный ван Левенгуком, состоит из множества омматидиев — отделов, улавливающих свет,

причем каждый омматидий, в свою очередь, — это отдельный, автономный глаз, который улавливает свет на узком отрезке поля зрения мухи. Экснер обнаружил, что в таких глазах (именуемых аппозиционными) свет проходит через шестиугольную грань-хрусталик и попадает в кристаллический конус с покрытием из пигментированных клеток, которые блокируют внешний свет от соседних омматидиев, а затем спускается по цилиндрическому светочувствительному рабдому, где находятся восемь фоторецепторных клеток сетчатки, и в конце концов попадает к нервным клеткам, которые передают изображение на оптический нервный узел и в мозг, где перевернутая мозаика, уловленная этими клетками сетчатки, превращается в единое изображение и вновь переворачивается.

Но Экснер также знал, что, подобно ночным бабочкам и многим другим насекомым, летающим в сумерках и в ночной темноте, светлячок, изображение на чьей сетчатке он воспроизвел в своей монографии от 1891 года, — это ночное животное, у которого так называемый суперпозиционный глаз — в сто раз более чувствительный к свету прибор, чем аппозиционные глаза дневных насекомых.

Сетчатка суперпозиционного глаза не разделена на отдельные омматидии, а представляет собой цельную пластину, которая расположена глубоко в глазу, над прозрачной зоной, на которой фокусируется свет. Можно сказать, что в суперпозиционном глазу омматидии сотрудничают между собой: изображение, попадающее на сетчатку в любой точке, — результат работы множества линз [437].

Но главная загадка в том, как подобная оптика может продуцировать неперевернутое изображение. И именно Экснер (работавший над этой задачей в восьмидесятые годы XIX века, без инструментов для окончательного доказательства) догадался, что рабдом суперпозиционного глаза функционирует как двухлинзовый телескоп, перенаправляющий лучи света таким образом, что внутри цилиндра они перекрещиваются и переворачивают изображение. «Очевидно, — отмечает биолог Майкл Ленд, — мы имеем здесь дело с чем-то весьма неординарным» [438]. Приведенные ниже виды, отснятые Лендом и Дэн-Эриком Нильсоном, демонстрируют разницу между изображениями, продуцируемыми двумя типами составного глаза. Перевернутый аппозиционный вид сверху сфотографирован через роговицу ктыря; довольно расплывчатый портрет (Чарльза Дарвина) виден через глаз светляка [439].

Количество омматидиев в составном глазу может колоссально варьироваться: у некоторых муравьев их меньше десятка, у некоторых стрекоз — более тридцати тысяч. Как и следовало ожидать, чем больше омматидиев, тем выше разрешающая способность глаза. Но даже самые лучшие глаза не могут фокусировать взгляд, не могут двигаться в глазницах (и потому, чтобы перевести взгляд, нужно поворачивать голову целиком), а острота зрения — относительно слабая, за исключением случаев, когда расстояние до объекта очень мало. Зато — как прекрасно знает любой, кто пытался поймать муху или прихлопнуть комара, — они обладают отменной чувствительностью к движению. Летающие насекомые особенно часто обладают чрезвычайно

широким полем зрения: до трехсот шестидесяти градусов у тех стрекоз, чьи глаза смыкаются на макушке.



Но не только это помогает им обнаруживать движущиеся объекты. Чтобы компенсировать ускоренную «частоту слияния мельканий» — скорость, при которой движущееся изображение становится непрерывным потоком, а не серией изолированных событий, точно страницы в книжке-игрушке, имитирующей мультфильм при перелистывании, — фильм, снятый для мух (или мухами), должен был бы быть в пять раз быстрее, чем стандартная для нашего кино частота двадцать четыре кадра в секунду. Следовательно, мухи живут в мире, где всё движется намного быстрее, чем в нашем. Они рождаются и умирают, прожив несколько дней, недель или месяцев, а не десятилетий. Они существуют в иной плоскости — в плоскости, которая отличается от нашей не только по остроте зрения, узорам и цветам, в плоскости, где пространство-время проживается в другом режиме. Если мы подумаем о том, что наши органы чувств — посредники в наших отношениях с окружающим миром, то мы можем спросить, какова же перцептуальная, интеллектуальная и эмоциональная жизнь существ (в том числе людей), чьи органы чувств отличаются от наших. Отчасти эти загадки можно разгадать, разглядывая расплывчатые картинки и надевая пластиковые маски. Отчасти их лучше оставить неразгаданными, чтобы наша уверенность в собственной перцепции с чем-то контрастировала.

Эта мысль приводит нас к еще одному виду сквозь глаз насекомого. И на сей раз это не фотография. Это другой способ воссоздания, работа великого эстонского биолога и философа Якоба Йоганна фон Икскюля, проведенная в тридцатых годах XX века. В лесах, по которым он бродит, все существа, способные чувствовать, — это субъекты, занимающие свой собственный *Umwelt*, среду, предопределенную возможностями их чувств и пределами этих возможностей [440]. Каждое существо живет в своем собственном времени и в своем пространственном мире: это различающиеся между собой миры, где и время, и пространство воспринимаются субъективно, через органы чувств, которые у разных существ радикально различаются и продуцируют радикально разные ощущения. «Субъект влияет на время в своем собственном мире, — пишет фон Икскюль. — Не существует пространства, независимого от субъектов» [441].

Вот комната, данная через ощущения комнатной мухи. Фон Икскюль делит ее на «функциональные тона». Всё, кроме тарелок, стаканов и лампы, — «бегательный тон», пространство, по которому муха может бегать. Жар света влечет к себе насекомых; еда и напитки на столе крепко удерживают их лапки, снабженные вкусовыми почками. Я не верю, что вселенная мухи настолько тиха и уныла, и всё же тут есть важная мысль. Помните рудбекию? «Не может быть сомнений, — пишет фон Икскюль, — что повсюду наличествует фундаментальный контраст между окружающей средой, которую мы видим, раскинувшейся вокруг животных, и теми *Umwelten*, которые создаются самими животными и наполняются объектами их собственного восприятия» [442].



Отчасти эти чуждые нам *Umwelten* возникают из элементарных моторных реакций — того, что Фабр называл инстинктом. Но другие — результаты проб и ошибок, суждений, «повторяющихся личных впечатлений». Это «свободные субъективные результаты», и, подобно времени и пространству, они основаны на опыте и индивидуализированы [443].

Казалось бы, это не так трудно понять: мир многогранен, и для разных существ он разный, наш мир — отдельно, а их мир — отдельно, и когда мы встречаемся, то это происходит на границе между разными пересекающимися реальностями и в промежутке между ними. Разве не на этот путь мы вступили, надев плексигласовую маску?

И, раз уж мы дошли до этой точки, не кажется ли вам, что эти маски — не столько обещание общения и сопричастности, взгляда через глаза насекомого, сколько констатация неустранимого несходства?

Что ж, продолжает фон Икскуль, подкрепляя свою мысль, хотя в физическом мире вещи существуют объективно, в *Umwelt* любого существа они никогда не появляются в качестве своих объективных самостей. Все животные, в том числе люди, знают эти объективные вещи только в качестве перцептуальных подсказок с функциональными тонами, и «одно только это превращает их в реальные объекты, хотя в изначальных раздражителях не присутствует ни один элемент функционального тона». Итак, продолжает он, всё глубже погружаясь в поток своих аргументов (так глубоко, что трудно удержаться от дальнейшего цитирования), «мы в итоге приходим к выводу, что каждый субъект живет в мире, состоящем из одних только субъективных реальностей, и что даже сами *Umwelten* показывают только субъективные реальности» [444]. Все мы, все люди и все животные, живем в мирах, созданных нами самими, в разной степени сложных, в разной степени стимулирующих наше восприятие, сходным образом субъективное. А затем, как будто он зашел недостаточно далеко, фон Икскуль делает неожиданный поворот. Миры животных и людей, говорит он, часто руководствуются не логикой, а магией. Замысловатые ходы, проделанные жуком-короедом под корой дерева, — магический феномен; для собаки хозяин — магическая фигура; маршруты перелетных птиц, которым те не учатся, тоже непостижимы. Фон Икскуль показывает нам, что дуб сочетает в себе много разных вещей для того множества разных животных, которые живут в нем и вокруг него; он показывает нам, что звуковые волны для физика, исследующего радиочастоты, — совсем не то же самое, что для музыканта («В первом мире есть только волны, во втором — только звуки. Но оба одинаково реальны» [445]). Я думаю об атеросклерозе, который изучает Аннмари Моль, о жесте прикрывания лица трупа, о тех странных бойцовых дрозофилах и их бедных головках, истолченных в порошок. «Как всё и продолжается», — говорит фон Икскуль. И мы следуем за ним во вселенную, переполненную знаками, семиотическую вселенную субъективных реакций и почти безграничных субъективностей людей и животных.

Мне это, естественно, нравится. Но и нервирует тоже. Как прыжок в пустоту. В промежутке между видением и восприятием возможно так много. А мир знаков — это еще и мир коммуникации. Органы чувств комбинируются, работают сообща, частично совпадают, противоречат друг другу. Так что же я слышу? Волшебные звуки из неземных источников? Звуки? Шум? Музыку? Звук очень громкий. Он разносится из моих наушников. Он доносится из Нью-Мексико...

## W

### The Sound of Global Warming

### Звук глобального потепления

#### 1

Прислушайтесь. Это звук глобального потепления. Он звучит всё громче...



Закройте глаза. Мы на другой планете. На влажной планете, планете океанов, планете эхо... Может быть, мы в джунглях из труб.

Или в подземной пещере. Может быть, мы в пещере, похожей на собор, где совершает жесткую посадку поврежденный корабль Принцессы в «Навсикае из Долины ветров» Хаяо Миядзаки (его экологически-фантазийной версии старинной новеллы «Любительница гусениц»), — гипертрофированной подземной тропической лагуне, оазисе таинственной жизни в отравленной стране из пророчеств.

Мы могли оказаться где угодно.

Что это за несусветные звуки? Пронзительное попискивание и басовитые стоны, долгий низкий скрип огромных дверей (не может быть, чтобы это были двери), размеренное потрескивание полиритмических радиопомех. Звонкий щебет, снова щебет, скрежет, который внезапно затихает, плеск чего-то жидкого — так волна накатывает на берег.

Что-то барабанит, что-то шипит, что-то где-то грызет, что-то расплескивается, что-то попискивает... что-то повинуется дирижеру. Где-то вдали — взрыв. Где-то близко что-то грузное встает на ноги, недовольно мыча. Здесь есть животные. Какие животные? Что они делают?

Полиритмические, полифонические животные щебечут в контрапункте, «зов — ответ». Какая тут бурная жизнь. Сколько движения. Сколько ритма. Снова щелчки, снова щебет, снова писк, снова плеск, снова отголоски.

Где мы?

Мы внутри дерева. Внутри пиньона — сосны съедобной (*Pinus edulis*). Мы внутри ее васкулярной ткани, чуть глубже внешней коры, в слоях флоэмы и камбия. Мы заточены в роскошном мире звуков, в мире, который можно слышать только на компакт-диске Дэвида Данна «Звук света в деревьях» — том самом, который я сейчас слушаю через наушники [446].

Дерево, внутри которого мы находимся, может достигать тридцатифутовой высоты. Это огромная величина, если ты крошка, не больше зернышка риса, — например, как сосновые короеды (а точнее, жуки-короеды пиньона, латинское название *Ips confusus*), которые стекаются сотнями, чтобы откладывать яйца и ждать отрождения своих личинок в этих выносливых, медленно растущих деревьях, что дают вкуснейшие семена и ароматную древесину и господствуют над суровой красотой пейзажей на севере Нью-Мексико, где растут сосны да можжевельник.

Короеды пиньона принадлежат к семейству *Scolytidae*, одному из немногочисленных семейств насекомых, чьи взрослые особи способны прогрызть внешнюю кору деревьев. Еще несколько лет назад казалось, что короеды заключили с пиньонами что-то вроде пакта. Самки, привлеченные сигналами самцов-первопроходцев, собирались на слабых и умирающих деревьях, чтобы пробурить туннели и отложить яйца. Их вылазки в толще коры прерывали приток жидкостей и питательных веществ. Плесневой гриб *Grosmannia clavigera*, который разносили жуки, еще сильнее закупоривал

организм растения. Слабые деревья капитулировали. Их гибель прореживала лес, но одновременно укрепляла его: популяция сосен выигрывала от ослабления внутривидового соперничества за свет, воду и питательные вещества. Но только 10–15% вылетов самцов, направленных на рассредоточение, влекли за собой успешное продолжение рода, а здоровые деревья без труда отражали их натиск. Они накачивали смолистую живицу, чтобы заклеить раны в своей коре, насильно вытесняя захватчиков или запечатывая их вязкой массой. Ароматические монотерпены — эфирные масла, растворенные в живице, — нейтрализовывали грибок [447].

Но засуха, опустошившая юго-запад США в первые годы нынешнего века, изменила динамику. Пиньоны, страдавшие от дефицита воды, вырабатывали меньше живицы и обнаружили, что повышенное содержание сахара в их клетках привлекает еще больше короедов. Живица с повышенным содержанием монотерпена, которая вытеснялась из входных отверстий, проделанных жуками, дополнительно привлекала короедов.

Кавитация — разрушение ксилемной ткани, вызванное формированием вакуумных пузырей в условиях засухи, — настолько усилилась, что в некоторых деревьях звуки, вызываемые взрывами пузырей, сделались «почти непрерывным ультразвуковым характерным голосом», саундтреком, за которым, как мы увидим ниже, жуки, по-видимому, внимательно следили [448].

Пока деревья боролись, необычная жара способствовала тому, что жуки (и грибки) размножались и вообще действовали в ускоренном темпе. Сочетание ослабленных деревьев с гиперактивными короедами повлекло за собой катастрофическое вымирание пиньонов в регионе. В 2003 году — на пике кризиса — леса в Нью-Мексико пострадали на площади более семисот семидесяти тысяч акров. Миллионы деревьев погибли, а никаких эффективных мер противодействия не было придумано. По данным аэрофотосъемки, которую провела Служба охраны лесов, подотчетная министерству сельского хозяйства США, и после исследований пиньоно-можжевелевой рощи в Атомной лаборатории Лос-Аламос ученые из Аризонского университета подсчитали, что смертность среди пиньонов в Нью-Мексико, Колорадо, Юте и Аризоне в 2002–2003 годах составила от 40 до 90% (в разных точках) [449]. Даже если подобные события не повторятся, ландшафт восстановится разве что через несколько столетий.

Но всякому известно, что подобные события, а также другие, пока невообразимые, случатся вновь. И хотя гибель пиньонов стала катастрофой для местных жителей и животных (например, для пиньонной сойки, которая питается шишками), самое мучительное — зловещий отпечаток, который оставили на пейзаже исчезнувшие пиньоны. Их гибель заняла место в списке впечатляющих природных бедствий последних лет, но самые незаживающие раны оставил ураган «Катрина». На знаменитых снимках и фотографиях из Нового Орлеана обнажен клубок проблем, спровоцированных межрасовыми и межклассовыми отношениями, а также некомпетентностью чиновников, безразличием правительства и особенностями климата. Роковое стечение обстоятельств, погубившее пиньоны, связано с насекомыми, грибами, деревьями, нехваткой специальных познаний и вновь с особенностями климата.

Оба события четко дают понять, что в эпоху климатических изменений новые образования вряд ли будут иметь прямолинейные последствия. Характерная черта будущего — неизбежное возникновение непредсказуемых явлений в потрясающем масштабе [450]. Забудьте о «внутренней безопасности». Изменилось само время. Мы знаем, что катастрофы надвигаются и что они застанут нас врасплох.

#### 4

Мы находимся внутри пиньона на севере Нью-Мексико. Всюду вокруг — короеды сосновые, другие короеды, личинки жуков и муравьи-древоточцы. Барабанный бой — это муравьи, говорит мне Дэвид Данн, когда я звоню ему в Санта-Фе. Взрывы — это кавитация. Скрип — дерево качается на ветру.



«Звук света в деревьях» — это звуковой пейзаж, «звуковая окружающая среда» [451]. Альбом призван настроить нас на восприятие слухового аспекта нашей повседневности, создать то, что антрополог и основоположник создания звуковых пейзажей Стив Фелд называет «звуковым способом познания мира и бытия в мире» [452]. Окружающая среда внутри пиньона — не та, которую мы в обычных условиях могли бы воспринять через звуки. Нам нужны преобразователи — преобразователи-люди и преобразователи-устройства, чтобы конвертировать эти неслышимые человеческому уху низкие частоты и ультразвуковые излучения в вибрации, доступные нашему слуху [453]. Когда знаешь, что нам требуется преобразование и перевод, когда знаешь, что даже при таком посредничестве этот мир остается практически недоступным, странность этой записи ощущается еще острее. В ней есть что-то непривычное, смутно-тревожное: она поглощает и одновременно кажется чуждой, она способна передать как близость, так и равнодушие мира природы, передать этот беспокойный парадокс, стоящий в центре новых реалий глобального потепления.

Проникновение под кору пиньона пробуждает дремлющие органы чувств. Я закрываю глаза, чтобы изолировать звуки, и обнаруживаю: слушать этих насекомых — пожалуй, почти то же самое, что их ловить. Опыт прослушивания этих звуков напоминает мне об убедительном аргументе японского нейробиолога Такеси Ёро, касающемся визуального опыта поиска, отлова и изучения насекомых. Ёро утверждает, что японские защитники природы, пытающиеся запретить отлов насекомых, отличаются катастрофической

близорукостью, что именно благодаря отлову люди, особенно дети и молодежь, узнают, что значит сочувствовать другим и жить среди других существ.

Как и многие другие любители насекомых, с которыми мы познакомились в этой книге, Ёро и его товарищи, собиратели насекомых, уверяют: тесное внимание, которого требует это соприкосновение с другой жизнью — с другой крохотной жизнью, развивает нестандартные умения не только видеть, но и чувствовать, внимание к деталям разрушает уверенность в масштабе и иерархии, и этот опыт претворяется в этику. Как уверяет Ёро, в собирателе сосредоточенное внимание к другой жизни развивает терпение и чуткость, осознание тонких вариаций и других бранных явлений (перемены могут быть очень медленными, движения — очень быстрыми, жизнь — очень короткой) и побуждает ценить различия; возможно, это новый образ существования в мире.

Это значит «увидеть», а не просто «смотреть», — точно так же, как звуковой пейзаж пиньона развивает умение «расслышать», а не просто «слышать». Внутри этих деревьев, среди этих животных у людей «происходит сдвиг в мышлении о центральной роли человека в физическом мире», говорит мне Дэвид Данн, и я осознаю, что, в отличие от Ёро, он ищет не любви насекомых, но чего-то, что ближе к анализу или пониманию. Он не исключает вероятности того, что близкое знакомство со звуками насекомых может также вызвать тревогу и подкрепить антипатию [454].

Как-никак в этой истории о Нью-Мексико насекомые — не герои.

Два года записей, спрессованные в один час. Звуки из множества разных деревьев, смонтированные воедино. Это не просто запись, а композиция, которая берет, перерабатывает и переставляет нечеловеческие звуки. Хотя это артефакт, сам это сознающий, подобный звуковой пейзаж отрывается от предшествующей традиции *musique concrète*, где музыкант откровенно манипулировал «найденными» звуками, чтобы подчеркнуть и выразить вмешательство человека [455]. Дэвид говорит мне, что в его творчестве упор делается на «характере, неотъемлемо присущем этим вещам», что ставится задача «обнажить аспекты времени и пространства, которые неотъемлемо присущи материалам» и исследовать через звук более масштабные феномены, порождаемые этими существами (деревьями, насекомыми, людьми), феномены, частью которых являются все эти существа.

Тридцать пять лет он занимается авангардной музыкой и звуковым искусством: теоретизирует, сочиняет музыку, издает свои работы, выступает с концертами, сотрудничает с другими музыкантами и, конечно, делает записи. Готовых инструментов пока мало. Чтобы низкочастотные вибрации и ультразвуковые излучения были слышны человеческому уху, Данн использует системы-преобразователи с открытыми исходниками, которые разрабатывает сам. Он рассылает хитроумные устройства специалистам по жукам даже в Китай. Проводит мастер-классы, где учит детей изготавливать эти устройства.

В те годы, подобно многим людям на юго-западе США, Дэвид сидел и смотрел на пиньоны около своего дома. Он увидел, как их зеленые иголки стали красновато-бурыми, а потом осыпались. Он задумался о «материальности их мира» — о дереве, о импедансе, о возможностях. Потом вытащил из музыкальной открытки пьезоэлектрический диск-преобразователь, приклеил его

к выпотрошенному термометру для мяса, воткнул этот аппарат в кору умирающего пиньона и наклонил, чтобы улавливать вибрации. По одному преобразователю на дерево. Себестоимость — менее десяти долларов за штуку.

## 5

Техника может сблизить нас с миром, говорит он мне. Возможно, продолжает он, этот роскошный и сложный звуковой пейзаж, к которому можно приобщиться через наушники, приближает к нам сенсорный опыт других живых существ, которые чувствуют окружающую среду иначе. У Данна много записей, одна из самых известных — «Хаос и зарождающийся разум пруда», двадцатичетырехминутная композиция, которая обнаруживает в звуках водных насекомых в прудах Северной Америки и Африки «звуковой мультиверс, отличающийся изысканной замысловатостью» [456].



Слушая пруд с помощью двух всенаправленных керамических гидрофонов и портативного цифрового диктофона в формате DAT, он слышит ритмическую замысловатость, которая превосходит бо`льшую часть человеческой музыки, паттерны, сравнимые только с самыми изощренными компьютерными сочинениями и самой сложной африканской полиритмической игрой на барабанах.

Звуки не могут быть случайными, решает Данн. Не может быть, чтобы эти животные просто повиновались своим инстинктам.

«Мой внутренний музыкант невольно слышит в них что-то большее». Собственно, внутренний музыкант Данна понимает человеческую музыку как самовыражение, параллельное этим звукам, как модальность экспрессии, которая максимально приближает людей к способам коммуникации других живых существ. Музыка наводит на мысль об организации, а не только о звуке, и Данн слышит пруд, «насыщенный интеллектом, который зарождается прямо из полноты взаимосвязанности». Он начинает слышать пруд как что-то вроде сверхорганизма, как сверхчеловеческий социальный «разум», сотворенный из автономного взаимодействия всей жизни в его пределах; эти термины довольно похожи на те, с помощью которых специалисты по теории сложности описывают гнезда-колонии общественных насекомых (муравьев и термитов, некоторых пчел и ос, некоторых тлей и трипсов).

Когда я читаю эти мысли в буклете альбома «Хаос и зарождающийся разум пруда», я начинаю понимать, что звуковой пейзаж — нечто большее, чем запись, и даже нечто большее, чем композиция. Это также метод исследования, который легко вытекает из принципа цельности. Звуковой пейзаж находит свой кусок мира как целого. В этом смысле он совершенно не похож на научные исследования, которые начинают свой поиск с изоляции отдельных элементов. Это другой метод, и, что неудивительно, он дает другие результаты.

На поверхность всплывает что-то другое. Не будем оставаться глухими к его музыке.

## 6

«Долгое время этого было достаточно», — сказал мне Дэвид Данн. Он сочинял звуковые пейзажи, чтобы научить свою аудиторию чувствовать акустику природного мира, чтобы стимулировать восстановление древних, утраченных способов восприятия и наладить более тесные отношения с другими живыми существами. Но климатические изменения заодно изменили и это. Умирующие леса с новой актуальностью поставили вопрос об ответственности. Как и многие люди, оказавшиеся в гуще бедствия и среди его последствий, он обнаружил, что испытывает желание сделать что-то эффективное, что-то, как он выразился, что «ослабит мое собственное ощущение трагедии и уныния».

Вымирание пиньонов не было аномальным явлением. Поскольку в последние десятилетия климатические пояса сдвинулись, насекомые мигрируют вместе с ними. Проворные, многочисленные и поразительно легко приспосабливающиеся к новым условиям, жуки, комары, клещи и другие извлекли выгоду из новой обстановки и расширенных границ ареалов; результаты феерические. Одно из хорошо известных последствий — появление болезней, распространяемых насекомыми, на неожиданных широтах и долготах (болезнь Лайма в Швеции и Чехии; лихорадка Западного Нила в США и Канаде; лихорадка денге забралась на север аж до Техаса; малярия на нагорьях Восточной Африки) [457]. Другое последствие — беспрецедентное обезлесение, которое ударило по северным лесам Сибири, Аляски и Канады, хвойным лесам юго-запада США и лесам умеренного климатического пояса на Среднем Западе и северо-востоке США.

Детали разнятся, но динамика устоялась. Столкнувшись с региональным ростом зимних и летних температур, уменьшением количества осадков и сокращением длительности морозов, растения и насекомые теперь идут «не в ногу», хотя развивались совместно в течение тысячелетий. Как правило, животные приспосабливаются к новым условиям гораздо быстрее, чем деревья. Жуки развиваются ускоренно: больше едят, быстрее растут (некоторые виды достигают половой зрелости через год, а не через два), быстрее размножаются и дольше живут. Их численность колоссально увеличивается.

Те же самые условия — повышенная температура воздуха и сокращение осадков — создают стресс для деревьев. Когда засуха усиливается, обмен веществ у деревьев нарушается, их защитные механизмы ослабевают. Их традиционная стратегия — миграция популяций из жарких климатических поясов, поколение за поколением, — попросту слишком медлительна.

Век вывихнул сустав. Лес идет вразнос. Деревья терпят поражение задолго до того, как им удастся сбежать в места, менее гостеприимные к насекомым.



В результате — долгий список катастроф. С начала девяностых годов XX века еловые короеды погубили северные леса на Аляске на площади 4,4 миллиона акров. В тот же период лубоед сосны горной обосновался на тридцати трех миллионах акров леса в Британской Колумбии и причинил серьезный ущерб в Монтане, на севере Колорадо и на юге Вайоминга. Долгосрочные прогнозы — не менее апокалиптические. Согласно одному из сценариев, всю Северную Америку охватит нашествие короедов, которые хлынут из Британской Колумбии на полуостров Лабрадор, а также направятся на юг, в леса восточного Техаса [458].

Дэвид и его соавтор, физик из Калифорнийского университета Джеймс Кратчфилд, специалист по нелинейным сложным системам, называют механизм, который здесь действует, «десинхронизацией паттернов биотического развития» [459]. Они исследуют его в новом проекте, который вообразили благодаря логике звукового пейзажа, — научном исследовании, состоящем в симбиозе со «Звуком света в деревьях», которое не столько рассматривает климатические изменения, сколько вслушивается в них.

На протяжении нескольких десятилетий в исследованиях поведения насекомых тон задавала химическая экология — исследование воздействия химических стимулов на экологическое взаимодействие. В своем интереснейшем рассказе о жизни среди насекомых Томас Эйснер, основоположник и бесспорное светило в этой научной области, перечисляет открытия: жуки-бомбардиры, столкнувшись с угрозой, распыляют жгучий бензокинон; самка светляка *Photuris* вырабатывает защитные химические вещества, пожирая самцов светляка другого рода; очаровательная самка ночной бабочки *Utetheisa ornatrix* отбирает сексуальных партнеров по тончайшим нюансам их запаха, который содержит феромоны; личинки пилильщика и кузнечики в качестве защитного рефлекса изрыгают ядовитую рвоту. Похоже, таким историям несть числа, а Эйснер отмечает, что и возможностей для дальнейших исследований сколько угодно [460].

Химическая экология оказалась поразительно плодотворным полем исследований насекомых. Особенно колоссальная энергия направлена на работу с тремя классами химических соединений: феромонами, которые влияют на поведение или физиологическое развитие особей одного и того же вида (например, при спаривании или скучивании), алломонами, которые действуют на особей другого вида к выгоде существа, которое их выделяет (например, защитные токсины типа выделений бомбардира), и кайромоны, которые влияют на особей другого вида к их собственной выгоде (например, выделения типа сосновой живицы с монотерпенами, которые неумышленно привлекают к ране паразитов или хищников).

Неоспоримо, что химическая экология в силах объяснить массу вещей. Она поразительно описывает замысловатые нюансы жизни насекомых. И всё же, говорит мне Дэвид, она мало что сделала, чтобы замедлить наступление короедов в северных лесах. Ее основные инструменты борьбы с вредителями (феромонные ловушки, которые обманывают жуков или срывают их поведение, а также пестициды) оказались неэффективными или непрактичными. Написаны сотни научных работ, научные фонды получили бесчисленные миллионы долларов, но короеды продолжают свой марш.

## 7

Прислушайтесь. Их слышно громко и четко. Этот писклявый щебет — короеды пиньона. У самки есть маленький твердый гребень (*pars stridens*) на затылке, которым она трет об скребок (*plectrum*), находящийся под передним краем ее первого грудного сегмента. Самец тоже издает звуки, но каким способом, никто в точности не знает.



У короедов есть широкий набор органов для звукоизвлечения. И применение этого шума тоже самое широкое. Будем считать *Scolytidae* общественными насекомыми. Не такими, конечно, как общественные насекомые, именуемые эусоциальными, — например, медоносные пчелы с замысловатыми гнездами и четким разделением труда. Это общественные насекомые в более расплывчатом смысле: они живут группами; координируют массовые нашествия на деревья-добычу; размещаются с интервалами, чтобы не поселяться слишком скученно; некоторые ведут коллективный образ жизни в своих гнездах. Столь сложное скоординированное поведение предполагает коммуникацию.

Исследования взаимодействий среди короедов сосредоточены в основном на химических сигналах; звук считался чем-то вспомогательным [461]. Симптоматично, что пока не опубликовано ни одной работы о том, как короеды слышат и какие органы слуха у них имеются [462].

Но что, если — как предполагают Данн и Кратчфилд — короеды выбирают уязвимые деревья не только по «феромонам скопления» самцов-первопроходцев и по кайромонам, выделяемым с живицей раненых деревьев, но и по биоакустическим приметам (например, по внутренним взрывам газовых пузырей во время кавитации)? Можем ли мы предварительно предположить, что короеды (как и многие дневные и ночные бабочки, богомолы, сверчки, кузнечики, мухи и *Neuroptera*) тоже слышат в ультразвуковом диапазоне? На эту мысль наводит роскошный ультразвуковой мир внутри пиньона, который, как и недавние исследования, указывает, что слух у насекомых распространен намного шире, чем считалось прежде [463].

И действительно, после того как вы проводите какое-то время внутри пиньона среди животных, подладившись по масштабу к их миру, кажется всё менее ясным, почему биоакустика короедов исследуется так мало, и не верится, что звуки внутри дерева, явно имеющие характер взаимодействия, случайны. Изучая звуковой пейзаж пиньона, Данн и Кратчфилд обнаруживают: «Очень многообразный ряд звуковых сигналов остается и после того, как состоялись все предполагаемые поведенческие действия: выбор дерева-хозяина, координация атаки, ухаживания, соперничество за территорию и вытаскивание брачных спален. В полностью колонизированных деревьях стрекотание, щебет и щелчки могут продолжаться непрерывно по несколько дней и несколько недель, спустя долгое время после того, как почти все вышеперечисленные действия, вероятно, пришли к своему завершению». Что это значит? Данн и Кратчфилд делают осторожный, но важный вывод:

«Наблюдения наводят на мысль, что эти насекомые социально организованы более изощренно, чем предполагалось прежде, и что структура их организации требует постоянной коммуникации посредством звуков и вибрации субстрата» [464].

Недавние исследования Реджинальда Кокрофта и его соавторов из университета штата Миссури в городе Колумбия ставят еще один вопрос. Кокрофт продемонстрировал, что низкочастотные звуки и ультразвуки, передающиеся по воздуху (то, что записал Дэвид Данн), — на самом деле лишь один из элементов звукового мира насекомого. Похоже, гигантское множество

насекомых, живущих на растениях, общаются между собой и с помощью неакустических вибраций своего живого субстрата. «Виды, чувствительные к вибрациям, — пишут Кокрофт и Рафаэль Родригес, — могут не только отслеживать вибрации, чтобы заметить хищников или добычу, но также вызывают вибрации структур, чтобы общаться с другими особями». Заставляя вибрировать листья, стебли и корни растений, насекомые рассылают осмысленные сигналы на большие расстояния (в случае веснянок — на дистанцию до восьми метров). Не скованные физическими ограничениями коммуникации по воздуху, они могут сдерживать хищников, продуцируя низкочастотные сигналы, которые имитируют звуки гораздо более крупных животных. Некоторые — например, муравьи-листорезы — вызывают вибрации, чтобы созвать товарищей к источнику ценной пищи. Другие — к примеру, личинки щитаносок — обмениваются вибрационными сигналами, чтобы скоординировать формирование оборонительных отрядов. Третьи (в том числе горбатки, которых в Америке называют боярышниковыми жуками) генерируют коллективные сигналы бедствия, дабы позвать матерей, когда оказываются в опасности. И излишне упоминать, что хищники подслушивают вибрации, дабы обнаружить свою добычу (эта практика объясняет «виброзащиту» — тот факт, что некоторые насекомые «движутся так медленно и генерируют так мало вибраций субстрата, что могут пройти мимо паука, не спровоцировав атаку»). Разнообразие вибрационных сигнальных аппаратов и сигналов — это «нечто фантастическое» [465].

Давайте по-новому вообразим ландшафт звукового пейзажа. Давайте начнем со всей этой бурной, шумной музыкальной энергии и раскроем наши органы чувств еще шире. И давайте предположим, что существует не только мультимодальность, но и кросс-модальность, что, как и наши органы чувств, органы чувств насекомых имеют смысл в совокупности, а не в изоляции.

Да, мир насекомых — это шумный мир, постоянное акустическое жужжание: барабанный бой, пощелкивание, попискивание, щебет.

Да, это также вибрирующий мир, такой чувствительный, что даже легкий ветерок может его нарушить, а ливень — заставить умолкнуть или заглушить.

Да, это и химический мир: безостановочный, невероятно замысловатый, безумно изобретательный молекулярный лабиринт аттрактантов, репеллентов, снадобий, ядов и маскировки.

И да, как все мы знаем по медоносным пчелам фон Фриша, это мир непосредственной физической интимности: прикосновений, ощупывания и обмена веществами, а также мир визуальных подсказок.

Это мир интенсивных взаимодействий, ландшафт, в котором связываются и общаются животные одного вида и разных видов.

Слушайте. Можете его расслышать? Благодаря звуковому пейзажу мы робко входим в более широкий, более обильный мир.

Но этот звуковой пейзаж — не просто звуки жизни внутри деревьев, а саундтрек эпидемии.

Как утверждают Данн и Кратчфилд, эти шумные жуки — не просто симптомы глобального потепления, но и его причина. Данн и Кратчфилд рассматривают динамику леса как что-то вроде кибернетической петли обратной связи, которая в условиях климатических изменений ускоряется. Своей неизменно успешной адаптивной популяционной динамикой насекомые выводят систему из равновесия. Короеды, играющие решающую роль в уничтожении лесов, что, в свою очередь, высвобождает углекислый газ, накопленный в биомассе деревьев и абсорбированный при их росте, становятся ускорителем «энтомогенных климатических изменений» (термин Данна и Кратчфилда) [466].

Идея интригующая. Но на практике она, вероятно, мало что изменит для *Scolytidae* и их союзников, проникающих под кору. Во всех кругах уже твердо решено, что короеды виноваты в обезлесении столь многих территорий Северной Америки, что их поведение — это «заражение» и «нашествие» (так что обеспокоенность короедами подверстывается к устойчивым страхам перед иммиграцией людей), поэтому надо принимать меры для их истребления.



Прислушайтесь. Эти звуки вызывают неоднозначную реакцию. Красота этой роскошной внутренней жизни, музыка флоры; нечто самодостаточное, безразличное, саундтрек катастрофы. Эти жуки ведут абсолютно коммуникабельный образ жизни, их *Umwelt* — всесторонне общественный. Нам не стоит выбирать себе таких существ в качестве врагов.

«Государство биологической безопасности» со своими ловушками, пестицидами, древесными хирургами, просветительскими программами и введением карантина в конкретных округах почти бессильно. Кажется, Мао Цзэдун первым сказал, что там, где есть репрессии, есть и сопротивление. Он имел в виду не бактерий или вирусы. Но нам следует о них подумать. Еще двадцать пять лет назад в лесах Норвегии и Швеции семь миллиардов жуков были пойманы в феромонные ловушки во время кампании против нашествия европейских еловых короедов [467]. Семь миллиардов! Но их наступление продолжалось. Репрессии напрасны. Каким-то образом нам придется сосуществовать. Каким-то образом нам придется подружиться.

# Ex Libris, Exempla Экслибрис, примеры

## Excess Избыточность

Двадцать шестое декабря 1934 года. Знаменитый эпизод в истории сюрреализма. В парижском кафе Андре Бретон и многообещающий писатель Роже Кайуа ссорятся из-за пары мексиканских прыгающих бобов.

\*

Тремя годами позже Кайуа основал «Коллеж социологии» вместе с двумя другими инакомыслящими сюрреалистами — Жоржем Батаем и антропологом Мишелем Лейрисом. (Он также скрепя сердце принял участие в группе харизматичного Батая *Acéphale*\* — тайном обществе, чьи немногочисленные члены, если верить слухам, договорились о человеческом жертвоприношении в качестве радикального жеста; но, хотя многие из них добровольно вызвались на роль жертвы, никто так и не согласился на роль палача [468].) Еще через два года Кайуа уехал из Франции, чтобы пересидеть нацистскую оккупацию в Аргентине. Прошло еще девять лет, и он начал карьеру чиновника от культуры в ЮНЕСКО. Спустя двадцать три года его избрали во Французскую академию. В процессе всего этого он написал ряд своеобразных, отражающих его глубокую эрудицию и почти забытых ныне книг на необычные темы, и особое место среди этих тем занимали насекомые (преимущественно богомолы, фонарницы и другие виртуозы мимикрии).

\*

Двадцать седьмого декабря, возможно страдая похмельем (ему был двадцать один год), Кайуа направил Бретону письмо, в котором объявил о разрыве с сюрреализмом. «Я надеялся, — писал он, — что наши позиции расходятся не так сильно, как выяснилось во время нашего разговора вчера вечером» [469].

\*

На столе перед ними лежали загадочные бобы. Почему они так прыгают? Может быть, эти неравномерные судороги — признак какой-то диковинно-неведомой жизненной силы? Кайуа взял нож, чтобы вскрыть бобы. Бретон, который был почти вдвое старше него, недавно исключенный из компартии автор основополагающих манифестов сюрреализма, видный французский интеллектуал, велел ему этого не делать.



Оба знали, что в каждом бобе сидит личинка бабочки *Laspeyresia saltitans*, и конвульсивные движения боба — на самом деле шевеление личинки в выеденной скорлупе. Но Бретон не желал никаких подобных подтверждений.

«Вы сказали, что это развеяло бы таинственность», — написал Кайуа.

\*

Кайуа описал этот спор как конфликт поэзии с наукой. Но даже тогда его понимание науки было отчетливо поэтичным. Он добровольно впал в «полное замешательство», считая его коронной чертой изысканий в современном мире, которому свойственен «крах очевидного» [470]. Как всякий добросовестный ученый, он считал замешательство тем толчком, который провоцирует систематические изыскания. Но он развивал свою идею «диагональной науки», «науки о том, что выше знания», науки, которая охватила бы «то, чего не желает знать наука». Он искал «порядок, который позволит беспорядку как таковому войти в порядок вещей» [471].

Обнаружение личинки внутри боба вряд ли развеет таинственность, написал он Бретону: «Здесь мы имеем одну из форм Чудесного, которая не боится знания, но, наоборот, расцветает на его почве» [472].

\*

Природный мир полон чудес. На одно из них Мария Сибилла Мериан набрела в Суринаме. Она обнаружила, что фонарница (*Laternaria phosphorea*) дает свет, «при котором можно читать книгу, напечатанную тем же шрифтом, что и *Gazete de Hollande*» [473]. Вообще-то Мериан ошиблась: фонарница вообще не испускает свечения; это странное, несообразное заблуждение прочно прилипло к фонарнице на сотню с лишним лет и донныне сохранилось в ее латинском названии. Кайуа предполагает: появление этого насекомого так поразило Мериан, что она бессознательно приискала ему объяснение, подменив одну странность другой странностью иного порядка — странной способностью светиться.

И действительно, *L. phosphorea* — паразитическое животное. Как и богомол, оно наполняет мир вокруг себя мифами, преданиями и легендами. Британский натуралист Генри Уолтер Бейтс, проживший одиннадцать лет в бассейне Амазонки и открывший, помимо многих других вещей и явлений, форму мимикрии у бабочек, которая сыграла ключевую роль в появлении теории естественного отбора Дарвина, пересказывает местные истории о фонарницах: те, мол, нападают на людей на реке и убивают их. В Амазонии, пишет Бейтс, это насекомое называют «крокодилья голова», потому что его длинный хоботок

чем-то похож на рыло [474]. Этот пустой ящик, торчащий на лице фонарницы, «в точности имитирует голову аллигатора, — писал Кайуа (не особо склонный к биологической или географической точности), — окраска и рельеф в совокупности дают изображение мощной челюсти с устрашающими зубами». Эффект «абсурдный, даже нелепый», но неоспоримый [475]. Как странно, что маленькая муха, живущая в лесу, имеет сходство с крокодилом и, соответственно, так убедительно пугает.

\*

По гипотезе Кайуа, существует «репертуар пугающих обличей», некий набор прототипов, имеющийся в природе, а крокодил и фонарница черпают идеи из этого набора. Мимикрия — это вовсе не стремление исчезнуть из виду, спрятаться у всех под носом. Чаще это способность появиться вновь, навести панику внезапной сменой одного обличья на другое (что-то вроде «масок со ставнями» у индейского племени хайда). Из ниоткуда, на пустом месте богомол внезапно встает на дыбы, возвышаясь над своей добычей, демонстрируя свои устрашающие пятна-глазки, издавая зловещие звуки; его жертва замирает, как вкопанная, она парализована, она загипнотизирована, не в состоянии бежать от этой фигуры, а богомол «кажется чем-то сверхъестественным, не принадлежащим к реальности, пришельцем из запредельного мира» [476].

Такова и фонарница. За ее головой рептилии — «фальшивой головой, карликовой и гигантской одновременно» — Кайуа замечает другую голову — «крохотную головку насекомого» с «двумя яркими, черными, почти микроскопическими точками — глазами» [477]. Крокодилья морда — это маска, которая по своему воздействию и методу применения сопоставима с маской шамана-человека. Фонарница «ведет себя, словно заклинатель, колдун, который носит маску и умеет ее применять» [478].

\*

Кайуа был заядлым коллекционером камней и минералов. На закате жизни он опубликовал «Отраженные камни» — богато иллюстрированный путеводитель по лучшим экземплярам своей коллекции, где он описывает каждый камень с характерным для себя уникальным сочетанием биологических рассуждений и поэтических аналогий. В камнях он находит такие же соответствия, как и те, что столь неодолимо влекут его к насекомым. Мимикрия у насекомых имеет те же ключевые особенности, что и колдовство у людей; точно так же миметические украшения животных на практике и по своему воздействию — аналог шаманской маски, точно так же как пугающие пятна-глазки на крыльях бабочки *Caligo* напоминают о дурном глазе («Фасцинирующее действие глаз имеет место во всем животном мире»), так и великолепные камни из коллекции Кайуа («И не только они, но и корни, раковины, крылья и любая тайнопись и конструкция в природе») разделяют с человеческими искусствами некий «универсальный синтаксис», связь с «эстетикой вселенной» [479].

Если категоричное деление на сегменты — непрременный первый шаг в научном рассуждении, то этот мир в любой момент вырывается за пределы отсеков, на которые он разграничен. Это размывание границ — границ «я» и

Другого, тела и животного, растения и минерала. Их растворение в пространстве. В конце одного из своих самых знаменитых эссе Кайуа цитирует неистовый пассаж из «Искушения святого Антония» Флобера: «...всеобщее зрелище мимикрии, перед которым капитулирует отшельник».

«Теперь растения уже не отличаются от животных. <...> Насекомые, похожие на розовые лепестки, сидят на кусте. <...> Затем растения сливаются с камнями. Кремни походят на мозги, сталактиты — на сосцы, железные цветы — на фигурные ткани...» Антонию хочется разделить на множество частей, быть во всем, «проникнуть в каждый атом, погрузиться до дна материи — быть самой материей» [Пер. М. Петровского. — *Ред.*] [480].

Чернильно-дымчато-вибрирующие отполированные поверхности яшмы и агата могут увести Кайуа в этот мир. И сердитая бабочка мертвая голова тоже может. И богомол, встающий на дыбы. И фонарница. «Никто, — пишет он, — не должен утверждать, что нелепо приписывать насекомым волшебство» [481].

## Exaction Поборы

Францисканец Хуан де Торкемада, составляя свою хронику в городе, который ныне стал Мехико, написал, как в 1520 году Эрнан Кортес, взяв в плен ацтекского императора Монтесуму в его же собственном дворце, дал своим людям карт-бланш на осмотр всех помещений. Испанцы отыскивали, писал Торкемада, множество небольших мешочков и сразу же предположили, что они набиты золотым песком.

Испанцы разрезали мешки — и с ужасом обнаружили, что те набиты не золотом, а вшами. В изложении Торкемады в этой истории (которую он приписывает двум офицерам Кортеса) вши были средством выразить глубокое чувство долга, которое питали к своему монарху даже беднейшие подданные, неспособные больше ничего ему отдать [482].

Торкемада утверждает, что мешочки обнаружил Алонсо де Охеда, печально известный своей жестокостью губернатор Урабы, сопровождавший Колумба в его втором путешествии в Индию. Но Охеда умер пятью годами раньше в Санто-Доминго после мятежа индейцев в Картахене и кораблекрушения. Если Торкемада, писавший свою хронику спустя целый век после этого события, ошибся насчет Охеды, то, может быть, он перепутал и другие подробности?

\*

В другой версии этой истории вши попали во дворец усилиями стариков, которым дал задание Монтесума. Эти мужчины и женщины, неспособные к более тяжелой работе, должны были ходить по соседским домам, избавлять их обитателей от вшей, а наловленную добычу доставлять в Теночтитлан в качестве подати. Поскольку в самом раннем медицинском тексте обеих Америк — «Ацтекском кодексе» 1552 года, отыскавшемся в Ватикане в 1931-м, — перечислены местные способы избавления от вшей на голове, фтириаза (инвазии вшей, вызванной вшами) и «расстройства от вшей», то, возможно, эта подать была императорской инициативой в сфере общественной гигиены [483].

\*

Далеко на юго-западе правитель инков — инка Уайна Капак — объезжал границы своей империи. Прибыв в Пасто — пограничный аванпост неподалеку от нынешней границы между Колумбией и Перу, он проинспектировал строительство укреплений и указал местным вождям, что, поскольку империя потратилась на их защиту, теперь они перед ним в долгу. Как утверждает Педро де Сьеса де Леон, автор одной из самых ценных испанских хроник об инках, местные вожди ответили, что у них нет средств на выплату новых налогов.

Уайна Капак решил проучить правителей Пасто: пусть, мол, не обманываются насчет своего положения. Он повелел, что «каждый житель обязан раз в четыре месяца сдавать властям один довольно длинный стебель тростника, наполненный живыми вшами». Сьеса де Леон пишет, что, услышав этот приказ, вожди громко захохотали. Но скоро они обнаружили: как бы усердно они ни ловили вшей, им не удавалось наполнить сосуды. Уайна Капак дал им овец, пишет Сьеса де Леон, и вскоре Пасто начал снабжать Куско шерстью и овощами, в полной мере выполняя свои налоговые обязательства [484].

\*

Еще южнее племя уров укрылось на плавучих островах из тростника на озере Титикака, пытаясь избежать завоевания инками. (Эти искусственные острова и немногочисленные люди, живущие на них, сегодня стали одной из главных туристических достопримечательностей этой области.) В хрониках сообщается, что инки были невысокого мнения об урах и называли их словом, означавшим «червяк». В тех же хрониках говорится, что инки обложили уров податью, которую следовало платить вшами, так как считали их неспособными платить налоги любой другой «валютой» [485].

\*

Ничего подобного не зафиксировано в историях уари, майя, миштеков, сапотеков или других великих доколумбийских империй. Во многих случаях исторических материалов просто слишком мало. Однако известно, что в сражениях майя наводили сильную панику на своих врагов, бомбардируя их не вшами, а снарядами, изготовленными из осиных гнезд (с живыми осами внутри) [486].

## Exile Изгнание

Сидя в отдаленном районе горной провинции Гуанси, знаменитый поэт и философ Лю Цзуньюань, живший во времена династии Тан, описал характер личинок аскалафа.

\*



Аскалафы — древние существа. Их нашли в кусках янтаря в Доминиканской республике, которым более сорока пяти миллионов лет [487]. Взрослые аскалафы напоминают стрекоз, но личинки похожи на личинок муравьиного льва: темно-коричневые «бронированные» тела эллиптической формы, длина тела — около одного дюйма, жвала — сильные, клешнеобразные. В отличие от личинок муравьиного льва, которые устраивают в песчаной почве неглубокую ловушку и, затаившись, поджидают в засаде, пока в нее свалится муравей или другая добыча, личинки аскалафа камуфлируют себя, закапываясь в мусор. Только гипертрофированные жвала остаются на виду. Когда какое-то насекомое случайно подходит слишком близко, гигантские челюсти смыкаются, и личинка выпивает все соки из своей крепко удерживаемой жертвы.

\*

В 805 году нашей эры Лю Цзуньюань был изгнан из Чанъаня, космополитической столицы империи (города, который ныне называется Сиань), за причастность к неудачной попытке переворота, затеянной реформистами. Чанъань, пишет Рюошуи Чэнь, биограф Лю, был «родным городом», куда поэт мечтал вернуться», но так и не вернулся [488].

В 819 году (в том же году он умер) Лю написал «Заметки о Фу Бане». Там он описывает, что личинка аскалафа, изловив свою добычу, тащит ее «вперед, подняв подбородок».

«Ноша становится всё тяжелее. Хотя она очень устала, личинка не валится на землю, потому что если она спотыкается, то больше не может встать на ноги. Некоторые люди, сжалившись над ней, снимают с нее ношу, чтобы личинка могла идти дальше. Однако она вскоре снова взваливает на себя свое бремя» [489].

\*

В другом сочинении, написанном в те годы, размышляя о природе Небес и ответственности человека, Лю Цзуньюань вопрошает:

«Если бы кто-то сумел истребить насекомых, которые проедают дыры в вещах, могли бы эти вещи отблагодарить его ответной услугой? Если бы кто-то помог вредным существам размножаться и плодиться, могли бы эти вещи разозлиться на него?»

И отвечает: разумеется, нет. Факт заключается в том, что «заслуги достигаешь собственными силами, и беду навлекаешь собственными силами».

Идет четырнадцатый, последний год его жизни в этих местах, где царит варварство.

«Те, кто ожидает наград или кар, сильно ошибаются... Ты должен просто верить в свои принципы человечности и добродетельности, совершать свой путь в мире в соответствии с этими принципами и жить [таким образом] вплоть до своей смерти» [490].

Extermination  
Истребление

После разгрома нацистов Карл фон Фриш вернулся в Мюнхен, к работе в должности директора Института зоологии. В 1947 году он опубликовал книгу «Десять маленьких непрошенных гостей» [название книги приводится по русскому изданию 1970 года. — *Пер.*] — небольшую книжку для массовой аудитории, где пытался доказать, что «даже в самых ненавистных и презираемых существах есть кое-что чудесное» [491].

\*

Он начинает с комнатной мухи («миловидного крохотного существа»), переходит к комарам (которые, как он признает, «никогда не могут быть приятными»), блохам («Если взрослый мужчина захотел бы посоревноваться с блохой, ему пришлось бы прыгнуть в высоту примерно на сто метров, а в длину — примерно на триста метров... Одним прыжком он мог бы перемахнуть с Вестминстерского моста на верхушку Биг-Бена»), клопам («Мы должны помнить, что перед великим законом жизни все живые существа равны: люди не превосходят мышей, а клопы — людей»), вшам («Одними только передними лапками вошь может целую минуту удерживать груз, в две тысячи раз превышающий ее собственный вес. Даже сильнейший тяжелоатлет не может надеяться совершить такое; ему пришлось бы поднять руками стопятидесятитонную штангу!»), тараканам («сообщество, которое низко пало»), чешуйницам («*Lepisma saccharina* — гостя сахарницы... Это совершенно безобидные соседи по дому»), паукам («Поразительно, как мало их врожденное умение [плести паутину] подчиняется строгой системе, как сильно различаются детали их действий в соответствии с местными условиями и характером вязальщика») и клещам («Жажда крови, которую испытывает самка, имеет под собой веские основания, и мы не можем ни в чем ее винить. Всякий, кому нужно отложить несколько тысяч яиц, нуждается в сытном обеде»).

\*

Одну из самых длинных глав фон Фриш посвящает своей десятой соседке по дому — платяной моли. Начинает он с гусеницы. Оказывается, как и жук-навозник, это, в сущности, падальщик, подьедающий гигантские горы лишних волос, перьев и шерсти, в которых иначе задохнулась бы планета. Как и личинка майской мухи, личинка моли мастерит себе защитный кокон, сплетая маленькую шелковистую трубку, крохотный теплый носок, а затем покрывает его обрезками тех веществ на основе кератина, которые находит в окружающем мире. Чтобы подкрепиться, личинка высовывает голову из трубки и начинает обкусывать «ландшафт» вокруг входного отверстия. Когда всё, до чего она может дотянуться, уничтожено, она продлевает свой кокон глубже в «подлесок».



Вскоре гусеница подрастает и покидает свою трубку. Неуклюже пробирается в какое-нибудь новое место, откуда моль сможет легко взлететь в воздух. Возможно, это будет поверхность шубки вашей бабушки (той самой, в которой бабушка приехала в Америку третьим классом) или, может, ваш любимый зимний свитер. Добравшись до места, гусеница плетет себе новый дом, наводит в нем уют, как и в прежнем, и готовится к окукливанию.

\*

Как и многие другие *Lepidoptera*, взрослая особь платяной моли не может ни есть, ни пить. За несколько недель жизни она расходует запасы энергии, накопленные в бытность гусеницей, теряя 50–75% массы тела. Самка, нагруженная яйцами (которых бывает до сотни), летает неохотно и проводит свои дни, притаившись в темноте. Фон Фриш вступает за моль и досадует на всеобщую жестокость. «Когда по комнате порхает бойкая моль, — пишет он, — бессмысленно гоняться за ней всей семьей. Это всего лишь самец. Самцов моли предостаточно — примерно вдвое больше, чем самок. Убийство еще нескольких самцов никак не повлияет на рождаемость».

\*

Маленькие непрошеные гости фон Фриша — существа экстраординарные и по-своему исключительные. Он изучает изыски их существования, изъясняет их чудачества, исследует их изобилие и, исключая истеричность, искусно превозносит их излишества. Со своей характерной исследовательской точностью он разбирает свои собственные эксперименты и делится своим опытом. В пространных и исчерпывающих отступлениях — часто переходящих в экзегезу — он находит извинения их излишества. И всё же он завершает каждую главу рекомендациями по устранению наших маленьких непрошенных гостей, то есть по их истреблению.

Комнатных мух следует травить или устраивать так, чтобы они приклеились к липкой бумаге. Платяная моль уязвима перед нафталином и

камфарой. Чешуйниц можно обуздать ДДТ (который «не причиняет вреда ни людям, ни домашним животным, если применяется в разумном объеме и согласно инструкции»). Вши подлежат массовому уничтожению путем обеззараживания синильной кислотой и ее производными («вот один полезный продукт войны»).

Комары требуют более масштабных мер: следует осушать болотистую местность, где они обитают, заливать водоемы нефтью или запускать хищных рыб в пруды, где комары откладывают яйца. Против тараканов тоже следует применять ДДТ.

«Сомнительно, чувствуют ли вообще насекомые боль так, как чувствуем ее мы», — пишет фон Фриш. И в подтверждение рассказывает одну историю. Он возвращается к своим любимым пчелам, к маленьким товарищам, которым посвятил всю свою сознательную жизнь. «Если вы возьмете острые ножницы, — начинает он, — и разрежете пчелу надвое, стараясь не потревожить ее, пока она пьет сахарную воду, она не прекратит пить воду».

Его ровный, добродушный тон не меняется. Роже Кайуа обнаружил нечто подобное — то, что соединяет смерть, удовольствие и боль в одном, вызывающем клаустрофобию, пространстве. Но Кайуа, верный другому типу науки, обнаружил, что субъективно связан со своим животным. «Я намеренно пользуюсь таким уклончивым выражением, — писал он, пытаясь объяснить особое могущество богомола, — видимо, нашему языку трудно выразить, а разуму понять, что уже мертвый богомол способен симулировать смерть» [492].

Но пчела просто продолжает пить. Кажется, она не задает вопросы, не предусмотренные экспериментом. Кажется, она утратила свою магию. Ее «удовольствие, если она вообще чувствует удовольствие, даже значительно продлевается, — замечает фон Фриш. — Она не может напиться досыта, потому что то, что она всасывает, сзади снова вытекает, и потому она может долгое время лакомиться сладкой водой, пока наконец не упадет замертво от изнеможения» [493]. Экс-животное, *ex animo*. Он продлевает, показывает и превращает ее в покойницу. Она испражняется и выпускает дух.

Но не будем забывать: точно так же, как есть формы Чудесного, которые питаются знанием, есть и знание, которое, само того не желая, лишь умножает чудесность; точно так же, как некоторые недооценивают толпы низкорожденных, есть и другие, кто слишком хорошо понимает разностороннюю силу толпы; есть те, кто держит животное в ежовых рукавицах эксперимента, но есть и те, кто, сжалившись, берет у него ношу, хотя оно скоро снова взваливает на себя свое бремя.

## У Тоска Yearnings

1

Мицунэ Кавасаки торгует живыми жуками через интернет. Мой друг Сихо Сацука нашел его сайт и, зная, что это привлечет мое внимание, прислал мне

ссылку. Спустя несколько недель я был уже в предместьях Вакаямы, неподалеку от Осаки, и вместе с моим другом Си-Джеем Сузуки сидел в гостиной Кавасаки, полной насекомых, и вел беседу об окувагата — японских жуках-оленьях, которыми он торгует.



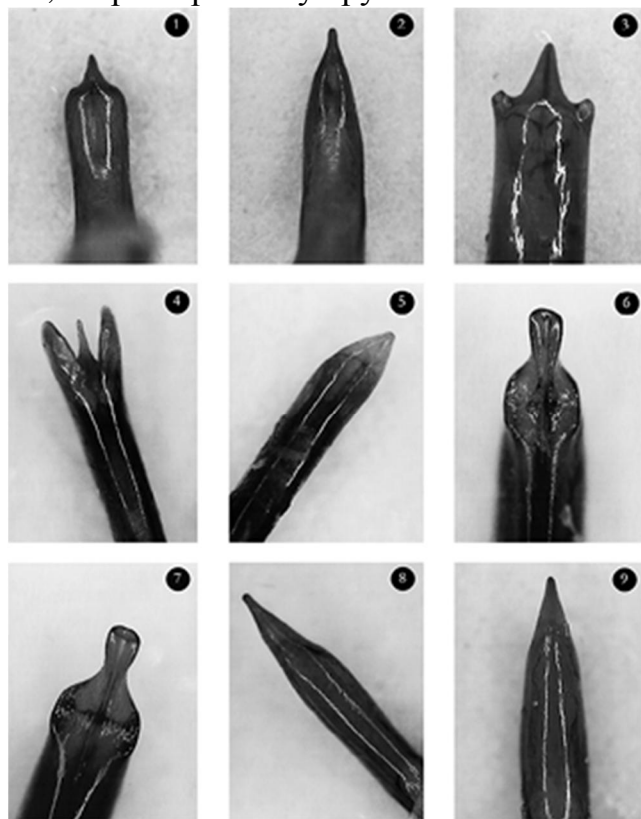
Мицую Кавасаки недавно уволился с работы (он был рентгенологом в больнице), но жуки-олени — это не ради денег, говорит он нам. Он открывает несколько банок и объясняет нам, что занимается этим чисто из любви. Свой сайт он заполняет собственными стихами. Стихи разные: глупые и прелестные, а некоторые — резко-желчные, даже сердитые. По большей части это меланхоличные элегии, где разочарованность мужчины среднего возраста противопоставляется наивной открытости юноши. («Он смотрит на небо, и синева остается в его глазах. / Глаза ребенка — точно стеклянные шары, правдиво отражающие мир. / В глазах взрослого погас огонек, / Его глаза мутны, словно затхлые пруды».)

Кавасаки говорит нам, что его миссия — в том, чтобы исцелять семью. Он хочет, чтобы мужчины раскрыли миру свое сердце и сблизились со своими сыновьями. Отцы сделались холодными людьми, их сердца ожесточились и иссохли. Они ведут жизнь, которая их омертвляет. Они совершенно не интересуются своими детьми. Не чувствуют никаких семейных уз. Кавасаки предлагает на сайте взять жуков-оленьих бесплатно напрокат. Возможно, друзья-насекомые сблизят семью. Он вспоминает, какую нежность чувствовал, когда мальчиком ловил жуков в горах вокруг Вакаямы. «Я хочу дать пищу их сердцам», — говорит он.

В интернете Мицую Кавасаки называет себя *Kuwachan* — ласковым прозвищем, которое родители могли бы дать маленькому любителю насекомых. *Kiwa* — от *kuwagata* (жук-олень), *-chan* (-тан) — распространенный уменьшительный суффикс.

Сверху на домашней странице — яркий рисунок, изображение мальчика с полным комплектом приспособлений для отлова насекомых. Это и есть Куватан, каким он себя помнит в семидесятые годы: белая панамка, туристические ботинки, фляжка с водой, на шее висит контейнер для сбора насекомых, сачок в его руке — словно флаг на ветру, древко сачка воткнуто в землю.

Куватан стоит высоко на холме, спиной к зрителю, подняв лицо к небесной синеве, широко раскинув руки — обнимая мир и все его богатые возможности.



Незадолго до этого визита мы с Си-Джеем провели один день в Хаконе — на популярном санаторном курорте в окрестностях Токио. Мы навестили Такеси Ёро — специалиста по нейроанатомии, публициста, автора бестселлеров и коллекционера насекомых. Подобно Куватану, Такеси гостеприимно принял нас в своем доме и занял беседами на самые разные темы. Такеси сильно за шестьдесят, но он с ребяческой энергией гоняется за насекомыми, расширяет свою колоссальную коллекцию в экспедициях в Бутан, охотясь на долгоносиков, а также на более экстравагантных жуков-слонов. Когда мы с Си-Джеем переступили порог его дома, он рассматривал набор темно-оранжевых пенисов — органы типичных экземпляров, одолженные в лондонском Музее естествознания; используя свои сверхсовременные микроскопы и мониторы, Такеси выделял морфологические различия между разными видами; эта картина впервые заставила меня задуматься об ограниченности человеческой анатомии в данном контексте.

Как и Куватан, Такеси с детства любит насекомых. Как и Куватан, он сказал нам, что они на него глубоко повлияли. После стольких лет собирательства у него теперь «глаза муси» — глаза жука, он смотрит на всё в природе с точки зрения насекомого. Каждое дерево — отдельный мир, каждый лист уникален.

Насекомые научили его тому, что собирательные существительные типа «насекомые», «деревья», «листья», а особенно «природа» губят в нас восприимчивость к деталям. Они склоняют нас к насилию — как к концептуальному, так и к физическому. «А, насекомое», — говорим мы, видя только категорию, а не само существо.



Вскоре после возвращения в Токио Си-Джей и я наткнулись на эту фотографию — свидетельство того, что Такеси, как и Куватан, когда-то был «маленьким любителем насекомых» — *конту-сонен*. Вот он, справа, решительно отправляется в горы Камакура; снимок сделан вскоре после окончания Второй мировой войны, во времена разрухи и голода, но всё же это были времена отроческих изысканий и свободы.

Мы побывали у Такеси в его недавно построенном доме, куда он выезжает на выходные, — причудливой постройке наподобие амбара, которую спроектировал «архитектор-сюрреалист» Терунобу Фудзимори; этот дом с узкой лужайкой, растущей на коньке крыши, ассоциируется с «Энн из „Зеленых Мезонинов“» и с мультсериалом «Джетсоны». Дом напомнил нам о тех безумных постройках, которых полно в эпических анимационных фильмах Хаяо Миядзаки («Унесенные призраками», «Ходячий замок Хоула» и т. п.), — зданиях, наполняющих замысловатую вселенную, которая существует невесть где и невесть когда, но почему-то сразу кажется знакомой.

Совпадение неслучайно. Оказалось, что Ёро и Хаяо Миядзаки — близкие друзья, и мало того, Миядзаки тоже питает страсть к насекомым с детства, когда он также был конту-соненом. Более того, Миядзаки, насколько я понял, тоже охотно сотрудничает с архитекторами-авангардистами. Вместе с художником и архитектором Сюсаку Аракавой он начертил планы утопического города с домами, довольно похожими на то здание в Хаконэ, где Ёро хранит своих насекомых. Их проект — характерный для хиппи подход к социальной инженерии, за которым во многом стоят те же страхи перед отчужденностью в обществе и та же тоска по общности, которые испытывает Куватан. В их город могут сбежать дети от того, что все эти люди считают глубокой отчужденностью японского общества с его переизбытком медийных развлечений; в этом городе дети смогут заново открыть для себя «золотое детство» с играми, экспериментами и исследованиями природы; здесь дети (и взрослые тоже) смогут научиться (заново) видеть, чувствовать и развивать свои органы чувств [494].

Кавасаки, Ёро и Миядзаки — лишь первые из множества «маленьких любителей насекомых», которые повстречались мне и Си-Джею в Японии. Казалось, на нашем пути всюду попадались конту-сонены — большие и маленькие. Одного, знаменитого, мы повстречали в Такарадзуке, где работает известная женская театральная труппа со своими звездами и своим массовым кругом верных поклонниц. Мы не смогли достать билеты на спектакль, но ничего, ведь мы приехали ради другой достопримечательности — Музея манги Осаму Тэдзуки, идеального маленького музея, посвященного жизни и творчеству общепризнанного «бога Манги» (и новатора аниме), умершего в 1989 году.

Если Миядзаки — нынешняя суперзвезда аниме, то Тэдзука был гениальным художником, который воспользовался кинематографическими техниками повествования, чтобы преобразить печатное слово, и создал головокружительно-кинетический формат комиксов, где есть место любой возможной теме и эмоции. Он тоже был страстным собирателем насекомых — настолько страстным, что нарек свою первую компанию *Mushi Productions*, включил в свою подпись очаровательную версию иероглифа «муси» (*mushi*), а свои сюжеты населил людьми-бабочками, эротичными мотыльками, роботами-жуками и беспредельно разнообразными метаморфозами и рожденьями заново. И действительно, в видеоролике музея Тэдзука запечатлен в полной амуниции маленького любителя насекомых, готового к приключениям; таков ранний прообраз Астробоя [в японском оригинале героя зовут «Могучий Атом». — *Ред.*] — супергероя-андроида, который доньше остается одним из самых коммерчески успешных творений Тэдзуки (кстати — так уж устроено это замысловатое, многоавторское творчество — сам Тэдзука вспоминал, что Астробой вдохновлен диснеевским Сверчком Джимини, другим видом человеконасекомого).



«Это была космическая станция, тайные джунгли, которые предстояло открыть исследователям», — гласит текст Тэдзуки; фоном идут мелодичные звуки клавесина и щебет птиц и сверчков. Это была «бесконечность, где воображение не знает границ». Небо — лазурного цвета мечты; мальчики — цвета сепии. Изображения плыли по экрану, а Си-Джей переводил:

«В детстве я подвергался травле и оказался в буре войны. Я не могу утверждать, будто всё было замечательно, я не хочу жить прошлым. Но теперь, оглядываясь назад, я благодарю судьбу за то, что был окружен природой. Мои



впечатления от вольных скитаний по горам и лугам, среди рек, от коллекционирования насекомых, которое меня так занимало, — это незабываемые воспоминания, это чувство ностальгии, которое стало неотъемлемой частью моего тела и моей души».

Тэдзука не желает жить прошлым, но и не отказывается от этой тоски, от светлой, доставляющей удовольствие печали, которая подпитывается невозможностью уничтожить расстояние между «тогдашним я» и «сегодняшним я». Это вакуум, который легко воспроизвести, — так же легко, как лазурное небо и двух мальчиков цвета сепии. Это вакуум, который легко заполнить — если не жуками кувагата, выписанными по почте, то однодневной вылазкой для отлова муси.

Мы с Си-Джеем загораживаем глаза от солнца, когда выходим из музея насекомых в парке Миноо — том же самом парке, где конту-сонен Тэдзука впервые отправился ловить насекомых со своими друзьями цвета сепии. Здесь, со всех сторон, под самым синим на свете небом, находятся живые семьи — они здесь и сейчас, отцы и сыновья (а иногда — матери и девочки, хотя они редко фигурируют в воспоминаниях или ностальгической тоске конту-соненов). Вот они на ярком солнцепеке, конту-сонены в полной амуниции, рассредоточились вдоль мелкой речки, ищут насекомых: водомерок, гребляков, а заодно крабов, серьезные, но довольные, балансируют на камнях, мочат ступни в прохладной воде, плещутся, опустошают сачки, показывают взрослым то, что нашли (а нашли они немного, лето только начинается).



Дети собирают образцы для своих летних школьных проектов, а отцы готовы прийти им на помощь; отцы тоже в шортах и панамках, тоже с сачками и

ведерками за две тысячи йен (двадцать долларов США). В цену включен сеанс в лаборатории, где всё, что они нашли, они могут наколоть на булавку, идентифицировать по полноцветному *дзукану* и превратить в образец. Это солнечный день для *кадзоку сервис* (обслуживания семей). День для осуществления того, что обещают стихи Куватана, день, когда мальчики изловят в свои сачки воспоминания, остающиеся на всю жизнь, а мужчины снова научатся, каково быть отцами, когда заново почувствуют, каково быть сыновьями.



Кстати, об отцах и сыновьях: вот еще один маленький любитель насекомых. Он стоит, держа надувного жука-носорога, которого отец только что купил ему на летнем празднике. Они возвращаются домой, стоят поздно вечером у станции метро «Минова» на северо-востоке Токио: мальчик и его отец в свете фонарей, они остановились поболтать с незнакомцем и сфотографироваться.

Никакой мистики — просто на длинной выдержке фотоаппарат дрожит. Но кажется, будто мальчик присутствует едва-едва. Этот маленький мальчик с гигантским кабутомуси. Он тает в свете фонарей, уже недостижимый, уже объект желания, тоски и сожалений.

## 2

Мы с Си-Джеем приехали в Японию, чтобы узнать побольше о двадцатилетней моде на разведение, выращивание и содержание жуков-оленей и жуков-носорогов. Мы готовились к поездке, как обычно: тратили слишком много времени на гугление японских сайтов про насекомых (таких сайтов много), а также разговаривали с друзьями и читали рекомендованные ими книги и статьи. Когда мы встретились в Токио, нам уже было известно, что эти большие блестящие жуки, столь похожие на громоздких японских игрушечных роботов, которые захлестнули США в середине восьмидесятых, вызывают не только колоссальный интерес, но и огромную тревогу в других кругах — среди

экологов и защитников окружающей среды, а также в сообществе почтенных японских коллекционеров насекомых.

Но мы не осознавали, до какой степени этот бум жуков — часть гораздо более масштабного феномена. Эти конту-сонены были симптомом целого явления. На протяжении трех недель, пока мы ездили по Токио и по региону Кансай в окрестностях Осаки, мы оба изумленно взирали на изобилие и многообразие жизни любителей насекомых. Си-Джей, вернувшийся в Токио после четырех лет жизни в Калифорнии (мой друг по исследованиям, переводчик и готовый на любые авантюры спутник в путешествиях), сознался: хотя он, наверно, прожил почти всю жизнь в окружении этого мира насекомых, по-настоящему он его никогда не видел.

Насекомые были на каждом шагу! То была «культура насекомых», которой я даже не воображал. Насекомые внедрились в широчайший сегмент повседневности. Мы с Си-Джеем разглядывали «суперглянцевые» журналы для любителей с гламурными разворотами о жуках, пародийными колонками советов и колоритными репортажами об экспедициях в экзотические места.

Мы изучали выставки карманного формата и читали ксерокопированные бюллетени пригородных клубов любителей насекомых. Посетили магазинчики для отаку (представителей технологической субкультуры гиков) в «Электрическом городе Акихабара» в Токио и обнаружили, что там продаются, рядом с фигурками-фетишами мейдо (горничных; от английского *maid*) и Лолит, дорогие пластиковые жуки. В вагонах метро мы проныривали под низко висящей рекламой *MushiKing* — феноменально популярной видеоигры с коллекционными карточками, которую выпустила компания SEGA, а в универмагах в центре города наблюдали, как за консолями дети с целеустремленной серьезностью бьются в *MushiKing* между собой. В минимаркетах мы покупали прохладительные напитки, чтобы заполучить прилагающиеся к ним бесплатные коллекционные фигурки из серии «Фабр». Ознакомились с некоторыми из десятков инсектариумов в разных уголках страны и дивились великолепию «домов бабочек» из стекла и стали (это памятники экономическому буму девяностых, который сдулся, как пузырь, но заодно — подтверждение того, что увлечение насекомыми популярно). Сидя в прокуренных кофейнях и в скоростных поездах с кондиционерами, мы читали сериалы о насекомых в антологиях манги, выходящих массовым тиражом два раза в месяц («Энтомологический уголовный инспектор Фабр», «Профессор Осамуси»), — наследии не только заикленности Тэдзуки на насекомых, но и творчества другого пионера манги — Лэйдзи Мацумото, который прославился гипердетальными рисунками техники будущего (мегаполисов, звездолетов, роботов — насекомых, воплощенных в металле). Мы посмотрели на YouTube детский мультфильм «Кувагата Цумами» о суперпрелестной девочке, плоде межвидового скрещивания: папа у нее кувагата, а мама — человек (как это оказалось возможно, лучше не уточнять!).

Мы побывали в старейшем в Японии энтомологическом магазине *Shiga Konchu Fukuyū-sha* в Сибуе, Токио, торгующем профессиональным оборудованием, которое тут же и конструируется (складными сачками, деревянными ящиками ручной работы для образцов); по качеству оно не

уступает оборудованию из любой страны мира. Мы читали об имеющих официальный статус городах светляков — *хотару* (но не смогли в них побывать): их жители стремятся воспользоваться харизматичностью биолюминесценции, развивать туризм и привлечь ассигнования на сохранение окружающей среды, поскольку приречные ареалы хиреют и популяции светляков сокращаются. (А если мы забывали об обаянии светляков, каждый вечер нам напоминали о нем звуки *Hotaru no hikari* — «Свет светляков», песни, которую включают в час закрытия в магазинах и музеях, песни о нищем китайском ученом IV века, который читал при свете мешка со светляками, песни, которую, похоже, знает каждый японец, положенной на мелодию («Дружба прежних дней»), которую знает любой британец.)

Разумеется, мы старались при любой возможности разговаривать с людьми в многочисленных «районных» зоомагазинах для любителей насекомых, переполненных до потолка живыми кувагата и кабутумуси в плексигласовых коробках и многочисленными товарами для ухода за ними (сухим кормом, пищевыми добавками, матрасами, лекарствами и т. п.), часто в прелестной кавайной упаковке, на которой изображаются забавные маленькие насекомые с большими, эмоциональными глазами в забавных позах. Мы также видели в универмагах гораздо более удручающие ящики, где чересчур тесно и чересчур нервно сидят большие жуки и тощие колокольные сверчки — *судзумуси*, распродаваемые по дешевке. Однажды поздно вечером мы наткнулись на выставку живых жуков в стеклянной витрине в зале пригородного железнодорожного вокзала: зрелище сюрреалистическое из-за вечерней тишины, настойчивого царпанья жуков и осознания того, что они, мы да бьющиеся о стекло ночными бабочки — единственные живые существа в округе... Может быть, нам освободить жуков? Мы хотели съездить на праздник Мусиокури — посмотреть, как изгнание насекомых с рисовых плантаций (в начале XX века запрещенное правительством Мейдзи как антинаучное суеверие) возрождается в качестве сельской традиции во всё более урбанизирующейся, всё более рефлексиирующей стране, но ближайшее из этих мероприятий по расстоянию (в городе Ивами близ Японского моря в префектуре Симанэ) было для нас далековато, поскольку мы и так многое втиснули в свою программу; итак, Мусиокури стал еще одной строчкой в списке того, что мы намечали сделать, да не сделали.

Узнав о наших интересах, все охотно толковали нам о любви японцев к насекомым. Оглянитесь по сторонам! Где еще так ценят светляков, стрекоз, сверчков и жуков? Знаете ли вы, что старинное название Японии — Акицу-сима — означает Остров Стрекозы? Слышали ли вы песню *Aka Tombo* («Красная стрекоза»)? Знаете ли вы, что в период Эдо, во времена сегуната Токугавы, люди посещали некоторые особенные места (например, Очаномидзу в центре Токио), просто чтобы наслаждаться песнями сверчков или светом светляков? Вы читали классическую литературу? В «Манъёсю» — антологии японской поэзии, составленной в VIII веке, — есть семь стихотворений о певчих насекомых. В великой классике периода Хэйан — «Записках у изголовья» Сэй-Сёнагон и «Повести о Гэндзи» Сикибу Мурасаки — упоминаются бабочки, светляки, поденки и сверчки. Сверчки — символ осени. Их песни неотделимы

от меланхолического сознания бренности жизни. Цикады — голос лета. Знаете, что такое хайку? Басё писал: «Тишина кругом. Проникают в сердце скал голоса цикад» [пер. Веры Марковой. — *Ред.*] [495]. А новеллу «Любительница гусениц» вы знаете? Она была первым в мире энтомологом. Энтомологом XII века! Это она вдохновила образ знаменитой принцессы Навсикаи у Миядзаки. А знаете красивую новеллу Ясунари Кавабаты о кузнечике и колокольном сверчке? Это просто обрывок воспоминаний, где всё держится на двух крохотных насекомых. Читали ли вы то, что писал о японских насекомых Якумо Коидзуми? Возможно, вы лучше знаете его под именем Лефкадио Хёрн? Он был сыном англичанина, но работал журналистом в Америке. Он получил японское гражданство и в 1904 году умер здесь. В своем знаменитом эссе о цикадах он писал: «Мудрость Востока слышит всё. И тот, кто ее обретет, услышит речь насекомых» [496]. (А спустя несколько дней за кофе в центре Токио Дайдзабуро Окумото, профессор литературы и коллекционер насекомых, старающийся продвинуть в Японии труды Фабра, перефразировал свою собственную книгу и сказал довольно кисло (хотя, пожалуй, в чем-то резонно), имея в виду Хёрна, который откровенно был японофилом и ориенталистом: «Никто не может найти в других то, чего не достаёт в нем самом».) Умоляю, посетите Нару! Вы должны посмотреть святилище Тамамуси-но-дзуси в древнем храме Хорю-дзи. Оно было выстроено в VI веке и украшено девятью тысячами надкрыльев жуков-златок!

Эти последние советы дал Тецуя Сугиура, эрудированный и энергичный экскурсовод, который работает волонтером в инсектариуме Касихара, расположенном недалеко от Нары и ее многочисленных древних храмов. Сугиура поведал нам: когда он был помоложе, он ловил бабочек в Непале и Бразилии. Недавно он подарил свою коллекцию инсектариуму, в котором работает; там он может видеть их, когда пожелает, пояснил он.

Он сказал, что предпочел бы подарить их более крупному учреждению, где больше посетителей, например одному из токийских зоопарков (Уэно, а еще лучше зоопарку Тама, где находится огромный инсектариум в форме бабочки), но, к сожалению, эти зоопарки не в силах принимать пожертвования. Оказалось, что Сугиура сам предложил мэру Касихары открыть музей насекомых и дом бабочек, когда первоначальная идея с аквариумом оказалась слишком дорогостоящей. Он любезно потратил полдня на то, чтобы показать нам обширную коллекцию музея, а позднее прислал мне в Нью-Йорк посылку с подборкой сочинений Хёрна о насекомых и статьями о многочисленных занятых древних артефактах, в том числе о замысловатой коробке для насекомых и вещицах, изготовленных из шеллака (выделений червецов), которые в 756 году нашей эры были помещены в императорскую сокровищницу Сёсоин в храме Тодай-дзи в Наре и сохранились в неприкосновенности по сей день.



В последнем зале музея, после своей всеобъемлющей экскурсии, Сугиура-сан остановился у витрины о блюдах из насекомых в Таиланде и рассказал нам, что посетители-японцы, особенно школьники, смотрят на эти экспонаты с отвращением и громко ужасаются примитивным обычаям тайцев. Я очень хорошо помню, продолжил он всё с тем же выражением лица, как в послевоенные годы я ходил с одноклассниками в горы собирать саранчу, мы приносили ее в школу и варили вместе с соей [соевым соусом]. В те времена мы также ели вареных личинок тутового шелкопряда, сказал он, и бросили это делать, только когда в шестидесятых шелковая промышленность пришла в упадок и запасы личинок иссякли. Это была пища тяжелых времен, но вкусная. Это была часть нашей кухни, но теперь вы об этом никогда бы не догадались. Это была народная культура, сказал он, культура, которая редко описывается историками и неизбежно забывается.

### 3

Мода на жуков кувагата и кабутомуси вселяла в Сугиуру определенные сомнения. Он радовался, что в инсектариум Касигара приходит столько детей и целых семейств, он знал, что их энтузиазм разожжен модой на домашних жуков и бешеным успехом *MushiKing*, ему не хотелось охлаждать их пыл. Но, как и большинство коллекционеров и сотрудников инсектариумов, с которыми мы встречались, он волновался. Да, согласился он, фурор вокруг жуков-олений и жуков-носорогов отражает (и подогревает) общенациональное увлечение насекомыми. Но он порождает и отдельные проблемы.



Неподалеку в инсектариуме города Итами (префектура Хёго) мы с Си-Джеем случайно попали на «Карнавал насекомых». На втором этаже природоведческой библиотеки целая толпа веселых детей и взрослых складывала весьма сложные фигурки насекомых в технике оригами. Мы остановились у столика «Подружись с тараканом», чтобы научиться, как обращаться с крупными живыми насекомыми (ласково погладить спинку, бережно взять большим и указательным пальцем и положить на ладонь). Все стены были увешаны экспонатами, которые подготовили местные клубы любителей насекомых: тут были развороты из их бюллетеней; иллюстрированные отчеты о решаемых и часто успешно преодоленных трудностях экологического порядка; фотографии из экспедиций, на которых были запечатлены улыбающиеся члены клубов (люди самых разных возрастов, но объединенные энтузиазмом).

На нижнем этаже сотрудники выделили почетное место жукам кувагата и кабутумуси. Но не ограничились этим, а дали волю своему психоделическому воображению. Си-Джей зачитывал названия экспозиций: «Чудесные насекомые планеты», «Необычные насекомые планеты», «Красивые насекомые планеты», «Насекомые-ниндзя планеты». А в другом углу — «Удивительные насекомые области Кансай». «Красивые насекомые» были выстроены в замысловатую мандалу; «насекомые-ниндзя» (виртуозы камуфляжа) замаскировались в буквальном смысле — под маску маори; в одной из витрин два крохотных слепняка были наряжены в бумажные кимоно; в другой стая великолепных голубых бабочек морфо парила между двумя стеклами, подсвеченная точечными светильниками, чтобы подчеркнуть переливчатость крыльев. Трудно не полюбить это мероприятие и библиотеку, согласились мы оба. Смесь научного центра с художественным музеем и парком развлечений. Место, где можно воспеть наше внутреннее насекомое.

Незадолго до того, как зазвучала *Hotaru no hikari*, возвещая о закрытии, мы повстречали в коридоре экскурсовода и куратора. Они говорили на том же языке, что и Сугиура, разрывались между теми же самыми противоречиями. Их настораживало, что делается акцент на впечатляющих импортных насекомых. Но они чувствовали необходимость продвигать эти крупные иностранные виды,

даже если полагали, что их реклама ставит японских жуков в опасное положение.

Тут требуется изложить предысторию. Самый подходящий рассказчик — Кадзухико Иидзима, работающий в *Mushi-sha*, крупнейшем и известнейшем из многочисленных токийских магазинов насекомых. По большей части эти магазины занимаются торговлей домашними питомцами, в них полно жуков и принадлежностей для их содержания. По большей части эти магазины обслуживают мальчиков младшего школьного возраста, их добрых (или, возможно, многострадальных) матерей, а также небольшое число мужчин среднего возраста, которые покупают более дорогостоящих насекомых. В основном эти магазины появились не раньше 1999 года, когда по-настоящему развернулся текущий бум жуков.

Но *Mushi-sha*, пояснил Иидзима, не вполне соответствует этому портрету. Этот магазин охватывает два мира насекомых, объединяя маленьких фанатов *MushiKing* и коллекционеров-исследователей типа Сугиуры Тецуи и Такеси Ёро. Магазин открылся в 1971-м, с тех пор он бесперебойно издавал авторитетный энтомологический журнал *Gekkan Mushi* [«Ежемесячник насекомых»] и торговал образцами насекомых, коробками и принадлежностями для отлова и коллекционирования. В начальный период его клиентами были основательные дилетанты и профессиональные энтомологи — молодые и старые конту-сонены, которые создавали коллекции преимущественно путем собственноручного отлова насекомых.

В восьмидесятые годы *Mushi-sha* начал торговать живыми насекомыми. В те времена, сказал нам Иидзима, были востребованы окувагата — крупные японские жуки-олени, которых разводит Куватан. Вблизи городов их стало трудно найти, но в то время их можно было легко отыскать в сельской местности, и сельские дети частенько держали их дома. Некоторые жуки-олени обитали в горах, преимущественно в префектурах Осака, Сага и Яманаси. Но по большей части они устраивались неподалеку от деревень в сатоямах — в рощах, за которыми люди ухаживали, поскольку эти лесочки были для них источником грибов и съедобных растений, древесины, компоста и древесного угля, а также других полезных вещей [497]. Со временем деревья, из которых люди делали уголь, — прогоревшие, заросшие подлеском — становились похожи на черные наросты, а кувагата жили в дуплах этих деревьев. Кувагата чувствовали себя на сатоямах как у себя дома, рассказал нам Иидзима, потому что им нравится находиться рядом с людьми.

Иидзима объяснил, что бум кувагата и кабутомуси в восьмидесятые годы стимулировался ростом предложения насекомых в крупных городах в момент, когда располагаемый доход населения был высоким, — то есть во времена, когда экономический пузырь еще не лопнул. Сельчане, почуяв, что в городах возник спрос на жуков, и разработав более эффективные методы отлова, стали привозить жуков на продажу в Токио, поставлять их универсам и зоомагазинам. Некоторые горожане-энтузиасты, наоборот, перешли на следующую стадию своего хобби и отправились за город, чтобы самолично ловить жуков (заодно они заложили основы неофициальной сети сельских гостиниц, которые теперь рекламируют себя как базы охотников за жуками).



Кое-кто заинтересовался разведением жуков. В продаже имелись как личинки, так и взрослые особи, и любители начали тратить время на разработку методов выращивания более крупных экземпляров. Этот переход к разведению стал крупной инновацией, отметил Иидзима. Хотя в то время еще никому не удавалось выращивать таких крупных жуков, как те, которых можно найти в саямах или в горах, многие люди решили попробовать. Вполне логично, что именно в годы роста (экономического роста и роста увлеченности жуками) открылось большинство японских инсектариумов.

Бум в сфере недвижимости, который охватил Японию в те годы, преобразил сельскую местность. Спрос на древесный уголь снизился, дома стали строить уже не из дерева, а из кирпича, и люди перестали усердно ухаживать за лесами; в то время как города и поселки расширялись, саямы съезжались. К началу девяностых даже местным жителям стало очень нелегко находить крупных жуков-олений в дикой природе. А городским гостям, за редкими исключениями, — гораздо труднее. Цены на диких насекомых подскочили. Однако к тому времени по всей стране сложилась цветущая субкультура заводчиков жуков, подобных Куватану, — опытных любителей, которые сумели изучить жизненные циклы и привычки популярных видов, разработать и распространить изощренные, но легко копируемые методы выращивания крупных насекомых из яиц [498].

История была запутанная, но Кадзухико Иидзима оказался терпеливым рассказчиком. Как и все, с кем мы познакомились в *Mushi-sha*, он был молод и приветлив, хорошо осведомлен обо всех аспектах своего бизнеса и серьезно относился к насекомым. Мы стояли в подсобном помещении магазина у большого шкафа с табличками, наполненного высококачественными образцами со всего света, рядом с высокими штабелями *Gekkan Mushi*, *Be-Kuwa!* и *Kuwagata Magazine* и других дорогостоящих глянцевого специализированных изданий. Со всех сторон были стеллажи с плексигласовыми контейнерами, в которых находились кувагата и кабутомуси разной величины, обоих полов, дорогие и дешевые. Иидзима достал из-за прилавка большой ящик, высланный пеноматериалом. Внутри, огромная, мягкотелая и беззащитная, неподвижно лежащая на спине, находилась куколка жука, претерпевшая метаморфоз. Это был самец *Dynastes hercules* — самого крупного вида жука-носорога. Зафиксировано, что эти жуки-носороги могут достичь величины 178 миллиметров (семи дюймов с лишним). Такая куколка стоит тысячу с большим гаком долларов.



Собралась небольшая кучка покупателей — полюбоваться, повосхищаться.

В девяностые годы, продолжил Иидзима, убрав ящик на место, были три типа любителей. Первые отправлялись в горы ловить жуков: они были верны

традициям старых коллекционеров, но, конечно, им стало намного труднее отыскать насекомых. Вторые — обычно это были школьники — покупали недорогих живых жуков и держали их в качестве домашних питомцев. Третьи покупали личинок или пары взрослых жуков и выращивали их в качестве хобби или на продажу, частенько пытаясь вырастить рекордно крупный экземпляр данного вида. Собственно, сказал он, к тому времени стало намного проще разводить кувагата и кабутомуси, чем их ловить.

Несмотря на сокращение числа жуков в дикой природе, несмотря на разрушение их среды обитания (а также благодаря обоим этим факторам), содержание жуков в домашних условиях и их разведение переживали бум. *Mushi-sha* оказался в центре бурно развивавшейся культуры предпринимательства, которая обслуживала как новое поколение любителей насекомых, так и стареющие, но обретшие второе дыхание сообщества опытных любителей и специалистов. Когда спустя несколько дней Си-Джей и я встретились с Дайдзабуро Окумото, он охотно взял на себя труд объяснить, почему в Японии сложилась такая любовь к насекомым. Профессор Окумото привел аргументы, которые мы уже слышали от других любителей насекомых, — аргументы, рисующие уникальное, бережное отношение японцев к природе, опирающиеся на нихондзинрон — стойкую идеологию японской исключительности, которая, как и многие другие примеры национализма, основана на вере в единообразное население-нацию, наделенное уникальной трансисторической сущностью [499].

Бум жуков, сказал Окумото, — это всего лишь один из элементов особой национальной близости к природе. Он говорил о повышенном видовом эндемизме островной экосистемы Японии, о том, как это необычное разнообразие животных и растений и в особенности насекомых воспитывает чрезвычайную восприимчивость среди человеческой популяции страны. Он говорил о землетрясениях и тайфунах, о том, как эти чересчур привычные события порождают интуитивную осведомленность об окружающей среде. Он говорил о роли анимизма, синтоизма и буддизма в формировании глубокой «экологической» этики, которая до сих пор пронизывает повседневную жизнь японцев, хотя религиозные обряды в целом совершаются реже. Он говорил о спорных исследованиях аудиолога Таданобу Цуноды в семидесятые годы XX века, которые наводили на вывод, что мозг японцев особо настроен на восприятие звуков природы, в том числе песен сверчков [500]. Он говорил об экстраординарном выражении привязанности высокой культуры к насекомым, которое можно наблюдать в литературе и живописи. И, попросив у меня блокнот, нарисовал диаграмму — схематическое изображение идеальной японской жизни, которое Си-Джей позднее снабдил для меня аннотациями:

«Это была идеальная жизнь идеального мужчины, находящаяся вне времени, классическая, идеальная жизнь ученого или аристократа».



Профессор Окумото предложил нам это как схему прочной национальной традиции, изящно-простое резюме сложной идеологии. Он нарисовал три возраста человека в виде дуги от детства до старости, от беспечных друзей, гонящихся за стрекозами и золотыми рыбками, до медитативного уединения на закате жизни; он сообщил, что на каждом этапе есть предметы и виды деятельности, уместные для правильной формы саморазвития (от кабутомуси и светляков к ка-чо-фу-гецу — цветок/птица/ветер/луна, созерцанию тонких нюансов природы, а затем к выращиванию хризантем); он объяснил, что эти простые практики могут (даже в столь элементарной версии) создать осмысленную японскую жизнь.

Пока профессор говорил, мне и Си-Джею пришло в голову, что эти формы игры, культуры и созерцания — то самое стремление, нечто, сулящее удовлетворенность и самореализацию, связывающее воедино многих любителей насекомых, с которыми мы повстречались. Его схема напомнила нам о тоске по чистоте эмоций, которая сквозит за стихами Куватана о насекомых. Это обрамление для историй о любви к насекомым как одной из стадий воспитания при формировании человека в целом.

Это антитеза урбанизированной, забюрократизированной современной жизни, недоступная большинству людей даже в детстве, так что в качестве модели образа жизни она играет преимущественно роль критики. Это часть созвездия тех утопических историй о насекомых, к которым относятся хиповский город Миядзаки, тайные джунгли Тэдзуки, стихи Куватана и полные надежд уик-энды кадзоку-сервис. И, как и всё это, оно отчасти объясняет ту эмоциональную нагрузку, которую взваливают на себя японские насекомые по просьбе человека, некоторые из желаний, которые, похоже, охотно выполняются насекомыми.

До 1999 года большинство японских любителей насекомых знало иностранных жуков-олений и жуков-носорогов только по журналам, телепередачам и музейным экспозициям. Эти насекомые часто были крупнее и внушительнее, чем местные виды; у некоторых рога были длиннее, туловище — крупнее, окраска — эффектнее. Но закон о защите растений от 1950 года запрещал частным коллекционерам доставлять этих жуков в Японию. Правда, за содержание или продажу таких запретных животных, если уж они попадали в страну, никакого наказания не полагалось, и эта аномалия позволяла существовать бурному черному рынку, астрономическим ценам и прибыльной индустрии контрабанды, которую, по слухам, контролировали якудза. И всё же это касалось относительно небольшого числа насекомых и избранного круга коллекционеров — людей состоятельных.

В законе о защите растений накапливаются списки животных, считающихся «вредными» для аборигенных растений и сельского хозяйства. Однако в нем предусмотрен необычный превентивный протокол: все виды считаются вредными, пока некая Станция защиты растений не санкционирует их ввоз. В 1999 году под давлением коллекционеров, которым не терпелось узнать, какие жуки разрешены, министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства опубликовало на своем сайте список из четырехсот восьмидесяти пяти жуков-олений и пятидесяти трех жуков-носорогов, сочтенных «безвредными» [501]. В последующие два года в Японию было ввезено девятьсот тысяч живых кувагата и кабутомуси [502]. И всё равно в последующие годы министерство вносило в список еще больше видов, так что к 2003 году санкцию на ввоз получили пятьсот пять видов жуков из тех примерно тысячи двухсот, которые описаны во всем мире. Как саркастически заметили энтомологи Коуичи Гока, Хироси Кодзима и Кимико Окабе, «ареал, где существует самое большое биоразнообразие жуков-олений, — это японский зоомагазин» [503]. В 2004 году, по их подсчетам, общая стоимость импорта составила десять миллиардов йен (около ста миллионов долларов США). Крупные особи ходовых видов продавались в Токио не меньше чем за три тысячи триста долларов США [504].

Этот масштабный прирост импорта живых насекомых оказался полной неожиданностью. Кадзухико Иидзима сказал нам, что министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства проигнорировало предостережения министерства окружающей среды, но всё же правительство даже не догадывалось, чему оно дает карт-бланш. Однако, добавил он, были громкие прецеденты, которые должны были вызвать настороженность: такие представители фауны, как черный морской окунь, енот, малый мангуст и европейский шмель *Bombus terrestris*, в Японии имеют дурную славу, потому что слишком успешно адаптировались к своей новой среде обитания. Но когда дело дошло до жуков, власти и ученые не сомневались, что иностранные кувагата и кабутомуси, по большей части выходцы из субтропиков и тропиков Юго-Восточной Азии, Центральной Америки и Южной Америки, не смогут пережить суровую японскую зиму. И лишь позднее до них дошло, что

изначальные ареалы многих из этих насекомых находятся высоко над уровнем моря, где не так уж тепло [505].



Импорт быстро пошел на убыль. К 2001 году количество жуков, ввозимых в Японию, значительно уменьшилось по сравнению с пиковыми объемами, а когда предложение увеличилось, цены на всех жуков, кроме самых редкостных (и самых крупных), тоже снизились [506]. Но даже когда объемы снизились, стало очевидно, что бум кардинально вырвался за пределы хобби. Открылись новые магазины насекомых, а традиционные зоомагазины изменили свой ассортимент. В крупных универмагах появились в продаже импортные виды. Одно время жуков можно было купить в торговых автоматах. На рынок выводились самые разнообразные товары, которые упрощали и делали более занимательным выращивание и содержание насекомых (корм в виде желе, разделенный на отдельные порции, «банки с грибами» — питательный субстрат из ареала, порошковые дезодоранты, прелестные переноски). Наиболее существенно то, что неизвестное, но, судя по рассказам, колоссальное число людей увлеклось выращиванием жуков. С 1997 по 2001 год было основано семь гляцевых специализированных журналов, которые публиковали советы заводчикам и истории о неустрашимых коллекционерах, проводили конкурсы, формировали чутье к эстетике жуков и подпитывали новорожденные сообщества любителей [507].

Пытаясь объяснить растущую привлекательность насекомых как домашних питомцев, автор раздела о насекомых в «Руководстве по маркетингу» за 2004 год, которое издает Японская организация внешней торговли, отметил, что для ухода за жуками «не требуется много времени и сил. Нет необходимости кормить их в какой-то конкретной точке, а их загоны занимают очень мало места на письменном столе. Они не шумят, их не нужно выводить на прогулку» [508]. Казалось бы, бесспорное, пусть даже и поверхностное, объяснение, но вытекавший из него вывод, что рост спроса во многом обеспечивают горожанки двадцати-тридцати лет, которых интересуют недорогие в содержании животные-компаньоны, вызывал больше сомнений. Несмотря на видимую демократизацию этого хобби, несмотря на охотное участие некоторых школьниц в летних проектах на тему насекомых, несмотря на успех таких героинь — образцов для подражания, как Навсикая из фильма Миядзаки, несмотря на то что фирма Sega проводила мероприятия «только для девочек» на тему *MushiKing*, Кадзухико Иидзима (вторя и другим людям, с которыми

побеседовали мы с Си-Джеем) подсчитал: даже если среди любителей насекомых становится больше девочек и женщин, всё равно соотношение клиенток женского пола и клиентов мужского пола (если учитывать только покупателей-любителей) в *Mushi-sha* один к ста, и со временем это соотношение изменилось мало. По словам Иидзимы, бо́льшая часть женщин, которые заходят в магазин, — это матери, сопровождающие сыновей. Девочки и женщины, которым нравятся насекомые, попадались так редко, что журнал *Be-Kuwa!* посвятил им сатирическую заметку, якобы написанную молодой горожанкой, похожей на героинь «Секса в большом городе», немножко доминатриссой, помешанной на жуках (в заметке постоянно вышучивалась несообразность между гламурным имиджем госпожи Соко и ее страстью к насекомым).

Как бы то ни было, общее количество любителей резко увеличивалось. Профессиональные специалисты по насекомым поймали себя на том, что скучают по спокойным старым временам. Жесткое ценообразование, навязанное якудзой, больше не удручало. Ходило много историй о том, как семейства, которые уставали от заботы о домашних питомцах или жалели животное, запертое в пластмассовой коробке, ехали за город и отпускали своих кувагата на волю в лесу.

Поступали сообщения, что в сельской местности обнаруживались крупные партии импортных жуков — излишки, брошенные заводчиками и владельцами магазинов, которые, в свою очередь, пали жертвами слишком быстрой экспансии. («Уцелели только люди типа меня, которые занимались этим из любви, а не ради денег», — сказал нам Куватан.) Еще более постыдно, что несколько громких уголовных дел, по которым были арестованы японские граждане, попавшиеся на контрабанде значительного числа запрещенных жуков с Тайваня, из Австралии и нескольких стран Юго-Восточной Азии, вскрыли: после либерализации стимулов и возможностей для нелегальной торговли только прибавилось. Тем временем инспекции японских магазинов насекомых выявили: в ассортименте имелось большое количество жуков, которые входят в несколько запретных категорий: во-первых, в странах их происхождения запрещено их ловить, содержать и коллекционировать, во-вторых, в Японии они не разрешены законом о защите растений; попадались также некоторые жуки из списка CITES (Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения) [509].

Защитники окружающей среды были обеспокоены влиянием растущего японского рынка на экологическую ситуацию в странах — экспортерах жуков. Но они также обнаружили три повода для беспокойства, касавшиеся самой Японии [510]. Взрослые жуки-олени и жуки-носороги — вегетарианцы, питающиеся соком деревьев и другой растительности. Личинки и имаго играют важную роль на начальных стадиях разложения в лесу: они, так сказать, механическим образом разделяют гнилую древесину и создают условия для того, чтобы микроорганизмы сделали свое дело. Однако это почти всё, что известно об их экологии. Очевидно, могучие новоявленные обитатели, которым нравились сходные экологические ниши, могут победить местные виды в

соперничестве за пищу и ареал, создавая угрозу как для японских жуков, так и для их источников пищи.

Гока и его коллеги также опасались, что иностранные жуки принесут неизвестных клещей-паразитов, которые выкосят популяции местных жуков (точно так же клещ варроа, экспортированный из Японии вместе с коммерческими ульями, выкосил европейских медоносных пчел). Также они опасались, что межвидовое скрещивание повлечет за собой сужение генетического разнообразия. Они вывели в лаборатории «жука-оленья Франкенштейна» — успешно свели самку *Dorcus titanus* с Суматры (популярного домашнего питомца) с самцом, принадлежавшим к одному из двенадцати японских эндемических подвидов. Сцена секса была довольно некрасивой: индонезийская самка «с неистовой жестокостью», как выразились ученые, принудила робкого японского самца к совокуплению. Но из личинок выросли крупные, способные к размножению гибриды, похожие на других полуяпонских жуков, которых ученые позднее отловили в дикой природе; так страшный призрак генетической интрогрессии стал реальным [511].

В 2003 году, когда уже казалось, что помешательство на жуках постепенно стихает, Sega выпустила игру *MushiKing*. Она предназначалась для учеников начальной школы. Игра была увлекательная, затягивающая и до изящества простая, она эффективно соединила несколько увлечений своей аудитории: одержимость большими жуками, страсть к коллекционированию, интерес к состязательным играм и продвинутую графику.



Очень скоро *MushiKing* стала самой раскупаемой игровой франшизой в Японии после *Pokémon* (и бойко расходилась в Южной Корее, на Тайване, в Малайзии, Гонконге, Сингапуре и на Филиппинах).



**Сверху:**

Давным-давно существовал густой зеленый лес. В лесу в мире и спокойствии жило множество жуков.

**Снизу:**

Однако в этом мирном лесу начались ужасные события. Жуки, привезенные людьми из далеких стран, сбежали из своих клеток и пришли в лес.

Sega провела непреклонно-эффективную рекламную кампанию. Устроила десятки тысяч турниров и демонстрационных матчей. Установила в универмагах целые ряды консолей. Наводнила страну рекламой. В 2005 году объявила о выходе версий *MushiKing* для Nintendo DS, Game Boy и других портативных устройств. В том же году на *Tokyo TV* начался показ анимационного сериала по мотивам игры. В 2006-м вышел долгожданный кинофильм-блокбастер.



Несомненно, *MushiKing* подстегнула коммерциализацию жуков-оленей и жуков-носорогов. Несомненно, она также упрочила парадоксы. Когда мы упомянули о ней в беседе с куратором и экскурсоводом в коридоре инсектария в Итами, они безропотно заулыбались, как и другие наши собеседники при похожих беседах. Это было летом 2005 года, на пике моды, и, очевидно, игра побудила многих любителей насекомых разобраться в их амбивалентном отношении к формам, в которые вылился «бум жуков». Да, они стремились вдохновить аудиторию, да, они радовались, видя, с каким предвкушением дети входят в музеи и магазины, но им было не по нраву, что игра подчеркивает воинственность жуков, их беспокоило, что идентичность насекомых будет сведена к их механическим аспектам, они опасались, что дети будут воспринимать жуков как прочные игрушки, а не как живых существ.

Но Sega предвидела эту настороженность. Словно бы в насмешку сразу над опасениями и надеждами, компания выбрала для *MushiKing* обоснование, которое усугубило иронию. Эта игра была не просто всплеском бума, а экологической притчей, и ее сюжет совпадал с той же классической историей, которую пытались поведать сами любители насекомых.

*MushiKing* — история о том, как армия захватчиков (беглые импортные жуки) уничтожает аборигенную фауну Японии. Игра мобилизовала японских детей на борьбу за спасение вымирающих видов родной страны. Это был апокалиптический сюжет в традициях фильмов и телесериалов о монстрах, которые в середине шестидесятых впервые принесли популярность кувагата и кабутомуси. Сюжетные линии, узнаваемые моментально, заимствовались из массовой культуры, и обнаруживалось, что ученые тоже опираются на эти источники. Sega и энтомологи рассказывали одну и ту же историю. Причем обращались они к одной и той же аудитории. И, очевидно, Sega рассказывала ее куда заманчивее.

## 5

До *MushiKing*, до закона о защите растений, до *Mushi-sha*, до надувных кабутомуси на летних праздниках, до фигурок насекомых в Акихабаре, до столика «Подружись с тараканом» в инсектариуме в Итами, до того, как Сугиура-сан вернулся на родину из Бразилии с бабочками, до того, как Тэдзука превратил Сверчка Джимины в Астробоя, до того, как Миядзаки сделал из «Любительницы гусениц» Навсикаю, до того, как Куватан ушел с работы, чтобы посвятить себя торговле кувагата, до того, как Ёро и его школьные друзья впервые отправились в горы Камакура, до этого всего — правда, уже после многих других событий — Минору Ядзима, всё еще конту-сонен, четырнадцатилетний мальчик, заброшенный в зловещий кошмар личной и коллективной психологической травмы, стоял на краю наполненной водой воронки среди тлеющих руин деревянного Токио — города, который почти стерла с лица земли огненная буря, развязанная по приказу Роберта Макнамары, — и там, на краю воронки, которая осталась после разрыва бомбы, пока вокруг люди рылись в обломках, пытаясь отыскать остатки своей жизни, он увидел, как стрекоза присела на плавающую щепку и, словно ничего не изменилось, отложила яйца в затхлую воду. «Эту стрекозу не заботили все эти трупы, —

написал он пятьдесят лет спустя, всё еще отчетливо помня эту картину. — Посреди ужасной реальности, вопреки всему, что происходило вокруг нее, она была живая и сильная» [512].

Ядзима-сан пережил войну, но еле-еле. Он пишет об увиденном так, словно это был сон, травмирующий сон со всеми этими странными складками линейного времени. Тысячи обгоревших и гниющих трупов. Молодая женщина, одна на обугленном поле, прижимающая к себе два узла: одной рукой — свои цветные кимоно, другой — почерневшее тело своего ребенка. Токио — «море огня». У фабрики, на которой он работал, он видит, как разрываются снаряды, словно бы в замедленном движении. Он видит, как люди роют в земле бесполезные неглубокие окопы, чтобы укрыться, не понимая, насколько мощны бомбы с «Б-29». Наутро после большого авианалета на Токио — убившего больше человек, чем даже атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, — он смотрит, как уцелевшие собирают обгоревшие тела в штабеля. На вокзале, оказавшись в давке, — толпу обстрелял американский самолет — на него свалился мужчина, убитый наповал.

Ядзима-сан был болезненным ребенком. В предвоенные годы он заболел желтухой и долгое время не мог посещать школу, сидел дома. Каждый день он слышал по радио новости о победах японской армии. Вокруг него воодушевление нарастало. Ученикам средних классов объявили, что они уже не дети. Военные учения были обязательные. Все его знакомые мечтали о чести пожертвовать собой ради отечества. Его болезненность, говорили они, признак малодушия. Когда он снова заболел, ему не разрешили пропускать школу. По мере того, как нарастал милитаризм, его здоровье ослабевало.

После войны он заразился туберкулезом. Его дядя, получивший контузию во время бомбежки, переехал в Сайтаму — тогда это была спокойная сельская местность за пределами Токио. Там, исследуя поля и луга, Ядзима Минуру восстановил связь с миром природы, со стрекозами, головастиками, муравьиными львами и цикадами, с которыми он играл, когда был учеником начальной школы. Осенью он ловил на рисовых плантациях саранчу, чтобы разнообразить рацион из некачественного американского хлеба и солонины. Теперь он говорит: если внимательно наблюдать за саранчой, вы увидите, что глаза у них очень «кавайные», и — что столь же прелестно — вы заметите, что, когда человек приближается, насекомое перебирается на другую сторону рисового стебля. Но в то время он неотступно чувствовал голод и воспринимал насекомых только как еду, старался изловить их как можно больше.

В 1946 году врач прописал ему целый год отдыха. Ядзима вернулся в Токио и обнаружил перевод «Энтомологических воспоминаний» Фабра, сделанный Осуги. Его очаровало то, как внимательно Фабр рассматривал своих насекомых, как он рассуждал, опираясь на аналогии. На него произвело большое впечатление то, что поэт насекомых задавал свои вопросы живым существам, которых видел вокруг себя в «Л'Арма», он был потрясен его любознательностью и энергичностью его стиля, тем, как Фабр уводит читателя в мир насекомых — в мир, в котором Ядзима в тот момент столь остро нуждался.

Вдохновленный, он посвятил пять месяцев изучению биологии бабочек-парусников недалеко от своего дома. Совсем недавно американский самолет расстрелял там целый поезд, полный школьников.

Часто он просто сидел и смотрел на бабочек, порхавших над землей, столбенея от их живучести и красоты: точно так же на него подействовала та стрекоза в воронке во время войны. Теперь, оглядываясь на прошлое, он воспринимает свою заикленность на парусниках как целительное компульсивное побуждение, которое освободило его от груза войны и ее последствий.

Возможно, эта история напоминает вам — как и мне — о Карле фон Фрише, Мартине Ландауэре, Корнелии Хессе-Хонеггер, Ли Шицзюне, Йорисе Хуфнагеле, а также о самом Жане Анри Фабре и других людях, для которых вселенная насекомых порой стала неожиданным убежищем. Возможно, она наводит на мысли о людях, которые (сформулируем это по-другому) вошли в мир насекомых, а он, в свою очередь, вошел в их внутренний мир, которые порой тонули в мире насекомых, а порой находили в нем свои правильные ориентиры, так что нормальный масштаб бытия, стандартные иерархии существования, где мы знаем маленьких существ, потому что они физически меньше нас, и знаем неразумных существ, потому что они лишены наших способностей, больше не был отправной точкой для действия или осмысления, так что колоссальность обстоятельств, предопределяющих их жизнь, могла приобрести иные пропорции и занять в их мире другое место, так что сам мир мог сделаться безмерно громадным и неограниченным.

В какой-то момент в те месяцы, посвященные уединенным наблюдениям за парусниками, Минуру Ядзима решил, что посвятит свою жизнь изучению насекомых. Спустя почти шестьдесят лет мы с Си-Джеем встретились с ним за ланчем в буфете в Тотё — монументальной мэрии Токио, состоящей из двух башен. К тому времени он стал одним из самых видных японских биологов, создателем первых в мире домов бабочек, автором популярных фильмов о природе, ведущим борцом за сохранение окружающей среды, основоположником многочисленных протоколов разведения насекомых и популяризатором науки, который особенно старался заразить детей своей любовью к насекомым. Он был полон энергии и увлеченно рассказывал нам о своем новейшем проекте — парке насекомых Гунма, где имеется впечатляющий дом бабочек (построенный по проекту архитектора Тадао Андо) и обширная территория с сатоямой, восстановленной местными жителями. Парк должен был открыться на следующий день, и все мы расстроились, что я и Си-Джей не успеваем его посетить.



Ядзима-сан был добр, скромен, щедро дарил нам свое время и заражал своим оптимизмом. Мы долго разговаривали, а потом сфотографировались, крошечные, как муравьи, перед колоссальным зданием мэрии.

## 6

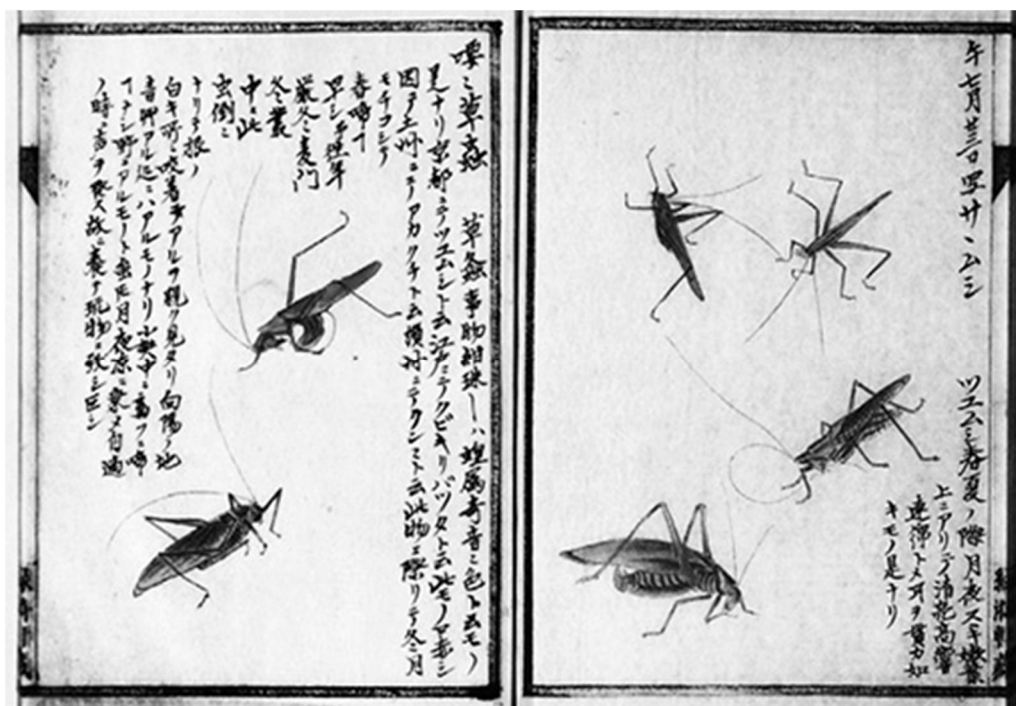
Разрушение Токио заодно разрушило и процветавшую «коммерческую культуру» вокруг насекомых, сосредоточенную в городе. «Мы откатились к истокам», — написал историк Масаясу Кониси, подразумевая муси-ури — странствующих торговцев певчими насекомыми, которые впервые появились в Осаке и Эдо (Токио) в конце XVII века, а после войны снова объявились — ходили со своими клетками, зазывая покупателей, среди развалин столицы [513].

Нетрудно вообразить, какое особое значение приобрели в тот момент эти насекомые, чьи светлые и печальные песни выражают меланхолию и брэнность, их тесная связь с культурой, их товарищество без предварительных условий. Но муси-ури бродили по улицам не по доброй воле. Токийские магазины насекомых были уничтожены бомбежками, и, хотя вскоре торговцы установили лотки в торговом районе Гинза, всё равно им пришлось откатиться к истокам: инфраструктура разведения насекомых рухнула, и послевоенные торговцы, подобно первым муси-ури, просто торговали существами, наловленными на полях.

В конце XVIII века японские торговцы насекомыми научились разводить судзумуси (колокольных сверчков) и других популярных насекомых. Они также обнаружили, что, выращивая личинок в глиняных горшках, можно ускорить цикл развития насекомых и расширять запасы ходовых певцов; так они изобрели методы, которые применяются и донныне (например, заводчиками сверчков в Шанхае). Кониси описывает расцвет культуры насекомых в период сегуната Токугава (1603–1868) — долгий период относительной изоляции,

когда для японцев были крайне ограничены возможности выезда с островов, а иностранцы могли попадать в страну только через порт Нагасаки. Он отмечает, что в Нагое, Тояме и других местах среди чиновников существовали клубы изучения животных и растений; он описывает, как дайме — феодальные правители — раз в два года поселялись в Эдо, и тогда знатные люди и их приближенные-интеллектуалы проводили досуг за сбором, идентификацией и классификацией насекомых; рассказывает о долгом научном интересе к хондзо — китайской фармакологии — и постепенном ее заимствовании: в арсенал ее целительных средств входят не только растения и минералы, но также насекомые и другие животные [514]. Эти любители насекомых — муси-фу — не собирали образцы на манер европейских натуралистов, а сохраняли свои коллекции в форме живописных произведений с аннотациями, где изложены наблюдения, указаны дата и место наблюдений. Такие видные художники, как Окё Маруяма (1733–1795), Турио Морисима (1754–1810) и Куримото Тансю (1756–1834) (труд Тансю под названием *Senchu-fū*, «Рукопись тысячи насекомых», — одно из несравненных сокровищ того периода), писали с натуры, создавая портреты насекомых и других существ, не только поражавшие своим изяществом и точностью, но и складывавшиеся в серии, которые предвосхищали определители — дзуканы, используемые современными коллекционерами насекомых.

Кониси называет сёгунат Токугава «личиночной стадией» японских исследований насекомых. Он пишет, что муси-фу, при всей их увлеченности и изобретательности, не имели постоянного взаимодействия с западными натуралистами и всего лишь вынашивали свою страсть, ожидая раздражителя извне, который стал бы толчком к метаморфозу. Кониси полагает: лишь когда в период Мейдзи (1868–1912), с его жадным интересом к западной культуре и ее импортом, энергия вырвалась на волю, японская любовь к насекомым вошла в современный мир и нащупала свою взрослую форму. Это начало современного этапа можно датировать 1897 годом, когда правительство Мейдзи среагировало на нашествие цикадок *унка*, пожиривших урожай риса. Подобно европейской и североамериканской, японская энтомология — изучение насекомых в соответствии с принципами западной науки — с самого начала была связана с борьбой против вредителей и заботой о здоровье человека и сельскохозяйственных культур.



Этот путь от увлечения до энтомологии — стандартная история о японской науке и технике: приходит запоздало, но быстро нагоняет других. Эта версия о переходе из тьмы к свету имеет тесные параллели с распространенной версией научной революции в Европе в век Просвещения — двумя столетиями раньше. Как отметили многие ученые, эти версии не только принимают как данность веру Просвещения/Мэйдзи в превосходство науки над другими формами познания, но и слишком легко убеждаются в различиях между этими формами, недооценивая преемственность, которая связывает старинные способы понимания природы с теми, которые считаются современными, упуская из виду тот факт, что увлечения и функциональность сосуществуют бок о бок и часто без противоречий или конфликтов в одном зоомагазине, в одном журнале, в одной лаборатории и даже в одном человеке [515].

С другой стороны, нет особых сомнений в том, что вспышка энергии в Японии периода Мэйдзи повлекла за собой переформулирование любви к насекомым на языке энтомологии и появление целого ряда институциональных инноваций, которые это упрочили.

Кониси описывает «лихорадочное помешательство» на жуках и бабочках, которое овладело студентами-биологами в новосозданном Токийском университете (1877); издание основополагающей книги *Saichu shinam* (1883) — руководства с советами о сборе коллекций, сохранении образцов и разведении насекомых (взятыми в основном из западных источников), которое написал Йосио Танака, основатель токийского зоопарка Уэно; и открытие в Йокогаме трех магазинов, где моряки и другие заезжие иностранцы покупали окинавских и тайваньских бабочек.

Спустя полвека потомки первых клиентов этих «лавок бабочек» разбомбили молодую индустрию, отбросив ее в XVIII век, к истокам. Японская культура насекомых возродилась с той же быстротой, с которой после Реставрации Мэйдзи она схватилась за ресурсы западной науки.

Каким-то образом те, кто пережил ужасы 1945 года, черпали силу характера в психологических травмах. Ядзима-сан размышляет о живучести стрекозы,

откладывающей яйца в затопленной воронке. Усуге Сига, основатель самого почтенного магазина насекомых в стране, рассказывает, как закопал в одном из неглубоких бомбоубежищ в Токио свой драгоценный запас энтомологических булавок, а потом, после войны, обнаружил, что они проржавели и больше ни на что не годятся, и взялся разрабатывать более долговечное оборудование, и много лет спустя ему удалось изготовить принадлежности из нержавеющей стали.

## 7

Усуге Сига родился в 1903 году в семье безземельных крестьян в горах в префектуре Ниигата, к северо-западу от Токио [516]. Подобно Минору Ядзуме, он был болезненным ребенком и много сидел дома (в его случае — из-за недоедания). В пять лет он ослеп после того, как обыкновенная простуда перешла в сильную лихорадку. Каждую неделю отец носил его за шесть километров к ближайшему врачу. В итоге зрение восстановилось, но только в правом глазу.

Несмотря на слабое здоровье и необходимость работать, чтобы помочь семье, Сига учился на отлично, и его послали в Токио доучиваться в старших классах. В отличие от других любителей насекомых, которые повстречались нам с Си-Джеем, он никогда не был конту-соненом. Собственно, пишет он, он мало интересовался окружающим миром и не помнит, чтобы в детстве хоть раз ловил насекомых. Он объясняет это нищетой, болезненностью и тем фактом, что он всегда был озабочен работой, но вскоре высказывает сомнение: может быть, это просто оправдания его былой невосприимчивости к природе, невосприимчивости, добавляет он, которая была нормой среди окружавших его людей?

В старших классах его жизнь не изобиловала событиями. Он работал — помогал по дому в семье директора; в пятнадцать лет закончил школу и нашел работу в магазине образцов насекомых «Хираяма» в Токио — одном из немногих на весь город магазинов, где изготавливались образцы для коллекционеров.

В «Хираяме» работали два человека. Один отвечал за магазин, а второй — за дом. Сига был слугой в доме: ему поручалось готовить еду, ходить за покупками, прибираться. И всё же вскоре он начал обращать внимание на собрание насекомых в магазине. Оказавшись в окружении насекомых, он начал видеть то, чего никогда не видел раньше.

Он присматривался, замечал различия, нюансы окраски, величины и текстуры. Поймал себя на том, что смотрит всё внимательнее, находит образцы всё более интересными, восторгается их неожиданной красотой. Очень быстро он решил сделаться профессиональным специалистом по насекомым. Скоро он стал подкупать магазинного ученика конфетами, чтобы тот научил его ловить насекомых (в то время городские дома были окружены зелеными лужайками, и найти насекомых было легко) и готовить образцы. Но, даже когда разнообразие его завораживало, это был шок. Как можно надеяться на освоение всей этой мудрости? В «Хираяме» не было ни книг, ни качественных дзуканов, которые он мог бы изучать, а владелец магазина не стремился ему помочь.

Сига был вынужден обходиться собственными силами. Он украдкой изучал магазинную коллекцию, заучивая названия видов и запоминая, сколько у них пятнышек на крыльях, какие узоры, какой величины и формы, какие особенности расцветки.

Среди насекомых в «Хираяме» он был словно в мире грез. При взгляде через лупу каждый образец поражал, особенно бабочки. Но в мире людей всё было иначе. Его постоянно упрекали: зачем он тратит время на эти пустяки? Людское презрение пугало и давило. Даже его отец, человек гибко мыслящий, который по бедности содержал семью то починкой зонтиков, то изготовлением воздушных шаров, был массажистом и мастером иглоукалывания, предсказывал судьбу и приобрел хорошую репутацию в качестве акушера (хотя мужчинам запрещалось принимать роды), отнесся к его работе враждебно. Люди судили о насекомых лишь по одному критерию: полезны они или опасны. Их было приемлемо уничтожать, но не коллекционировать. За стенами «Хираямы», вспоминает Сига, он чувствовал себя так, словно он сам — тоже всего лишь муси.

В те времена коллекционированием насекомых занималась только узкая прослойка элиты. Клиентами «Хираямы» были преимущественно кадзоку — наследственные аристократы эпохи Мэйдзи. Если в эпоху Токугава дайме сами ловили насекомых, то эти люди заказывали насекомых в специализированных магазинах. Они хотели обладать образцами как культурным капиталом, приличествующим (в их понимании) стилю европейской аристократии, выставляли их рядом с другими ценными предметами в гостиных своих домов. В то же самое время формирование ассоциаций изучения насекомых для мальчиков по всей стране свидетельствовало: государственная поддержка научной энтомологии стимулирует интерес более широких масс. Однако, поскольку коробки импортировались из Германии, а сачки изготавливались из шелка, основные инструменты коллекционера оставались недоступно-дорогостоящими.

В 1931 году Усуге Сига ушел из «Хираямы», чтобы открыть свой собственный магазин. Им руководили желание избавиться от положения, в котором он подвергался эксплуатации, и стремление сделать мир насекомых доступным для всех, а не только для богачей. И, подобно Минору Ядзуме, больше всего он хотел заинтересовать детей. Он четко сформулировал свое убеждение: если в детстве человек будет заботиться о насекомых, он вырастет, впитав этику заботы, которая распространяется не только на природу и самых маленьких существ, но и на всех — людей и прочих существ, которые его окружают. Он нарек свое новое заведение *Shiga Konchu Fukuyū-sha* — «Магазин Сиги „Популяризация насекомых“», указав на свой прогрессивный характер и просветительские намерения тем, что выбрал научный термин «конту» вместо разговорного «муси».

Сига вложил в новое предприятие всю свою творческую энергию. Чтобы завлечь прохожих, установил прилавки на тротуаре у магазина и устраивал демонстрации подготовки образцов. Остался недоволен размерами своей аудитории — и заключил сделку с четырьмя крупнейшими токийскими универмагами, изысканными современными заведениями, которые



олицетворяли дух продвигаемой им новой науки. Он и его друг Изобе на неделю обосновывались в отделе канцтоваров каждого универмага, отвечая на вопросы в особых «справочных бюро насекомых» и демонстрируя патентованные инструменты Сиги: его недорогой складной «карманный сачок для отлова насекомых в стиле Сига» и новые булавки — медные, никелированные, оцинкованные, его собственной конструкции. Демонстрационные сеансы быстро приобрели популярность. Туда стекались дети, которые охотно задавали вопросы. Видя, как они неотрывно смотрят на его руки за работой, Сига узнавал в детях себя в первые дни в «Хираяме» и радовался.



Это было в 1933 году. В том же году новый журнал *Konchukai* [«Мир насекомых»] начал публиковать полевые отчеты, поступающие от школьников со всей страны. Одновременно Сига начал получать заказы на подготовленные образцы от школ (но отвергал их, решив, что школьники больше узнают и усвоят, готовя свои собственные образцы, а не глядя на готовые). В те годы были созданы магазины насекомых, основаны журналы, энтомологические клубы и ассоциации, сложились сообщества профессиональных коллекционеров и коллекционеров-любителей, появились университетские кафедры энтомологии — и не только в Токио, Осаке и Киото, но и в маленьких городках во многих областях страны. Очевидно, исследования насекомых набирали популярность, а культура и инфраструктура вокруг насекомых становились всё более развитыми. Собственно, в те годы сложилась плотность сообществ и институций, благодаря которой торговля насекомыми так быстро восстановилась после поражения в войне и разрухи.

Но, по мнению Усуге Сиги, это развитие культуры насекомых в предвоенный период почти не изменило элитарный характер их коллекционирования. Пускай больше детей, чем когда-либо, имело дело с образцами, но, насколько видел Сига, всё это были ученики лучших школ и отпрыски богатых семей. Это не похоже на историю о фундаментальной общенациональной симпатии к насекомым, которую мы с Си-Джеем слышали от Окумото и других: Сига Усуге описывает сословные практики любви к насекомым и неприязни к насекомым, для которых характерно селективное отношение к предметам этих чувств (сверчкам, златкам, кувагата, стрекозам, светлякам, комнатным мухам) и видоизменения во времени.

Некоторые из этих практик — например, обычай гоняться за стрекозами и слушать голоса сверчков и цикад — притягивали как знатоков, так и широкие массы. Другие практики — такие, как употребление насекомых в пищу, —

давно были уделом ограниченного числа людей — бедняков в прошлые времена и в более не существующих местах, как указал Тецуя Сугиура. Третьи — такие, как применение насекомых в лечении (например, тараканов при озноблении, обморожении и менингите, а также в качестве домашнего дезинфицирующего средства), — стали встречаться реже, поскольку в период Мейдзи лечение по принципам кампо, основанное на китайской фармакологии, вначале было запрещено, а затем реабилитировано в суженной форме, как вспомогательная терапия при аллопатической медицине. Коллекционирование насекомых — наукообразная практика, которой преданы Сига, Ёро, Сугиура и Окумото, практика, включающая их в благородную аристократическую традицию дайме и более амбивалентную аристократическую традицию европейских натуралистов-колонизаторов, а также в сладостно-иконоборческую линию Жана Анри Фабра, — становится общеупотребительной практикой, развиваясь из своих истоков, только в пору послевоенной экономической экспансии в Японии, взлета медиа массовой культуры и появления нового среднего класса, у которого есть избыточный доход и свободное время для наслаждения этой практикой. Четвертые практики — в том числе, очевидно, разведение и выращивание кувагата и кабутомуси — возникают как нечто новое и тревожное, притягивают новый тип кончу-соненов, завлекая их новыми впечатлениями, новыми вещами и произведениями на тему насекомых — манга, аниме, надувными жуками! — и усложнившимися представлениями о том, что может значить насекомое в жизни их самих и их семей.

В послевоенный период беспрецедентный экономический рост принес с собой не только располагаемый доход, но и непредвиденный шок от экологических катастроф, самые известные из которых — отравления ртутью в Минамате (префектура Кумамото) в 1956 году и в Ниигате в 1965-м. Растущее ощущение, что нация погружается в антиутопию, способствовало появлению новых форм положительного отношения к природе и ее защиты. Первый «бум муси», в котором сочетались новый консьюмеризм с новым энвайронментализмом, начался в середине пятидесятых. Вдохновленный звездами фильмов о «кайдзю» (странных зверях) — особенно популярнейшей картины «Мотра» про монстра-бабочку, которая применяет свои сверхспособности, чтобы творить добро, — и телесериалов «со спецэффектами» (например, «Ультрамен»), а также образами насекомых у Осаму Тэдзуки и других основоположников манги, бум сосредоточился на таких объектах желаний, как бабочки, кувагата и кабутомуси. Крупные жуки, которые много веков считались безобразными, впервые стали более востребованными, чем судзумуси и их певчие сотоварищи.

В те годы были опубликованы недорогие энциклопедии насекомых, высококачественные полевые определители, стали издаваться новые журналы для коллекционеров, а в 1964-м в токийском зоопарке Тама открылся инсектариум в форме бабочки (один из первых крупных проектов Минору Ядзимы). Пожалуй, самое симптоматичное, что в эти годы летний проект по сбору коллекции насекомых стал непременной частью учебной программы в начальных и средних классах школы.

В те же годы Усуге Сига — которому император Хирохито вскоре вручит премию за принадлежности для отлова насекомых, премию, которая, как сказал Сига, впервые вселила в него ощущение, что его профессия принята обществом, — попросил министерство образования запретить продажу живых бабочек и жуков в универмагах. Сига заявил, что эта торговля поощряет школьников жульничать при выполнении летних заданий. Учителя не умели отличить покупных насекомых от пойманных в дикой природе; более того, добавил Сига, учителя ставят за покупных насекомых более высокие оценки, потому что они в хорошем состоянии. Как смогут школьники чему-то научиться на основе насекомых, если эти насекомые — просто обычный товар? Министр образования согласился с Сигой, и универмаги вернулись к торговле образцами, а также новаторскими и красивыми принадлежностями, разработанными Сигой. Лишь в девяностых, когда стали развиваться зоомагазины насекомых, импорт был либерализован, а торговля муси активно коммерциализировалась, универмаги снова расширили свой ассортимент жуками.

## 8

Вскоре после того как компания Sega выпустила игру *MushiKing*, министерство окружающей среды начало рассматривать новый важный законопроект об охране окружающей среды. Закон об инвазивных видах-экзотах был призван закрыть лазейки в законе о защите растений, которые позволили черному каменному окуню, европейскому шмелю и другим нежелательным иммигрантам проникнуть через границы Японии. Дебаты о законопроекте, как и большинство подобных дебатов, немедленно скатились в риторику недопущения чужих и опознавания своих, которую инспирируют словесные формулировки «коренные» и «инвазивные» (та же риторика, побудившая Коуичи Гоку и его коллег самоотожествляться с робким самцом вида *Dorcus*, которого они принудили совокупляться с его жестокой индонезийской соседкой по камере). Поскольку японская природа часто слыла детерминирующим элементом национальной и личной идентичности, легко понять, почему дебаты вокруг этого законопроекта оказались столь напряженными.

Один из самых спорных вопросов состоял в том, будут ли включены кувагата и кабутомуси в список запрещенных видов, приложенный к новому закону. Защитники природы лоббировали их включение в список, так как их тревожили продолжающиеся последствия импорта жуков и логика коллекционирования в целом. Они давно уверяли, что коллекционирование вредит аборигенным видам, поскольку вырубка деревьев и другие неселективные методы наносят урон ареалам, половозрелые экземпляры изымаются из дикой природы, а иностранные насекомые, выпущенные на волю, потенциально наносят ущерб.

Представители «бизнеса на насекомых» действовали организованно. Как-никак им угрожали наибольшие потери. Издательский дом *Tokai Media*, выпускавший журнал *Ve-Kiwa!*, спонсировал некоммерческую организацию «Общество Сатояма», которая постаралась мобилизовать индустрию для превентивной кампании экологического просвещения, включавшей в себя статьи в специализированных журналах, лекции, распространение плакатов и

листовок, где пропагандировалось бы бережное отношение к жукам, учреждение клубов коллекционеров на местах. Организация обещала коллегам гонорары за лекции и сулила, что просветительская кампания расширит круг покупателей.

Люди из *Mushi-sha* выступили на слушаниях в качестве свидетелей-экспертов. По их оценкам, в Японии было от десяти до двадцати тысяч заводчиков-любителей, еще сто тысяч взрослых людей (преимущественно мужчин средних лет), которые держали жуков, а также миллионы детей, растивших насекомых из яиц. Они заявили: поскольку в Японии на данный момент циркулировало, по их подсчетам, до пяти миллиардов жуков-экзотов, говорить о контроле импорта стало бессмысленно. Подлинная опасность исходила не от насекомых, ввозимых в страну, а от тех, которые уже оказались на ее территории. Контроль всего лишь навредит дидактической и нравственной пользе от коллекционирования. Они, как и их союзники по обществу «Сатояма», вызвались повлиять на ситуацию — а именно провести разъяснительную кампанию среди своих клиентов, чтобы те поняли, чем чревато оставление их насекомых в дикой природе.

## 外国の生き物を 野山に放さないで!

～日本の自然を守るために～

1999年11月11日、外国のカブトムシ・クワガタムの輸入が部分的に解禁となりました。今後、夏を中心に、ペットショップなどで、比較的安価で輸入が売られることが予想されます。手軽に、生きている実物に触れることができるのは素晴らしいことです。

しかし、これが大きな危険をはらんでいることを忘れてはなりません。外国産の虫を飼う人々に十分な知識が与えられず、なかなか思いのほか、すでに関東地方などでは、野外で所産やインドネシアのクワガタが見つかっています。夏が過ぎると、買った虫を「かわいそうだから返してあげよう」と、野外に放す人がいますが、それによって次のような弊害が起ります。



### ①餌を占領してしまう —競争相手になる可能性—

もともと日本にいるカブトムシやクワガタムの、餌を奪ってしまう可能性がります。外国の虫だから餌に弱いとはかぎりません。夏にまたたく平気です。

### ②地域性がなくなってしまう —遺伝子汚染の可能性—

例えば、韓国（台湾やタイ、ラオスなど）のクワガタが日本に放されて、

地元のオオクワガタと出会ったとします。最初はちがっても同じ種類ですから、交雑・交配は行われます。しかし、たとえ種類が同じでも、地域によって生態が少しずつ違っています。日本の虫のほろの害などに耐えることができますが、韓国のもに同じ性質があるとはかぎりません。外国ばかりでなく、九州や関西のものでも、他の地方に放すことは大それた問題に発展します。

外国にまったく違いがなくても、生き物は、それぞれの土地で環境に合わせて特殊の生活をしている。食べ物も、産卵する季節も、地方によって違います。それらの習性は、長い年月をかけて身につけてきたもので、遺伝子に組み込まれているのです。人間が勝手に及ぼしてはなりません。

地や山の虫が、ブラックバスのために大きな打撃を受けています。クワガタでも同じ落ちる確率が高いよう、みんながシッコウとムールを守らなくてはなりません。

いちど飼いだめた虫は

### 絶対に野外に放さない

ということを守ってください。飼育のつもりでも、虫にとっては大迷惑。手遅れになる前に、ちょっと考えておまげな。みんなの心がけでひとつで、たくさんのお虫の命が救われます。



На третьих публичных слушаниях стало очевидно, что бизнес и его союзники победили. В окончательный документ были включены лишь немногочисленные виды жуков, да и то в категорию «Требующие осторожного отношения», которая не предполагала четкого запрета [517]. Однако защитники природы участвовали в более масштабной битве, направленной не только против коммерциализации коллекционирования. Многих коробило бессмысленное, на их взгляд, уничтожение живых существ ради колоссальных частных коллекций ученых (например, Такеси Ёро). Их волновало, как действует санкционированное убийство животных на нравственность детей. Несколько лет они добивались, чтобы школы перестали давать детям летние задания в форме энтомологических проектов, и в Токио и других местах усилия экологов увенчались успехом.

Услышав об этом, я тут же подумал о Куватане и его мечте об отцах, сыновьях, кувагата и кадзоку сервисе. Но таким коллекционерам, как Ёро и Окумото, тоже пришлось оправдываться. Как-никак они одновременно ученые

и любители насекомых, подобно Фабру, не так ли? Неужели их не настораживает бум жуков? Разве они — возможно, даже больше, чем защитники природы, — не стремятся пропагандировать чуткую и творческую любовь к природе, особенно среди детей?

Да, согласились они, коммерциализация кувагата нанесла им большой вред, хотя снижение численности объясняется не только чрезмерно активным отловом жуков, но и, в равной мере, уничтожением ареалов при застройке территорий. Однако в целом коллекционирование никак не влияет на других насекомых: их популяции попросту слишком многочисленны и размножаются слишком быстро. Убийство — более серьезная тема. С точки зрения Ёро и его друзей, подлинно глубокие отношения с другими существами — это плод межвидового взаимодействия, а не разлучения, нужно не отказываться во имя некоего патерналистского контроля от коммуникации, а радикально менять сознание (эта перемена происходит, когда человек ценой трудностей и испытаний обретает «глаза муси»). Чтобы находить насекомых, ты должен их понимать, ты должен отыскать путь к их образу жизни. Сосредоточенное внимание, без которого не войдешь в их жизнь, достигается путем обучения — обучения не только энтомологии, но и философии. Оно дарует знание природы, неотделимое от привязанности к природе и экспансии человеческого мира. Убивать насекомых больно, но это занятие, наполненное глубоким смыслом. Вторя Корнелии Хессе-Хонеггер, Ёро сказал нам, что теперь у него предостаточно насекомых. Он перестал их убивать. Окумото сказал нам, что никогда не убивает насекомых, а просто ловит их живьем, а на булавки накалывает только после того, как они умрут своей смертью.



Усуке Сига тоже испытывал это беспокойство. Однажды, в годовщину открытия своего магазина, он пригласил буддистского монаха приехать из гор в Токио и совершить обряд куио, чтобы утешить души мертвых. Вместо фотографий покойных он разложил образцы. Вместо любимой еды людей разложил корм для насекомых. Это было в тридцатые годы, семьдесят лет назад. Чувство вины за других существ, говорит он, интуитивное понимание того, что нехорошо убивать живых существ, ему далеко не внове. Он пытается не

переживать по этому поводу, но ему никуда не деться от этого чувства. Часто он гадает, что лучше: прожить всего один день в качестве поденки или существовать в качестве образца сотни лет.

Я рад, что познакомился с насекомыми, говорит Минору Ядзима. Усуке Сига тоже этому рад; он добавляет, что познакомиться с ними несложно. Всё, что вам нужно, — это лупа и сачок (возможно, один из его недорогих складных карманных сачков).

Наблюдая за крошечными насекомыми, пишет Сига-сан, вы глубже заинтересуетесь природой и станете находить в окружающем мире больше поводов для радости и удовлетворенности. Поистине нет ничего лучше, чем знакомство с насекомыми. Взаимоотношения человечества с природой начинаются с насекомых и кончаются насекомыми, пишет он. А потом добавляет: именно такова моя жизнь.

## Z

### Zen and the Art of Zzzzz's

### ДЗЭН и искусство ДЗ-З-З-З

#### 1

В 1998 году мне посчастливилось получить место преподавателя в Калифорнийском университете в Санта-Круз — городке у океана в Северной Калифорнии. Я не ожидал этого предложения, и оно застало меня врасплох. Мы с Шэрон — дети мегаполисов, ни ей, ни мне не доводилось подолгу жить в каких-то небольших населенных пунктах (если не считать моего длительного пребывания в Амазонии). Мы прекрасно себя чувствовали в нашей еле-еле отапливаемой квартире в Нижнем Манхэттене, хотя холод из морозильных камер на складе на нижнем этаже часто проедал половицы и прохватывал нас до костей. Но Калифорния... Это показалось нам приглашением к приключениям, зовом в новый мир. Мы собрали пожитки, взяли напрокат машину и отправились в путь, словно пара первопроходцев, пытаясь вообразить, что обнаружится по ту сторону туннеля Холланда, соединяющего Нью-Йорк с Джерси-Сити.

#### 2

В Санта-Круз мы облюбовали пляж в парке Уайлдер-Ранч. Он называется Трехмильный пляж.

Мы шли туда пешком вдоль скалистых обрывов в северной части залива Монтерей, откуда открывается вид на Тихий океан. Поскольку Уайлдер-Ранч находится на открытом месте, там обычно дует ветер и часто бывает намного холоднее, чем в Санта-Круз: этот город находится в каких-то двух-трех милях, но представляет собой оазис приятной погоды, поскольку его защищает залив.

Когда идешь вдоль обрыва, бушует ветер, зато вокруг поразительно красиво. Этот вид никогда нам не надоедал. Океан, как и все большие водоемы,

каждый божий день выглядит по-разному, и его настроение непременно становится для вас неожиданностью. Крепко упершись ногами в край обрыва, высоко над волнами, мы смотрели на каланов, тюленей и морских львов далеко внизу. Шэрон была чемпионкой по обнаружению китов: она показывала мне фонтаны серых китов и горбачей, иногда довольно близко от берега. Мы запрокидывали головы, подставляя лица ослепительным лучам солнца, когда стаи пеликанов — самое вдохновляющее из этих зрелищ — парили над нами, белым-белые на фоне самого синего неба.

### 3

Однажды мы набрали на мертвого кита. Мы уже несколько дней ощущали запах гнили, когда проезжали мимо плоских артишоковых полей, что тянутся вдоль океанской стороны Первого шоссе, — такое сильное зловоние, что, несмотря на летнюю жару, мы поднимали стекла в нашем пикапе «датсун», не оборудованном кондиционером, и опускали их только через несколько миль. Когда мы в следующий раз отправились в Уайлдер-Ранч, то поняли, что источник вони где-то рядом. Когда мы зашагали вдоль обрыва, запах усилился, и вот, когда над узким заливом тропка исчезла, мы увидели внизу какую-то выцветшую громаду, нечто неопределенное, и мало-помалу эта громадина превратилась в кита.



Кит таял, растекался лужей вязкой жидкости. Его пасть была разинута. Его массивный пенис неуклюже воткнулся в песок. Всё выглядело неуклюже. Всё в нем было не так, как надо. Его кожа облезала липкими голубыми и зелеными клочьями. Всюду вокруг кита жужжали тучи мух.

### 4

Когда было тепло и ветер не поднимал песок в воздух, мы усаживались на Трехмильном пляже и читали. Обычно там было безлюдно, и иногда я раздевался и заплывал в океан, но недалеко, опасаясь встречных течений и отбойных волн; ледяная вода ошпаривала мою нагретую солнцем кожу.

Пляж представляет собой карман — бухточку между утесами, которая с одной стороны отлого спускается в океан, а с другой стороны переходит в болото. Песок мелкий, бледно-золотистый, кое-где заросли жесткой болотной травы. Мы проводили там по несколько часов, растянувшись на песке, впитывая солнце всем телом, под бескрайним небом, под рев прибоя, набегающего на берег, под цокот гальки, который слышался, когда волна откатывалась назад.

## 5

Но при всем том на Трехмильном пляже часто было трудно расслабиться. Тут были крохотные мухи — целопиды, те же самые мухи, которые роились вокруг кита. Они были проворные и целеустремленные — не остановишь. С интервалом в несколько секунд какая-нибудь муха словно бы вонзала острую булавку в голую руку или ногу, а затем уносилась. Места укулов болели. Отметин не оставалось, даже покраснения не было, но сидеть спокойно было трудно, а заснуть — невозможно.

## 6

Согласно результатам недавних исследований, насекомые тоже спят. Или, как минимум, они, подобно большинству других существ, регулярно имеют периоды отдыха и бездействия, в течение которых их реакция на внешние раздражители сильно ослабевает [518]. Хорошо было бы знать, как координировать наш сон со сном целопид, но это невозможно.

Исследователи сна не занимаются вопросом о том, видят ли насекомые сны. Сегодня для биологов это слишком умозрительная тема. Пожалуй, методология такого исследования неочевидна. Но что, если они видят сны? Что им снится? Еще один вопрос, на который невозможно ответить.

## 7

Сейчас насекомые окружают меня со всех сторон. Они знают, что мы подошли к концу книги. Говорят: «Не оставляйте нас за бортом! Не забывайте про нас!» Я всячески стараюсь включить в книгу всех насекомых. Но, честно говоря, их попросту слишком много.

Даже в самой амбициозной и самой богато иллюстрированной инсектопедии не хватило бы места. Даже монументальная «Энциклопедия насекомых» Винсетта Реша и Ринга Карде поневоле отбраковала часть персонажей.

Целопиды не давали нам спать. Кусались — словно кололи булавками. Отказывались оставить нас в покое. А еще у них были абсолютно калифорнийские повадки. Они всё время твердили одно и то же, мантру в четырех частях: «Это и наш пляж. Приучайтесь к несовершенству жизни. Мы все в одной лодке. Мелкий предмет — подлинно тесные ворота — открывает перед тобой целый мир».

\* наивности (*франц.*).

\*\* провидцами (*франц.*)

\* покупатель остерегается (*англ.*).

\* живых существ (*лат.*).

\*\* магию (*лат.*)

\* проявлением силы, подвигом (*франц.*)

\* зерновой банк (*франц.*)

\* Если ты кого-то любишь, дай ему свободу (*англ.*).

\* прекрасным идеалом (*англ.*)



\* «Ацефал» — «лишенный головы» (франц.)

## Примечания

1 *Glick P. A.* The Distribution of Insects, Spiders, and Mites in The Air // USDA Technical Bulletin. Washington, D. C.: USDA, 1939. No. 671. P. 146.

2 Эти и другие примеры рассеяния по воздуху см.: *Johnson C. G.* Migration and Dispersal of Insects by Flight. London: Methuen, 1969. P. 294–296, 358–359. Для этой статьи я многое взял из классической книги Джонсона, а также из работы Роберта Дадли (*Dudley Robert.* The Biomechanics of Insect Flight: Form, Function, Evolution. Princeton: Princeton University Press, 2000).

3 *Coad B. R.* Insects Captured by Airplane are Found at Surprising Heights // Yearbook of Agriculture 1931. Washington, D. C.: USDA, 1931. P. 322.

4 *Glick.* The Distribution of Insects. P. 87. О полетах на паутине см.: *Suter Robert B.* An Aerial Lottery: The Physics of Ballooning in a Chaotic Atmosphere // Journal of Arachnology. 1999. Vol. 27. P. 281–293.

5 *Johnson.* Migration and Dispersal. P. 297.

6 См., например: *Hardy A. C., Milne P. S.* Studies in The Distribution of Insects by Aerial Currents: Experiments in Aerial Tow-netting from Kites // Journal of animal Ecology. 1938. Vol. 7. P. 199–229.

7 *Beebe William.* Insect Migration at Rancho Grande in North-central Venezuela. General Account // Zoologica. 1949. Vol. 34, no. 12. P. 107–110.

8 *Dudley.* Biomechanics of Insect Flight. P. 8–14, 302–309.

9 *Taylor L. R.* Aphid Dispersal and Diurnal Periodicity // Proceedings of The Linnaean Society of London. Vol. 169. P. 67–73.

10 *Dudley.* Biomechanics of Insect Flight. P. 325–326.

11 *Johnson.* Migration and Dispersal. P. 606.

12 *Ibid.* P. 294, 360.

13 По-английски эти насекомые, считающиеся подотрядом *Hemiptera*, именуются «настоящие жуки».

14 *Hesse-Honegger Cornelia.* Heteroptera: The Beautiful and The Other, or Images of a Mutating World / trans. by Christine Luisi. New York: Scalo, 2001. P. 90.

15 Хессе-Хонеггер размышляет о своем творческом пути в нескольких коротких опубликованных статьях, а более пространно в двух книгах: *Hesse-Honegger Cornelia.* Heteroptera; Eadem. Warum bin ich in Österfärnebo? Bin auch in Leibstadt, Beznau, Gosgen, Creys-Malville, Sellafeld gewesen... = Why Am I in Österfärnebo? I Have Also Been to Leibstadt, Beznau, Gosgen, Creys-Malville, Sellafeld... Basel: Editions Heuwinkel, 1989. См. также короткую статью в *Grand Street* (Vol. 18, no. 2, issue 70 (Spring 2002). P. 196–201) с четырьмя качественными цветными репродукциями. Существуют два изящно изданных каталога выставок, где также есть автобиографии и ценные критические статьи: *Hesse-Honegger Cornelia.* After Chernobyl. Bern: Bundesamt für Kultur: Verlag Lars Müller, 1992; Eadem. The Future's Mirror / trans. by Christine Luisi-Abbot. Newcastle upon Tyne: Locus+, 2000. Благодарю Стива Коннелла за все переводы с немецкого.

16 *Hesse-Honegger.* Heteroptera. P. 24.

[17](#) *Hesse-Honegger*. After Chernobyl. P. 59.

[18](#) *Hesse-Honegger*. Heteroptera. P. 9.

[19](#) *Galilei Galileo*. Sidereus nuncius, or The Sidereal Messenger / trans. by Albert Van Helden. Chicago: University of Chicago Press, 1989. P. 42. Цит. по: *Hesse-Honegger*. Heteroptera. P. 8.

[20](#) *Hesse-Honegger Cornelia*. Wenn Fliegen und Wanzen anders aussehen als sie solten // Tages-Anzeiger Magazin. No. 4 (January 1988). P. 20–25.

[21](#) *Hesse-Honegger*. Heteroptera. P. 94–96.

[22](#) Хессе-Хоннегер описывает часть этих материалов в работах, упомянутых выше. Более подробные описания см. в том числе в: *Sternglass Ernest J.* Secret Fallout: Low-Level Radiation from Hiroshima to Three Mile Island. New York: McGraw-Hill, 1981; *Graeub Ralph*. The Petkau Effect: The Devastating Effect of Nuclear Radiation on Human Health and The Environment. New York: Four Walls Eight Windows, 1994; *Gould Jay M., Goldman Benjamin A.* Deadly Deceit: Low Level Radiation High Level Cover-UP. New York: Four Walls Eight Windows, 1991; *Gould Jay M.* The Enemy Within: The High Cost of Living Near Nuclear Reactors. New York: Four Walls Eight Windows, 1996. Об альянсах ученых с общественными организациями в целях общественной активности см., например: *Epstein Steven*. Impure Science: AIDS, Activism, and The Politics of Knowledge. Berkeley: University of California Press, 1998; *Brown Phil, Mikkelsen Edwin J.* No Safe Place: Toxic Waste, Leukemia, and Community Action. Berkeley: University of California Press, 1990; *McCormick Sabrina, Brown Phil, Zavestoski Stephen*. The Personal is Scientific, The Scientific is Political: The Public Paradigm of The Environmental Breast Cancer Movement // *Sociological Forum*. 2003. Vol. 18, no. 4. P. 545–576. Благодарю Алондру Нельсон, которая указала мне на работу Фила Брауна.

[23](#) О теории второго события Басби см.: *Busby Chris*. Wings of Death: Nuclear Pollution and Human Health. Aberystwyth: Green Audit, 1995; URL: [http://traprockpeace.org/chris\\_busby\\_08may04.html](http://traprockpeace.org/chris_busby_08may04.html).

[24](#) См., например, газетные и журнальные статьи, включенные в книгу: *Hesse-Honegger*. Warum bin ich in Österfärnebo? S. 93–101.

[25](#) *Hesse-Honegger*. Heteroptera. P. 99.

[26](#) *Ibid.* P. 127.

[27](#) *Hesse-Honegger Cornelia*. Leaf Bugs, Radioactivity and Art // *n.paradoxa*. 2002. Vol. 9. P. 49–60, 53.

[28](#) *Hesse-Honegger Cornelia*. Der Verdacht = The Suspicion // Tages-Anzeiger Magazin. No. 15 (April 1989). S. 28–35, 34.

[29](#) Цит. по: *Hesse-Honegger*. Der Verdacht. S. 82.

[30](#) Цит. по: *Staber Margit Weinberg*. Quiet Abodes of Geometry // *Concrete Art in Europe After 1945* / Marlene Lauter, ed. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2002. P. 77–83.

[31](#) *Suchin Peter*. Forces of The Small: Painting as Sensuous Critique // *Hesse-Honegger Cornelia*. The Future's Mirror. Unpaginated.

[32](#) *Hesse-Honegger*. Heteroptera. P. 132.

[33](#) *Ibid.*

[34](#) *Ibid.* P. 179.

[35](#) См. в особенности: *Feyerabend Paul. Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*. London: New Left Books, 1975.

[36](#) *Hesse-Honegger Cornelia*. Field Study Around The Hanford Site in The States Washington and Idaho, USA. Zurich: Unpbd manuscript, 1998–1999. Unpaginated.

[37](#) *Hesse-Honegger Cornelia*. Field Study in the Area of The Nuclear Reprocessing Plant, La Hague, Normandie, France, 1999. Zurich: Unpbd manuscript, 2000–2003. Unpaginated.

[38](#) *Hesse-Honegger Cornelia*. Field Study in the Area of The Nuclear Test Site, Nevada and Utah, USA, 1997. Zurich: Unpbd manuscript, n.d. Unpaginated.

[39](#) *Nossack Hans Erich*. Der Untergang // *Sebald*. Destruction. S. 35.

[40](#) *Szyborska Wislawa*. Seen From Above // *Miracle Fair: Selected Poems of Wislawa Szymborska* / trans. Joanna Trzeciak. New York: W. W. Norton, 2001. P. 66. Благодарю Дайлайпа Менона и Лару Джейкоб за то, что они познакомили меня с творчеством Шимборской и этим стихотворением в особенности.

[41](#) *Levi Primo*. Other People's Trades / trans. Raymond Rosenthal. New York: Summit Books, 1989. P. 17.

[42](#) *Nossack Hans Erich*. Der Untergang // Interview mit dem Tode. Frankfurt: Surhkamp, 1963. S. 238. Цитируется в: *Sebald W. G. On The Natural History of Destruction* / trans. Anthea Bell. New York: Random House, 2003. P. 35.

[43](#) *Fabre Jean-Henri*. The Greenbottles // *The Life of The Fly* / trans. Alexander Teixeira de Mattos. New York: Dodd, Mead and Company, 1913. P. 232; *Item*. The Bluebottle: The Laying // *The Life of The Fly* / trans. Alexander Teixeira de Mattos. New York: Dodd, Mead and Company, 1913. P. 316. Пространный критический анализ работ Фабра можно найти в книге: *Tort Patrick*. Fabre: Le Miroir aux Insectes. Paris: Vuibert: ADAPT, 2002. См. также: *Favret Colin*. Jean-Henri Fabre: His Life Experiences and Predisposition Against Darwinism // *American Entomologist*. 1999. Vol. 45, no. 1. P. 38–48; *Pasteur Georges*. Jean Henri Fabre // *Scientific American*. 1994. Vol. 271. P. 74–80. Чаще биографы охотно становятся соучастниками процесса, которым Фабр сам создавал себе имидж, игнорируя его устремления в теоретической сфере. См., например: *Delange Yves*. Fabre — L'homme qui aimait les insectes. Paris: Actes Sud, 1999. «Авторизованную биографию» Фабра написал его друг и поклонник Жорж Виктор Легро, на которого я ссылаюсь ниже: *Legros G.V.* Fabre: Poet of Science / trans. Bernard Miall. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, [1913].

[44](#) *Fabre Jean-Henri*. The Harms // *The Life of The Fly* / trans. Alexander Teixeira de Mattos. New York: Dodd, Mead and Company, 1913. P. 15.

[45](#) *Tort*. Fabre. P. 64.

[46](#) *Ibid*. P. 16.

[47](#) *Ibid*. P. 27.

[48](#) *Fabre Jean-Henri*. The Odyneri // *The Mason-Wasps* / trans. Alexander Teixeira de Mattos. New York: Dodd, Mead and Company, 1919. P. 59.

[49](#) *Tort*. Fabre. P. 18.

[50](#) *Ibid*. P. 24.

[51](#) *Fabre Jean-Henri*. The Song of The Cigale // *Social Life in The Insect World*. P. 36.

[52](#) *Field Norma*. Jean Henri Fabre and Insect Life in Modern Japan: manuscript. N.d. P. 6. Благодарю Норму Филд за то, что она прислала мне эту интереснейшую научную статью.

[53](#) Цит. по: *Delange*. Fabre. P. 55.

[54](#) *Fabre Jean-Henri*. The Bembex // The Hunting Wasps / trans. Alexander Teixeira de Mattos. New York: Dodd, Mead and Company, 1915. P. 156.

[55](#) *Fabre*. The Great Cerceris // The Hunting Wasps. P. 12.

[56](#) *Fabre*. The Yellow-winged SpheX // The Hunting Wasps. P. 36.

[57](#) *Fabre*. The Eumenes // The Mason-Wasps. P. 12, 13, 10.

[58](#) *Fabre*. Aberrations of Instinct // The Mason-Wasps. P. 109.

[59](#) Цит. по: *Legros*. Fabre. P. 14.

[60](#) Цит. по: *Legros*. Fabre. P. 13.

[61](#) Ibid.

[62](#) Тор описывает этих двоих людей так: «Unis par une vaste érudition, une sympathie éthique et l'expérience partagée de la douleur» [«Объединенные огромной эрудицией, этическим сопереживанием и общим опытом страдания» (*франц.*)]. Они вместе начали так и не завершённый проект по составлению тома «Флора Воклюза». См.: *Tort*. Fabre. P. 57.

[63](#) Письмо Ромена Роллана к Ж. В. Легро от 7 января 1910 года, цит. по: *Delange*. Fabre. P. 322. В тот год Нобелевская премия была присуждена драматургу Морису Метерлинку — то есть писателю, интересовавшемуся энтомологией, а не энтомологу с литературными наклонностями. Метерлинк тоже был большим поклонником Фабра.

[64](#) *Fabre*. The Harmas // The Life of The Fly. P. 14.

[65](#) Ibid. P. 16–17; *Tort*. Fabre. P. 25–26.

[66](#) *Fabre*. The Odyneri. P. 47.

[67](#) *Fabre*. The Eumenes. P. 25; *Idem*. The Odyneri. P. 46.

[68](#) См. подробное описание в: *Tort*. Fabre; особенно на с. 205–240.

[69](#) *Fabre*. The Modern Theory of Instinct // The Hunting Wasps. P. 403.

[70](#) *Fabre*. The Ammophilae // The Hunting Wasps. P. 271.

[71](#) *Darwin Charles*. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: Penguin, 2004. P. 88, 87; а также: *Papaj Daniel R*. Automatic Learning and The Evolution of Instinct: Lessons from Learning in Parasitoids // *Insect Learning: Ecological and Evolutionary Perspectives* / Daniel R. Papaj and Aleinda C. Lewis, eds. New York: Chapman and Hall, 1993. P. 243–72.

[72](#) *Fabre*. The Modern Theory of Instinct // The Hunting Wasps. P. 411.

[73](#) *Fabre*. The Ammophilae // The Hunting Wasps. P. 269.

[74](#) Ibid. P. 270.

[75](#) Ibid. P. 377–378.

[76](#) *Herrnstein R. J*. Nature as Nurture: Behaviorism and The Instinct Doctrine // *Behavior and Philosophy*. 1998. Vol. 26. P. 73–107, 83; перепечатано из: *Behavior*. 1972. Vol. 1, no.1. P. 23–52.

[77](#) *James William*. The Principles of Psychology. Vol. II. New York: Holt, 1890. P. 384; цит. по: *Herrnstein*. Op. cit. P. 81.

[78](#) *McDougall William*. An Introduction to Social Psychology. London: Methuen, 1908. P. 44.

[79](#) *Kerlake*. *Insects and Incest*. P. 2.

[80](#) *Bergson Henri*. *Creative Evolution* / trans. Arthur Mitchell. New York: Dover, [1911] 1989. P. 174. Интересно подметить, что осы, путешествуя через европейскую философию XX века, попадают через Бергсона в работу Делёза и Гваттари «Тысяча плато» в форме «становления животного»: осы и орхидеи, которые в момент объятия частично становятся друг дружкой, эта знаменитая оса-орхидея, похоже, изначально вдохновленная столь же знаменитой *Ammophila* Фабра.

[81](#) *Russell Bertrand*. *The Analysis of Mind*. London: George Allen and Unwin, 1921. P. 56; цит. по: *Kerlake*. *Insects and Incest*. P. 3.

[82](#) *Tort*. *Fabre*. P. 232–235.

[83](#) *Fabre*. *The Harms*. P. 14.

[84](#) Благодарю Гейвина Уайтло, который столь щедро подарил мне полный набор фигурок из серии «Фабр», распространявшийся через *7-Eleven*. Также благодарю Сихо Садзуку за найденный экземпляр *Tokuo Yokota*. *Konchu no tankensha Faaburu*. Tokyo: Gakken, 1978 — популярнейшей манга по биографии Фабра. На эту тему см.: *Field*. *Jean Henri Fabre*. P. 4.

[85](#) Я взял это из: *Pasteur*. *Jean Henri Fabre*. P. 74.

[86](#) *Okumoto Daizaburo*. *Hakubutsugakuno kyojin Anri Faburu = Henri Fabre: A Giant of Natural History*. Tokyo: Syueisya, 1999. P. 27. Все переводы с японского, кроме особо отмеченных, выполнены Сигеру Судзуки. См. также: *Field*. *Jean Henri Fabre*. P. 18–20.

[87](#) *Ōsugi Sakae*. *I Like a Spirit // A Short History of The Anarchist Movement in Japan / Le Libertaire Group*. Tokyo: Idea Publishing House. P. 132.

[88](#) *Fabre Jean-Henri*. *Souvenirs entomologiques*. Vol. III. P. 309; цит. по: *Favret*. *Jean-Henri Fabre*. P. 46.

[89](#) Осуги был поклонником и одним из первых переводчиков Петра Кропоткина, горячо утверждавшего, что основа эволюции — скорее взаимопомощь и сотрудничество, чем соперничество. Однако, как ни парадоксально, Осуги также слыл приверженцем социального дарвинизма — философии, широко распространенной в то время в Японии. Дарвинизм пришел в Японию периода Мэйдзи (в семидесятые годы XIX века) именно через спенсерианское презрение к сотрудничеству и воспевание соперничества как движущей силы человеческого существования. См.: *Field*. *Jean Henri Fabre*. P. 19, 27n.80. В 1923 году вместе с Осуги были убиты его жена, феминистка Ито Ноэ, и их семилетний племянник.

[90](#) *Fabre*. *Souvenirs entomologiques*. Vol. VIII; цит. по: *Favret*. *Jean-Henri Fabre*. P. 46.

[91](#) *Okumoto*. *Fabre*. P. 189.

[92](#) *Yoro Takeshi, Okumoto Daizaburo, Ikeda Kiyohiko*. *San-nin yoreba mushi-nochi'e = Put Three Heads Together To Match The Wisdom of a Mushi*. Tokyo: Yosensya, 1996. Все переводы с японского выполнены Си-Джеем Судзуки.

[93](#) *Imanishi Kinji*. *The World of Living Things* / trans. Pamela J. Asquith, Heita Kawakatsu, Shusuke Yagi, and Hiroyuki Takasaki. London: RoutledgeCurzon, 2002; *idem*. *A Proposal for Shizengaku: The Conclusion to My Study of*

Evolutionary Theory // Journal of Social and Biological Structures. 1984. Vol. 7. P. 357–368.

[94](#) Нападки на Иманиси, которые можно расценить исключительно как расистские, см. в: *Halstead Beverly*. Anti-Darwinian Theory in Japan // Nature. 1985. Vol. 317. P. 587–589. А остроумный ответ см. в: *Waal Frans B. M. de*. Silent Invasion: Imanishi's Primatology and Cultural Bias in Science // Animal Cognition. 2003. Vol. 6. P. 293–299.

[95](#) *Imanishi*. A Proposal for Shizengaku. P. 360.

[96](#) *Kalland Arne, Asquith Pamela J*. Japanese Perceptions of Nature: Ideals and Illusions // Japanese Images of Nature: Cultural Perceptions / Arne Kalland and Pamela J. Asquith, eds. Richmond, Surrey: Curzon, 1997. P. 2. Также см. очаровательную книгу Джулии Томас: *Thomas Julia Adeney*. Reconfiguring Modernity: Concepts of Nature in Japanese Political Ideology. Berkeley: University of California Press, 2001.

[97](#) *Austin J. L*. How To Do Things with Words. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962. См. также: *Yurchak Alexei*. Everything Was forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press, 2005.

[98](#) *Gould Stephen Jay*. Nonmoral Nature // Hen's Teeth and Horse's Toes: Further Reflections in Natural History. New York: W. W. Norton, 1994. P. 32–44, 32.

[99](#) Ibid.

[100](#) Ibid.

[101](#) Благодарю Лин Чэна за объяснения, что в этом контексте «ши ши у» — отсылка к известному афоризму: «Тот, кто признает фактическое положение дел, — человек мудрый» («Ши ши у чжэ вэй цзюнь цзе»).

[102](#) Книгу Цзя проще всего отыскать в составе издания: *Wu Zhao Lian*. Xīshuàì mǐpǔ = Тайные книги сверчков. Tianjin: Gu Ji Shu Dan Ancient Books, 1992.

[103](#) Цит. по: *Hsiung Ping-Chen*. From Singing Bird to Fighting Bug: The Cricket in Chinese Zoological Lore: manuscript. N.d. P. 15–16; перевод слегка изменен. Благодарю профессора Сюн Пин-Чэнг за то, что она радушно предоставила экземпляр этой интереснейшей работы.

[104](#) Ibid. P. 17. Чоу Ио в своей *A History of Chinese Entomology* (trans. Wang Siming. Xi'an: Tianze Press, 1990) более суров: «По этому описанию [занятий Цзя], — пишет он, — можно видеть, как расточительные правители феодального общества относились к судьбам страны и народа» (С. 177).

[105](#) Отдельные описания жизни насекомых, часто поэтичные, можно, разумеется, найти и в гораздо более ранних источниках: например, в энциклопедии «Эръя» (ок. 500–200 до н. э.), которая, вероятно, появилась еще раньше, чем «О возникновении животных» Аристотеля, и является первым в мире таксономическим трудом по естествознанию. Детальную историю познаний китайцев о насекомых см.: *Chou*. A History of Chinese Entomology. Об истории сверчков в китайской культуре см.: *Liu Xinyuan*. Amusing The Emperor: The Discovery of Xuande Period Cricket Jars from The Ming Imperial Kilns // Orientations. 1995. Vol. 26, no. 8. P. 62–77; *Yin-Ch'I Hsu*. Crickets in China // Bulletin of The Peking Society of Natural History. 1928–1929. Vol. 111, part 1. P. 5–

41; *Laufer Berthold*. Insect-Musicians and Cricket Champions of China // Field Museum of Natural History Leaflet (Anthropology). 1927. Vol. 22. P. 1–15 (перепечатано в: *Insect Musicians & Cricket Champions: A Cultural History of Singing Insects in China and Japan* / ed. Lisa Gail Ryan. San Francisco: China Books & Periodicals, Inc., 1996); *Jin Xing-Bao*. Chinese Cricket Culture // Cultural Entomology Digest. Vol. 3 (November 1994). URL: [http://www.insects.org/ced3/chinese\\_crcul.html](http://www.insects.org/ced3/chinese_crcul.html); *Hsiung*. From Singing Bird to Fighting Bug.

[106](#) *Hsiung*. From Singing Bird to Fighting Bug. P. 17.

[107](#) *Liu*. Amusing The Emperor. Passim

[108](#) *Pu Songling*. The Cricket // *Strange Tales from Make-Do Studio* / trans. Denis C. and Victor H. Mair. Beijing: Foreign Languages Press, 2001. P. 175–187. Этноисторический контекст рассказа Пу см. в: *Liu*. Amusing The Emperor. P. 62–65.

[109](#) Семьдесят два — широко цитируемая цифра, возможно потому, что это важное число в народном даоизме и количество воинов — «земных звезд» в романе XVI века «Речные заводы» — одном из четырех великих классических романов китайской литературы.

[110](#) *Jin Xingbao, Liu Xian Wei*. Common Singing Insects: Selection, Care, and Appreciation. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1996. P. 114; *Walker Thomas J., Masaki Sinzo*. Natural History // Cricket Behavior and Neurobiology / Franz Huber, Thomas E. Moore, and Werner Loher, eds. Ithaca: Comstock Publishing: Cornell University Press, 1990. P. 1–42. Авторы проводят ту же мысль, но идентифицируют другие виды. Они пишут: «Хотя в китайских руководствах по обращению со сверчками признано более шестидесяти разновидностей бойцов, все они принадлежат к четырем видам (*Velarifictorus aspersus*, *Teleogryllus testaceus*, *T. mitratus*, и *Gryllus bimaculatus*)». Существует обширная научная литература об агрессии среди самцов сверчков, хотя мне неизвестны исследования вышеупомянутых видов. См., например: *Dixon Kevin A., Cade William H*. Some Factors Influencing Male-Male Aggression in The Field Cricket *Gryllus integer* (Time of Day, Age, Weight and Sexual Maturity) // *Animal Behavior*. 1986. Vol. 34. P. 340–346, где сделан вывод, что среди половозрелых особей агрессия более четко выражена; и: *Simmons L. W*. Inter-Male Competition and Mating Success in The Field-Cricket, *Gryllus bimaculatus* (de Geer) // *Animal Behavior*. 1986. Vol. 34. P. 567–569, с довольно занятным заключением: «...индивидуальная конкурентоспособность предопределялась... прошлым опытом побед особи („уверенностью в себе“» (P. 567).

[111](#) Авторитетный список этих переменных можно найти на <http://www.xishuai.net> — сайте любителей сверчков, созданном доктором Ли Шицзюнем. См. также: *Song for The Selection of Northern Crickets* // *Wu Hua*. Chóng Qù = Insect Delights. Shanghai: Xue Ling Publishing, 2004. P. 168.

[112](#) *Xu Xiaomin*. Cricket Matches — Chinese Style // *Shanghai Star*. 2003. September 4.

[113](#) *Li Shijun*. Secrets of Cricket-Fighting // *XinMin Evening News*. Shanghai. 2005. September 25. P. B25.

[114](#) *Wu*. Chóng Qù. P. 165.

[115](#) О работе внутренних мигрантов в китайских городах см.: *Solinger Dorothy J. Contesting Citizenship in Urban China: Peasant Migrants, The State, and The Logic of The Market* Berkeley: University of California Press, 1999; *Li Zhang. Migration and Privatization of Space and Power in Late Socialist China* // *American Ethnologist*. 2001. Vol. 28, no. 1. P. 179–205. Проектируемая реформа системы прописки по месту жительства (*хукоу*) не распространяется на Шанхай в этот период.

[116](#) *Lu Xun. About Watching*. Благодарю Лин Чэна за этот перевод.

[117](#) О «головотряске» см.: *Farrar James. Opening Up: Youth Sex Culture and Market Reform in Shanghai*. Chicago: University of Chicago Press, 1998. P. 311–312.

[118](#) *Li Shijun. Zhōngguó dòu xī jiàn shāng = An Appreciation of Chinese Cricket Fighting; Idem. Zhōnghuà xīshuài wúshí bù xuān = Fifty Don'ts of Cricket Collecting*. Shanghai, 2002; *An Anthology of Lore of One Hundred and Eight Excellent Crickets; Pots of The South*.

[119](#) Ценное введение в представления о природе в Китае см.: *Yi-Fu Tuan. Discrepancies Between Environmental Attitude and Behaviour: Examples from Europe and China* // *Canadian Geographer*. 1968. Vol. XII, no. 3. P. 176–191. Благодарю Дженет Стерджэн за то, что она указала мне на эту статью.

[120](#) См.: *Abbas Ackbar. Play it Again Shanghai: Urban Preservation in The Global Era* // *Shanghai Reflections: Architecture, Urbanism and The Search for an Alternative Modernity* / Mario Gandelsonas, ed. New York: Princeton Architectural Press, 2002. P. 37–55; *Idem. Cosmopolitan De-scriptions: Shanghai and Hong Kong* // *Public Culture*. 2000. Vol. 12, no. 3. P. 769–786; *Ross Andrew. Fast Boat to China: Corporate Flight and The Consequences of Free Trade; Lessons from Shanghai*. New York: Pantheon, 2006.

[121](#) *Li. Secrets of Cricket-Fighting*.

[122](#) *Ibid.* P. 84.

[123](#) *Wu. Chóng Qù*. P. 247–251.

[124](#) Я взял эту версию стихотворения «В седьмом месяце» из *Liu. Amusing The Emperor*. P. 63; первоисточник: *Chen Huan. Shijing maoshizhuan shu = Mao's Edition of The Book of Songs*. Shanghai, 1934. P. 10, 76. См. описание в: *Hsiung. From Singing Bird to Fighting Bug*. P. 7–9; и: *Jin. Chinese Cricket Culture*.

[125](#) *Simmons. Inter-Male Competition*. P. 578.

[126](#) *Wade Nicholas. Flyweights, Yes, But Fighters Nonetheless: Fruit Flies Bred For Aggressiveness* // *The New York Times*. 2006. October 10. P. F4; *Dierick Herman A., Greenspan Ralph J. Molecular Analysis of Flies Selected for Aggressive Behavior* // *Nature Genetics*. Vol. 38, no. 9 (September 2006). P. 1023–1031. См. также: *Greenspan Ralph J., Dierick Herman A. «Am Not I a Fly Like Thee?» From Genes in Fruit Flies to Behavior in Humans* // *Human Molecular Genetics*. 2004. Vol. 13, review issue 2. P. R267–R273.

[127](#) *Kohler Robert E. Lords of The Fly: Drosophila Genetics and The Experimental Life*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

[128](#) Анита Геррини в книге *Experimenting With Humans and Animals: From Galen to Animal Rights* (Baltimore: Johns Hopkins, 2003) говорит, что Луи Пастер использовал «животных в качестве лабораторных пробирок». «Впоследствии, — пишет она, — бактериологические и иммунологические исследования



неразрывно переплелись с использованием животных как среды для культивирования микроорганизмов» (Р. 98).

[129](#) Kohler. *Lords of The Fly*. P. 53.

[130](#) Цит. по: Kohler. *Lords of The Fly*. P. 73.

[131](#) Ibid. P. 67.

[132](#) См. на эту тему: *Herzig Rebecca M. Suffering for Science: Reason And Sacrifice in Modern America*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2005.

[133](#) *Fudge Erica. Animal*. New York: Reaktion Books, 2002. Благодарю также Дэнни Соломона (Калифорнийский университет в Санта-Круз) за интересные беседы на эту тему.

[134](#) *Greenspan Dierick. «Am Not I a Fly Like Thee?»* P. R267.

[135](#) *Canetti Elias. Crowds and Power / trans. Carol Stewart*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1960. P. 205. Благодарю Деяна Лукича за то, что он указал мне на эту страницу.

[136](#) *Mol Annemarie. The Body Multiple: Ontology in Medical Practice*. Durham: Duke University Press, 2003. P. 126.

[137](#) *Hoefnagel Joris. Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): manuscript. 1582*; ныне хранится в Национальной галерее изобразительного искусства в Вашингтоне. Для этой главы я многое взял из работ Ли Хендрикс, куратора отдела графики в Музее Гетти в Лос-Анджелесе, авторитетного специалиста по Йорису Хуфнагелю, особенно из ее блестящей статьи *Of Hirsutes and Insects: Joris Hoefnagel and The Art of The Wondrous* (*Word & Image*. 1995. Vol. 11, no. 4. P. 373–390). Дополнительно см. ее же работы: *Joris Hoefnagel and The Four Elements: A Study in Sixteenth-Century Nature Painting: unpb. Ph. D. dissertation*. Princeton University, 1984; и в соавторстве с Теей Вигно-Вилберг (Thea Vignau-Wilberg): *Mira calligraphiae monumenta: A Sixteenth-Century Calligraphic Manuscript Inscribed by Georg Bocskay and Illuminated by Joris Hoefnagel*. Malibu: J. Paul Getty Museum, 1992. Также см. превосходное, снабженное контекстом описание Хуфнагеля и его сына Якоба в: *Vignau-Wilberg Thea. Archetyra studiaque patris Georgii Hoefnagelii (1592): Nature, Poetry and Science in Art Around 1600*. Munich: Staatliche Graphische Sammlung, 1994.

[138](#) Цит. по: *Vignau-Wilberg. Excursus: Insects // Archetyra*. Vol. 37–43, 42, n. 14. Том Моффета составлен из энтомологических заметок швейцарского натуралиста Конрада Геснера, а также работ лондонцев Томаса Пенни и Эдварда Уоттона. См.: *Topsell Edward. The History of Four-Footed Beasts and Serpents*. Vol. 3: *The Theatre of Insects or Lesser Living Creatures by Thomas Moffet*. London: 1658; reprinted: New York: De Capo, 1967. Геснер задумывал обозреть насекомых в шестом, последнем томе своей *Historia animalium*, но в 1565 году скончался, успев завершить лишь короткий раздел о скорпионах. О Моффете см.: *Dawbarn Frances. New Light on Thomas Moffet: The Triple Roles of an Early Modern Physician, Client and Patronage Broker // Medical History*. 2003. Vol. 47, no. 1. P. 3–22.

[139](#) *Moffet. Theatre of Insects; Epistle Dedicatory*. P. 6.

[140](#) *Beier Max. The Early Naturalists and Anatomists During The Renaissance and Seventeenth Century // History of Entomology / Ray F. Smith, Thomas E. Mittler, and Carroll N. Smith, eds. Palo Alto, CA: Annual Reviews, Inc., 1973. P. 81–94.*

Интересный пространный рассказ об Альдрованди см. в: *Findlen. Possessing Nature*; конкретно в связи с исследованиями насекомых см.: *Vignau-Wilberg. Excursus: Insects*.

[141](#) *Hendrix. Of Hirsutes and Insects. P. 382.*

[142](#) *Vignau-Wilberg. Excursus: Insects. P. 39.* См. также, для сравнения, исследование сходного, но гораздо более древнего интереса к миниатюризации в Восточной Азии: *Stein Rolf A. The World in Miniature; Container Gardens and Dwellings in Far Eastern Religious Thought / trans. Phyllis Brooks. Palo Alto: Stanford University Press, 1990; JullienFrancois. The Propensity of Things: Toward a History of Efficacy in China / trans. Janet Lloyd. New York: Zone Books (особенно с. 94–98).*

[143](#) См.: *Evans R. J. W. Rudolf II and His World: A Study in Intellectual History 1576–1612. London: Thames and Hudson, 1973; Kaufman Thomas DaCosta. The School of Prague: Painting at The Court of Rudolf II. Chicago: University of Chicago Press, 1988.*

[144](#) *Kaufmann. The Mastery of Nature. P. 48.*

[145](#) В этом смысле Хуфнагеля можно считать эйренистом. См.: *Kaufmann. The Mastery of Nature. P. 92–93.*

[146](#) О том, каким образом различные типы эпистемологии, которые в современном понимании кажутся взаимопротиворечащими, могли плодотворно сосуществовать в учености в конце XVI века, см. глубокое описание Джона Ди у Стивена Гринблатта (*Stephen Greenblatt*) в *Sir Walter Raleigh: The Renaissance Man and his Roles* (New Haven: Yale University Press, 1973), *Frances Yates; Anthony Grafton*; в других работах о Ди и т. п.

[147](#) *Evans. Rudolf II and His World. P. 248.* Разрядка снята.

[148](#) *Bacon Francis. Sylva sylvarum: or a Naturall Historie or a Naturall History in Ten Centuries. London, 1626. Century vii, 143.* Мэри Пуви убедительно доказывает, что эмпирическая «революция» Бэкона касалась скорее стиля, чем содержания, хотя это не умаляет ее эффективности. *Poovey Mary. A History of The Modern Fact: Problems of Knowledge in The Sciences of Wealth and Society. Chicago: Chicago University Press, 1998. P. 10–11.*

[149](#) *Daston Lorraine. Attention and The Values of Nature in The Enlightenment // The Moral Authority of Nature / ed. Lorraine Daston and Fernando Vidal. Chicago: University of Chicago Press, 2004. P. 100–126; Hendrix. Of Hirsutes and Insects. Об изумлении в связи с исследованиями обеих Америк см.: Greenblatt Stephen. Marvelous Possessions: The Wonder of The New World. Chicago: University of Chicago Press, 1991. О елизаветинской Англии, где (не)естественные происшествия обычно осмыслялись в терминах зловещих аналогий, см.: Tillyard E. M. W. The Elizabethan World Picture. London: Chatto & Windus, 1943; а также первые главы книги: Thomas Keith. Man and The Natural World: A History of The Modern Sensibility. New York: Pantheon, 1983.*

[150](#) *Moffet. Theatre of Insects // Epistle Dedicatory. P. 3.*

[151](#) *Daston Lorraine, Park Katherine. Wonders and The Order of Nature, 1150–1750. New York: Zone Books, 1998. P. 14.*

[152](#) *Daston, Park. Wonders. P. 167.* Также см.: *The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe / Oliver Impey*

and Arthur MacGregor, eds. New York: Clarendon Press, 1985; *Merchants and Marvels: Commerce, Science, and Art in Early Modern Europe* / Pamela H. Smith and Paula Findlen, eds. New York: Routledge, 2001; *Findlen Paula. Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy*. Berkeley: University of California Press, 1994.

[153](#) Впрочем — и об этом очевидно свидетельствует скрупулезное внимание Хуфнагеля к морфологии — было бы ошибкой считать, что это был разрыв между новой наукой и старой суеверностью. Краткое и дельное введение в свежие исследования этого вопроса ищите в: *Shapin Steven. The Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

[154](#) А именно: «в каждом произведении природы найдется нечто, достойное удивления» (*Аристотель. О частях животных*).

[155](#) См.: *Grant Edward. Aristotelianism and The Longevity of The Medieval World View // History of Science*. 1978. Vol. 16. P. 95–106. Мы можем распространить это утверждение даже на алхимиков, хотя, как разъясняет Эванс, «их „Аристотель“ был мудрецом-мистиком» (*Evans. Rudolf II and His World*. P. 203, n. 2).

[156](#) *Scarborough John. On The History of Early Entomology, Chiefly Greek and Roman With a Preliminary Bibliography // Melsheimer Entomological Series*. 1979. Vol. 26. P. 17–27. Хотя в современной систематике ему нет ни одного подходящего аналога, аристотелевский *entomon* походил на современный филум *Arthropoda* — членистоногих — больше, чем на класс *Insecta* — насекомых. Наряду с такими аномалиями, как черви, он включал в себя современных *insecta*, *arachnids* (паукообразных) и *myriapoda* (многоножек и двупарноногих), хотя и не включал в себя ракообразных. Обзорные сведения см.: *Morge Günter. Entomology in The Western World in Antiquity and in Medieval Times // History of Entomology / Smith et al.* P. 37–80; *Weiss Harry B. The Entomology of Aristotle // Journal of The New York Entomological Society*. 1929. Vol. 37. P. 101–109; *Davies Malcolm, Kathirithamby Jeyaraney. Greek Insects*. Oxford: Oxford University Press, 1986. Переход к морфологии, осуществленный Линнеем, изгнал червей, пауков, скорпионов, сороконожек, многоножек и прочих в другие классы. Детальное описание таксономических критериев, которыми руководствовались Аристотель и Линней, см.: *Atran Scott. Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

[157](#) *Ibid.*, 38.

[158](#) *Lloyd G. E. R. Science, Folklore and Ideology: Studies in The Life Sciences in Ancient Greece*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 18.

[159](#) Эти примеры взяты мной из книги Морге: *Morge. Entomology in The Western World*.

[160](#) В 1688 году Франческо Реди провел знаменитую серию экспериментов: несколько сосудов, в которых лежало мясо, были закрыты разными крышками. Личинки мух появились только в тех сосудах, куда могли проникать мухи; так был нанесен сильный, хоть и не смертельный, удар по теории спонтанного самозарождения. Собственно, вопрос оставался открытым еще долгое время после того, как началось широкое пользование микроскопами. Только

эксперименты Пастера в 1859 году решительно перевели этот спор из плоскости философии в плоскость эксперимента.

[161](#) *Kaufman*. The Mastery of Nature. P. 42; *Vignau-Wilberg*. Excursus: Insects. P. 40–41.

[162](#) *Grant*. Aristotelianism. P. 94–95.

[163](#) *Hendrix*. Of Hirsutes and Insects. P. 380–382.

[164](#) *Ibid*. P. 378.

[165](#) *Montaigne Michel de*. Of Cannibals (1578–1580) // The Complete Works / trans. Donald M. Frame. New York: Everyman's Library, 2003. P. 182–193.

[166](#) Опубликовано посмертно в 1642 году. См.: *Hendrix*. Of Hirsutes and Insects. P. 377. В этом смысле семейство Гонсалес заняло свое место в истории выставлений напоказ и освидетельствований, которым подвергались всевозможные «ненормативные другие», которых привозили в Европу в колониальный период. Дельные описания широкоизвестных примеров (коих много) см., например, у Лонды Шибингер (*Londa Schiebinger*); описание Сары Бартман, так называемой готтентотской Венеры, в *Nature's Body: Gender in The Making of Modern Science* (New York: Beacon, 1995). См. также: *Bradford Phillips Verner*. Ota Benga: The Pygmy in The Zoo. New York: St. Martin's Press, 1992.

[167](#) *Hendrix*. Of Hirsutes and Insects.

[168](#) *Hendrix Lee*. The Writing Model Book // *Hendrix, Vignau-Wilberg*. *Mira calligraphiae monumenta*. P. 42.

[169](#) Фрейзер отличает «гомеопатическую магию» от «контагиозной магии», основываясь на том, что он называет законом контакта: вторая действует на субстанции, такие как волосы или обрезки ногтей, взятые с самого тела — объекта магии, а не на подобие тела. См.: *Frazer James George*. *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*. Vol. 3. London: MacMillan, 1911–1915. P. 55–119.

[170](#) Р. Дж. У. Эванс разъясняет это так: «Целью подобной философии было не только описание скрытых сил природы, но и власть над ними, поскольку тот посвященный, который понимает их могущество, может также и применять свои познания. Это занятие представляло собой магию, и всё же — как ее сторонники никогда не переставали объяснять — магия была „естественной“, а не „черной“, ибо вдохновение, благодаря которому она была возможна, было Божественным, а не сатанинским» (*Rudolf II and His World*. P. 197).

[171](#) *Frazer*. *Golden Bough*. Vol. 3. P. 118.

[172](#) *Ibid*. P. 55, 56.

[173](#) *Taussig Michael*. *My Cocaine Museum*. Chicago: University of Chicago Press, 2004. P. 80. *Benjamin Walter*. *On The Mimetic Faculty // Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings* / ed. Peter Demetz, trans. Edmund Jephcott. New York: Schocken Books, 1986. P. 333–336. См. также более тонкий, оказавший огромное влияние на другие работы, анализ в: *Taussig*. *Mimesis and Alterity: A Particular History of The Senses*. New York: Routledge, 1993.

[174](#) *Kaufmann Thomas DaCosta*. *The Mastery of Nature: Aspects of Art, Science, and Humanism in The Renaissance*. Princeton: Princeton University Press, 1993. P. 79–99. Совершенно иной взгляд на эту картину, помещающий ее в контекст истории представлений о жуках в раннее Новое время, см.: *Cambefort*

*Yves. A Sacred Insect on The Margins: Emblematic Beetles in The Renaissance // Insect Poetics / Eric C. Brown, ed. Minneapolis: University of Minnesota, 2006. P. 200–222.*

[175](#) *Hendrix, Vignau-Wilberg. Mira calligraphiae monumenta.*

[176](#) [«Theses» and «One-Way Street»]

[177](#) [«Work of Art»]

[178](#) *Kaufmann. Mastery of Nature. P. 38–48.*

[179](#) *Appelfeld Aharon. The Iron Tracks / trans. Jeffrey M. Green. New York: Random House, 1999.*

[180](#) Речь перед офицерами СС 24 апреля 1943 года в Харькове (Украина). Перепечатана в: *United States Office of Chief of Counsel for The Prosecution of Axis Criminality // Nazi Conspiracy and Aggression: 11 vols. Washington, D. C.: United States Government Printing Office, 1946. Vol. 4. P. 572–578, 574.*

[181](#) Живя в эмиграции в Великобритании и США, Шик неустанно прилагал усилия для того, чтобы привлечь широкое внимание к событиям в Европе. Он дружил с Владимиром Жаботинским, а позднее с Питером Бергсоном (Гиллелем Куком) и поставил свой талант на службу ревизионистам — движению, которое основывалось на принципе суверенного, единого Еврейского государства и вначале ратовало за еврейскую армию, затем за открытую иммиграцию в Палестину и всё время в интересах военизированного формирования «Иргун». См.: *Luckert Stephen. The Art and Politics of Arthur Szyk. Washington, D. C.: United States Holocaust Memorial Museum, 2002; Ansell Joseph P. Arthur Szyk's Depiction of The 'New Jew': Art as a Weapon in The Campaign for an American Response to The Holocaust // American Jewish History. 2001. Vol. 89. P. 123–134.*

[182](#) Кристофер Браунинг приводит весьма примечательную статистику: более 50% убитых нацистами погибли за одиннадцать месяцев, с марта 1942-го по февраль 1943-го (*Browning Christopher R. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and The Final Solution in Poland. New York: HarperCollins, 1992. P. xv*). К тому времени, когда власти США, поддавшись нажиму, признали факты, имевшие место по ту сторону Атлантики, судьба европейского еврейства была фактически предрешена.

[183](#) Оба эти изображения рассматриваются в интереснейшей и всеобъемлющей работе: *Cohen Richard I. Jewish Icons: Art and Society in Modern Europe. Berkeley: University of California Press, 1998. P. 221–230.* Как отмечает Коэн, новаторство Носсига состояло в том, что он взял образ, который в то время был совершенно привычным, и вложил в него совершенно иные чувства.

[184](#) *Evans E. P. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals: The Lost History of Europe's Animal Trials. Boston: Faber, 1987 [1906]. P. 153;* цитаты приводятся по: *Döpler Jacob. Theatrum poenarum. Sonderhausen, 1693; Damhouder Jodocus. Praxis rerum criminalium. Antwerp, 1562.*

[185](#) *Sax Boria. Animals in The Third Reich: Pets, Scapegoats, and The Holocaust. New York: Continuum, 2000.*

[186](#) *Bein Alex. The Jewish Parasite: Notes on The Semantics of The Jewish Problem with Special Reference to Germany // Leo Baeck Institute Yearbook. 1964. Vol. 9. P. 1–40.* См. также: *Serres Michel. The Parasite / trans. Lawrence R. Schehr. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.*

[187](#) *Bein*. The Jewish Parasite. P. 12.

[188](#) *Haraway Donna J.* When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. P. 78.

[189](#) *Mamdani Mahmood*. When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and The Genocide in Rwanda. Princeton: Princeton University Press, 2001. P. 13. Аргументы этого типа в отношении Холокоста см.: *Perry Marvin, Schweitzer Frederick M.* Antisemitism: Myth and Hate from Antiquity to The Present. New York: Palgrave, 2002. P. 2–3; *Goldhagen Daniel J.* Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and The Holocaust. New York: Knopf, 1996. P. 71.

[190](#) Такая «инсентификация», как в этой цитате из издававшейся «Силой хуту» газеты *Kangura* от января 1994 года, была обычной чертой геноцида в Руанде. Цитата из: *Oyog Angeline*. Human Rights-Media: Voices of Hate Test Limits of Press Freedom // Inter-Press Service. 5 April 1995; цит. по: *Mamdani*. When Victims Become Killers. P. 212.

[191](#) *Almog*. A Reappraisal. P. 1.

[192](#) Основной мишенью Еврейской боевой организации была печально известная еврейская полиция. См.: *Krall Hanna*. Shielding The Flame: An Intimate Conversation with Dr. Marek Edelman, The Last Surviving Leader of The Warsaw Ghetto Uprising / trans. Joanna Stasinska and Lawrence Weschler. New York: Henry Holt, 1986. P. 50; *Levy-Barzilai Vered*. The Rebels Among Us // Haaretz Magazine. 2006. October 13. P. 18–22. Леви-Барзилай подсчитал, что подпольем Варшавского гетто были казнены в общей сложности тридцать три еврея. Благодарю Ротема Джеву за то, что он привлек мое внимание к этому источнику.

[193](#) *Cohen*. Jewish Icons. P. 227.

[194](#) *Nossig Alfred*. Proba rozwiazania kwestji zydzowskiej = An Attempt to Solve The Jewish Question. Lvov, 1887; цит. по: *Mendelsohn*. From Assimilation to Zionism. P. 531.

[195](#) *Czerniakow*. The Warsaw Diary. P. 84.

[196](#) *Zylberberg*. The Trial of Alfred Nossig. P. 44.

[197](#) *Hart*. Social Science. P. 35; см.: *Ruppin*. Memoirs, Diaries, Letters. P. 74–76.

[198](#) *Efron*. 1911. P. 295.

[199](#) Вирхов был выдающимся политиком-либералом и основателем немецкой антропологии. Его выводы шли вразрез с убежденностью в антропологической и патологической отличительности евреев и были восприняты с большим скептицизмом. См.: *Efron*. Defenders of The Race. P. 24–26; *Mosse*. Towards The Final Solution. P. 90–93; *Massin Benoit*. From Virchow to Fischer: Physical Anthropology and «Modern Race Theories» in Wilhelmine Germany // *Volksgeist as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and The German Anthropological Tradition* / George W. Stocking, ed. Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 79–154.

[200](#) *Hart*. Racial Science, Social Science. P. 275–276. Обширный анализ понятия «вырождение» как нарративного дополнения к теориям эволюции см.: *Pick*. Faces of Degeneration.

[201](#) Лаконичное описание политических аспектов этого диспута см.: *Proctor. Racial Hygiene*. P. 30–38, где указано, что антисемиты считали ламаркизм еврейской доктриной.

[202](#) Подробно об этом в отношении Германии см.: *Weiss Sheila Faith. The Race Hygiene Movement in Germany // Osiris*. 1987. Vol. 3. P. 193–226.

[203](#) Суть в том, что логика евгеники XIX и начала XX века могла не только подкреплять антимилиитаристские платформы (на войне гибнут ресурсы для продолжения рода — сильные молодые мужчины), но и превращаться в фундамент платформ, ратовавших за социальное обеспечение и основанных на классах. Об этом см.: *Nye Robert A. The Rise and Fall of The Eugenics Empire: Recent Perspectives on The Impact of Biomedical Thought in Modern Society // The Historical Journal*. 1993. Vol. 36. P. 687–700.

[204](#) *Nossig Alfred. Die Bilanz des Zionismus = The Balance Sheet of Zionism*. Basle, 1903. S. 21. Цит. по: *Almog. Alfred Nossig*. P. 9.

[205](#) Здесь я оставляю в стороне запутанную историю изменчивых взаимоотношений между немецкими евреями и «восточными евреями», в ходе которой локация еврейского вырождения постепенно смещалась с *Ostjuden* на диаспору в более широком смысле, а также роматическую критику психопатологизирующего воздействия современности на евреев Запада. В глазах многих сионистов восточные евреи становятся как олицетворением патологии (втрое угнетенные антисемитизмом, нищетой и ортодоксальным раббинатом), так и, несколько позже, выражением позитивной стороны подлинного *Judentum* по контрасту с западноевропейскими евреями, которые осовременились и «деэтнизировались». См. революционную работу: *Aschheim Steven E. Brothers and Strangers: The East European Jew in German and German-Jewish Consciousness, 1800–1923*. Madison: University of Wisconsin Press, 1982.

[206](#) Впрочем, конечно, многие евреи (причем не только религиозные) полагали, что высказывания Маркса «Политическая эмансипация иудея... есть эмансипация государства от иудейства» («К еврейскому вопросу») и Каутского «Чем быстрее исчезнет [иудаизм], тем лучше будет не только для общества, но и для самих евреев» («Раса и еврейство») — приглашение к чему-то вроде истребления.

[207](#) См.: *Nossig Alfred. Zionismus und Judenheit: Krisis und Lösung = Zionism and Jewry: Crisis and Solution*. Berlin: Interterritorialer Verlag «Renaissance», 1922. S. 17.

[208](#) См.: *Kolatt Israel. The Zionist Movement and The Arabs // Zionism and The Arabs: Essays/ Shmuel Almog, ed. Jerusalem: Historical Society of Israel, 1983*. P. 1–34.

[209](#) *Almog. Alfred Nossig*. P. 22. Вероятно, это предложение было сделано на основе соглашения Хаавара (оно же соглашение о трансфере), благодаря которому шестьдесят тысяч евреев смогли покинуть Германию с ноября 1933 года по декабрь 1939-го (то есть вскоре после того, как СС взяли еврейскую «эмиграцию» под прямой контроль). Это соглашение позволяло переводить часть стоимости имущества эмигрантов «Еврейскому агентству для Палестины» в форме немецких товаров, якобы эквивалентных по цене.

[210](#) *Edelman Marek*. The Ghetto Fights // The Warsaw Ghetto: The 45th Anniversary of The Uprising / Tomasz Szarota, ed. Warsaw: Interpress Publishers. P. 22–46, 39.

[211](#) *Krall*. Shielding The Flame. P. 15. Публикация мемуаров Эдельмана в 1977 году стала важным моментом в пересмотре холокоста в Польше. Первый тираж — десять тысяч экземпляров — разошелся за несколько дней, и Эдельман, который позднее сделался активистом «Солидарности», стал, сам того не желая, знаменитостью.

[212](#) Этот образ и его связь с Эдельманом я позаимствовал из авторитетной работы: *Weindling Paul Julian*. Epidemics and Genocide in Eastern Europe, 1890–1945. New York: Oxford University Press, 2000. P. 3. Именно Вейндлинг убедил меня: приравнивание евреев к вшам, о котором говорил Гиммлер, не только было общим местом в кругу нацистских лидеров, но и указывало на конкретный комплекс региональных историй и являлось легко опознаваемым кодом, в котором резюмировался конкретный спектр расовых политик и практик.

[213](#) *Ploetz Alfred*. Die Tüchtigkeit unsrer Rasse und der Schutz der Schwachen: ein Versuch über Rassenhygiene und ihr Verhältniss zu den humanen Idealen, besonders zum Socialismus. Berlin: S. Fischer, 1895. Фраза взята из: *Proctor*. Racial Hygiene. P. 15. Я не хочу упрощать политику немецкой расовой гигиены, утверждая, что она с самого начала была открыто расистским начинанием. Как стараются разьяснить все истории того периода, евгеника была достаточно гибкой, чтобы притягивать мыслителей всего политического спектра. Ее немецкий вариант первоначально представлял собой более-менее обычное евгеническое движение, которое вторило современным тенденциям в других европейских странах, тоже заботясь об «улучшении» населения в целом, — то есть оно делало упор на человеческой расе, а не на конкретных расах. В те первые годы последствия такой политики для гендера (через размножение) были более значимыми, чем для конкретных расовых групп. Однако в Германии, как и в Великобритании, в этих первых проявлениях вполне очевидно имелась подспудная нордическая тенденция — как институционально организованная, так и зарождавшаяся в теоретическом отношении. Более того, в то время как Носсиг подчеркивал положительную роль государства в усовершенствовании здравоохранения, Плоц предлагал логику негативной политики — например, прекращение медицинской помощи слабым и иным нежелательным лицам. К 1918 году немецким движением за расовую гигиену завладели консервативные националисты, которые позднее заняли должности в медицинской иерархии нацистского государства. Скрупулезные описания см.: *Aly Götz, Chroust Peter, Pross Christian*. Cleansing The Fatherland: Nazi Medicine and Racial Hygiene / trans. Belinda Cooper. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994; *Proctor*. Racial Hygiene; *Weindling*. Health, Race, and German Politics; *Weiss Sheila Faith*. The Racial Hygiene Movement // Race Hygiene and National Efficiency: The Eugenics of Wilhelm Schallmayer. Berkeley: University of California Press, 1987; в связи с немецкой антропологией см.: *Proctor*. From Anthropologie to Rassenkunde; *Massin*. From Virchow to Fischer.

[214](#) Многие из этих подробностей сейчас широко известны, хотя отрицание и пересмотр холокоста теперь всё больше в ходу. См., например: *Adam Uwe*



*Dietrich*. The Gas Chambers // *Furet*. Unanswered Questions. S. 134–154; *Weindling*. Epidemics and Genocide. P. 301–303. Из шести нацистских лагерей смерти «Циклон Б» применялся только в Освенциме и Майданеке, где погибло примерно 20% евреев, уничтоженных при холокосте. В остальных четырех лагерях для умерщвления заключенных использовался угарный газ. Благодарю анонимного рецензента за это уточнение.

[215](#) См.: *Balibar Etienne*. Is There a «Neo-Racism?» // *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities* / Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein, ed. New York: Verso, 1991. P. 17–28, n. 8; также см. Зигмунта Баумана об антисемитизме как о «протеофобии» (*Allosemitism*, с. 143).

[216](#) Основной источник этих материалов — всеобъемлющая *Epidemics and Genocide* Вейндлинга, из которой я почерпнул многое для остальной части этого раздела.

[217](#) *Vidal-Naquet Pierre*. Assassins of Memory: Essays on The Denial of The Holocaust / trans. Jeffrey Mehlman. NY: Columbia University Press, 1992. P. 13; *Breitman*. Architect of Genocide. P. 6.

[218](#) Понятие, возрожденное Гитлером в *Mein Kampf*. См.: *Gilman Sander L*. The Jew's Body. New York: Routledge, 1991. P. 221.

[219](#) *Zinsser Hans*. Rats, Lice and History: Being a Biography, Which After Twelve Preliminary Chapters Indispensable for The Preparation of The Lay Reader, Deals With The Life History of Typhus Fever. Boston: Atlantic Monthly Press: Little, Brown, and Company, 1935; *Weindling*. Epidemics and Genocide. P. 8.

[220](#) «Концентрационные лагеря» (возможно, вдохновленные примером системы *reconcentrado*, установленной испанскими властями на Кубе в 1896 году) стали примечательной чертой колониального правления в Южной Африке. Название «концентрационные лагеря» пошло от тех лагерей, которые Китченер устроил для бурского гражданского населения, но самый печально знаменитый образчик, превзошедший лагеря Китченера, — дело рук немцев: лагеря для членов племени гереро, созданные в 1906 году и упраздненные в 1908-м под давлением либеральных церковных организаций и СДП в Берлине. Лаконичное описание см.: *Dedering Tilman*. «A Certain Rigorous Treatment of All Parts of The Nation»: The Annihilation of The Herero in German South West Africa, 1904 // *The Massacre in History* / Mark Levine and Penny Roberts, eds. New York: Berghan Books, 1999. P. 204–222. Тидерман старается (на мой взгляд, правомерно) различать эти лагеря подневольного труда и нацистские лагеря уничтожения; также он указывает на связи между действиями *Schutztruppe* в 1904–1906 годах в Намибии, направленными на геноцид, и действиями *Einsatzgruppen* на Восточном фронте в сороковые годы XX века. И всё же тот факт, что печально известный генерал Лотар фон Трота любил употреблять по отношению к гереро слово «истребление» [*Vernichtung*], вторит всё большему распространению этого термина благодаря популяризации прикладной биологии Коха и упрочивает связи между Востоком и Югом как местами, где немцы осуществляли геноцид. Подробную историю гереро см.: *Gewald Jan-Bart*. Herero Heroes: A Socio-Political History of The Herero of Namibia 1890–1923. Oxford: James Curry, 1999. Сходный аргумент, делающий упор на местах геноцидальной практики как местах исправительных работ в

колониях, угрожающий деисторизировать Шоа путем настояния на его *sui generis* (европейском генезисе), см.: *Gilroy Paul. Afterword: Not Being Inhuman // Modernity, Culture, and «The Jew»* / Bryan Cheyette and Lyn Marcus, eds. Stanford: Stanford University Press, 1998. P. 282–297.

[221](#) *Weindling. Epidemics and Genocide*. P. 19–30.

[222](#) См.: *Markel Howard. Quarantine! East European Jewish Immigrants and The New York City Epidemics of 1892*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

[223](#) Одним из примеров была немецкая кампания (в которой участвовали и еврейские врачи-модернизаторы) против использования женщинами микве — еврейского ритуального резервуара для омовения. См.: *Weindling. Epidemics and Genocide*. P. 42–43. Однако позднее мы видим, что дискурс меняется, и делается упор на уязвимости немцев перед заразой и врожденной сопротивляемости «восточных народов» (которые, согласно этому аргументу, выросли в оплоте болезней).

[224](#) *Weindling. Epidemics and Genocide*. P. 63–65.

[225](#) *Zinsser. Rats, Lice and History*. P. 297.

[226](#) *Weindling. Epidemics and Genocide*. P. 81–2.

[227](#) *Ibid.* P. 102.

[228](#) В области практической политики так реагировала не только Германия. Закон о чужестранцах, принятый в Великобритании в 1919 году, допускал осмотр и «обеззараживание» вновь прибывших. Дух времени в чем-то отражен в картинной характеристике Советской России, которую дал в 1920 году Черчилль, оправдывая поддержку белогвардейцев в Гражданской войне: антибольшевистские силы защищают Европу от «отравленной России, зараженной России, России, разносящей чуму, России вооруженных орд, которые не только разят штыками и пушками: вместе с ними и впереди них идут стаи вредителей — переносчиков тифа, губительные для человеческого тела, и политические доктрины, губящие здоровье и даже души наций» (*Weindling. Epidemics and Genocide*. P. 130, 149).

[229](#) *Zinsser. Rats, Lice and History*. P. 299. Вэйндлинг делает важное наблюдение, что катастрофическая эпидемия и голод в России стали колоссальным полем экспериментов для немецких специалистов по тропической медицине, которые незадолго до этого потеряли объекты для медицинских наблюдений в колониях (*Epidemics and Genocide*. P. 177–178).

[230](#) *Czerniakow. The Warsaw Diary*. P. 228, 226, 236.

[231](#) *Almog. Alfred Nossig*. P. 22–24.

[232](#) *Czerniakow. Warsaw Diary*. P. 226, 103, 104.

[233](#) Цит. по дневнику Йонаса Туркова: *Zylberberg. The Trial of Alfred Nossig*. P. 44.

[234](#) См.: *Wagner David L. Caterpillars of Eastern North America*. Princeton: Princeton University Press, 2005.

[235](#) *Bolaño Roberto. 2666* / trans. Natasha Wimmer. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008. P. 713.

[236](#) Цит. по: *Newman Andy. Quick, Before It Molts* // *The New York Times*. 2006. August 8. P. F3–4.

[237](#) *Michelet Jules*. The Insect / trans. W. H. Davenport Adams. London: T. Nelson and Sons, 1883. P. 111.

[238](#) Ibid. P. 112–114.

[239](#) Ibid. P. 114.

[240](#) *Schiebinger Londa*. Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in The Atlantic World. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. P. 30. Мария Сибилла Мериан, в последние годы привлекая к себе огромное внимание, стремительно превращается, так сказать, в «Фриду Кало от естествознания». Я опирался на несколько ценных работ о ней, а больше всего взял из: *Davis Natalie Zemon*. Women on The Margins: Three Seventeenth-Century Lives. Cambridge, MA: Belknap: Harvard, 1995. См. также: *Todd Kim*. Chrysalis: Maria Sibylla Merian and The Secrets of Metamorphosis. New York: Harcourt, 2007.

[241](#) Ad lectorum // *Merian Maria Sibylla*. Metamorphosis insectorum Surinamensium. Amsterdam: Gerard Valck, 1705. Цит. по: *Davis*. Women on The Margins. P. 144.

[242](#) См.: The Lady Who Loved Worms // *Reischauer Edwin O., Yamagiwa Joseph K*. Translations from Early Japanese Literature. Cambridge: Harvard University Press, 1961. P. 186–195.

[243](#) *Jacob-Hanson Charlotte*. Maria Sibylla Merian: Artist-Naturalist // The Magazine Antiques. Vol. 158, no. 2 (August 2000). P. 174–183.

[244](#) *Schmidt-Linsenhoff Victoria*. Metamorphosis of Perspective: «Merian» as a Subject of Feminist Discourse // Maria Sibylla Merian: Artist and Naturalist 1647–1717 / ed. Kurt Wettengl, trans. John S. Southard. Ostfildern-Ruit: Hatje, 1998. P. 202–219, 214.

[245](#) *Michelet*. The Insect. P. 361.

[246](#) Благодарю Эдварда Каменса за обсуждение этого момента. См. также: *Marra*. Aesthetics of Discontent. P. 66.

[247](#) *Bachus*. Riverside Counselor's Stories. P. 53. Я включил в перевод Бакуса поправки Харуо Сиранэ; см. его рецензию в: Journal of Japanese Studies. 1987. Vol. 13, no. 1. P. 165–168, 167.

[248](#) Цит. по: *Bachus*. Riverside Counselor's Stories. P. 218.

[249](#) *Kafka Franz*. A Report to The Academy // The Transformation and Other Stories / trans. Malcolm Pasley. London: Penguin, 1992. P. 187, 190.

[250](#) *Frisch Karl von*. Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language. Ithaca: Cornell University Press, 1950. P. 53.

[251](#) Эту цитату можно найти в: *Gould James L*. Ethology. New York: W. W. Norton, 1983. P. 4. Эйлин Крист, не упоминая прямо о фон Фрише, тоже привлекла внимание к этому риторическому и эпистемологическому переходу от естествознания к классической этологии. В моей интерпретации фон Фриш — в некотором роде переходная фигура в схеме Крист, стоящая между Фабром (чьи труды — это исследования животных в «традиции *Verstehen*», как выражается Крист) и новым объективизмом Лоренца и Тинбергена. См.: *Crist Eileen*. Naturalists' Portrayals of Animal Life: Engaging The *Verstehen* Approach // Social Studies of Science. 1996. Vol. 26, no. 4. P. 799–838; *Eadem*. The Ethological Constitution of Animals as Natural Objects: The Technical Writings of Konrad

Lorenz and Nikolaas Tinbergen // *Biology and Philosophy*. 1998. Vol. 13, no. 1. P. 61–102.

[252](#) Аргумент, впервые детально разработанный самим Дарвином в «Происхождении человека» и «Выражении эмоций у человека и животных». Ценное описание см.: *Degler Carl N. In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought*. Oxford: Oxford University Press, 1991.

[253](#) Об Умном Гансе см.: *Hearne Vicki. Adam's Task: Calling Animals by Name*. NY: Vintage Books, 1982. Как повлияла эта история на развитие этологии? «Анализ обучения был сведен к простым ассоциациям „С-Р“ (стимул-реакция); до шестидесятых-семидесятых годов XX века... ученые старательно избегали гипотез о существовании у животных когнитивной деятельности более высокого уровня» (*Gould James L., Gould Carol Grant. The Honey Bee*. New York: Scientific American, 1988. P. 216).

[254](#) *Frisch Karl von. A Biologist Remembers* / trans. by Lisbeth Gombrich. Oxford: Pergamon Press, 1967. P. 149.

[255](#) Ibid.

[256](#) На эту тему см.: *Deichmann Ute. Biologists Under Hitler* / trans. by Thomas Dunlap. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. P. 10–58.

[257](#) *Von Frisch. A Biologist Remembers*. P. 71.

[258](#) Ibid. P. 57.

[259](#) Ibid. P. 72–73.

[260](#) *Gould and Gould. The Honey Bee*. P. 58.

[261](#) В своей монументальной истории первых этологов Ричард Буркхардт цитирует пассаж из книги фон Фриша *Du und das Leben* («Ты и жизнь»), научно-популярной книги по биологии, опубликованной в 1938 году в рамках серии, которая спонсировалась Геббельсом. Буркхардт пишет, что фон Фриш «завершил книгу разделом о расовой гигиене, выразив уже знакомое предостережение, что ослабление естественного отбора в высоких культурах влечет за собой сохранение видоизменений, которые в дикой природе были бы „безжалостно искоренены“». Он писал, что фактически это было равносильно «поощрению неполноценных» или, как он это сформулировал более резко: «Заплывший жиром или слепой человек обнаруживает, что его стол так же изобилен, как у любого другого» (*Burkhardt Richard W., Jr. Patterns of Behavior: Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, and The Founding of Ethology*. Chicago: University of Chicago Press, 2005. P. 248).

[262](#) *Von Frisch. A Biologist Remembers*. P. 129–130; *Deichmann. Biologists Under Hitler*. P. 45–46.

[263](#) *Von Frisch. A Biologist Remembers*. P. 25.

[264](#) Ibid. P. 141. Фон Фриш также признал, что вернуться к этому вопросу его убедила в том числе диссертация Хенкеля от 1938 года. См.: *Von Frisch. The Dance Language and Orientation of Bees*. P. 4–5 (далее DLOB).

[265](#) *Deacon Terrence W. The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and The Brain*. New York: W. W. Norton, 1997). P. 71. Дикон наводит глянец на лингвистику Пирса и его последователей. Хотя он предпочитает приберегать

символические референции для людей, кажется ясным, что танцы пчел отвечают конкретным критериям, которые он там обрисовывает.

[266](#) *Griffin Donald R.* *Animal Minds: Beyond Cognition to Consciousness*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2001. P. 190. Последующее описание языка пчел взято из нескольких источников в дополнение к превосходному синтетическому изложению у Гриффина. Среди этих источников: *Von Frisch Karl.* *The Dancing Bees: An Account of The Life and Senses of The Honey Bee* / trans. by Dora Isle and Norman Walker. New York: Harcourt, Brace & World, 1966; *Idem.* *Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language*. Ithaca: Cornell University Press, 1950; *Ibid.* *The Dance Language* (см. также великолепное предисловие Томаса Сили к этой книге); *Lindauer Martin.* *Communication Among Social Bees*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961; *How Honeybees Perceive Communication Dances, Studied by Means of a Mechanical Model* / A. Michelson, B. B. Anderson, J. Storm, W. H. Kirchner, and M. Lindauer // *Behavioral Ecology and Sociobiology*. 1992. Vol. 30. P. 143–150; *Seeley Thomas D.* *The Wisdom of The Hive: The Social Physiology of Honey Bee Colonies*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995; *Gould and Gould.* *The Honey Bee*.

[267](#) *Von Frisch.* DLOB. P. 57.

[268](#) Томас Сили предполагает, что теперь разумнее было бы называть все танцы «вливающими танцами». *Von Frisch.* DLOB. Foreword. P. xiii. О неоднозначности танцев см. также: *Wenner*, etc. и работу Гулда, имевшую решающее значение.

[269](#) *Von Frisch.* DLOB. P. 57.

[270](#) См., например: *The Acoustic Near Field of a Dancing Honeybee* / A. Michelson, W. F. Towne, W.H. Kirchner, and P. Kryger // *Journal of Comparative Physiology A*. 1987. Vol. 161. P. 633–643. Коммуникация у пчел оказалась намного сложнее, чем представлял себе даже фон Фриш. Мало того, что он не подозревал об этих акустических сигналах. Теперь складывается впечатление, что вливающий танец не однообразен на всем своем протяжении. Когда медоносные пчелы описывают танцем источник пищи, расположенный не далее чем в двух километрах, количество влианий брюшком и направление движения по прямой в каждом цикле значительно варьируются. Пчелы-последовательницы решают эту проблему, оставаясь рядом с танцовщицей на протяжении множества циклов и быстро вычисляя среднее значение, прежде чем вылететь к источнику пищи. *Gould and Gould.* *The Honey Bee*. P. 61–62.

[271](#) *Von Frisch.* *A Biologist Remembers*. P. 150.

[272](#) *Von Frisch.* DLOB. P. 132, fig. 114. Таким образом фон Фриш наглядно иллюстрирует эту практику.

[273](#) Эти материалы резюмированы в: *Lindauer.* *Communication*. P. 87–111.

[274](#) Здесь я не касаюсь многочисленных вариаций, терпеливо зафиксированных исследователями. Например, Линдауэр (*Communication*. P. 94–96) сообщает, что пчелы делают поправку на боковой ветер, меняя угол полета, но при возвращении в улей указывают товаркам оптимальное направление, а не тот маршрут, которым они летели в реальности.

[275](#) См., однако: *Grüter Christoph, Balbuena M.* *Sol, Farina Walter M.* *Informational Conflicts Created by The Waggle Dance* // *Proceedings of The*

Royal Society B: Biological Sciences. 2008. Vol. 275. P. 1321–1327; это важная статья об исследованиях, которые приводят к выводу, что подавляющее большинство пчел, наблюдающих за танцем, не действуют на основе «протанцованной» информации, предпочитая вместо этого вернуться к привычным источникам пищи, а не к новым. Хотя авторы отмечают, что пчелы контекстуально переключаются между «общественной информацией» (то есть полученной от танца) и «частной информацией» (то есть о месте, которое они уже посещали), они предполагают, что информация из танца чаще всего становится руководством к действию для пчел, которые какое-то время были неактивны либо только начинают заниматься добыванием корма. Далее мы встречаем уже привычное, но симптоматичное общее место исследований насекомых в целом: авторы заключают, что дальнейшие исследования «наверняка выявят, что виляющий танец регулирует коллективное добывание корма более замысловатым образом, чем считается ныне».

[276](#) Эти выводы энергично оспаривались Адрианом Веннером и его соавторами, которые десятки лет (впрочем, в итоге безуспешно) заявляли, что утверждения фон Фриша беспочвенны. Этот спор породил обширную литературу. Очень ценное изложение см.: *Munz Tania. The Bee Battles: Karl von Frisch, Adrian Wenner and The Honey Bee Dance Language Controversy // Journal of The History of Biology. 2005. Vol. 38, no. 3. P. 535–570.*

[277](#) *Von Frisch. DLOB. P. 109–129.*

[278](#) *Ibid. P. 27.*

[279](#) *Von Frisch. Bees. P. 85.*

[280](#) *Von Frisch. Dance Language. P. 32, 37 etc.* Его пчелы даже «стараятся изо всех сил на танцплощадке» (P. 265), но мы должны отметить, что он говорит о воде, а не о веселье на дискотеке.

[281](#) *Ibid. P. 133, 136.*

[282](#) *Seeley T. D., Kühnholz S., Seeley R. H. An early chapter in behavioral physiology and sociobiology: The science of Martin Lindauer // Journal of Comparative Physiology A. 2002. Vol. 188. P. 439–453, 441–442, 446.*

[283](#) Интервью, взятое у Мартина Линдауэра авторами, в: *Seeley et al. An early chapter. P. 445.*

[284](#) *Von Frisch. The Dancing Bees. P. 1.*

[285](#) *Ibid. P. 41.*

[286](#) *Seeley. Wisdom of The Hive. P. 240–244; Lindauer Martin. Communication Among Social Bees. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.*

[287](#) *Lindauer. Communication. P. 16–21.*

[288](#) Разумеется, таков и нарратив о роботизированном улье-конвейере, который фигурирует в столь многих вариантах социальных теорий, а именно знаменитая притча Маркса об архитекторе: «Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове» (*Marx Karl. Capital. Vol. 1. Moscow: Progress Publishers, 1965. P. 178*; благодарю Дона Мура за напоминание об этом фрагменте). Мне известны лишь два четких примера конкуренции внутри улья, и оба они имеют непосредственную функциональную ценность для колонии. Первый — изгнание трутней, которое я описываю ниже; второе —

регулируемая борьба за господство между молодыми пчелиными матками после того, как гнездо разделяется.

[289](#) *Schluerpmann Klaus*. Fehlanzeige des regimes in der Fachpresse? <http://www.aleph99.org/etusci/ks/t2a5.htm>.

[290](#) Цит. по: *Deichmann*. *Biologists Under Hitler*. P. 43. Мое описание этого эпизода опирается на более детальный рассказ Дейхманна, особенно на с. 40–48. Дополнительные материалы о поведении фон Фриша в нацистский период и особенно о его готовности действительно поддерживать уволенных коллег см.: *Seyfarth Ernst-August, Perzchala Henryk*. *Sonderaktion Krakau 1939: Die Verfolgung von polnischen Biowissenschaftlern und Hilfe durch Karl von Frisch // Biologie in unserer Zeit*. 1992. No. 4. S. 218–225. Благодарю Эрнста-Августа Сейфарта за то, что он показал мне эту работу, и Леандера Шнайдера за ее перевод.

[291](#) *Deichmann*. *Biologists Under Hitler*. О сочувственном отношении нацистов к благополучию животных см.: *Bramwell Anna*. *Ecology in The Twentieth Century*. New Haven: Yale University Press, 1989; *Sax Boria*. *Animals in The Third Reich: Pets, Scapegoats, and The Holocaust*. New York: Continuum, 2002.

[292](#) Хотя в то время связь Лоренца с нацизмом была широко известным фактом, после войны о ней постарались забыть, а Нобелевский комитет фактически изгладил память о ней. То, в какой мере Лоренц был предан нацистскому режиму, документировано лишь в последнее время. См. в особенности: *Deichman*. *Biologists Under Hitler*. P. 178–205; из этой книги я взял очень многое для этого фрагмента. Дейхманн хочет закрепить связь между современным этологическим взглядом на инстинкт (восходящим к трудам Лоренца) и фашистской политикой. См. также: *Kalikowa Theodora*. *Konrad Lorenz's Ethological Theory: Explanation and Ideology, 1938–1943 // Journal of The History of Biology*. 1983. Vol. 16, no. 1. P. 39–73; *Sax Boria*. What is a «Jewish Dog»? *Konrad Lorenz and The Cult of Wildness // Animals and Society*. 1997. Vol. 5, no. 1 (доступна в интернете по адресу <http://www.psyeta.org/sa/sa5.1/sax.html>); а также: *Burkhardt*. *Patterns of Behavior*.

[293](#) *Sax Boria, Klopfer Peter H*. Jakob von Uexküll and The Anticipation of Sociobiology // *Semiotica*. 2001. Vol. 134, nos. 1–4. P. 767–778, 770; *Haeckel Ernst*. *The Evolution of Man: A Popular Exposition of The Principal Points of Human Ontogeny and Phylogeny: 2 vols*. New York: Appleton, 1879.

[294](#) В таком случае еще более поразительно, что после войны фон Фриш и Тинберген не оставили его без поддержки. Тинберген, сидевший в концлагере и активно участвовавший в движении Сопротивления, в 1945 году писал одному американскому коллеге: «Неверно думать, что зверства совершались только меньшинством фанатиков из СС, СД или гестапо. Почти весь народ безнадежно отравлен». Лоренц тоже «довольно-таки заразился нацизмом», продолжал он, хотя «я лично пожалел бы, если бы [его] изгнали [из научного сообщества]. <...> Я всегда считал его честным и хорошим товарищем» (цит. по: *Deichman*. *Biologists Under Hitler*. P. 203–204).

[295](#) Единственный пример, который мне попался, — краткий и явно аномальный раздел книги *The Dancing Bees* под названием «Умственные способности пчелы». Фон Фриш (вероятно, потому, что он вынужден

затрагивать этот вопрос напрямую) решительно отдаляется от той симпатии, которой нагружены его труды в целом. «Поскольку их рамки чрезвычайно узки, мы не можем составить очень высокое мнение об умственных способностях пчелы» (с. 162). И всё же он закрывает тему более амбивалентно: «Никто не может с уверенностью утверждать, сознают ли пчелы какое-либо из своих собственных действий» (с. 164). См. также: *Griffin. Animal Minds*. P. 278–282.

[296](#) Это также перекинуло мостик к влиятельной феноменологии Якоба фон Иксюля — теории *Umwelt* (чувственного мира, в котором живут все существа).

[297](#) *Von Frisch. A Biologist Remembers*. P. 174.

[298](#) *Griffin. Animal Minds*. P. 203–211. Свое описание роения и выбора места для гнезда я взял в основном из работы Гриффина, а также из: *Lindauer. Communication; Gould and Gould. The Honey Bee; Seeley. Wisdom; Seeley et al. An Early Chapter*.

[299](#) *Lindauer. Communication*. P. 35.

[300](#) *Ibid.* P. 38.

[301](#) *Ibid.* P. 39–40.

[302](#) *Gould and Gould. The Honey Bee*. P. 66–67.

[303](#) *Ibid.* P. 67.

[304](#) *Ibid.* P. 66.

[305](#) *Ibid.* P. 65–66; *Griffin. Animal Minds*. P. 206–209.

[306](#) *Gould and Gould. The Honey Bee*. P. 65.

[307](#) *Griffin. Animal Minds*. P. 209.

[308](#) *Von Frisch Karl. Decoding The Language of The Bee // Science*. 1974. Vol. 185. P. 663–668.

[309](#) *Von Frisch. DLOB*. P. xxiii.

[310](#) *Ibid.* P. 105. Недоставало ответа на акустический сигнал «стоп», который подавали ей окружающие рабочие пчелы. С тех пор механические пчелы стали непременным атрибутом исследований пчел. См., например: *Michelson et al. How Honeybees Perceive Communication Dances*.

[311](#) *Wittgenstein Ludwig. Philosophical Investigations / trans. by I. E. Anscombe*. New York: Macmillan, 1953. P. 223. См. изложение в: *Wolfe Cary. In The Shadow of Wittgenstein's Lion: Language, Ethics, and The Question of The Animal // Zoontologies: The Question of The Animal / Cary Wolfe, ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003*. P. 1–57. Вулф напоминает нам о замечании Викки Хёрн, что афоризм Витгенштейна — «самое интересное заблуждение относительно животных, которое мне когда-либо попадалось» (*Hearne Vicki. Animal Happiness*. New York: HarperCollins, 1994. P. 167). Хёрн была философом и дрессировщицей, она блестяще писала о лошадях и собаках, а также других крупных млекопитающих, убедительно ратуя за коммуникативную практику «человек — нечеловек», которая формируется при чутье к несхожим сенсорным способностям (концепция, которая подспудно восходит к теории *Umwelt* у Якоба фон Иксюля). Об Уошо и семье Гарднер см.: *Haraway Donna J. Primate Visions: Gender, Race and Nature in The World of Modern Science*. New York: Routledge, 1989; *Hearne. Adam's Task*. P. 18–41.

[312](#) *Hearne. Animal Happiness*. P. 169.

[313](#) *Ibid.* P. 170.



[314](#) Схожие оценки см.: *Derrida Jacques*. The Animal That Therefore I Am / trans. David Wills. New York: Fordham University Press, 2008; *Calarco Matthew*. Zoographies: The Question of The Animal from Heidegger to Derrida. New York: Columbia University Press, 2008; *Wolfe*. Wittgenstein's Lion. Не столь унитарный взгляд см.: *Hacking Ian*. On Sympathy: With Other Creatures // Tijdschrift-voor-filosofie. 2001. Vol. 63, no. 4. P. 685–717; он начинает свою обратную генеалогию с Дэвида Юма. Благодарю Энн Столер за то, что она указала мне на эту важную статью.

[315](#) *Lacan Jacques*. Écrits: A Selection / trans. by Alan Sheridan. New York: W. W. Norton, 1977. P. 84. Цит. по: *Derrida*. The Animal. P. 123.

[316](#) И см. также краткое описание общественного характера медоносной пчелы у Джеймса Л. Гулда в его учебнике «Этология»: «Всякий [sic!] должен быть устроен одинаковым с другими образом и жить по одному и тому же своду правил, иначе общественная жизнь превратилась бы в анархию» (с. 406).

[317](#) Об этом различии см.: *Derrida*. And Say The Animal Responded?

[318](#) *Ingold*. Evolution. P. 304; цитируется С. Ф. Hockett.

[319](#) *Deacon*. The Symbolic Species. P. 22. Очевидно, о когнитивных способностях и языке животных имеется колоссальная литература. Обзор ситуации в этологии см.: *The Cognitive Animal: Empirical and Theoretical Perspectives on Animal Cognition* / Marc Bekoff, Colin Allen, and Gordon M. Burghardt, eds. Cambridge: MIT Press, 2002; инновационное междисциплинарное изложение словами биоантрополога см.: *Deacon*. Op. cit. Дикон утверждает, что овладение языком и его использование с легкостью — ключевое отличие людей от других животных, в том числе от приматов. На его взгляд, именно это отличие — залог достижений людей; люди, утверждает он, в биологическом смысле имеют преемственность с другими видами, но в ментальном смысле отличаются от них.

[320](#) *Von Frisch*. DLOB. P. 278–284.

[321](#) *Derrida*. The Animal. Об аристотелевском «дитяти природы» как образе в экспансии европейцев в XVI веке см.: *Pagden Anthony*. The Fall of Natural Man: The American Indian and The Origins of Comparative Ethnology. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1986.

[322](#) *Sebald W. G. Austerlitz* / trans. by Anthea Bell. New York: Random House, 2001. P. 94.

[323](#) *Knodt Eva M*. Foreword // *Luhmann Niklas*. Social Systems / trans. John Bednarz, Jr. with Dirk Baecker. Stanford: Stanford University Press, 1995. P. xxxi. Цит. по: *Wolfe*. Wittgenstein's Lion. P. 34.

[324](#) *Atran Scott*. A Leaner, Meaner Jihad // The New York Times. 2004. March 16.

[325](#) *Alpha Gado Boureima*. Une histoire des famines au Sahel: étude des grandes crises alimentaires, XIXe-XXe siècles. Paris: L'Harmattan, 1993. См. также: *Watts Michael*. Silent Violence: Food, Famine and Peasantry in Northern Nigeria. Berkeley: University of California Press, 1983; *Rowley John, Bennett Olivia*. Grasshoppers and Locusts: The Plague of The Sahel. London: The Panos Institute, 1993.

[326](#) *Achebe Chinua*. Things Fall Apart. London: Heinemann, 1976. P. 39–40.

[327](#) *Ibid*. P. 97–98.

[328](#) *Anza Souleymane*. Niger Fights Poverty After Being Taken by Shame. 2001. 19 January. URL: [http://www.afrol.com/News2001/nir001\\_fight\\_poverty.htm](http://www.afrol.com/News2001/nir001_fight_poverty.htm); также: *Mousseau Frederic, Mittal Anuradha*. Sahel: A Prisoner of Starvation? A Case Study of The 2005 Food Crisis in Niger. Oakland, CA: The Oakland Institute, 2006.

[329](#) Нигер — одна из восьми западноафриканских стран, где национальной валютой служит западноафриканский франк КФА, номинально привязанный к евро.

[330](#) Всеобъемлющую информацию о видах и сдерживании *crickets* можно найти на сайте CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement; <http://www.cirad.fr/fr/index.php>). См. также: *Rowley, Bennet*. Grasshoppers and Locusts; *Joffe Steen R*. Desert Locust Management: A Time for Change // World Bank Discussion Paper. No. 284. April 1995.

[331](#) Текущие исследования наводят на вывод, что в этом участвует и нейромедиатор серотонин. См.: Serotonin Mediates Behavioral Gregarization Underlying Swarm Formation in Desert Locusts / Michael L. Anstey, Stephen M. Rogers, Swidbert R. Ott, Malcolm Burrows, and Stephen J. Simpson // Science. Vol. 323. no. 5914 (30 January 2009). P. 627–630.

[332](#) Более детальное описание, на которое я сильно опирался в этом фрагменте, см.: *Dingle Hugh*. Migration: The Biology of Life on The Move. New York: Oxford University Press, 1996. P. 272–281; а также классическую работу о саранче: *Uvarov Boris Petrovich*. Grasshoppers and Locusts: A Handbook of General Acridology. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.

[333](#) Если не считать того, что в США это аномальное именование периодических цикад.

[334](#) *Keats John*. On The Grasshopper and Cricket (1816).

[335](#) *Cheke R. A*. A Migrant Pest in The Sahel: The Senegalese Grasshopper *Oedaleus senegalens* // Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 1990. Vol. 328. P. 539–553.

[336](#) *Cheke*. A Migrant Pest in The Sahel. P. 550.

[337](#) *Lecoq Michel*. Recent progress in Desert and Migratory Locust management in Africa. Are preventative Actions Possible? // Journal of Orthoptera Research. 2001. Vol. 10, no. 2. P. 277–291; *Joffe*. Desert Locust Management; *Rowley, Bennett*. Grasshoppers and Locusts.

[338](#) *Alpha Gado*. Une histoire des famines au Sahel. P. 49.

[339](#) *Joffe*. Desert Locust Management; *Mousseau, Mittal*. Sahel: A Prisoner of Starvation?; *Rowley, Bennett*. Grasshoppers and Locusts.

[340](#) См.: *Grégoire Emmanuel*. The Alhazai of Maradi: Traditional Hausa Merchants in a Changing Sahelian City / trans. Benjamin H. Hardy. Boulder: Lynne Rienner, 1992.

[341](#) Детальный и глубокий анализ этих колониальных фискальных стратегий, их долговременных траекторий и воздействия на современную ситуацию см.: *Roitman Janet*. Fiscal Disobedience: An Anthropology of Economic Regulation in Central Africa. Princeton: Princeton University Press, 2004.

[342](#) *Cooper*. Marriage in Maradi. P. xxxv.

[343](#) См.: *Cooper Barbara M.* Anatomy of a Riot: The Social Imaginary, Single Women, and Religious Violence in Niger // *Canadian Journal of African Studies*. 2003. Vol. 37, nos. 2–3. P. 467–512.

[344](#) *Grégoire.* The Alhazai of Maradi. P. 11, 92.

[345](#) Ввиду недавнего роста интереса к атомной энергии как к «экологически чистому» источнику энергии, иссякания запасов в США и ЕС, а также стремительного строительства большого числа АЭС, которые должны в ближайшие десять лет появиться в Азии и Европе, цены на уран сильно подскочили, что становится для правительства Нигера дополнительным стимулом для урегулирования проблемы с мятежом туарегов.

[346](#) *Loyn David.* How Many Dying Babies Make a Famine? 2005. August 10. URL: <http://ews.bbc.co.uk/2/hi/africa/4139174.stm>. Также см.: Editor's Instinct Led to Story. 2005. August 2. URL: [http://news.bbc.co.uk/newswatch/ifs/hi/newsid\\_4730000/newsid\\_4737600/4737695.stm](http://news.bbc.co.uk/newswatch/ifs/hi/newsid_4730000/newsid_4737600/4737695.stm).

[347](#) См. описание «экстравертности»: *Bayart Jean-François.* The State in Africa: The Politics of The Belly / trans. Mary Harper, Christopher Harrison, and Elizabeth Harrison. London: Longman, 1993. Благодарю Габриэль Попофф за тонкие переводы и научную работу для этой главы, а Риккардо Инноченти — за его воспоминания о *festa*.

[348](#) *Spicer Dorothy Gladys.* Festivals of Western Europe. NY: H. W. Wilson, 1958. P. 97–98.

[349](#) *Goethe.* Italian Journey [1786–1788] / trans. W. H. Auden and Elizabeth Mayer. London: Penguin Books, 1962. P. 117.

[350](#) Peter Dale.

[351](#) *Leopardi Giacomo.* Zibaldone dei pensieri. Vol. I / ed. Rolando Damiani. Milan: Arnoldo Mondadori Editore S. P. A, 1997. P. 189. Развитие этой мысли в отношении птиц см.: *Rothenberg David.* Why Birds Sing: A Journey Into The Mystery of Birdsong. New York: Basic Books, 2006 (особенно интереснейший рассказ о биологе Уоллесе Крейге на с. 123–128). Искренне благодарю Габриэль Попофф за перевод большей части итальянских текстов в этой главе и ее дополнительный глубокий вклад в работу.

[352](#) Здесь я многое беру из информативного введения Джека Зайпса к: *Collodi Carlo.* Pinocchio / trans. Mary Alice Murray. London: Penguin, 2002. P. ix–xviii.

[353](#) *Collodi.* Pinocchio. 4.

[354](#) *Lapini Agostino.* Diario fiorentino dal 252 al 1596 / ed. Gius. Odoardo Corazzini. Florence: G. C. Sansoni, Editore, 1900. P. 217.

[355](#) *Toor Frances.* Festivals and Folkways of Italy. New York: Crown Publishers, 1953. P. 245. Поют только самцы, как и у шанхайских бойцовых сверчков.

[356](#) Краткую историю Парко делла Кашине и *festa* см.: *Macadam Alta.* Florence. London: Somerset Books, 2005. P. 265; *Dugo Cinzie.* The Cricket Feast. URL: <http://www.florence-concierge.it>; *Gatteschi Riccardo.* La festa del grillo. URL: [http://www.coopfirenze.it/info/art\\_2899.htm](http://www.coopfirenze.it/info/art_2899.htm).

[357](#) *Philipp Feliciano*. Protection of Animals in Italy. Rome: National Fascist Organization for The Protection of Animals, 1938. P. 5, 9, 8, 4.

[358](#) *Bramwell*. Ecology in The Twentieth-Century; Proctor.

[359](#) *Heidegger Martin*. What is Called Thinking? / trans. J. Glenn Gray. New York: Harper Perennial, 1976. P. 16.

[360](#) *Heidegger Martin*. The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude / trans. William McNeill and Nicholas Walker. Bloomington: Indiana University Press, 1995. P. 177.

[361](#) *Jacoby Karl*. Slaves by Nature? Domestic Animals and Human Slaves // Slavery and Abolition. 1994. Vol. 15. P. 89–99.

[362](#) *Philip P.* Protection of Animals. P. 19.

[363](#) Цит. по: *Martinelli Nicole*. Italians Protest “Beastly” Traditions After Palio Death. 2004. Aug. 17. URL: <http://zoomata.com/index.php/?p=1069>.

[364](#) И, несмотря на их разногласия, все они, как я подозреваю, могли бы согласиться с философом Яном Хакингом, когда он утверждает, что «расширение круга морального беспокойства» на животных требует сопереживания не только боли и страданиям (не только сочувствия), но требует такого «диапазона сопереживания», чтобы ты мог, как выражается Хакинг, «резонировать с состоянием животного», то есть резонировать, как два камертона одного тона резонируют — даже на расстоянии, — когда играют только на одном из них. *Hacking*. On Sympathy. P. 703. Сходные аргументы, изложенные более поэтично, можно найти в нескольких блестящих эссе Альфонсо Линджиса; см., например: *Lingis Alphonso*. The Rapture of The Deep // в *Lingis Alphonso*. Excesses: Eros and Culture. Albany: SUNY Press, 1983. P. 2–16; *Idem*. Antarctic Summer // *Lingis Alphonso*. Abuses. New York: Routledge, 1994. P. 91–101; *Idem*. Bestiality // *Lingis Alphonso*. Dangerous Emotions. New York: Routledge, 2000. P. 25–39.

[365](#) См. подборку статей в прессе по адресу [http://www.comune.firenze.it/servizi\\_publici/animali/grillo2001.htm](http://www.comune.firenze.it/servizi_publici/animali/grillo2001.htm).

[366](#) *Krizek George O*. Unusual Interaction Between a Butterfly and a Beetle: «Sexual Paraphilia» in Insects? // Tropical Lepidoptera. 1992. Vol. 3, no. 2. P. 118.

[367](#) *Plutarch*. Moralia. Vol. XII / trans. Harold Cherniss and William C. Helmbold. Cambridge: Harvard University Press, 1957. § 989, P. 519–520.

[368](#) *Vasey Paul L*. Homosexual Behavior in Animals: Topics, Hypotheses and Research Trajectories // Homosexual Behavior in Animals: A Evolutionary Perspective / Volker Sommer and Paul L. Vasey, eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 5. В этом разделе я многое взял из ценной статьи Пола Васи. См. также колоссальный «труд любви»: *Bagemihl Bruce*. Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity. New York: St. Martin's Press, 1999. Бейджемихл оперирует благороднейшим (и, следовательно, спорным) определением секса, которое позволяет ему включать в эту категорию многие взаимодействия, которые иначе можно истолковать как «социальные без сексуального характера». Но он эффективно доказывает свою ключевую мысль — то, что нерепродуктивный секс среди животных гораздо разнообразнее и распространен шире, чем предполагают (руководствуясь различными основаниями) ученые. См. также: *Roughgarden Joan*. Evolution's Rainbow:

Diversity, Gender, and Sexuality in Animals and People. Berkeley: University of California Press, 2004; статьи из: *Sommer, Vasey*. Homosexual Behavior in Animals.

[369](#) *Berlese Antonio*. Gli insetti: loro organizzazione, sciluppo, abitudini e rapporti coll'uomo. Vol. 2. Milan: Societa Editrice Libreria, 1912–1925; цит. по: *Barrows Edward M., Gordh Gordon*. Sexual Behavior in The Japanese Beetle // *Popillia japonica*; Comparative Notes on Sexual Behavior of Other Scarabs (Coleoptera: Scarabaeidae) // *Behavioral Biology*. 1978. Vol. 34. P. 341–354.

[370](#) *Vasey*. Homosexual Behavior in Animals. P. 20.

[371](#) *McRobert Scott P., Tompkins Laurie*. Tow Consequences of Homosexual Courtship Performed by *Drosophila melanogaster* and *Drosophila affinis* Males // *Evolution*. 1988. Vol. 42, no. 5. P. 1093–1097.

[372](#) *Forsyth Adrian, Alcock John*. Female Mimicry and Resource Defense Polygyny by Males of a Tropical Rove Beetle (Coleoptera: Staphylinidae) // *Behavioral Ecology and Sociobiology*. 1990. Vol. 26. P. 325–330.

[373](#) *Constanz George D*. The Mating Behavior of a Creeping Water Bug, *Ambrysus occidentalis* (Hemiptera: Naucoridae) // *American Midland Naturalist*. 1974. Vol. 92, no. 1. P. 234–239, 237.

[374](#) *Barrows, Gordh*. Sexual Behavior in The Japanese Beetle, *Popillia japonica*. P. 351.

[375](#) *Kikuo Iwabuchi*. Mating Behavior of *Xylotrechus pyrrhoderus* Bates (Coleoptera: Cerambycidae) V. Female Mounting Behavior // *Journal of Ethology*. 1987. Vol. 5. P. 131–136.

[376](#) См.: *Vasey*. Homosexual Behavior in Animals. P. 20–31.

[377](#) *Vasey Paul L*. The Pursuit of Pleasure: An Evolutionary History of Female Homosexual Behavior in Japanese Macaques // *Sommer, Vasey*. Homosexual Behavior in Animals. P. 191–219, 215.

[378](#) См.: *Gould Stephen Jay, Lewontin Richard*. The Spandrels of San Marco and The Panglossian Paradigm: A Critique of The Adaptationist Program // *Proceedings of The Royal Society of London B*. 1979. Vol. 205. P. 581–598. Они начали контрнаступление на теорию гипердаптационизма, заявив: «Мы обвиняем адаптационистскую программу в неспособности отличать текущую полезность от причин происхождения в нежелании рассматривать альтернативы версий об адаптации; в том, что ее критерием для согласия со спекулятивными историями служит исключительно правдоподобие; в отказе рассматривать надлежащим образом... конкурирующие темы». См. также: *Gould Stephen Jay*. Exaptation: A Crucial Tool for Evolutionary Psychology // *Journal of Social Issues*. 1991. Vol. 47, no. 3. P. 43–65; *Idem*. The Exaptive Excellence of Spandrels as a Term and Prototype // *Proceedings of The National Academy of Sciences*. 1997. Vol. 94. P. 10750–10755.

[379](#) *Jack David*. Two Thousand Pound Fine for Importer of Animal «Snuff» Videos // *The Scotsman*. 1998. August 1. P. 3; *Pearse Damien*. Man Fined for Obscene 'Crush' Videos // *The Press Association, Home News*. 1999. January 16.

[380](#) *Vilencia Jeff*. The American Journal of The Crush-Freaks. Vol. 1. Bellflower, CA: Squish Publications, 1993. P. 145–148.

[381](#) *Ibid*. P. 130.

[382](#) *Ibid*. P. 10, 149.

[383](#) Этот раздел основан как на разговорах с Джеффом Виленсией, так и на прекрасной статье: *Lasden Martin*. *Forbidden Footage* // *California Lawyer*. 2000. September.

[californialawyer.com/index.cfm?sid=&tkn=&eid=306417&evid=1](#); *Kapelovitz Dan*. *Crunch Time for Crush Freaks: New Laws Seek to Stamp Out Stomp Flicks* // *Hustler Magazine*. May 2000; *Califia Patrick*. *Boy-lovers, Crush Videos, and That Heinous First Amendment* // *Speaking Sex to Power: The Politics of Queer Sex*. San Francisco: Cleis Press, 2001. P. 257–277.

[384](#) *Lasden*. *Forbidden Footage*. P. 4.

[385](#) Цит. по: *Lasden*. *Forbidden Footage*. P. 4.

[386](#) Цит. по: *Kapelovitz*. *Crunch Time for Crush Freaks*.

[387](#) Этим я обязан Кэтрин Гейтс. См. ее блестящую работу: *Gates Katherine*. *Deviant Desires: Incredibly Strange Sex*. New York: RESEARCH, 2000.

[388](#) *Freccero Carla*. *Fetishism: Fetishism in Literature and Cultural Studies* // *New Dictionary of The History of Ideas / Maryanne Cline Horowitz, ed. Vol. 2*. Detroit: Scribner's, 2005. P. 826–828.

[389](#) *Vilencia*. *Journal*. Vol. 1. P. 149.

[390](#) *Bataille Georges*. *The Tears of Eros* / trans. by Peter Connor. San Francisco; City Lights, 1989. P. 19.

[391](#) *Ibid*. P. 70, n. 23.

[392](#) *Wong Edward*. *Long Island Case Sheds Light on Animal-Mutilation Videos* // *The New York Times*. 2000. 25 January. Section B, page 4, column 5. Также см.: *Wong Edward*. *Animal-Torture Video Maker Avoids Jail* // *The New York Times*. 2000. 27 December. Section B, page 8, column 1.

[393](#) *Lasden*. *Forbidden Footage*. P. 5.

[394](#) Rooney backs «crush» video ban / BBC. 1999. August 25. URL: [news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/429655.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/429655.stm); *Activists, Lawmakers Urge Congress to Ban Sale of animal-death Videos* / *Associated Press*. 1999. August 24; *Lasden*. *Forbidden Footage*. P. 5.

[395](#) *Activists, Lawmakers Urge Congress* / *Associated Press*.

[396](#) Rooney backs 'crush' video ban / BBC.

[397](#) *Testimony of Bill McCollum (R-Fla.)*. Amending Title 18, United States Code to Punish The Depiction of Animal Cruelty (Congressional Record — House, H10267, Oct 19, 1999).

[398](#) *Testimony of Robert C. Scott (D-Va.)*. Amending Title 18 (H10268). Язвительное рассмотрение этих аргументов см.: *Lasden*. *Forbidden Footage*.

[399](#) Показания Спенсера Бейчуса (республиканец, Алабама), Amending Title 18 (H10271).

[400](#) Показания Элтона Галлегли (республиканец, Калифорния), Amending Title 18 (H10270).

[401](#) Показания Съюзен Крид (*Testimony of Susan Creede to United States House of Representatives Subcommittee on Crime, September 30, 1999*). Доступны по адресу: [judiciary.house.gov/legacy/cree0930.htm](http://judiciary.house.gov/legacy/cree0930.htm).

[402](#) *Deleuze Gilles*. *Coldness and Cruelty* // *Deleuze Gilles, Sacher-Masoch Leopold von*. *Masochism*. New York: Zone Books, 1991. P. 40–41, 74–76.

- [403](#) *Sacher-Masoch Leopold von*. Venus in Furs // *Deleuze, Sacher-Masoch*. Masochism. P. 271.
- [404](#) *Vilencia*. Journal. Vol. 2. Bellflower, CA: Squish Publications, 1996. P. 12–13.
- [405](#) *Clinton William J.* Statement on Signing Legislation to Establish Federal Criminal Penalties for Commerce in Depiction of Animal Cruelty. 1999. December 9. URL: [www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=57047](http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=57047).
- [406](#) *Liptak Adam*. First Amendment Claim in Cockfight Suit: Web Company Challenges Ban on Depicting animal Cruelty // *The New York Times*. 2007. July 11. Section A, P. 13, column 4.
- [407](#) Показания Элтона Галлегли, Amending Title 18 (H10269).
- [408](#) *Osten-Sacken C. R., baron*. A Singular Habit of *HilarA* // *Entomologist's Monthly Magazine*. 1877. Vol. XIV. P. 126–127. Все цитаты в этом разделе, если их источники не указаны особо, взяты из этой работы.
- [409](#) *Verrall G. H.* Obituary for C.R. Osten-Sacken // *Entomologist*. 1906. Vol. 39. P. 192.
- [410](#) *Kessel Edward L.* The Mating Activities of Balloon Flies // *Systematic Zoology*. 1995. Vol. 4, no. 3. P. 97–104. Все цитаты ниже, если их источники не указаны особо, взяты из этой работы.
- [411](#) *Seboek Thomas A.* The Sign and Its Masters. Austin: University of Texas Press, 1979. P. 18–19. Здесь рассматриваются символические свойства подарка у *empidid* в контексте лингвистики Пирса, хотя в основном просто чтобы подчеркнуть его негибкость по сравнению с символами у людей.
- [412](#) См. в том числе: *LeBas Natasha R., Hockham Leon R.* An Invasion of Cheats: The Evolution of Worthless Nuptial Gifts // *Current Biology*. 2005. Vol. 15, no. 1. P. 64–67, 64; *Sakaluk Scott K.* Sensory Exploitation as an Evolutionary Origin to Nuptial Food Gifts in Insects // *Proceedings of The Royal Society of London: Biological Sciences*. 2000. Vol. 267, no. 1441. P. 339–343; *Tregenza T., Wedell N., Chapman T.* Introduction. Sexual Conflict: A New Paradigm? // *Philosophical Transactions of The Royal Society, B: Biological Sciences*. 2006. Vol. 361, no. 1466. P. 229–234.
- [413](#) *Perec Georges*. Species of Spaces and Other Pieces / trans. John Sturrock. London: Penguin, 1998. P. 129, 136.
- [414](#) *Roughgarden Joan*. Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Animals and People. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 171.
- [415](#) *Von Frisch Karl*. Ten Little Housemates / trans. Margaret D. Senft. New York: Pergamon, 1960. P. 91.
- [416](#) Эти открытия обычно приписываются фон Фришу, но, по-видимому, как минимум некоторые из этих экспериментов были проведены независимо от него и, возможно, раньше одним из первопроходцев-этологов — Чарльзом Генри Тёрнером (1867–1923). Хотя Тёрнер защитил диссертацию и писал научные статьи (именно он стал первым афроамериканцем, опубликовавшим статью в журнале *Science*), на протяжении почти всей жизни он был учителем в старших классах школы. Как представляется, он отказывался от должностей в научном мире, предпочитая учительство — как из чувства долга перед обществом, так и потому, что эта работа давала ему дополнительное время для

экспериментов. В 1910 году Тёрнер опубликовал свое доказательство способности медоносных пчел различать цвета. Считается, что он также открыл способность насекомых слышать звуки и различать высоту звука, признал за пчелами способность пользоваться географической памятью, доказал, что тараканы способны обучаться на опыте, задокументировал характерное движение муравьев при приближении к их гнезду («круговое движение Тёрнера») и разработал методологию — особенно стратегии выработки условных рефлексов, — которая стала основной при исследованиях поведения животных. См.: *Selected Papers and Biography of Charles Henry Turner (1867–1923), Pioneer in The Comparative Animal Behavior Movement* / Charles I. Abramson, ed. New York: Edwin Mellen Press, 2002.

[417](#) *Von Frisch Karl. Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language.* Ithaca: Cornell University Press, 1950.

[418](#) Однако см. детальную критику методологии фон Фриша в: *Mazokhin-Porshnyakov Georgii A. Insect Vision* / trans. Roberto and Liliana Masironi. New York: Plenum Press, 1969. P. 145–154.

[419](#) См.: *Arikawa Kentaro, Kinoshita Michiyo, Stavenga Doekele G. Color Vision and Retinal Organization in Butterflies* // *Complex Worlds from Simpler Nervous Systems* / Frederick R. Prete, ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2004. P. 193–219, 193–194.

[420](#) Обзор споров о цвете и проблеме цветового реализма см.: *Readings on Color, Volume 1: The Philosophy of Color* / Alex Byrne and David R. Hilbert, eds. Cambridge: MIT Press, 1997; особенно здоровое введение составителей (с. xi–xxviii). Дополнительным доказательством может служить постоянство восприятия цветов — способность людей и других животных, в том числе пчел и бабочек, распознавать цвет предмета при изменчивом освещении. Гёте в своем «Учении о цвете» пришел к знаменитому откровению, что цвет — это еще и функция дополняющих отношений — отношений между объектом и его соседями.

[421](#) *Mazokhin-Porshnyakov. Insect Vision.* P. 276.

[422](#) *Prete Frederick R. Introduction: Creating Visual Worlds Using Abstract Representations and Algorithms* // *Prete. Complex Worlds.* P. 3–4.

[423](#) *Kral Karl, Prete Frederick R. In The Mind of a Hunter: The Visual World of a Praying Mantis* // *Prete. Complex Worlds.* P. 75–116, 114.

[424](#) Описание этой проблемы в отношении человеческого сознания см.: *Searle John R. Consciousness: What We Still Don't Know* // *The New York Review of Books.* Vol. 52, no. 1 (January 13, 2005) — критической рецензии на долгожданную, сделавшуюся бестселлером, книгу: *Koch Christof. The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach.* New York: Roberts and Company, 2004; а также недавнее замечание Коха: «Мы не понимаем, как из этой колоссальной совокупности нейронов возникает сознание. У нас нет никаких интуитивных догадок. Как будто Аладдин трет лампу, и появляется джинн» (цит. по: *Edidin Peter. In Search of Answers from The Great Brains of Cornell* // *The New York Times.* 2005. May 24. P. F2).

[425](#) *Kandel Eric R. Brain and Behavior* // *Kandel Eric R., Schwartz James H. Principles of Neural Science.* 2nd ed. New York: Elsevier, 1985. P. 3.



Собственно, во многом подобно тому, как размер человеческого мозга когда-то был мерой расовой иерархии, поразительная сложность (а также, как всегда, размер) мозга современных гоминидов теперь является показателем исключительности людей.

[426](#) Надежное популярное введение в тему см.: *Ratey John J. A User's Guide to The Brain: Perception, Attention, and The Four Theaters of The Brain.* New York: Vintage, 2002. Взгляд на дебаты в области философии сознания, которым свойственна как симпатия к утверждениям нейробиологов о биологическом превосходстве человека, так и подозрительное отношение к их редукционизму, см.: *Searle John R. Mind: A Brief Introduction.* Oxford: Oxford University Press, 2004.

[427](#) См. важные вклады в тему: *Crary Jonathan. Techniques of The Observer: On Vision an Modernity in The Nineteenth Century.* Cambridge: MIT Press, 1992; *Idem. Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture.* Cambridge: MIT Press, 2001; *Jay Martin. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought.* Berkeley: University of California Press, 1994; *Vision and Visuality / Hal Foster, ed.* Seattle: Bay Press/Dia Art Foundation, 1988.

[428](#) *The Varieties of Sensory Experience: A Sourcebook in The Anthropology of The Senses / David Howes, ed.* Toronto: University of Toronto Press, 1991; *Classen Constance. Worlds of Sense: Exploring The Senses in History and Across Cultures.* New York: Routledge, 1993.

[429](#) О линейной перспективе см. довольно-таки переоцененную работу: *Romanyshyn Robert D. Technology as Symptom and Dream.* New York: Routledge, 1990; дельные схемы прерывности и смещений линейной перспективы см. в статьях Джея и Крэри в: *Foster. Vision and Visuality.* О переходе к морфологическому см.: *Foucault Michel. The Order of Things: An Archaeology of The Human Sciences.* New York: Vintage, 1994.

[430](#) Интереснейшее описание некоторых культурных компонентов зрения в этом духе можно найти в знаменитой статье Оливера Сакса: *Sacks Oliver. To See and Not See // An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales.* New York: Vintage, 1995. P. 108–152.

[431](#) Цит. по великолепной работе: *Land Michael F. Eyes and Vision // Resh Vincent H., Cardé Ring T. Encyclopedia of Insects.* New York: Academic Press, 2003. P. 393–406, 397, из которой я много взял для этого раздела. См. также: *Land Michael F. Visual Acuity in Insects // Annual Reviews of Entomology.* 1997. Vol. 42. P. 147–177; *Land Michael F., Nilsson Dan-Eric. Animal Eyes.* Oxford: Oxford University Press, 2002. Недавние повторные выкладки, учитывающие слабость периферического зрения у человека, изменили результат вычислений Мэллока. Получилось гораздо меньше — один метр в диаметре, но всё равно такой глаз был бы неудобным.

[432](#) *Land. Eyes and Vision.* P. 397.

[433](#) *Hooke Robert. Micrographia; Or Some Physiological Descriptions Of Minute Bodies Made By Magnifying Glasses With Observations And Inquiries Thereupon.* New York: Dover, 2003 [1665]. P. 238.

[434](#) *Ibid.*

[435](#) Цит. по: *Hooke*. *Micrographia*. P. 394.

[436](#) *Exner Sigmund*. *The Physiology of The Compound Eyes of Insects and Crustaceans* / R. C. Hartree, ed. Berlin: Springer Verlag, 1989; *Die Physiologie der facettierten Augen von Krebsen und Insekten*. Leipzig: Deuticke, 1891; см.: *Land, Nilsson*. *Animal Eyes*. P. 157–158.

[437](#) *Land*. *Eyes and Vision*. P. 393.

[438](#) *Ibid*. P. 401.

[439](#) То, что Лэнд и Нильссон выбрали Чарльза Дарвина, чтобы продемонстрировать поразительные оптические характеристики суперпозиционного глаза, более чем уместно. Для креационистов и приверженцев теории так называемого разумного замысла глаз — ахиллесова пята естественного отбора. Опираясь на то, что Дарвин сам не был уверен в четких механизмах эволюции глаза, и на тот самоочевидный факт, что каждый из элементов глаза должен функционировать и самостоятельно, и сообща с другими элементами, они утверждают, что столь сложная, интегрированная структура никогда не могла бы развиться постепенно путем естественного отбора. Но Нильссон и его соавтор Сюзанн Пелгер недавно предложили убедительную последовательность постепенных эволюционных шагов и путей на протяжении 364 тысяч лет — способ, которым изначальное скопление светочувствительных клеток могло эволюционировать, проходя через ныне существующие промежуточные стадии, до современного глаза млекопитающих. См.: *Nilsson Dan-Erik, Pelger Susanne*. *A Pessimistic Estimate Of The Time Required For An Eye To Evolve* // *Proceedings of The Royal Society of London B*. 1994. Vol. 256. P. 53–58; а также четкое резюме по адресу [http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/01/1/1\\_011\\_01.html](http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/01/1/1_011_01.html).

[440](#) См.: *Von Uexküll Jakob*. *A Stroll Through The World of Animals and Men: A Picture Book of Invisible Worlds* // *Instinctive Behavior: The Development of a Modern Concept* / Claire H. Schiller, ed. and trans. New York: International Universities Press, 1957. P. 5–80.

[441](#) *Von Uexküll*. *A Stroll Through The World*. P. 13, 29.

[442](#) *Ibid*. P. 65.

[443](#) *Ibid*. P. 67.

[444](#) *Ibid*. P. 72.

[445](#) *Ibid*. P. 80.

[446](#) *Dunn David*. *The Sound of Light in Trees*. Santa Fe: The Acoustic Ecology Institute and Earth Ear, 2006.

[447](#) *Byers John A*. *An Encounter Rate Model of Bark Beetle Populations Searching at Random for Susceptible Host Trees* // *Ecological Modeling*. 1996. Vol. 91. P. 57–66.

[448](#) *Dunn*. *The Sound of Light in Trees: CD liner notes*; *Dunn David, Crutchfield James P*. *Insects, Trees, and Climate: The Bioacoustic Ecology of Deforestation and Entomogenic Climate Change* // *Santa Fe Institute Working Paper*. 06-12-XXX. URL: <http://arxiv.org/q-bio.PE/0612XXX>; *Mattson W. J., Hack R. A*. *The Role of Drought in Outbreaks of Plant-eating Insects* // *BioScience*. 1987. Vol. 37, no. 2. P. 110–118.

[449](#) Regional Vegetation Die-off in Response to Global-change-type Drought / Breshears David D., Cobb Neil S., Rich Paul M., and other // Proceedings of The National Academy of Sciences. 2005. Vol. 102, no. 42. P. 15144–15148.

[450](#) *Dunn, Crutchfield*. Insects, Trees, and Climate.

[451](#) Основополагающее заявление о звуковом пейзаже и акустической экологии см.: *Schaffer R. Murray*. The Soundscape: Our Sonic Environment and The Tuning of The World. Rochester, VT: Destiny Books, 1994. Шеффер определял акустическую экологию как «исследование воздействия акустической среды... на физические реакции или характерные черты поведения существ, живущих в этой среде»(с. 271), — формулировка, указывающая на близость движения к биологическим наукам.

[452](#) *Feld Steve, Brenneis Donald*. Doing Anthropology in Sound // American Ethnologist. 2004. Vol. 31, no. 4. P. 461–474, 462; *Feld Steven*. Waterfalls of Song: An Acoustemology of Place Resounding in Bosavi, Papua New Guinea // Senses of Place / Steven Feld and Keith Basso, eds. Santa Fe, NM: School of American Research Press, 1996. P. 91–135.

[453](#) Поразительные описания трансдукции и иммерсии см.: *Helmreich Stefan*. Alien Ocean: Anthropological Voyages in Microbial Seas. Berkeley: University of California Press, 2009.

[454](#) См.: *McCartney Andra*. Alien Intimacies: Hearing Science Fiction Narratives in Hildegard Westerkamp's *Cricket Voice* (Or «Don't Like The Country, The Crickets Make Me Nervous») // Organized Sound. 2002. Vol. 7. P. 45–49.

[455](#) О *musique concrète* см.: *Schaeffer Pierre*. Acousmatics // Audio Culture: Readings in Modern Music / Christoph Cox and Daniel Warner, eds. New York: Continuum, 2004. P. 76–81. Еще одно ключевое различие между акустической экологии и *musique concrète* состоит в том, что вторая интересуется звуками как самозамкнутыми сущностями, которые завершены сами в себе, без отсылок к своему источнику. Очевидно, что эта идея находится в замысловатых отношениях с такими формами современной массовой музыки, как хип-хоп.

[456](#) *Dunn David*. Chaos & The Emergent Mind of The Pond // Angels & Insects. EarthEar, 1999; цитата взята из буклета к компакт-диску.

[457](#) *Struck Doug*. Climate Change Drives Disease to New Territory // Washington Post. 2006. Friday May 5. P. A16; *Epstein Paul R*. Climate Change and Public Health // New England Journal of Medicine. 2005. Vol. 353, no. 14. P. 1433–1436; Climate Change Futures: Health, Ecological, and Economic Dimensions / Paul R. Epstein and Evan Mills, eds. Boston: Harvard Medical School; UNDP, 2006. Скрупулезное исследование, наводящее на мысль, что причинно-следственные модели, сформированные вокруг климатических изменений, отесняют на задний план устранимые социальные факторы, которые имеют ключевое значение для эпидемиологии (например, состояние системы здравоохранения, нищета, сопротивляемость существующим лекарствам, развитие городов). См.: Climate Change and The Resurgence of Malaria in The East African Highlands / Hay Simon I., Cox Jonathan, Rogers David J., and other // Nature. 2002. Vol. 415. P. 905–909.

[458](#) Данные из: *Dunn, Crutchfield*. Insects, Trees, and Climate. P. 3; они ссылаются на: *Jolin Dan*. Destructive Insects on Rise in Alaska // Associated Press.

2006. September 1; *Struck Doug*. «Rapid Warming» Spreads Havoc in Canada's Forest: Tiny Beetles Destroying Pines // Washington Post Foreign Service. 2006. March 1; *Carlson Jerry, Verschoor Karin*. Insect invasion! // New York State Conservationist. 2006. April 26–27; *Logan Jesse A., Powell James A*. Ghost Forests, Global Warming, and The Mountain Pine Beetle (Coleoptera: Scolytidae) // American Entomologist. 2001. Vol. 47. P. 160–173. Также см.: *Robbins Jim*. Bark Beetles Kill Millions of Acres of Trees in West // The New York Times. 2008. November 18. P. D3, где проводится дополнительная мысль: «...поскольку долгое время все пожары тушились, все леса примерно одного возраста, и деревья достаточно велики, чтобы стать уязвимыми перед жуками».

[459](#) *Dunn, Crutchfield*. Insects, Trees, and Climate. P. 4.

[460](#) *Eisner Thomas*. For Love of Insects. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

[461](#) Обзор см.: *Wood David L*. The Role of Pheromones, Kairomones, and Allomones in The Host Selection and Colonization Behavior of Bark Beetles // Annual Review of Entomology. 1982. Vol. 27. P. 411–446; *Byers John A*. Host Tree Chemistry Affecting Colonization in Bark Beetles // Chemical Ecology of Insects 2 / Ring T. Cardé and William J. Bell, eds. New York: Chapman and Hall, 1995. P. 154–213.

[462](#) *Dunn, Crutchfield*. Insects, Trees, and Climate. P. 8.

[463](#) *Yack Jayne, Hoy Ron*. Hearing // Encyclopedia of Insects / Vincent H. Resh and Ring T. Cardé, eds. New York: Academic press, 2003. P. 498–505.

[464](#) *Dunn, Crutchfield*. Insects, Trees, and Climate. P. 10.

[465](#) *Cocroft Reginald B., Rodríguez Rafael L*. The Behavioral Ecology of Insect Vibrational Communication // Bioscience. 2005. Vol. 55, no. 4. P. 323–334, 331, 323.

[466](#) *Dunn, Crutchfield*. Insects, Trees, and Climate. P. 10.

[467](#) *Ibid*. P. 7.

[468](#) *Frank Claudine*. Introduction // The Edge of Surrealism: A Roger Caillois Reader / Claudine Frank, ed. Durham: Duke University Press, 2003. P. 28–31.

[469](#) *Caillois Roger*. Letter to André Breton // *Frank*. The Edge of Surrealism. P. 84.

[470](#) *Caillois*. Letter to Breton. P. 85.

[471](#) *Hollier Denis*. On Equivocation (Between Literature and Politics) / trans. Rosalind Krauss // October. 1990. Vol. 55. P. 3–22, 20.

[472](#) *Caillois*. Letter to Breton. P. 85.

[473](#) *Merian Maria Sibylla*. Dissertation sur la génération et la transformation des insectes de Surinam. Hague: Pieter Gosse, 1726. P. 49. Цит. по: *Caillois Roger*. The Mask of Medusa / trans. George Ordish. New York: Clarkson N. Potter, 1964. P. 113.

[474](#) О Бейтсе см. мою книгу *In Amazonia: A Natural History* (Princeton: Princeton University Press, 2002).

[475](#) *Caillois*. The Mask of Medusa. P. 118–120.

[476](#) *Ibid*. P. 104.

[477](#) *Ibid*. P. 117.

[478](#) *Ibid*. P. 121.

- [479](#) *Caillois Roger*. Mimicry and Legendary Psychasthenia / trans. John Shepley // October. 1984. Vol 31. P. 16–32, 19; *Caillois Roger*. The Writing of Stones. Charlottesville: University Press of Virginia, 1985. P. 2, 104, 3.
- [480](#) *Caillois*. Mimicry and Legendary Psychasthenia. P. 31.
- [481](#) *Ibid*. P. 27.
- [482](#) *Zinsser Hans*. Rats, Lice and History: Being A Biography, Which After Twelve Preliminary Chapters Indispensable for The Preparation of The Lay Reader, Deals With The Life History of Typhus Fever. Boston: Atlantic Monthly Press: Little, Brown, and Company, 1935. P. 183.
- [483](#) См.: An Aztec Herbal: The Classic Codex of 1552 / William Gates, ed. and trans. New York: Dover, 2000.
- [484](#) *De Cieza de León Pedro*. The Second Part of The Chronicle of Peru / trans. Clements R. Markham. London: Hakluyt Society, 1883. P. 219, 51.
- [485](#) *Sáenz Virginia*. Symbolic and Material Boundaries: An Archaeological Genealogy of The Urus of Lake Poopó, Bolivia. Uppsala: Uppsala University, 2006. P. 50–51; *Zuidema Reiner T*. The Ceque System of Cuzco. The Social Organization of The Capital of The Inca. Leiden: E. J. Brill, 1964. P. 100.
- [486](#) *Morge Günter*. Entomology in The Western World in Antiquity and in Medieval Times // History of Entomology / Ray F. Smith, Thomas E. Mittler, and Carroll N. Smith, eds. Palo Alto, CA: Annual Reviews, Inc., 1973. P. 37–80, 77.
- [487](#) *Poinar George, Jr., Poinar Roberta*. The Amber Forest: A Reconstruction of a Vanished World. Princeton: Princeton University Press, 2001. P. 129.
- [488](#) *Chen Ruoshui*. Liu Tsung-yuan and Intellectual Change in T'ang China, 773–819. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 32.
- [489](#) Цит. по: *Io Chou*. A History of Chinese Entomology / trans. Wang Siming. Xi'an: Tianze Press, 1990. P. 174. Перевод изменен.
- [490](#) *Zongyuan Liu*. Liu Tsung-yuan chi. Beijing, 1979. Цит. по: *Chen*. Liu Tsung-yuan. P. 112.
- [491](#) *Von Frisch Karl*. Ten Little Housemates / trans. Margaret D. Senft. New York: Pergamon Press, 1960. P. 141.
- [492](#) *Caillois Roger*. The Praying Mantis: From Biology to Psychoanalysis // *Frank*. The Edge of Surrealism. P. 66–81, 79.
- [493](#) *Von Frisch*. Ten Little Housemates. P. 107–108.
- [494](#) См. мангу Миядзаки в: *Takeshi Yoro, Hayao Miyazaki*. Mushime to anime. Токуо: Tokuma Shoten, 2002. В 2003 году пресса сообщила, что правительство префектуры Нагоя надеялось построить жилой район на основе проектов Миядзаки и Аракавы.
- [495](#) *Matsuo Bashō*. Oku no hosomichi // Haiku. Vol. 3 / edited and translated by R. H. Blyth. Tokyo: Hokuseido Press, 1952. P. 229.
- [496](#) *Hearn Lafcadio*. Shadowings. Tokyo: Tuttle, 1971. P. 101.
- [497](#) См.: Satoyama: The Traditional Rural Landscape of Japan / K. Takeuchi, R.D. Brown, I. Washitani, A. Tsunekara, M. Yokohari. Tokyo: Springer Verlag, 2003.
- [498](#) См., например, сайт Ясухико Касахары *Kay's Beetle Breeding Hobby* по адресу <http://www.geocities.com/kaytheguru/>. Стоит отметить, что Япония давно уже является мировым лидером по разведению насекомых. Насколько мне

известно, дома бабочек в Японии — по-прежнему единственные в мире, где этих насекомых выращивают на месте, а не покупают в виде куколок.

[499](#) См.: *Befu Harumi*. Hegemony of Homogeneity: An Anthropological Analysis of Nihonjinron. Melbourne: Trans Pacific Press, 2001. О представлениях японцев о природе см. в том числе: *Kalland Arne, Asquith Pamela J.* Japanese Perceptions of Nature: Ideals and Illusions; а также другие главы в: *Japanese Images of Nature: Cultural Perceptions / Arne Kalland and Pamela J. Asquith*, eds. Richmond, Surrey: Curzon, 1997; *Thomas Julia Adeney*. Reconfiguring Modernity: Concepts of Nature in Japanese Political Ideology. Berkeley: University of California Press, 2001; *Morris-Suzuki Tessa*. Re-Inventing Japan: Time, Space, Nation. New York: M. E. Sharpe, 1998.

Все эти авторы прилагают большие усилия для историозации того, что иногда считается (как в Японии, так и за ее пределами) вечной и уникальной связью японцев с природой, стараются продемонстрировать, как в конкретные моменты представления о природе приобретали те или иные формы, пытаются постичь, как сосуществуют широко распространенная идеология единства с природой и долговременные коммерческие практики, провоцирующие масштабное уничтожение окружающей среды.

[500](#) *Tadanobu Tsunoda*. The Japanese Brain: Uniqueness and Universality / trans. Yoshinori Oiwa. Tokyo: Taishukan, 1985. Язвительный ответ, помещающий работу Цуноды в контекст националистического *nihonjinron*, см.: *Dale Peter*. The Voice of The Cicadas: Linguistic Uniqueness, Tsunoda Tananobu's Theory of The Japanese Brain and Some Classical Perspectives // *Electronic Antiquity*. 1993. Vol. 1, no. 6.

[501](#) *Kameoka Shoko, Kiyono Hisako*. A Survey of The Rhinoceros Beetle and Stag Beetle Market in Japan. Tokyo: TRAFFIC East Asia — Japan, 2003. P. 47.

[502](#) Japan External Trade Organization // Marketing Guidebook for Major Imported Products 2004. III. Sports and Hobbies. Tokyo: JETRO, 2004. P. 235.

[503](#) *Goka Kouichi, Kojima Hiroshi, Okabe Kimiko*. Biological Invasion Caused By Commercialization of Stag Beetles in Japan // *Global Environmental Research*. 2004. Vol. 8, no. 1. P. 67–74, 67.

[504](#) При исследовании магазинов насекомых в Токио, проведенном TRAFFIC East Asia (сетью, которая отслеживает торговлю дикими животными в регионе), были обнаружены две импортированные особи жука-олени *Dorcus antaeus* (этот вид классифицируется как «невредоносный», но в странах происхождения его отлов запрещен). Каждая из этих двух особей продавалась за 3344 доллара США. См.: *Kameoka, Kiyono*. A Survey of The Rhinoceros Beetle and Stag Beetle Market.

[505](#) Biological Invasion / *Goka et al.*

[506](#) Жуки-олени живут до пяти лет, гораздо дольше, чем жуки-носороги, и потому цены на них относительно выше. См.: *New T. R.* «Inordinate Fondness»: A Threat to Beetles in South East Asia? // *Journal of Insect Conservation*. 2005. Vol. 9. P. 147–50, 147.

[507](#) *Kameoka, Kiyono*. A Survey of The Rhinoceros Beetle and Stag Beetle Market. P. 41.

[508](#) Marketing Guidebook for Major Imported Products 2004 / Japan External Trade Organization. P. 242.

[509](#) *Kameoka Kiyono*. A Survey of The Rhinoceros Beetle and Stag Beetle Market.

[510](#) См. детальное изложение этих опасений в: *Biological Invasion / Goka et al.*; см. также: *Kameoka Kiyono*. A Survey of The Rhinoceros Beetle and Stag Beetle Market; *New. Inordinate Fondness*.

[511](#) *Biological Invasion / Goka et al.*

[512](#) *Minoru Yajima*. *Mushi ni aete yokatta = I Am Happy That I Met Insects*. Tokyo: Froebel-kan, 2004. P. 42. Благодарю Юмико Ивасаки за все переводы из этой книги и те, которые приведены в заметке 18 ниже.

[513](#) *Masayasu Konishi*. *Mushi no bunkashi = A Cultural History of Insects*. Tokyo: Asahi Sensho, 1992. P. 29–30. Обзорные истории японской культуры насекомых см. также в: *Konishi*. *Mushi no hakubutsushi = A Natural history of Insects*. Tokyo: Asahi Sesho, 1993; *Masaaki Kasai*. *Mushi to Nihon bunka = Insects and Japanese Culture*. Tokyo: Daikosha, 1997; а обзор этих и других работ — в ценнейшей неопубликованной рукописи, предоставленной мне автором: *Field Norma*. *Jean-Henri Fabre and Insect Life in Japan*. N. d.

[514](#) Как и все, кто рассказывает эту историю (в том числе все, с кем разговаривали об этом Си-Джей и я), Кониси тоже делает упор на усилиях по сбору коллекций, предпринятых тремя зарубежными натуралистами: Энгельбертом Кемпфером, Карлом Петером Тунбергом и Филиппом Францем фон Зибольдом. Все трое вернулись в Европу и опубликовали труды о японской фауне, в том числе о насекомых (Кемпфер — в 1727 году, Тунберг — в 1781-м, Зибольд — в 1823-м). Их вклад ознаменовал первый контакт японской природы с формализованной западной наукой.

[515](#) Литературы о рождении европейской науки, как и следовало ожидать, предостаточно. Вводный обзор европейской научной революции, изобилующий нюансами, см.: *Shapin Steven*. *The Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press, 1998. В *The Formation of Science in Japan: Building a Research Tradition* (New Haven: Yale University Press, 1989) Джеймс Р. Бартоломью (*James R. Bartholomew*) утверждает, что институциональная и социальная преемственность с периодом Токугава стала основой для быстрого развития японской науки в период Мейдзи. Интересное изложение того, каким образом могут путешествовать научное знание и институции, см.: *Prakash Gyan*. *Another Reason*. Princeton: Princeton University Press, 1999. Программный пересмотр традиционных научных историй скачка от пред-Нового времени к Новому времени см.: *Latour Bruno*. *We Have Never Been Modern / trans. Catherine Porter*. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

[516](#) *Usuke Shiga*. *Nihonichi no konchu-ya = The Best Insect Shop in Japan*. Tokyo: Bunchonbunko, 2004. Благодарю Хисаэ Кавамори за переводы фрагментов этой книги.

[517](#) Список «Регулируемых живых организмов согласно Закону об инвазивных иностранных видах» можно посмотреть по адресу [http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/files/siteisyu\\_list\\_e.pdf](http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/files/siteisyu_list_e.pdf).

518 Благодарю Баррета Клейна за то, что он познакомил меня с этой литературой.

## Избранная библиография

*Аристотель*. История животных. (Зоология) / Пер. с древнегреч. В. П. Карпова; Под ред. и с примеч. Б. А. Старостина. М.: Издательство РГГУ, 1996.

*Аристотель*. О возникновении животных / Пер. с древнегреч. В. П. Карпова. М.–Л.: Издательство Академии наук СССР, 1940.

*Аристотель*. О движении животных / Пер. Е. В. Афонасина. — ΣΧΟΛΗ. Том. 10.2 2016. 733-753.

*Аристотель*. О частях животных / Пер. с древнегреч. В. П. Карпова. М.: Государственное издательство биологической и медицинской литературы, 1937.

*Ачебе, Чинуа*. И пришло разрушение / Пер. с англ. Э. Раузина, Н. Дынник-Будаевой. М.: Издательство Книгоvek, 2013.

*Батай, Жорж*. Из «Слез Эроса» // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. / Пер. с фр. С. Л. Фокина. Издательство СПб.: Мифрил, 1994.

*Башиляр, Гастон*. Поэтика пространства / Пер. Н. Кулиш. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.

*Беньямин, Вальтер*. Учение о подобию. Медиаэстетические произведения / Пер. с нем. И. Болдырева, А. Белобратова, А. Глазовой, Е. Павлова, А. Пензина, С. Ромашко, А. Рябовой, Б. Скуратова и И. Чубарова. М.: Издательство РГГУ, 2012.

*Бергсон, Анри*. Творческая эволюция / Пер. с фр. В. А. Флеровой. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998.

*Гёте, Иоганн-Вольфганг*. Итальянское путешествие / Пер. Н. Холодковского. М.: Б. С. Г.–Пресс, 2013.

*Гёте, Иоганн-Вольфганг*. Учение о цвете. Теория познания. М.: Либроком, 2011.

*Дарвин, Чарльз*. Сочинения. Том 5. Происхождение человека и половой отбор.

*Дарвин, Чарльз*. Сочинения. Выражение эмоций у человека и животных. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1953.

*Делёз, Жиль*. Представление Захер-Мазоха / Пер. с франц. А. Гараджи // Венера в мехах. М.: РИК «Культура», 1992.

*Делёз, Жиль, Гваттари, Феликс*. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Я. И. Свирского, науч. ред. В. Ю. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010.

*Зебальд, В. Г.* Аустерлиц / Пер. М. Кореневой. СПб.: Азбука-классика, 2006.

*Зебальд, В. Г.* Естественная история разрушения / Пер. Н. Федоровой. М.: Новое издательство, 2015.

*Кайуа Роже*. Богомол // Миф и человек. Человек и сакральное. М. ОГИ., 2003.

*Кайуа Роже*. Мимикрия и легендарная психастения // Кайуа Р. Миф и человек.



- Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003.
- Кайуа, Роже.* Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М.: ОГИ, 2003.
- Канетти, Элиас.* Масса и власть / Пер. Леонида Ионина. М.: Астрель, 2012.
- Кафка, Франц.* Превращение и другие рассказы / Пер. И. Татарина, Соломон Апт, Вера Станевич, Ю. Архипов. М.: Эксмо, 2015.
- Коллоди, Карло.* Приключения Пиноккио / Пер. Э. Казакевича. М.: Машаон, 2017.
- Кралль, Ханна.* опередить Господа Бога / Пер. К. Старосельской. М.: Книжники, 2011.
- Леопарди, Джакомо.* Нравственные очерки; Дневник размышлений; Мысли. М.: Республика, 2000.
- Любительница гусениц (из сборника «Цуцуми-тюнагон моногатари») / Пер. А. Мещерякова // Японская новелла. СПб.: Северо-Запад, 2000.
- Мазохин-Поршняков, Г. А.* Зрение насекомых. М.: Наука, 1965.
- Мишле, Жюль.* Царство насекомых. СПб., 1863.
- Монтень, Мишель.* Опыты / Пер. А. С. Бобовича, вступ. статьи Ф. А. Коган-Бернштейн и М. П. Баскина. М.–Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954–1958.
- Перек, Жорж. W,* или Воспоминание детства // Я родился / Пер. В. Кислов. СПб: ИД Ивана Лимбаха, 2015.
- Плиний Старший.* Естественная история. Книга одиннадцатая / Пер. и коммент. Г. С. Литичевского // Архив истории науки и техники. Том II. М., 1997. С. 174–192.
- Плутарх.* Грилл, или О том, что животные обладают разумом / Пер. С. В. Поляковой // Поздняя греческая проза. М., 1960.
- Пу Сунлин.* Рассказы Ляо Чжяя о необычайном. М.: Художественная литература, 1988.
- Публий Овидий Назон.* Метаморфозы / Пер. С. В. Шервинского. М.: Художественная литература, 1983.
- Сакс, Оливер.* Антрополог на Марсе: 7 парадоксальных историй / Пер. А. Николаева. М.: АСТ, 2015.
- Уваров, Б. П.* Саранча и кобылки. М.–Л., 1927.
- Уваров, Б. П.* Саранчевые Европейской части СССР и Западной Сибири. М., 1925.
- Уваров, Б. П.* Саранчевые Средней Азии. Ташкент, 1927.
- Фабр, Жан-Анри.* Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога / Сокр. перевод Н. Н. Плавильщикова. М.: Учпедгиз, 1963.
- Фабр, Жан-Анри.* Инстинкт и нравы насекомых / Пер. Е. И. Шевыревой. В 2 Т. М.: Терра, 1993.
- Фейерабенд, Пауль.* Против методологического принуждения // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
- Фриш, Карл.* Из жизни пчел / Пер. с нем. Т. И. Губиной; под ред. канд. биол. наук И. А. Халифмана. М.: Мир, 1980.
- Фриш, Карл, Халифман, И.* Десять маленьких непрошенных гостей. ...И еще десятью десятью / Сокр. пер. с нем. И. Халифмана. М.: Детская литература, 1970.

*Хайдеггер, Мартин.* Основные понятия метафизики. Мир — конечность — одиночество / Пер. В. Бибихина, А. Ахутина, А. Шурбелева. М.: Владимир Даль, 2013.

*Херн, Лафкадио.* Душа Японии // Кокоро, Кью-шу и Ицумо / Пер. С. Лорие. М.: т-во скоропеч. А. А. Левенсон, [1910].

*Шимборская, Вислава.* Избранное / Пер. и сост. Асар Эппель. М.: Текст, 2007.

*Abbas, Ackbar.* Play it Again Shanghai: Urban Preservation in the Global Era // Shanghai Reflections: Architecture, Urbanism and the Search for an Alternative Modernity / Edited by Mario Gandelsonas, 35-55. New York: Princeton Architectural Press, 2002.

*Abramson, Charles I., ed.* Selected Papers and Biography of Charles Henry Turner (1867–1923). Pioneer in the Comparative Animal Behavior Movement. New York: Edwin Mellen Press, 2002.

*Aldrovandi, Ulisse.* De animalibus insectis libri septem. 1602.

*Almong, Shmuel.* Alfred Nossig: A Reappraisal // Studies in Zionism 7, (1983): 1-29.

*Alpha Gado, Boureima.* Une histoire des famines au Sahel: etude des grandes crises alimentaires, XIXe-XXe siècles [A History of Famine in Sahel: A Study of the Great Food Crises, Nineteenth to Twentieth Centuries]. Paris: L'Harmattan, 1993.

*Aly, Götz, Chroust, Peter, Pross, Christian.* Cleansing the Fatherland: Nazi Medicine and Racial Hygiene / Translated by Belinda Cooper. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.

*Appelfeld, Aharon.* The Iron Tracks / Translated by Jeffrey M. Green. New York: Schocken Books, 1999.

*Aschheim, Steven E.* Brothers and Strangers: The East European Jew in German and German-Jewish Consciousness, 1800–1923. Madison: University of Wisconsin Press, 1982.

*Atran, Scott.* Cognitive Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

*Backus, Robert, trans.* The Riverside Counselor's Stories: Vernacular Fiction of Late Heian Japan. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1985.

*Bacon, Francis.* Sylva sylvarum: or a Natural History in Ten Centuries. London, 1627.

*Bagemihl, Bruce.* Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity. New York: St. Martin's Press, 1999.

*Bartholomew, James R.* The Formation of Science in Japan: Building a Research Tradition. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1993.

*Bauman, Zygmunt.* Allo-Semitism: Premodern, Modern, Postmodern // Modernity, Culture, and «the Jew» / Edited by Bryan Cheyette and Laura Marcus. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1998.

*Bayart, Jean-François.* The State in Africa: The Politics of the Belly / Translated by Mary Harper, Christopher Harrison, and Elizabeth Harrison. London: Longman, 1993.

*Beebe, William.* Insect Migration at Rancho Grande in North-Central Venezuela: General Account // Zoologica 34, no. 12 (1949): 107-110.

- Bein, Alex.* The Jewish Parasite: Notes on the Semantics of the Jewish Problem with Special Reference to Germany // *Leo Baeck Institute Yearbook* 9 (1964): 3-40.
- Bekoff, Marc, Allen, Colin, Burghardt, Gordon M., eds.* The Cognitive Animal: Empirical and Theoretical Perspectives on Animal Cognition. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002.
- Bolaño, Robert.* 2666 / Translated by Natasha Wimmer. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008.
- Bramwell, Anna.* Ecology in the Twentieth Century: A History. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1989.
- Burkhardt, Richard W., Jr.* Patterns of Behavior: Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, and the Founding of Ethology. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Busby, Chris.* Wings of Death: Nuclear Pollution and Human Health. Aberystwyth, U.K.: Green Audit, 1995.
- Calarco, Matthew.* Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida. New York: Columbia University Press, 2008.
- Chen, Jo-shui.* Liu Tsung-yuan and Intellectual Change in T'ang China, 773-819. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Chou, Io.* A History of Chinese Entomology / Translated by Wang Siming. Xi'an, China: Tianze Press, 1990.
- Coad, B. R.* Insects Captured by Airplane Are Found at Surprising Heights // *Yearbook of Agriculture*, 1931. Washington, D. C.: USDA, 1931.
- Cocroft, Reginald B., Rodríguez, Rafael L.* The Behavioral Ecology of Insects Vibrational Communication // *Bioscience* 55, no. 4 (2005): 323-334.
- Cohen, Richard I.* Jewish Icons: Art and Society in Modern Europe. Berkeley: University of California Press, 1998.
- Cooper, Barbara M.* Anatomy of a Riot: The Social Imaginary, Single Women, and Religious Violence in Niger // *Canadian Journal of African Studies* 37, nos. 2-3 (2003): 467-512.
- Cooper, Barbara M.* Marriage in Maradi: Gender and Culture in a Hausa Society in Niger, 1900–1989. Abingdon, U. K.: James Currey, 1997.
- Crary, Jonathan.* Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992.
- Crist, Eileen.* The Ethologica Constitution of Animals as Natural Objects: The Technical Writings of Konrad Lorenz and Nikolaas Tinbergen // *Biology and Philosophy* 13, no. 1 (1998): 61-102.
- Crist, Eileen.* «Naturalists» Portrayals of Animal Life: Engaging the Verstehen Approach // *Social Studies of Science* 26, no. 4 (1996): 799-838.
- Dale, Peter.* The Voice of the Cicadas: Linguistic Uniqueness, Tsunoda Tananobu's Theory of the Japanese Brain and Some Classical Perspectives // *Electronic Antiquity: Communicating the Classics* 1, no. 6 (1993).
- Daston, Lorraine.* Attention and the Values of Nature in the Enlightenment // *The Moral Authority of Nature* / Edited by Lorraine Daston and Fernando Vidal, 100-126. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
- Daston, Lorraine, Park, Katherine.* Wonders and the order of Nature, 1150-1750. New York: Zone Books, 1998.

- Davis, Natalie Zemon.* Women on the Margins: Three Seventeenth-Century Lives. Cambridge, Mass.: Belknap/Harvard, 1995.
- Degler, Carl N.* In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought. Oxford, U. K.: Oxford University Press, 1991.
- Deichmann, Ute.* Biologists under Hitler / Translated by Thomas Dunlap. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.
- Derrida, Jacques.* The Animal That Therefore I Am / Translated by David Wills. New York: Fordham University Press, 2008.
- Dingle, Hugh.* Migration: The Biology of Life on the Move. New York: Oxford University Press, 1996.
- Dudley, Robert.* The Biomechanics of Insect Flight: Form, Function, Evolution. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2000.
- Dunn, David.* Angels and Insects. Santa Fe, N. M.: ¿What Next?, 1999.
- Dunn, David.* The Sound of Light in Trees. Santa Fe, N. M.: EarthEar/Acoustic Ecology Institute, 2006.
- Dunn, David, Crutchfield, James P.* Insects, Trees, and Climate: The Bioacoustic Ecology of Deforestation and Entomogenic Climate Change. Santa Fe Institute Working Paper 06-12-055, 2006.
- Efron, John M.* Defenders of the Race: Jewish Doctors and Race Science in Fin-de-Siècle Europe. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1994.
- Eisner, Thomas.* For Love of Insects. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003.
- Evans, E. P.* The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals: The Lost History of Europe's Animal Trials. Boston, Mass.: Faber, [1906] 1987.
- Evans, R. J. W.* Rudolf II and His World: A Study in Intellectual History, 1576-1612. London: Thames and Hudson, 1973.
- Exner, Sigmund.* The Physiology of the Compound Eyes of Insects and Crustaceans / Translated by R. C. Hartree. Berlin: Springer Verlag, [1891] 1989.
- Favret, Colin.* Jean-Henri Fabre: His Life Experiences and Predisposition Against Darwinism // American Entomologist 45, no. 1 (1999): 38-48.
- Feld, Steven, Brenneis, Donald.* Doing Anthropology in Sound // American Ethnologist 31, no. 4 (2004): 461-474.
- Field, Norma.* Jean-Henri Fabre and Insect Life in Japan. Unpublished manuscript, n.d.
- Findlen, Paula* Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy. Berkeley: University of California Press, 1994.
- Foster, Hal, ed.* Vision and Visuality. Seattle: Bay Press/Dia Art Foundation, 1988.
- Frank, Claudine, ed.* The Edge of Surrealism: A Roger Caillois Reader. Durham, N. C.: Duke University Press, 2003.
- Frazer, James George.* The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 12 vols, London: MacMillan, 1906–1915.
- Freccero, Carla.* Fetishism: Fetishism in Literature and Cultural Studies // New Dictionary of the History of Ideas. Vol. 2. New York: Scribner's, 2005.

- Frisch, Karl von.* A Biologist Remembers / Translated by Lisbeth Gombrich. Oxford, U. K.: Pergamon Press, 1967.
- Frisch, Karl von.* The Dance Language and Orientation of Bees / Translated by Leigh E. Chadwick. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, [1965] 1993.
- Frisch, Karl von.* The Dancing Bees: An Account of the Life and Senses of the Honey Bee / Translated by Dora Isle and Norman Walker. New York: Harcourt, Brace and World, 1966.
- Fudge, Erica.* Animal. New York: Reaktion Books, 2002.
- Gates, Katharine.* Deviant Desires: Incredibly Strange Sex. New York: Juno Books, 2000.
- Glick, P. A.* The Distribution of Insects, Spiders, and Mites in the Air. U. S. Department of Agriculture Technical Bulletin 673. Washington, D. C.: USDA, 1939.
- Gossman, Lionel.* Michelet and Natural History: The Alibi of Nature // Proceedings of the American Philosophical Society 145, no. 3 (2001): 283-333.
- Gould, James L.* Ethology: The Mechanisms and Evolution of Behavior. New York: W. W. Norton, 1983.
- Gould, James L., Gould, Carol Grant.* The Honey Bee. New York: Scientific American, 1988.
- Gould, James L.* Hen's Teeth and Horse's Toes: Further Reflections in Natural History. New York: W.W. Norton, 1994.
- Gould, Stephen Jay, Lewontin, Richard.* The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Program // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 205 (1979): 581-598.
- Graeub, Ralph.* The Petkau Effect: The Devastating Effect of Nuclear Radiation on Human Health and the Environment. New York: Four Walls Eight Windows, 1994.
- Grant, Edward.* Artistotelianism and the Longevity of the Medieval World View // History of Science 16 (1978): 95-106.
- Greenspan, Ralph J., Dierick, Herman A.* «Am Not I a Fly Like Thee?» From Genes in Fruit Flies to Behavior in Humans // Human Molecular Genetics 13, no. 2 (2004): R267-R273.
- Grégoire, Emmanuel.* The Alhazai The Alhazai of Maradi: Traditional Hausa Merchants in a Changing Sahelian City. Translated by Benjamin H. Hardy. Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1992.
- Griffin, Donald R.* Animal Minds: Beyond Cognition to Consciousness / Rev. edition. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Guerrini, Anita.* Experimenting with Humans and Animals: From Galen to Animal Rights. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003.
- Hacking, Jan.* On Sympathy: With Other Creatures // Tijdschrift voor Filosofie 63, no. 4 (2001): 685-717.
- Haraway, Donna J.* Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science. New York: Routledge, 1989.
- Haraway, Donna J.* When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007 .
- Hart, Mitchell B.* Moses the Microbiologist: Judaism and Social Hygiene in the Work of Alfred Nossig // Jewish Social Studies 2, no. 1 (1995): 72-97.

- Hart, Mitchell B.* Racial Science, Social Science, and the Politics of Jewish Assimilation // *Isis* 90 (1999): 268-297.
- Hart, Mitchell B.* Social Science and the Politics of Modern Jewish Identity. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 2000.
- Hearne, Vicki.* Adam's Task: Calling Animals by Name. New York: Alfred A. Knopf, 1986.
- Hearne, Vicki.* Animal Happiness. New York: HarperCollins, 1994.
- Helmreich, Stefan.* Alien Ocean: Anthropological Voyages in Microbial Seas. Berkeley: University of California Press, 2009.
- Hendrix, Lee.* Joris Hoefnagel and «The Four Elements»: A Study in Sixteenth-Century Nature Painting / Ph. D. diss., Princeton University, 1984.
- Hendrix, Lee.* Of Hirsutes and Insects: Joris Hoefnagel and the Art of the Wondrous // *Word and Image* 11, no. 4 (1995): 373-390.
- Hendrix, Lee, Vignau-Wilberg, Thea.* Mira calligraphiae monumenta: A Sixteenth-Century Calligraphic Manuscript Inscribed by Georg Bocskey and Illuminated by Joris Hoefnagel. Malibu, Calif.: J. Paul Getty Museum, 1992.
- Herrnstein, R. J.* Nature as Nurture: Behaviorism and the Instinct Doctrine // *Behavior and Philosophy* 26 (1998): 73-107; reprinted from «*Behavior*» 1, no. 1 (1972): 23-52.
- Hesse-Honegger, Cornelia.* After Chenobyl. Bern: Bundesamt für Kultur/Verlag Lars Müller, 1992.
- Hesse-Honegger, Cornelia.* Der Verdacht [The Suspicion] // *Tages-Anzeiger Magazin* (April 1989): 28-35.
- Hesse-Honegger, Cornelia.* The Future's Mirror / Translated by Christine Luisi. Newcastle upon Tyne, U. K.: Locus+, 2000.
- Hesse-Honegger, Cornelia.* Heteroptera: The Beautiful and the Other, or Images of a Mutating World / Translated by Christine Luisi. New York: Scalo, 2001.
- Hesse-Honegger, Cornelia.* Warum bin ich in Österfärnebo? Bin auch in Leibstadt, Beznau, Gösgen, Creys-Malville, Sellafeld gewesen... [Why am I in Österfärnebo? I Have Also Been to Leibstadt, Beznau, Gösgen, Creys-Malville, Sellafeld...] Basel, Switzerland: Editions Heuwinkel, 1989.
- Hesse-Honegger, Cornelia.* Wenn Fliegen und Wanzen anders aussehen als sie sollten [When Flies and Bugs Don't Look the Way They Should] // *Tages-Anzeiger Magazin* (January 1988): 20-25.
- Hoefnagel, Joris.* Animalia rationalia et insect (Ignis). 1582.
- Hooke, Robert.* Micrographia; or Some Physiological Descriptions of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses with Observations and Inquiries Thereupon. New York: Dover, [1665] 2003.
- Hsiung Ping-chen.* From Singing Bird to Fighting Bug: The Cricket in Chinese Zoological Lore. Unpublished manuscript, Taipei, Taiwan, n. d.
- Imanishi Kinji.* The World of Living Things / Translated by Pamela J. Asquith, Heita Kawakatsu, Shusuke Yagi, and Hiroyuki Takasaki. London: RoutledgeCurzon, 2002.
- Jacoby, Karl.* Slaves by Nature? Domestic Animals and Human Slaves // *Slavery and Abolition* 15 (1994): 89-99.

- Jay, Martin.* Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. Berkeley: University of California Press, 1994.
- Jin Xingbao.* Chinese Cricket Culture // Cultural Entomology Digest 3 (November 1994). Available at [http://www.insects.org/ced3/chinese\\_crcul.html](http://www.insects.org/ced3/chinese_crcul.html).
- Jin Xingbao, Liu Xianwei.* Qan jian min cun de xuan yan han guang shan [Common Singing Insects: Selection, Care, and Appreciation]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1996.
- Joffe, Steen R.* Desert Locust Management: A Time for Change // World Bank Discussion Paper, no. 284, April 1995. Washington, D. C.: World Bank, 1995.
- Johnson, C. G.* Migration and Dispersal of Insects by Flight. London: Methuen, 1969.
- Jullien, François.* The Propensity of Things: Toward a History of Efficacy in China / Translated by Janet Lloyd. New York: Zone Books, 1995.
- Kalikow, Theodora J.* Konrad Lorenz's Ethological Theory: Explanation and Ideology, 1938-1943 // Journal of the History of Biology 16, no. 1 (1983): 39-73.
- Kalland, Arne, Asquith, Pamela J., eds.* Japanese Images of Nature: Cultural Perceptions. Richmond, U. K.: Curzon, 1997.
- Kaufmann, Thomas DaCosta.* The Mastery of Nature: Aspects of Art, Science, and Humanism in the Renaissance. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1993.
- Kaufmann, Thomas DaCosta.* The School of Prague: Painting at the Court of Rudolf II. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- Kessel, Edward L.* The Mating Activities of Balloon Flies // Systematic Zoology 4, no. 3 (1955): 97-104.
- Kohler, Robert E.* Lords of the Fly: Drosophila Genetics and the Experimental Life. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Konishi Masayasu.* Mushi no bunkashi [A Cultural History of Insects]. Tokyo: Asahi Sensho, 1992.
- Kouichi Goka, Hiroshi Kojima, Kimiko Okabe.* Biological Invasion Caused By Commercialization of Stag Beetles in Japan // Global Environmental Research 8, no. 1 (2004): 67-74.
- Kral, Karl, Prete, Frederick R.* In the Mind of a Hunter: The Visual World of a Praying Mantis // Complex Worlds from Simpler Nervous Systems / Edited by Frederick R. Prete. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.
- Krizek, George O.* Unusual Interaction between a Butterfly and a Beetle: «Sexual Paraphilia» in Insects? // Tropical Lepidoptera 3, no. 2 (1992): 118.
- Land, Michael F.* Eyes and Vision // Encyclopedia of Insects / Edited by Vincent H. Resh and Ring T. Cardé, 393-406. New York: Academic Press, 2003.
- Land, Michael F., Nilsson, Dan-Eric.* Animal Eyes. Oxford, U. K.: Oxford University Press, 2002.
- Lapini, Agostino* Diario fiorentino dal 252 al 1596 [Florentine Diary 252-1596] / Edited by Gius. Odoardo Corazzini. Florence: G. C. Sansoni, 1900.
- Lasden, Martin.* Forbidden Footage // California Lawyer (September 2000). Available at [californialawyerjournal.com/index.cfm?sid=&tkn=&eid=306417&evid=1](http://californialawyerjournal.com/index.cfm?sid=&tkn=&eid=306417&evid=1).
- Launois-Luong, M. H., M. Lecog.* Vade-mecum des croquets du Sahel [Vade Mecum of Locusts in the Sahel]. Paris: CIRAD/PRIFAS, 1989.

- Lauter, Marlene, ed.* Concrete Art in Europe after 1945. Ostfildern-Ruit, Germany: Hatje Cantz, 2002.
- LeBas, Natasha R., Hockham, Leon R.* An Invasion of Cheats: The Evolution of Worthless Nuptial Gifts // *Current Biology* 15, no. 1 (2005): 64-67.
- Legros, Georges Victor.* Fabre: Poet of Science / Translated by Bernard Miall. Whitefish, Mont.: Kessinger Publishing, [1913] 2004.
- Levy-Barzilai, Vered.* The Rebels among Us // *Haaretz Magazine*, October 13, 2006, 18-22.
- Li Shijun.* Min jien cuan shi: shang pin xishuai [An Anthology of Lore of One Hundred and Eight Excellent Crickets]. Hong Kong: Wenhui, 2008.
- Li Shijun.* Zhonggou dou xi jian shang [An Appreciation of Chinese Cricket Fighting]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 2001.
- Li Shijun.* Zhonghua xishuai wushi bu xuan [Fifty Taboos of Cricket Collecting]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 2002.
- Lindauer, Martin.* Communication among Social Bees. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1961.
- Lingis, Alphonso.* Abuses. New York: Routledge, 1994.
- Lingis, Alphonso.* Dangerous Emotions. New York: Routledge, 2000.
- Lingis, Alphonso.* Excesses: Eros and Culture. Albany, N. Y.: State University of New York Press, 1983.
- Liu Xinyuan.* Amusing the Emperor: The Discovery of Xuande Period Cricket Jars from the Ming Imperial Kilns // *Orientalia* 26, no. 8 (1995): 62-77.
- Lloyd, G. E. R.* Science, Folklore and Ideology: Studies in the Life Sciences in Ancient Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Luckert, Stephen.* The Art and Politics of Arthur Szyk. Washington, D. C.: U. S. Holocaust Memorial Museum, 2002.
- Mamdani, Mahmood.* When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2002.
- Marketing Guidebook for Major Imported Products 2004. Vol. 3, Sports and Hobbies / Japan External Trade Organization (JETRO). Tokyo: JETRO, 2004.
- McCartney, Andra.* Alien Intimacies: Hearing Science Fiction Narratives in Hildegrad Weterkamp's «Cricket Voice» (or «I Don't Like the Country, the Crickets Make Me Nervous») // *Organized Sound* 7 (2002): 45-49.
- Mendelsohn, Ezra.* From Assimilation to Zionism in Lvov: The Case of Alfred Nossig // *Slavonic and East European Review* 49, no. 17 (1971): 521-534.
- Merian, Maria.* Sibylla Metamorphosis insectorum Surinamensium. Amsterdam: Gerard Valck, 1705.
- Mol, Annemarie.* The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham, N. C.: Duke University Press, 2003.
- Mousseau, Frederic, with Anuradha Mittal.* Sahel: A Prisoner of Starvation? A Case Study of the 2005 Food Crisis in Niger. Oakland, Calif.: The Oakland Institute, 2006.
- Munz, Tania.* The Bee Battles: Karl von Frisch, Adrian Wenner and the Honey Bee Dance Language Controversy // *Journal of the History of Biology* 38, no. 3 (2005): 535-570.



*Nilsson, Dan-Eric, Pelger, Susanne.* A Pessimistic Estimate of the Time Required for an Eye to Evolve // *Proceedings of the Royal Society B: Biological Science* 256 (1994): 53-58.

*Nossig, Alfred, ed.* Jüdische Statistik [Jewish Statistics]. Berlin: Der Jüdische Verlag, 1903.

*Nossig, Alfred.* Die Sozialhygiene der Juden und des altorientalischen, Völkerkreises [Social Hygiene of the Jews and Ancient Oriental Peoples]. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1894.

*Nossig, Alfred.* Zionismus und Judenheit: Krisis und Lösung [Zionism and Jewry: Crisis and Solution]. Berlin: Interterritorialer Verlag «Renaissance», 1922.

*Nuti, Lucia.* The Mapped Views by George Hoefnagel: The Merchant's Eye, the Humanist's Eye // *Word and Image* 4 (1988): 545-570.

*Nye, Robert A.* The Rise and Fall of the Eugenics Empire: Recent Perspectives on the Impact of Biomedical Thought in Modern Society // *Historical Journal* 36 (1993): 687-700.

*Okumoto Daizaburo.* Hakubutsugakuno kyojin Anri Faburu [Henri Fabre: A Giant of Natural History]. Tokyo: Syueisya, 1999.

*Osten-Sacken, Carl Robert.* A Singular Habit of «Hilara» // *Entomologist's Monthly Magazine* 14 (1877): 126-127.

*Pavese, Cesare.* This Business of Living: Diaries 1935-1950 / Translated by Alma E. Murch. New York: Quartet, 1980.

*Perec, Georges.* Species of Spaces and Other Pieces / Translated by John Sturrock. London: Penguin, 1998.

*Philipp, Feliciano.* Protection of Animals in Italy. Rome: National Fascist Organization for the Protection of Animals, 1938.

*Ploetz, Alfred.* Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen: Ein Versuch über die Rassenhygiene und ihr Verhältnis zu den humane Idealen, besonders zum Sozialismus [The Efficiency of Our Race and the Protection of the Weak: An Essay Concerning Racial Hygiene and Its Relationship to Humanitarian Ideals, in Particular to Socialism]. Berlin: S. Fischer, 1895.

*Proctor, Robert N.* Racial Hygiene: Medicine under the Nazis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.

*Raffles, Hugh.* In Amazonia: A Natural History. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2002.

*Ratey, John J.* A User's Guide to the Brain: Perception, Attention, and the Four Theaters of the Brain. New York: Vintage, 2002.

*Reischauer, Edwin O., Yamagiwa, Joseph K.* Translations from Early Japanese Literature. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1951.

*Resh, Vincent H., Cardé, Ring T., eds.* Encyclopedia of Insects. New York: Academic Press, 2003.

*Roitman, Janet* Fiscal Disobedience: An Anthropology of Economic Regulation in Central Africa. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2004.

*Roughgarden, Joan.* Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and

People. Berkeley: University of California Press, 2004.

- Rowley, John, Bennett, Olivia.* Grasshoppers and Locusts: The Plague of the Sahel. London: The Panos Institute, 1993.
- Ryan, Lisa Gail, ed.* Insect Musicians and Cricket Champions: A Cultural History of Singing Insects in China and Japan. San Francisco: China Books and Periodicals, 1996.
- Sax, Boria.* Animals in the Third Reich: Pets, Scapegoats, and the Holocaust. New York: Continuum, 2003.
- Sax, Boria.* What is a «Jewish Dog»? Konrad Lorenz and the Cult of Wildness // Society and Animals: Journal of Human-Animal Studies 5, no. 1 (1997).
- Scarborough, John.* On the History of Early Entomology, Chiefly Greek and Roman with a Preliminary Bibliography // Melsheimer Entomological Series 26 (1979): 17-27.
- Schafer, R. Murray.* The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, Vt.: Destiny Books, 1994.
- Schiebinger, Londa.* Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
- Searle, John R.* Mind: A Brief Introduction. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2004.
- Seeley, Thomas D.* The Wisdom of the Hive: The Social Physiology of Honey Bee Colonies. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.
- Seeley, Thomas D., S. Kühnholz, R. H. Seeley* An Early Chapter in Behavioral Physiology and Sociobiology: The Science of Martin Lindauer // Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology 188 (2002): 439-453.
- Serres, Michel.* The Parasite / Translated by Lawrence R. Schehr. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
- Seyfarth, Ernst-August, Perzchala, Henryk.* Sonderaktion Krakau 1939: Die Verfolgung von polnischen Biowissenschaftlern und Hilfe durch Karl von Frisch [Sonderaktion Krakau, 1939: The Persecution of Polish Biologists and the Assistance Provided by Karl von Frisch // Biologie in unserer Zeit 22, no. 4 (1992): 218-225.
- Shapin, Steven.* The Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- Shiga Utsuke.* Nihonichi no konchu-ya [The Best Insect Shop in Japan]. Tokyo: Bunchonbunko, 2004.
- Shoko Kameoka, Hisako Kiyono.* A Survey of the Rhinoceros Beetle and Stag Beetle Market in Japan. Tokyo: TRAFFIC East Asia – Japan, 2003.
- A Short History of the Anarchist Movement in Japan / Ed. By Liberaire Group. Tokyo: Idea Publishing House.
- Smith, Ray F., Mittler, Thomas E., Smith, Carroll N., eds.* History of Entomology. Palo Alto, Calif.: Annual Reviews, Inc., 1973.
- Sommer, Volker, Vasey, Paul L., eds.* Homosexual Behavior in Animals: An Evolutionary Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Spicer, Dorothy Gladys.* Festivals of Western Europe. New York: H. W. Wilson, 1958.

*Stein, Rolf A.* The World in Miniature: Container Gardens and Dwellings in Far Eastern Religious Thought / Translated by Phyllis Brooks. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1990.

*Strassberg, Richard E.* Inscribed Landscapes: Travel Writing from Imperial China. Berkeley: University of California Press, 1994.

*Taussig, Michael.* Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses. New York: Routledge, 1993.

*Taussig, Michael.* My Cocaine Museum. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

*Thomas, Julia Adeney* Reconfiguring Modernity: Concepts of Nature in Japanese Political Ideology. Berkeley: University of California Press, 2001.

*Thomas, Keith.* Man and the Natural World: A History of the Modern Sensibility. New York: Pantheon, 1983.

*Toor, Frances.* Festivals and Folkways of Italy. New York: Crown, 1953.

*Topsell, Edward.* The History of Four-Footed Beasts and Serpents. Vol. 3, The Theatre of Insects or Lesser Living Creatures by Thomas Moffet. New York: De Capo, [1658] 1967.

*Tort, Patrick.* Fabre: Le Miroir aux Insectes. Paris: Vuibert/Adapt, 2002.

*Tregenza, T., Wedell, N., Chapman T.* Introduction. Sexual Conflict: A New Paradigm? // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 361 (2006): 229-234.

*Tsunoda Tadanobu.* The Japanese Brain: Uniqueness and Universality / Translated by Yoshinori Oiwa. Tokyo: Taishukan, 1985.

*Tuan, Yi-Fu.* Discrepancies Between Environmental Attitude and Behaviour: Examples from Europe and China // Canadian Geographer 12, no. 3 (1968): 176-191.

*Uexküll, Jakob von.* A Stroll through the World of Animals and Men: A Picture Book of Invisible Worlds // Instinctive Behavior: The Development of a Modern Concept / Edited and translated by Claire H. Schiller, 5-80. New York: International University Press, 1957.

*Vignau-Wilberg, Thea.* Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii (1592): Nature, Poetry and Science in Art around 1600. Munich, Germany: Staatliche Graphische Sammlung, 1994.

*Vilencia, Jeff.* The American Journal of the Crush-Freaks. 2 vol. Bellflower, Calif.: Squish Publications, 1993-1996.

*Wade, Nicholas.* Flyweights, Yes, but Fighters Nonetheless: Fruit Flies Bred for Aggressiveness // New York Times, October 10, 2006.

*Wagner, David L.* Caterpillars of Eastern North America: A Guide to Identification and Natural History. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2005.

The Warsaw Diary of Adam Czerniakow. Prelude to Doom / Edited by Raul Hilberg, Stanislaw Staron, and Josef Kermisz. Translated by Stanislaw Starn and the staff of Yad Vashem. New York: Stein and Day, 1979.

*Weindling, Paul Julian.* Epidemics and Genocide in Eastern Europe, 1890-1945. New York: Oxford University Press, 2000.

*Weiss, Sheila.* Faith The Race Hygiene Movement in Germany // Osiris 3 (1987): 193-226.

*Wolfe, Cary, ed.* Zoontologies: The Question of the Animal. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.

*Wu Zhao Lian.* Xishuai mipu [Secret Cricket Books]. Tianjin, China: Gu Ji Shu Dan Ancient Books, 1992.

*Yajima Minoru.* Mushi ni aete yokatta [I Am Happy That I Met Insects]. Tokyo: Froebelkan, 2004.

*Yoro Takeshi, Miyazaki Hayao.* Mushime to anime. Tokyo: Tokuma Shoten, 2002.

*Yoro Takeshi, Okumoto Daizaburo, Ikeda Kiyohiko.* San-nin yoreba mushi-no-chi'e [Put Three Heads Together to Match the Wisdom of a Mushi]. Tokyo: Yosensya, 1996.

*Zinsser, Hans.* Rats, Lice and History: Being a Study in Biography, which, after Twelve Preliminary Chapters Indispensable for the Preparation of the Lay Reader, Deals with the Life History of Typhus Fever. Boston, Mass.: Atlantic Monthly Press/Little, Brown, and Company, 1935.

*Zylberberg, Michael.* The Trial of Alfred Nossig: Traitor or Victim // Wiener Library Bulletin 23 (1969): 41-45.

## Благодарности

Я собирал материал для этой книги и писал ее несколько лет. Почти все это время я исследовал то, что выходит за рамки моей научной специальности, и в большей мере, чем обычно, зависел от великодушного содействия других людей. Несть числа тем, кто пришел мне на выручку: кто-то поспособствовал работе над конкретными главами, кто-то помогал советом и подбадривал меня с начала до конца. В большинстве случаев я могу лишь указать имена тех, кто оказал мне содействие, и просто отметить: в последние годы я испытывал несказанное удовольствие, узнавая массу всего нового от моих многочисленных собеседников.

Как всегда, для начала, проникнувшись глубочайшим почтением, я выражаю признательность моему дорогому другу и сообщнице Шэрон Симпсон. Не счесть, сколько раз мы с Шэрон обсуждали между собой каждую мысль и переживание, отраженные в этой книге. Без Шэрон эта книга не просто была бы иной, а вообще не состоялась бы.

Покорнейше благодарю всех, кто почтил меня высочайшим доверием — разрешил мне написать об их биографии. Я особенно признателен вам, Джефф Виленсия, Фань Дали, Дэвид Данн, Такеси Ёоро, Мицуя Кавасаки, Тецуя Сугиура, Корнелия Хессе-Хонеггер, Ли Шицзюнь, и Минору Ядзима.

Столь же значительный вклад внесли три талантливых и усердных исследователя, которые были моими помощниками, а впоследствии сделались и друзьями. Безусловно, они полноценные соавторы тех ценнейших глав моей книги, которые основываются на полевых исследованиях. В Китае вместе со мной трудился Ху Яньцзюнь, в Японии — Сигэ (Си-Джей) Судзуки, в Нигере — Абдулкарим Саиду.

Мне не удалось бы провести полевые исследования, если бы не колоссальная помощь со стороны других моих друзей — старых и новых. Премного благодарю вас, Мей Чжань, Хуан Цзиньгиин, Тайлер Рукер, Динь Сяоцян, Махамане Тиджани Алу, Нассиру Бако Арифари, Сихо Сацука, Гэвин Уайтло и Томас Биршенк.

По возвращении в США мне оказали ценнейшую помощь Стив Коннелл, Лин Чэнь, Хисаэ Кавамори, Габриэль Попофф и Юмико Ивасаки: они квалифицированно составили библиографию, а также выполнили письменные и устные переводы.

Я в большом долгу перед Дениз Шэннон, моим литературным агентом, за ее доброжелательность, терпение и мудрость, а также перед Дэном Фрэнком, моим редактором в издательстве Pantheon: он не только поощрял меня делать все по-своему, но и тактично настаивал на этом. Также мне хотелось бы поблагодарить вас, Мичико Кларк, Альти Карпер, Джилл Веррилло и Абигайль Виноград из Pantheon.

Благодарю Новую Школу (The New School), которая создала мне воодушевляющую обстановку для работы, а также выплачивала оклад и средства на исследовательскую деятельность, без которых никакой книги не было бы. Также я должен сказать спасибо Джиму Скотту и Кэй Мэнсфилд из «Йельской программы аграрных исследований» за годовую стипендию и товарищество во всех смыслах этого слова: так я получил возможность наметить первоначальную схему своего начинания.

Перечислю тех, без кого эта книга была бы намного хуже (учтите, я, скорее всего, нечаянно позабыл кого-то включить в этот список): Адриана Акино, Ал Лингис, Алан Кристи, Алекс Бик, Алексей Юрчак, Алондра Нельсон, Амбер Бенезра, Ананд Пандиан, Анна Цзин, Анн-Мари Слезек, Аннмари Мол, Антуанетт Тиджани Алу, Арджун Аппадурай, Арун Агравал, Аяко Фурита, Барретт Клейн, Бен Орлов, Бет Повинелли, Билл Морер, Буреима Альфа Гадо, Брэнтли Бардин, Брюс Браун, Ван Юэгэнь, Венди Ю, Вулань, Виджаянти Рао, Викки Хэттем, Врон Вар, Габриэль Виньоли, Гжегож Сокол, Грэм Бёрнетт, Гэри Шапиро, Дайдзабуро Окумото, Дайлайп Менон, Деян Лукич, Джанелль Ламоро, Джейк Косек, Дженет Ройтман, Дженет Стерджён, Джим Клиффорд, Джо Маско, Джоди Грин, Джон Марловиц, Джонатан Бах, Джун Ховард, Дин Сюевэнь, Дитер Холл, Дон Кулик, Дон Мур, Донна Хэрауэй, Дэвид Портер, Дэн Лингер, Жан-Ив Дюран, И-йи Цзиэ, Илана Гершон, Йень-лин Цай, Йи Иньцзюнь, Кадзухико Иидзима, Карен Дэвидсон, Карла Фреччеро, Катарин Гейтс, Кейл Хершаттер, Кимио Хонда, Клаудио Ломниц, Кристин Пэдох, Кэрол Брекенридж, Лайза Рофель, Ларри Хиршфелд, Леандер Шнайдер, Ли Хендрикс, Ли Цзюнь, Лоренс Коэн, Луиза Фортманн, Майя Готши, Мартин Ласден, Мигель Пиньедо-Васкес, Мик Тауссиг, Мириам Тиктин, Моника Филиппо, Мэтт Вольф-Мейер, Натаки Хьюлетт, Наташа Коупленд, Неферти Тадиар, Ники Лабруто, Норико Асо, Норма Филд, Нэнси Джейкобс, Нэнси Пелузо, Оана Матееску, Орит Халперн, Паоло Палладино, Питер Линднер, Пол Гилрой, Ральф Лицингер, Реа Раман, Ребекка Солнит, Ребекка Стейн, Ребекка Хардин, Рейко Мацумия, Риккардо Инноченти, Роберто Косикава, Ротем Гева, Саба Махмуд, Салли Хекел, Сина Наджафи, Стефан Хелмрайх, Стюарт Маклин,

Сусанна Хехт, Сьюзен О'Донован, Сьюзен Хардинг, Тао Чжи Цин, Тджитске Холтроп, Тим Чой, Том Байон, Тони Шлесингер, Файсаль Девджи, Фатема Ахмед, Федерико Финчелстейн, Фред Appel, Фу Чжоу Лян, Фу Шуи Мяо, Чарли Пайот, Чарльз Уиткрофт, Хизер Уотсон, Хилтон Уайт, Хироси Охира, Хунь Сон, Цзинь Синбао, Цзюнь Пин-чэнь, Шао Хунхуа, Эд Каменс, Эмили Мартин, Энн Столер, Эрик Уорби, Эрик Хамилтон, Эрнст-Август Сейфарт, Юкико Кога, Янтянь Фэн, Яцек Новаковски.

И наконец, многие из тех, о ком я пишу в этой книге, названы вымышленными именами. Например, некоторые из тех, с кем я общался в Шанхае в обстоятельствах, которые для них небезопасны. Были у меня и собеседники, чьих имен я так и не узнал, но они делились со мной своими познаниями на рынках и в магазинах, в музеях, на улицах и во всех прочих местах, где насекомые исподволь пробираются в нашу жизнь. Я сердечно благодарю всех этих людей, а также жителей населенных пунктов Дандасай, Дан мата Соуа и Риджио Убандавакима в Нигере. И, наконец, я вновь выражаю признательность моим бразильским друзьям из Игарапе Гуарибы.

## Информация об иллюстрациях

- 10 Изображение предоставлено USDA
- 12 Изображение предоставлено USDA
- 18 Фото автора
- 20 Фото автора; Изображение предоставлено Корнелией Хессе-Хоннегер
- 24 Изображение предоставлено Библиотекой Нью-Йоркского университета
- 28 Изображение предоставлено Корнелией Хессе-Хоннегер; Из книги Jay M. Gould and Benjamin A. Goldman with Kate Millpointer, *Deadly Deceit: Low Level Radiation High Level Cover-Up* (New York: Four Walls Eight Windows, 1990). Воспроизводится с разрешения Basic Books (в составе Perseus Books Group)
- 32–33 Изображения предоставлены Корнелией Хессе-Хоннегер
- 38 Карта предоставлена Корнелией Хессе-Хоннегер
- 45 Изображение предоставлено Корнелией Хессе-Хоннегер
- 47 Фото автора
- 49 Художественный музей Метрополитен, приобретение, дар Дженнифер и Джозефа Дьюков, 1999 (1999.411) © Художественный музей Метрополитен
- 50 Фото автора
- 51 Изображение предоставлено Национальным музеем естествознания (Париж); Фото автора
- 56 Фото — П.-А. Фабр
- 58 Изображение предоставлено Национальным музеем естествознания (Париж)
- 62 Фото — К. Трук
- 67 Воспроизведено с любезного разрешения «Олл-Ниппон Эйрлайнз»; Фото автора
- 77 Фото предоставлено Ху Яньцзюнем
- 78 Фото автора
- 82 Изображения предоставил Дай Хуншай

- 91 Фото автора
- 94 Фото автора
- 99 С любезного разрешения Ли Шицзюня
- 100 Фото автора
- 108 Фото воспроизводится с любезного разрешения The Shanghai Evening Post
- 116 Фото автора
- 118 Изображения предоставлены Германом А. Дириком
- 119 Фото автора
- 120 Из книги Calvin B. Bridges and T.H. Morgan «The Third Chromosome Group of Mutant Character of *Drosophila melanogaster*» (Carnegie Institute, 1923), воспроизводится с разрешения Института Карнеги
- 124 *Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Plate LVII*, дар миссис Лессинг Дж. Розенвалд. Изображение предоставлено Попечительским советом Национальной галереи искусств (Вашингтон)
- 132 *Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Plate I*, дар миссис Лессинг Дж. Розенвалд. Изображение предоставлено Попечительским советом Национальной галереи искусств (Вашингтон)
- 133 *Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Plate XLIII*, дар миссис Лессинг Дж. Розенвалд. Изображение предоставлено Попечительским советом Национальной галереи искусств (Вашингтон)
- 135 *Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Plate V*, дар миссис Лессинг Дж. Розенвалд. Изображение предоставлено Попечительским советом Национальной галереи искусств (Вашингтон)
- 139 *Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Plate LVII*, дар миссис Лессинг Дж. Розенвалд. Изображение предоставлено Попечительским советом Национальной галереи искусств (Вашингтон)
- 141 Артур Шик «Кости сухие! Слушайте слово Господне», обложка журнала *The Answer* (1944). Воспроизводится при содействии The Arthur Szyk Society, Берлингем, Калифорния [www.szyk.org](http://www.szyk.org); Шмуэль Хиршенберг «Вечный жид» (1899). Собрание Музея Израиля, Иерусалим. Правообладатели фото — Музей Израиля и Дэвид Харрис
- 142 Альфред Носсиг «Вечный жид» (1901). Из архива YIVO Institute for Jewish Research (Нью-Йорк); Garry Hunter/Wellcome Images
- 146 Торжественное открытие *Ausstellung jüdischer Künstler* («Выставки еврейских художников»), Берлин, 1907. Из архива YIVO Institute for Jewish Research (Нью-Йорк)
- 151 Плакат «Евреи-Вши-Тиф» (1940), изданный генерал-губернаторством. Воспроизводится по собранию Ягеллонской библиотеки, Краков, sygn. VJ 749040 III 59 Rara
- 152 Модель объектов для уничтожения людей в Освенциме-Биркенау выполнена Мечиславом Стоберским. Предоставлена Мемориальным музеем холокоста (США)
- 162 Maria Sibylla Merian, *Metamorphosis insectorum Surinamensium*, 1705, гравюра 14. Предоставлена Библиотекой Американского музея естествознания

167 Вильгельм фон Остен и его лошадь «Умный Ганс». 1904. Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz/Art Resource, N.Y.

По Hildtraut Steinhoff, *Z. vergl. Physiol.* 31, 38–57, 1948; Фото доктора Шлика

168 Фото из книги Karl von Frisch, *A Biologist Remembers*. Trans. by Lisbeth Gombrich, p. 41 (Oxford: Pergamon Press, 1967); Фото из книги Karl von Frisch, *A Biologist Remembers*. Trans. by Lisbeth Gombrich, p. 28 (Oxford: Pergamon Press, 1967).

170 Воспроизводится по книге Karl von Frisch, «Sprechende Tänze im Bienenvolk», *Festrede in der Bayer. Akad. Wiss.*, 1954

171 Воспроизводится с разрешения издателя по книге Karl von Frisch, *The Dance Language and Orientation of Bees*, translated by Leigh E. Chadwick, p. 137, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press © 1967, 1993 — президент и научные сотрудники Гарвардского Колледжа.

172 Перепечатано из книги Karl von Frisch, *Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language*, p. 88, с разрешения издателя — Cornell University Press; По M. Renner, *Z. vergl. Physiol.* 42, 449–483, 1959

174 Перепечатано из книги Karl von Frisch, *Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language*, p. 55, с разрешения издателя — Cornell University Press; Фото — M. Renner; Перепечатано с разрешения издателя из книги Karl von Frisch, *The Dance Language and Orientation of Bees*, translated by Leigh E. Chadwick, p. 166, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press © 1967, 1993 — президент и научные сотрудники Гарвардского Колледжа

175 Перепечатано из книги Karl von Frisch, *Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language*, p. 1, с разрешения издателя — Cornell University Press; Перепечатано с разрешения издателя из книги Martin Lindauer, *Communication Among Social Bees*, p. 14, Cambridge, Mass: Harvard University Press © 1961 — президент и научные сотрудники Гарвардского Колледжа © продлены в 1989 — Мартин Линдауэр

178 Перепечатано с разрешения издателя из Martin Lindauer, *Communication Among Social Bees*, p. 18, Cambridge, Mass: Harvard University Press, © 1961, 1993 — президент и научные сотрудники Гарвардского Колледжа © продлены в 1989 — Мартин Линдауэр

179 Иллюстрация Билла Расселла [www. billulustration.com](http://www.billulustration.com)

188 Фото Харальда Деринга

200 Карта областей размножения и основных передвижений саранчи во время нашествий воспроизведена с разрешения издателя, взята из книги G. V. Popov, *Atlas of Desert Locust Breeding Habits*, Rome: Food and Agriculture Organization, 1997

204 Фото автора

212 Фото автора

218 Фото автора

221 Фото автора

223 Фото автора

224 Карта областей размножения и основных передвижений саранчи во время рецессий воспроизведена с разрешения издателя, взята из книги G. V.



Popov, Atlas of Desert Locust Breeding Habits, Rome: Food and Agriculture Organization, 1997

227 Фото автора

231 Изображение предоставлено Джиллиан Раффлз

232 Фото автора

237 Изображение воспроизведено с любезного разрешения Франки

Принципе, IMSS-Florence

242 Фото автора

243 Изображение предоставлено Banca Datti dell' Archivio Storico Foto Locchi Firenze (Базой Данных Архива фотографий Локки, Флоренция)

244 Фото автора

246 Изображение предоставлено Джорджем О. Кризекком

247 Фотография ламантинов Вест-Индии, копирайт — Филип Колла /

www.oceanlight.com

252 Фото автора

253 Фото автора

255 Изображение предоставлено Джеффом Виленсией

256 Изображение предоставлено Джеффом Виленсией

258 Изображения предоставлены Джеффом Виленсией

263 Изображение предоставлено Джеффом Виленсией

264 Изображение предоставлено Джеффом Виленсией

268 AP Photo/Los Angeles Daily News, Майкл Оуэн Бейкер

271 Изображение предоставлено Джеффом Виленсией

278 Фото — Онно Звирс, Creative Commons Attribution and ShareAlike

license (CC-BY-SA)

279 Перепечатано с любезного разрешения Наташи Леба

286 Предоставлено Музеем естествознания Северной Каролины и фирмой Academy Studios (Новейто, Калифорния)

287 Перепечатано из книги Karl von Frisch, *Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language*, p. 7, с разрешения издателя — Cornell University Press

288 Оба изображения предоставлены Томасом Эйснером, Корнеллский университет

294 «Серая ильница-пчеловидка», воспроизведено из книги Robert Hooke, *Micrographia*. Science Museum/ Science & Society Picture Library

295 Изображение воспроизведено из книги Sigmund Exner, *The Physiology of the Compound Eyes of Insects and Crustaceans*, R. C. Hartree, ed. (Berlin: Springer Verlag, 1989); Изображение воспроизведено из публикации Edward Gaten, «Optics and Phylogeny: Is There an Insight? The Evolution of Superposition Eyes in the Decapoda (Crustacea)», *Contributions to Zoology*, 67 (4) 223–236 (1998), с любезного разрешения Эдварда Гейтена и журнала *Contributions to Zoology*

297 Изображение воспроизведено из публикации Edward Gaten, «Optics and Phylogeny: Is There an Insight? The Evolution of Superposition Eyes in the Decapoda (Crustacea)», *Contributions to Zoology*, 67 (4) 223–236 (1998), с любезного разрешения Эдварда Гейтена и журнала *Contributions to Zoology*; Изображение воспроизведено с разрешения издателя из книги Michael F. Land and Dan-Eric Nilsson, *Animal Eyes* (Oxford: Oxford University Press, 2002)

- 303 Воспроизведено из книги Claire H. Schiller *Instinctive Behavior* с разрешения International Universities Press, Inc. Копирайт 1957 IUP
- 305 Фотография предоставлена Полом Инглесом <http://www.paulingles.com>
- 307 Фотография предоставлена Э. Стивенном Мансоном, Служба охраны лесов Министерства сельского хозяйства США, [Bugwood.org](http://Bugwood.org)
- 312 С любезного разрешения Уильяма М. Съеслы, Forest Health Management International, США
- 314 Фото автора
- 321 Перепечатано из книги Karl von Frish, *Ten Little Housemates*, Oxford: Pergamon Press, 1960
- 324 Фото автора
- 325 Фото предоставлено Йоро Такеси; Фото предоставлено Йоро Такеси
- 327 Фото предоставлено Музеем Осаму Тедзуки (Такарадзука, Япония)
- 328 Фото автора; Фото автора
- 333 Фото автора; Фото автора
- 336 Фото автора
- 338 Фото автора
- 340 Фото автора
- 343 Фото автора; Доступ к изображениям предоставлен корпорацией Sega © SEGA. Все права защищены
- 347 Изображение предоставлено Ядзимой Минору
- 348 Изображения из книги Тансю Куримото *Senchu-fū* воспроизводятся с разрешения Национальной диетологической библиотеки (Япония)
- 352 Изображение воспроизведено с любезного разрешения Сиги Усуке
- 356 Плакат предоставлен магазином Mushi-sha (Токио)
- 357 Изображение воспроизведено с любезного разрешения Сиги Усуке
- 360 Фото автора
- УДК 502.11:595.7
- ББК 201.1+28.087+28.691.89
- P26

Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»

Издательство благодарит литературное агентство Prava i prevodi за помощь в приобретении прав на данное издание

Перевод — Светлана Силакова

Редактор — Татьяна Чудакова

Редактор серии — Алексей Юрчак (профессор Калифорнийского университета — Беркли)

Дизайн — ABCdesign

Раффлз, Хью.

Инсектопедия / Хью Раффлз. — М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж» 2019. — 416 с. : ил.

В оформлении обложки использованы иллюстрации

© Artur Shlain

ISBN 978-5-91103-460-3

Книга «Инсектопедия» американского антрополога Хью Раффлза (род. 1958) — потрясающее исследование отношений, связывающих человека с прекрасными древними и непостижимо разными окружающими его насекомыми.

Период существования человека соотносим с пребыванием насекомых рядом с ним. Крошечные создания окружают нас в повседневной жизни: едят нашу еду, живут в наших домах и спят с нами в постели. И как много мы о них знаем? Практически ничего.

Книга о насекомых, составленная из расположенных в алфавитном порядке статей-эссе по типу энциклопедии (отсюда название «Инсектопедия»), предлагает читателю завораживающее исследование истории, науки, антропологии, экономики, философии и популярной культуры. «Инсектопедия» — это книга, показывающая нам, как насекомые инициируют наши желания, возбуждают страсти и обманывают наше воображение, исследование о границах человеческого мира и о взаимодействии культуры и природы.

Original English language edition published by Pantheon Books, a division of Penguin Random House LLC, New York.

Copyright © 2010 by Hugh Raffles. All rights reserved

© Силакова С. В., перевод, 2019

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019

© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2019